

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1976

6



1976



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1976 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
К VI СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР	3
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
В. КОПЕЛЕВ — Строим дом	4

ЮРИЙ НАГИБИН — Чужая , рассказ	13
ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ: Галактион Табидзе . Будь шагом тверд, будь поступью суров...— Георгий Леонидзе . Читая «Картлис Цховреба».— Григол Абашидзе . Сказанное вдали от Грузии.— Ираклий Абашидзе . В твоей Балкарии.— Карло Каладзе . Я, Гиви Кимеридзе, пронзаю взором тьму; С высоты веков.— Отар Челидзе . Молчаливый хозяин; Собствен- ная монета.— Джансуг Чарквиани . Илья; Картлос.— Иосиф Новешвили . Ты стоял на родных горах; Почему такая встреча поздняя?— Хута Бери- лава . Стих обращается к стихотворцу; Ожидание. Перевели Александр Големба, Михаил Синельников, Илья Дадашидзе, Владимир Равич	38
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Япония — 46 . Страницы дневника	56
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА — Из апрельской тетради , стихи	115
ИОСИФ ГЕРАСИМОВ — Пуск , повесть	118
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ — Высота , стихи	200
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВАЛЕНТИН ЗОРИН — История одной карьеры (Опыт неюбилейных рас- суждений)	203
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО — Социальное, нравственное, художественное	235
И. ВИШНЕВСКАЯ — Человек и его дело (О герое современной драмы)	247

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	257
Андрей Дементьев. Продолжение разговора.— Валентин Катаев. С добрым чувством.— В. Камянов. Достоверность условного.— Евгений Сидоров. Пути гуманизма.	
<i>Политика и наука</i>	268
Н. Петраков. На пороге пятилетки эффективности и качества.— Г. Резниченко. Конструктор. Самолет. Время.— С. Троицкий . Становление героя.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Ксения Бродер.— Александра Горובה. Высокие равнины. Рассказы. ♦ Т. Комиссарова.— Владимир Корнаков. Шатун. Повесть. ♦ В. Сапогов.— Н. К. Некрасов. По их следам, по их дорогам. ♦ А. Нуйкин.— А. И. Мазаев. Концепция «производственного искусства» 20-х годов. ♦ В. Якушев.— Социальная психология. Краткий очерк. ♦ Лев Разгон.— Юрий Дмитриев. Человек и животные. ♦ М. Рабинович.— Н. И. Гаген-Торн. Лев Яковлевич Штернберг. ♦ А. Колосов, Е. Альтшулер.— В. В. Фролькис. Старение и биологические возможности организма	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

К VI СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

В дни, когда читатели развернут этот номер журнала, в Москве откроется VI съезд советских писателей. Он станет крупным событием в жизни творческой интеллигенции. Всю его работу будут определять положения Отчетного доклада ЦК КПСС и решения XXV партийного съезда.

Начертанная партией программа мира — это общенародная программа. Не только Советский Союз, беспрестанно подвергающийся натиску международного империализма, но и старая Россия не ведала таких длительных периодов мирной жизни. Четвертое десятилетие мы не знаем войны. Да пребудет за это наша сердечная благодарность Советскому правительству и ленинской партии, определяющим мирную политику великого социалистического государства!

Советская литература и искусство создают сейчас художественную летопись мирного развития советского общества. Естественно, что нравственное воспитание человека социализма, становящегося человеком коммунизма, занимает большое место в литературных поисках и свершениях. Неотделима от коммунистического воспитания тема труда, «производственная тема», о которой так ярко говорил в своем докладе Л. И. Брежнев.

Вместе со всеми деятелями отечественной культуры журнал «Новый мир» с гордостью воспринял сердечные и направляющие слова Генерального секретаря ЦК КПСС, сказанные им в докладе: «Можно только приветствовать, что все большую широту получает шефство наших театров, литературно-художественных журналов над заводами, колхозами, над такими стройками, как БАМ и КамаАЗ». Наш ответ может быть только один: еще теснее и прочнее крепить нашу связь с рабочим коллективом КамаАЗа.

Литература нашей страны впишет еще много ярких страниц о героизме фронта и тыла в огненную повесть тех незабываемых дней Великой Отечественной войны. Серьезное значение для наших писателей имеет тема международной солидарности трудящихся в борьбе за мир во всем мире — против вдохновителей новой агрессии.

VI писательский съезд наметит пути воплощения в жизнь творческих организаций дальновидных направляющих решений партийного съезда. Высокая оценка советской литературы и искусства, данная товарищем Л. И. Брежневым, ко многому обязывает советских писателей. «Талантливое произведение литературы или искусства — это национальное достояние», — говорится в Отчетном докладе. Долг литературно-художественных журналов, и в том числе нашего «Нового мира», — приумножать это достояние.

Свой шестой номер мы посвящаем VI писательскому съезду. В нем мы постарались дать выход всем основным темам художественного творчества, о которых говорилось выше. Иногда это еще не сама дорога, но подступы к ней. Читателю будет понятно, в каком направлении мы хотим работать дальше.

Журнал «Новый мир» горячо приветствует VI съезд писателей СССР.

Сергей Наровчатов.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

В. КОПЕЛЕВ



СТРОИМ ДОМ

В. Копелев — бригадир монтажников домостроительного комбината № 1 Главмосстроя, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

Пять лет назад коммунисты столицы избрали меня на XXIV съезд КПСС. И вот снова с красным мандатом делегата съезда я занимаю место в зале заседаний Кремлевского Дворца съездов. Какие новые высоты наметит двадцать пятый форум коммунистов страны? Какие определит пути к достижению новых, еще более масштабных целей? Что предстоит осуществить непосредственно нам, строителям?

На подавляющее большинство своих вопросов я получил исчерпывающие ответы, слушая доклад Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Понял с пронизывающей ясностью: это подлинное руководство к действию. «Мы будем строго требовать от проектировщиков и строителей улучшать планировку квартир, строить добротное, качественно, красиво...» Обоснованное требование! «Большое значение имеет сооружение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Кажется, еще совсем недавно первые строители нарушили вековечный покой глухих таежных мест. Теперь работа в разгаре», — говорил Генеральный секретарь. Я горжусь тем, что частица и моего труда вложена в стройку века. Но особо запомнились мне слова о том, что для успешного решения многообразных экономических и социальных задач, стоящих перед страной, нет другого пути, кроме быстрого роста производительности труда, резкого повышения эффективности всего общественного производства.

И как тут не согласиться с моим прославленным коллегой Н. А. Злобиным, который сказал, выступая на съезде:

— Наша партия уделяет первостепенное внимание всему новому, передовому, рожденному инициативой масс. Партия всегда ведет нас вперед, призывает не останавливаться на достигнутом. Новые важные задачи выдвинуты перед строителями в приветствии Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева участникам состоявшегося недавно Всесоюзного слета бригадиров хозрасчетных строительных бригад. Мы сделаем все, чтобы эти задачи безусловно выполнить.

В перерыве съезда я увидел среди делегатов начальника Главмосстроя М. П. Коханенко. Вот кто был мне нужен! Мы оба испытывали одно чувство: хоть сделано и немало, но предстоит куда поболее. И потому повели деловой разговор не откладывая. Так оно надежней.

* * *

Пять лет — отрезок немалый, и кто поверит, что можно пройти его, не испытав никаких огорчений: жизнь не состоит из одних побед и радостей.

Были и у нас порой неудачи, и все же, оглядываясь на пройденный путь, вся наша дружная рабочая семья добром поминает минувшую пятилетку. Много дала она каждому из нас и всему небольшому нашему коллективу в целом, раз и навсегда утвердив его жизнеспособность. Люди прошли окончательную поверку — и на время (многие далеко уже не молоды) и на прочность (трехсменная работа в любую погоду, на высоте). Социалистическое соревнование в нашем домостроительном комбинате — не для галочек, а здоровая рабочая конкуренция между бригадами — породило много интересных начинаний, поднявших заметно производительность труда.

Редакция «Нового мира» просила меня рассказать читателям журнала о нашей работе, наших планах. Но для этого мне надо мысленно вернуться несколько назад.

...Началось все 14 июля 1965 года. Именно тогда в составе домостроительного комбината организовалось наше комсомольско-молодежное монтажное управление № 5. Задумка была такая: влить в него четыре бригады, три из которых имели уже за плечами опыт совместной работы. Это полностью оправдало себя: ведь если все четыре коллектива оказались бы «замешаны» на пустом месте, управлению долго пришлось бы идти к заданному уровню мощности — пока строители притрутса друг к другу, пока наладят настоящее взаимодействие.

Мне выпала честь возглавить рождающуюся бригаду. Крепкий костяк, ядро — вот что следовало обеспечить в первый черед. И я обратился к тем, с кем плечо к плечу трудился на стройках Москвы уже пять лет. До переезда в столицу, когда я тянул линии электропередач на Урале и возводил дома в Целинограде, мы не знали друг друга. Но годы совместного труда в Москве как бы породнили нас. Им — Николаю Птушкину, Евгению Власову, Николаю Большакову — я предложил и на новом месте работать сообща. Они раздумывали недолго, а потом к нам подключилась и строительная молодежь.

С чего начинали? С известных всем девятиэтажек. Работали без правок на молодость, без скидок и допусков. И уже через три месяца догнали соседей, а потом и обошли их. Мы вовсе не стремились ставить рекорды, тем более достигать их рывками, перенапряжением. Но мы доказали свою прочность, свою надежность, а в той ситуации это было самым главным, самым нужным качеством.

Первоначально на каждый этаж у нас уходило шесть дней. Потом на день меньше. Потом по четыре, по три дня. Нынче один этаж четырехсекционного дома мы монтируем за два с половиной дня. Скажу откровенно: и этот срок не предельный, и его можно ужать. Но существует четкий график, к которому нас обязывает (да что обязывает — это закон) бригадно-поточный хозяйственный расчет. Этот метод стал главным делом нашего коллектива.

Что же он собой представляет? Двумя словами тут не обойдешься.

По разработанному положению бригада, линейные инженерно-технические работники и рабочие-повременщики поточного участка берут на себя ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию жилых домов, за высокое качество выполненных работ, за приемку и сохранность всех поступающих на объект материалов и конструкций. Они также обязуются точно следовать графику строительства, рационально использовать машины и механизмы, строго соблюдать требования технологии и правила техники безопасности. Аппарат управления, со своей стороны, гарантирует, что создаст строителям все усло-

вия для выполнения договора. Такова вкратце суть этого метода. Его выгода бесспорна. Он стал мощным стимулом для каждого звена в цепи нашего строительства. В условиях индустриального домостроения такой метод явился логичным развитием идеи бригадного хозяйственного расчета, предложенного Героем Социалистического Труда Н. А. Злобиным.

Однако если это «дитя» поставить рядом с его «родителем», то сразу же бросятся в глаза весьма и весьма немалые различия. Я подчеркиваю — различия, и, показывая их, я меньше всего хотел бы подчеркивать преимущества.

Скажем, подрядная злобинская бригада добывается сверхплановой прибылью, сокращая сроки строительства. Соответственно уменьшаются и накладные расходы. Иное дело у нас. Дома монтируются по часовым графикам с «колес», то есть материалы поступают к месту работы прямо с автомашин. Пытаться сократить продолжительность операций — дело немыслимое. Ведь в заданном ритме трудятся все коллективы комбината. И рывок одного будет подобен распявшемуся звену в цепи. Последствия очевидны. Либо все вместе, либо никто — таково непреложное свойство потока. Есть у тебя резервы времени — поделись с коллегами, распространи на другие подразделения, а не держи, как скопидом, в кубышке. Очевидная ценность метода еще и в том, что он поднимает коллективизм на иной, качественно более высокий уровень.

Совсем по-иному, чем при рождении подрядного метода, налажена у нас и экономия материалов. Злобинцам их доставляют прямо со складов, а они на месте соображают, где можно сэкономить. У нас же существует комплекточный участок. Там производят необходимую расфасовку, комплектуют и упаковывают полуфабрикаты и детали в контейнеры, централизованно доставляют их на строительные площадки. В один комплект входит все, что нужно для одной квартиры. Если на дом полагается 1006 пакетов для утепления стыков, то, будьте уверены, 1016 никто не привезет. Ясно, что термин «экономия» здесь не совсем уместен, ибо в этой ситуации он означает ухудшение качества. Значит, речь может и должна идти о предельно бережном сохранении и использовании каждой панели, каждого наличника.

То же и с временем. Зеленоградцы могут беспредельно наращивать темп и, стало быть, все раньше и раньше высвобождать механизмы — башенные краны, подъемники и т. д. А на нашей площадке техника находится ровно столько, сколько нужно на выполнение операций по норме.

Если взять материальное поощрение бригад, то и здесь существует заметная разница. В Зеленоградстрое премии за снижение стоимости работ выплачиваются в зависимости от полученной сверхплановой прибыли. Наше же управление перешло на новую систему планирования и экономического стимулирования. И здесь немедленно поменялась ориентация. Коллективы заинтересованы, чтобы производственные планы по прибыли становились все более напряженными. Ведь от плановой прибыли отчисляется в фонд материального поощрения куда больше средств, чем от сверхплановой.

Повторяю, все эти различия вовсе не говорят о том, что наша работа более трудоемка или сложна. Просто она иначе строится, имеет свою специфику, как и в любом другом деле.

Почему вообще строители пришли к мысли о потоке? Откуда взялась эта потребность?

Дело в том, что полное название нашего коллектива звучит так: комплексная бригада конечной продукции. Это значит, что мы отвечаем за сдачу всего объекта. А путь к конечной продукции лишь тогда

самый короткий, когда на площадке полное взаимодействие всех участников, когда все настроены на единый ритм.

Казалось бы, все обстоит просто — следуй графику, в котором инженеры учли возможности и интересы всех сторон. Но жизнь стройки далеко не всегда укладывается в рамки разумной схемы. Частенько на наши головы сыпались пригоршни неожиданностей, а замысловатые каверзы следовали одна за другой. Отсюда вывод: мало согласиться на ритмичную работу — надо придать ей запас прочности, разработать средства, которые обеспечивали бы стабильный и надежный ритм.

Первым таким средством стало овладение смежными специальностями.

В положенное время не завезли раствор. Значит, десять штукатуров остались без дела. Что прикажете делать? Слоняться без толку, или, как у нас говорят, мусор гонять? Быстро распределяешь людей: двое к плотникам, трое на бетон, остальных на другие узкие участки... Работа всегда найдется! Или другое: чувствую, столяры хорошо идут, свою норму — квартиру в день на каждого — начинают постепенно перекрывать. Идут-то они быстрее, но по технологии это не нужно. Одного снимаю и перевожу бетонщиком. Сделать это несложно: у людей на руках документы, подтверждающие их вторую, а то и третью специальность. Вот звеньевой монтажников Николай Большаков. Кроме основной, он овладел едва ли не всеми строительными специальностями; может быть плотником, бетонщиком, штукатуром, электросварщиком. А мой заместитель Валерий Максимов в совершенстве освоил работу монтажника, бетонщика, такелажника. Таких у нас большинство.

Возможность маневра позволила сократить численность бригады с пятидесяти двух человек по норме до сорока трех. И лишь к монтажникам неприменим такой подход: звено имеет твердый состав: трое на монтаже, один такелажник, пятый — электросварщик.

А отпуска, а болезни? Что ни говори, а бригада остается усеченной, хоть и узнаешь об этой потере не в последнюю минуту. Здесь уж никак не обойтись без мастеров на все руки.

Если же глянуть на взаимозаменяемость со стороны, то сразу замечаешь ее огромную выгоду. Мы не выбиваемся из графика потока именно потому, что имеем возможность тактически перестраиваться внутри бригады. Я считаю, что одним из главных завоеваний нашего коллектива стал этот сплав жесткого плана, заданного сверху, с предпринимчивостью и инициативой низовых звеньев.

Теперь о специализации. Конечно, человек может знать несколько видов строительных работ, но владеть ими одинаково хорошо он не будет. Ведь что ни говори, а для него всегда будет существовать ремесло номер один — самое желаемое, самое притягательное дело. Дело, которое он избрал на всю жизнь. С годами убеждаешься, что даже внутри одной специальности какие-то операции даются тебе легче, выполнять их сподручней, быстрее. И мы не стали мерить всю бригаду на один аршин, а постарались как можно скорее использовать это свойство. Вот как оно вышло на деле.

Три звена монтажников занимаются железобетонными конструкциями. Четвертое выходит только в первую смену и занимается установкой металлических ограждений лестниц, балконов, лоджий, крыш, декоративных и жалюзных решеток, переходных противопожарных лестниц.

Интересно разграничили свою работу и плотники из звена Владимира Папилова. Одни работают только с дверными блоками и наличниками, другие устанавливают встроенные шкафы, третьи облицовывают санитарно-технические кабины.

Оба названных приема, конечно же, не новы. Но все чаще мне приходит мысль, что старые способы оказываются порой в забвении только потому, что они старые. Их затмевает модное новшество только потому, что подкупает новизной. Были ведь случаи, когда, «порезвившись» с таким «открытием», через некоторое время с раскаянием возвращаешься к «старичку» — испытанному и безотказному приему. Научитесь пользоваться привычным, выявите его истинный потенциал — хочу напутствовать я тех, кто преодолевает первый подъем на своем трудовом пути. Но если выгода новшества не вызывает сомнений, тут уж надо быть безжалостным к тем, кто тянет с его внедрением.

В свое время нам первым поручили осваивать конструкцию открытого стыка. При ближайшем рассмотрении дело оказалось привлекательным, сулило такие преимущества, что загорелись буквально все. Во-первых, резко возросло качество операции. Раньше в то место, где одна панель примыкает к другой, закладывался слой шлаковаты, обернутой рубероидом («кукла» на нашем языке), затем следовал слой сырой резины на клею и сверху все это заливалось герметиком. Видели дома, стены которых расчерчены на квадраты черными полосами, как при игре в «классы»? Это и есть тот самый герметик.

Чем не удовлетворяла эта технология? Стоило в герметике появиться малюсенькой трещине — и туда немедленно устремлялась вода. Она могла пройти мимо одного этажа, другого, третьего и вылезти мокрым пятном на стене где-нибудь в самом низу дома. Представляет, сколько хлопот доставляли поиски промоины!

Нынче же вместо герметика устанавливается гофрированная алюминиевая полоса. Тут вода пасует раз и навсегда. Не приходится говорить, что от этой перемены заметно выиграл и внешний вид зданий. Да и времени у строителей стало расходоваться куда меньше.

А вот другой факт. На стройку прибыли панели. Изо дня в день крановщик наблюдал следующую картину: монтажник приставляет лестницу, взбирается по ней и накидывает на верхнюю кромку панели струбцину весом в тридцать два килограмма. Но пришло время поломать и эту систему. Михаил Фролов с первого потока предложил зацеплять струбцины не сверху, а с боков. Так «сгнула» лестница. Более того, инженеры треста Мосоргстрой, которые заинтересовались этой идеей, вскоре смогли дать нам струбцины весом в семь килограммов. К тому времени они стали частыми гостями на стройплощадке, советовались со строителями, получали от них ценные замечания. Все вместе по многу раз обсуждали каждый вариант.

Не могу не упомянуть и о растворном узле. Это изобретение нашего главного механика Николая Даниловича Тарасова. Относительно небольшой по габаритам агрегат позволил высвободить трех человек из шести. Сегодня один из них следит за работой механизма, второй заливает стыки, третий ставит опалубку.

Завершая рассказ о бригадно-поточном методе, считаю необходимым объяснить, почему в состав потока включены линейные инженерно-технические работники.

Прибыли, допустим, материалы на корпус, а в них есть брак. Мастер, отвечающий за приемку, может отнестись к делу формально, даст «добро» на их использование. Если, конечно, отклонения допустимы по техническим нормам. Но может и записать в накладной: такая-то панель требует доделок. В этом случае завод-изготовитель будет вынужден оплатить доводку.

Еще пример. Приходит пакет «столярки» — двери, стенные шкафы, наличники, древесно-стружечная плита для одного этажа. Их рассылает отдел комплектации. Но бывает, что какой-нибудь нерадивый товарищ возьмет и не доложит дверь. Забыл или упустил в спешке.

Если мастер не проверит, образно говоря, до каждой дощечки, то позже нехватка все равно обнаружится, и бригаде придется расплачиваться за нее собственными деньгами.

Где только мы не строили за эти годы! Черемушки и Вешняки-Владычино, Печатники и Свиблово, Орехово-Борисово и Теплый Стан, Бибирево, Тушино, Ивановское... Практически нет такого района новостроек, где бы не трудилась наша комплексная бригада. Конечно, приятно сознавать, что в жилищное строительство столицы мы вложили крупный вклад. Но, с другой стороны, эта обширная география идет не от хорошей жизни.

Дело в том, что мы могли бы подолгу трудиться в каждом районе. Но вот дом закончен. Рядом по проекту должен возводиться второй, а его нулевой цикл не готов даже и наполовину. Ждать нельзя, и поток начинают перебазировать в новое место. Уходит время, тратятся лишние деньги — каждое такое перемещение обходится примерно в три тысячи рублей. Крепко затрудняет нашу работу отсутствие дорог и энергии постоянного напряжения. С сожалением свидетельствую, что работа трестов Фундаментстроя и Мосинжстроя за последние годы почти не улучшилась.

Не хвалюсь, но им бы поучиться у нас. Уходим из квартиры — оставляем ее выметенной, чтоб малярам сподручней работать. Загодя отправляем людей на новый объект: уложить крановые рельсы, подготовить подъездные пути. Да что говорить: лишь тогда всемогущи руки человеческие, когда все пальцы действуют в согласии.

5 мая 1974 года навсегда останется в нашей памяти. В этот день Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев от имени Центрального Комитета нашей партии поздравил бригаду с ее большими свершениями и достижением наивысшей производительности труда в крупнопанельном домостроении. В приветствии говорилось, что этот большой производственный успех стал возможен благодаря высокому профессиональному мастерству, творческому отношению к труду, товарищеской взаимопомощи. Он показывает, какими огромными резервами располагает каждый коллектив, в совершенстве овладевший передовыми методами строительства. «Ваши трудовые достижения являются примером для всех советских строителей», — писал Л. И. Брежнев.

Обязывающие слова! На них мы ответили трудовым рапортом.

Сегодня я могу сказать, что бригада сумела выполнить все намеченное в масштабах пятилетки. Задание по сдаче в эксплуатацию полезной площади в объеме 228 тысяч квадратных метров было выполнено уже к 30 апреля 1975 года. Выработка на одного рабочего составила 97 400 рублей по сравнению с 72 120 рублями в 1970 году. Нашим добрым помощником стал договор на социалистическое соревнование с бригадой монтажников Орехово-Зуевского ДСК, руководимой Героем Социалистического Труда В. Фокиным.

Бригадный подряд круто поломал традиционные нормы хозяйствования, открыл новые горизонты для рабочей сметки, для проявления инициативы низового звена строительного производства — рабочей бригады. Он поставил во главу угла всестороннее совершенствование строительного дела.

Нет нужды рассказывать о таких лауреатах Государственной премии СССР, как зеленградец Н. Злобин, мурманчанин В. Сериков, ленинградец И. Шевцов, москвич Е. Федюнин. Их имена давно известны в стране. В одном строю с ними по праву заняли место Л. Харсика из Казахстана, М. Терешко из Гродно, уфимский строитель М. Лосев. Подлинными пионерами прогрессивного метода являются и киевлянин В. Артеменко, и монтажник из Новокузнецка Г. Зорин, нарвский бри-

гадир Е. Барсуков, П. Семенко — старший прораб того участка, где работает коллектив Н. Злобина.

Сфера действия хозрасчетного метода постоянно расширяется. Он уже взят на вооружение в машиностроении, сельском хозяйстве, автотранспорте. Бригадный подряд завоевал признание на стройках ГДР, ЧССР, МНР, НРБ.

В памятный для нас день 1974 года газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями пятнадцати членов нашей бригады и о присвоении мне звания Героя Социалистического Труда.

Я смотрел на взволнованные лица своих товарищей и думал, что именно к таким, как они, относятся уважительные слова — золотые люди.

Не год и не два знаем мы друг друга. В дни побед и критических ситуаций, в стужу и зной мы стояли плотно, плечом к плечу. Росли этажи домов, на месте ветхих московских домишек возникали современные кварталы — и одновременно крепла наша спайка. Оглядываясь назад, я убеждаюсь: да, бригадир шлифует свой коллектив, добивается единого, гармоничного настроения. Но одновременно происходит и обратный процесс. Бригада понуждает своего руководителя выковывать «командирский» характер, развивать качества, необходимые бригадиру.

Так повелось, что я прихожу на площадку примерно за полчаса до остальных. Не было случая, чтобы кто-нибудь меня опередил. Для чего это нужно? Во-первых, отмечаю, что сделали вторая и третья смены. От этого строю предстоящий день. Во-вторых, когда облазишь все сверху донизу, то на пятиминутку идешь не с пустыми руками. Твердо знаю, кого и за что надо отругать, кого похвалить. Этот контроль, необходимость присматривать идут вовсе не от недоверия. Случается, люди и рады что-то сделать, да знаний маловато и опыт невелик. Тут самое время прийти на помощь.

Во многих строительных организациях страны существует проблема — текучесть кадров. У нас о ней разговор даже не заходит. Мы столкнулись с такой ситуацией, которая многим покажется фантастичной: состав нашей бригады почти не меняется, люди не хотят уходить из коллектива. Были призваны в армию монтажники Олег Бодров, Александр Тихонов, Николай Андреев. Отслужили положенные годы и без колебаний вернулись в бригаду. И получается, что управление называется комсомольско-молодежным, а основная часть работников разменяла третий, а то и четвертый десяток. Тоже своего рода проблема. Призадумайтесь, как ее решать.

Но все наладилось само собой. Поработав на стройке немалое число лет, поднаторев в нашей профессии, люди начинают испытывать нехватку знаний, чувствуют себя способными на большее. Вот Виктор Коляда. Был мастером, учился, теперь он начальник потока. Юрий Осипов начинал геодезистом, а в прошлом году закончил вуз. Поэтому в аппарат нашего управления давно не приходится брать людей со стороны, все вакансии заполняются специалистами из числа наших бывших рабочих. Точно так же обстоят дела в соседних коллективах.

Казалось, совсем недавно пришла после ПТУ штукатур Лидия Китанина. Проработала она с нами два года и привела с собой младшую сестру Галю.

— Я столько слышала о вашей бригаде, столько Лида вечерами нарассказывала! Я в ПТУ училась, все мечтала сюда попасть... Возьмите меня, — попросила Галя.

Я осторожно начинаю: дескать, здесь свет клином не сошелся, есть коллективы не хуже... Так она не дала договорить:

— Нет, нет! Только сюда, я все продумала!

Что ж, пошли навстречу заветному желанию. Не ошиблись — с первых же дней девушка проявила подлинное трудолюбие. Прошло время, и она заняла свое прочное место в звене штукатуров. Вроде бы все ладно. Но чувствую, что сильно ее занимает моя учеба в Высшей партийной школе. Рассуждает, по-видимому, так: Владимир Ефимович — ас в строительном деле, за плечами у него двадцатилетний опыт, бригада идет в авангарде домостроителей страны... Зачем же нужна эта учеба?

Один раз коснулись этой темы, другой, сели и поговорили всерьез... И пошла Галя в вечернюю школу-десятилетку (старшая сестра еще раньше это сделала). А не так давно передовую работницу избрали комсоргом потока. Ко всему еще ей досталась замечательная наставница — звеньевая штукатуров Нина Петровна Климова. Она как чародейка — за год превращает вчерашнюю ученицу в настоящего кадрового рабочего. Таких поискать надо.

Заботой о молодежи было вызвано обращение «Товарищам по труду», которое подписали Н. Злобин, Н. Морозова и я. Оно появилось после нашей поездки на строительство Байкало-Амурской магистрали.

Маршрут был не мал — от Благовещенска до Тынды. Невозможно забыть одухотворенные молодые лица, атмосферу БАМа, неподдельный интерес его строителей к делам передовых коллективов страны. «Ознакомившись с сооружением объектов на БАМе, увидев патристический настрой молодых людей, мы убедились, что они могли бы работать еще лучше, с более высоким качеством работ, если бы мастерство, весь опыт, который накоплен в строительстве, был передан этим замечательным молодым энтузиастам» — к такому выводу мы пришли единодушно.

Век НТР таков, что на одном энтузиазме далеко не уедешь. Если сделать ставку только на него, то цель будет достигнута, но с чересчур большими издержками. Строительство неоднородно, и потому необходимо учитывать все его компоненты — и моральную сторону и материальную. Между тем нам пришлось встретиться на стройке века бригадиров, которые буквально горели работой, но их профессиональная зрелость оставляла желать лучшего. Они заняли эти должности потому, что оказались подисциплинированной, порасторопней, погорластей, чем многие их товарищи.

Надо учить людей бригадировать, надо преподавать им искусство маневра, познакомиться со структурой и механикой стройки. Поэтому мы предложим создать на базе своих коллективов постоянно действующие школы бригадиров, где они будут систематически проходить стажировку.

Обращение «Товарищам по труду» опубликовано 10 августа 1975 года, и уже в октябре на строительную площадку прибыли двое посланцев БАМа — штукатур-маляр Александра Шалетова и плотник Александр Зайцев.

Мы решили направить их в наши лучшие звенья, чтобы урок шел по высшей категории. Детально разъяснили суть поточно-бригадного хозрасчета, показали всю технологию, свозили на заводы нашего ДСК. Но хотелось учить монтажников, тем более что в Тынду мы отправляем свои дома.

Наконец в декабре прибыли четыре человека — монтажники с Шимановского, с Тынды... Их тоже немедленно познакомили с технологической цепочкой и поставили на выучку с нуля дома и до крыши. Видимо, так будет и впредь: ежеквартально на месяц будет приезжать группа стажеров.

Намечая практическую помощь БАМу, мы занесли в обращение

такие слова: «...БАМ, другие всесоюзные ударные комсомольские стройки стали настоящей школой коммунистического воспитания молодежи, ее профессионального становления. Помочь первостроителям магистрали стать настоящими строителями, умелыми командирами производства, организаторами внедрения передовых методов труда, проводниками всего лучшего, что накоплено в практике строительства,— наш долг как коммунистов, как старших товарищей по профессии. Именно в этом заложен глубокий смысл движения наставников».

Звание депутата Верховного Совета СССР, которым меня удостоил народ, накладывает особую ответственность. В высшем органе народовластия я стал членом комиссии по строительству. Десятки и сотни вопросов проходят через руки входящих в нее депутатов, но один из них занимает меня особенно. Это комплексная застройка. Ведь одними жилыми корпусами новый городской район не создашь. Люди и не против в них поселиться, но... И идут чередой эти самые «но»: школу только подводят под крышу, в магазине хозяйничают отделочники, до ближайшей автобусной остановки топтать и топтать... Справедливые укоры? Конечно. Можно что-нибудь сделать? Нужно! И еще нужно поменьше цветастых словес да побольше дела — реального, серьезного, с подлинной заботой о человеке.

В качестве депутата Верховного Совета СССР мне довелось побывать во многих странах мира. Случалось быть и руководителем делегации. Вспоминаю любопытный эпизод. В мае 1975 года я, будучи главой делегации Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, приехал на встречу с конгрессменами США. Пресс-конференция, организованная местными журналистами, проходила оживленно, приподнято. Американские политические деятели не скрывали своего интереса к нашему визиту. В разгар пресс-конференции конгрессмен от штата Юта поинтересовался моим социальным положением, моим основным занятием. Я ответил. После легкого замешательства переводчика попросили задать мне этот вопрос вторично. Сомнения вызвал тот факт, что я, рабочий-строитель, являюсь членом советского парламента¹. Решили: что-то, мол, напутал переводчик. Когда же убедились в точности перевода, нас стали выслушивать с утроенным вниманием, с явным желанием разобраться в людях социалистической страны.

Да, много стран я повидал, возвращался домой с горами впечатлений, с багажом открытий, знакомств, встреч... Но всегда самым желанным был тот миг, когда на бетонной глади аэропорта замирал лайнер.

Воздух родины, отчая земля... Что может быть милей?

¹ Когда верстался номер, нам сообщили, что В. Копелев назначен начальником комсомольско-молодежного монтажного управления № 5 ДСК-1 Главмосстроя.



ЮРИЙ НАГИБИН

★

ЧУЖАЯ

Рассказ

Кунгурцев был из тех кряжистых сибиряков, которые любому шуму, суматохе и безобразию внешней жизни умеют противопоставить собственный прочный порядок. И наружность его находилась в полной гармонии с внутренней сутью: крупная, вросшая в плечи голова, литое, негнущееся тело с выпирающей мощной диафрагмой. И все же этот кряж едва не пал духом, хотя дело было сугубо частное, неспособное отбросить даже малой тени на мироздание. Впервые Путятин приехал к нему погостить с новой женой. Алеша Путятин был лучшим и любимейшим другом Кунгурцева. Да нет, так не бывает, вернее, бывает только в романах — несколько друзей, спаянных не на жизнь, а на смерть. В действительности у человека может быть лишь один Друг, тот, за которого в огонь и на плаху, с которым сросся кровью, все другие друзья, если они есть, в лучшем случае — хорошие товарищи, но часто святое слово «Друг» расходуется на случайных приятелей и просто собутыльников. А Путя был настоящий друг, хотя их отношения не проходили испытаний ни войной, ни взаимовыручкой в чем-то большем, чем одолжить деньги на машину или достать редкое лекарство. Но то и дорого! «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» — тут корень трагедии Отелло. Любить можно лишь ни за что, а если за что-то, то это уже другое чувство, тоже по-своему ценное и достойное, но нет в нем обреченности, безоглядности и бескорыстия истинной любви. Сказанное относится и к дружбе. Ты вынес меня из огня, я уступил тебе любимую женщину — мы друзья навек. Чепуха! Не надо путать дружбу ни с благодарностью, ни с чувством долга. Дружба — это когда с человеком хорошо просто так, когда исключено всякое насилие (требовательная дружба — фальшивый вымысел назидательной литературы), дружба — это счастье.

В Алеше Путятине Кунгурцеву нравилось все: саженный рост, здоровая худоба, блеск темно-карих глаз, низковатый переливчатый голос, мгновенность отклика на любое впечатление. Хорошо заряженный на жизнь, сильный и свежий человек, прекрасный охотник и рыболов, знает тайгу, как родной дом, а то, что он еще и видный специалист, главный инженер крупнейшего алюминиевого завода, было его личным делом. Кунгурцева больше радовало, как он режет мясо, пьет водку, смеется, рубит сучья, складывает шалаш или костер, горланит песни, а порой уходит в себя, в свою серьезность и тишину, и глаза становятся далекими-далекими.

Замечательно, когда у тебя есть друг, но совсем здорово, если друг и его жена приняты как родные в твоей семье. Такое бывает далеко не всегда. Понятно, что для трех юных Кунгурцевых дядя Леша

был первым человеком: у него лучшая охотничья собака в мире (шестилетний курцхар, золотой медалист), собственная «Волга» (отец и «Жигуленка» не удосужился приобрести), бельгийский карабин (у отца старая отечественная «ижжевка»), он знает приемы самбо и гимнастику йогов. Но вот Марье Петровне при ее резком, колющем характере вовсе не обязательно было принять в душу Путятинуна. А ведь приняла, да еще как приняла! С появлением Путятинных она разом убирала свои иголки, бархатной становилась. Правда, Липочку (так звали жену Путятинна все, даже мальчишки) трудно было не любить. Добрая-предобрая великанша, чрезмерная во всем (ростом с верзилу мужа, но куда шире в обхвате, с зычным голосом, перекрывавшим любое шумное застолье), всегда веселая и неумолимая, она больше всего любила быть нужной, полезной людям. При Липочке окружающие мгновенно освобождались «для звуков сладких и молитв», а все «житейское волнение» она брала на себя.

Когда она появлялась в доме Кунгурцевых, кухня, холодильник, погреб и все закрома немедля и молчаливо передавались в ее ведение. Она обожала кухарить, украшать стол, обихаживать гостей, это была ее стихия, область ее таланта.

Марья Петровна, кроме своей медицины, знать ничего не хотела. Она была заведующей и ведущим хирургом большой поселковой больницы, самые сложные полостные операции брала на себя и справедливо гордилась, что к ней привозили больных даже из областного города. Она была хирургом божьей милостью и волевым организатором, но так выматывалась на работе, что для дома у нее просто не хватало сил. Да и не было у нее к этому влечения. Хозяйничала ее хлопотливая, услужливая и бестолковая от старости мать. С приходом Липочки довольно нескладный быт Кунгурцевых расцветал. Лепились пельмени, которых Кунгурцев мог умять без счета, но все же не больше худого и ненасытного Пути — как только умещалось столько теста и мяса в его впадом животе? — пеклись пироги с грибами, рыбой, капустой, яблоками, черникой, смородиной, настаивалась водка на разных травах и ягодах, варилась бражка и прохладительное питье из черемухи, извлекалась на свет красивая посуда и столовое серебро — приданое Марьи Петровны, — и всегда приглашались гости, грешно было одним наслаждаться такой красотей.

Была еще одна причина, делавшая для Кунгурцева субботние приезды Путятинных столь желанными, а приезжали они чуть не каждую неделю, ибо жили в каких-нибудь полутораста километрах. Ублаготворенная вкусной и сытной едой — в будние дни ходила голодная, не успевая за всеми делами не то что пообедать в столовой, а чашки пустого чая выпить, — взбодренная рюмкой-другой настойки, а главное, отдохнувшая в полной раскрепощенности от всех хлопот, Марья Петровна вспоминала о своей женской сути и не отталкивала настырного, но покорного мужа, как это случалось в остальные дни недели. Два дня полного счастья, дарованного Липочкиными заботами, как бы приближали ее к тем тайнам, куда нет доступа посторонним. И эта большая, по-своему привлекательная женщина — ее немного старили серые от просола седины, коротко стриженные волосы — как-то странно и нежно сливалась для Кунгурцева с Марьей Петровной.

И вдруг как обухом по голове известие: Пути расстался с Липочкой и женился на другой. Когда он успел, где откопал эту новенькую, как мог решиться на разрыв с Липочкой, прожив с ней столько лет в любви, счастье и согласии, почему не посоветовался с друзьями и как сумел ничем себя не выдать? — мучительное недоумение ломило крепкую голову Кунгурцева.

Марья Петровна отнеслась к **событию** проще: «Нашел молоденькую. Все вы кобели хорошие!» Последнее замечание было вовсе ни к чему, но ей хотелось выплюнуть горечь, и Кунгурцев промолчал.

Картина еще более замутилась, когда Путятин привез молодую жену знакомиться. Вернее сказать, он заглянул к Кунгурцевым на минуту по пути в Ангарск, где они должны были забрать дочь Веры Дмитриевны. Кунгурцев решил, что Путя нарочно соединил два дела в одно, чтобы не затягивать визит и снять налет торжественности. Он считал себя обязанным представить жену старым друзьям, но то ли не чаял особых радостей от этого знакомства, то ли не знал, как себя держать, боялся расспросов о Липочке и заторопился в отъезд, едва они переступили порог дома и обменялись первыми приветствиями.

Все чувствовали себя скованно, напряженно и неудобно, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы разрядить атмосферу. Ребят же усладили под каким-то наспех придуманным предлогом, а бабушку закупирили на кухне, равно опасаясь невинной прямоты юности и промахов старости. Естественнее других держалась Вера Дмитриевна, новая жена Пути, она, собственно, никак не держалась, будто происходящее ничуть ее не затрагивало. В ней не было ни смущения, ни вызова, ни заинтересованности, ни подчеркнутого равнодушия, и главное — не было желанья расположить к себе. И она вовсе не была так уж молода: лет тридцати семи — восьми. Усталые глаза и на висках гусиные лапки, большой рот с опущенными уголками молодец и расцветал лишь в улыбке, но улыбалась она не часто. Лицо в покое скорее грустное, на юную соблазнительницу никак не похожа. И на сибирячку тоже: темные волосы, карие глаза под устало приспущенными веками казались вовсе черными и светлели лишь в отпахе ресниц, смуглая матовая кожа, статью хрупкая, но на крепких мускулистых ногах. «Вы откуда родом?» — спросил Кунгурцев женщину. «Волжанка». «А в наших местах давно?» «В ваших местах, — она улыбнулась, — почитай всю жизнь. Родители сибиряки. Отец военным был, служил в Саратове. А после войны вернулся со всей семьей в Иркутск». Выходит, она все-таки сибирячка, но Кунгурцеву не хотелось этого признавать. Ни мастью, ни статью, ни повадкой не совпадала она с любезным его сердцу образом. Да и росточком не вышла. Она была среднего женского роста, но рядом с мужем и четой Кунгурцевых казалась маленькой. Не то что Липочка — правофланговая этой великаньей рати. «Вот и распалась наша богатырская четверка», — с грустью думал Кунгурцев будто о главной потере.

Путя был так беспокоен, странен и тяжел, что Кунгурцев впервые обрадовался его отъезду. «Да, да, — говорил он, — поезжайте, иначе засветло не обернетесь». Похоже, Веру Дмитриевну обрадовало, что их не стали удерживать. «Волнуюсь, старик. — доверительно шепнул Путя Кунгурцеву, — сроду отцом не был», чем дал новое направление мыслям друга. Сильное чрево Липочки почему-то так и не дало жизни новому существу, хотя кто знает, чья это вина. И может, в дочери, а не в матери оказалась для Пути главная притягательная сила? Несостоявшееся отцовство в нем заныло. Доверие Пути помогло Кунгурцеву осуществить намерение, от которого он чуть было не отказался по слабости духа. Под каким-то предлогом он втолкнул его в кабинет: «Что с Липочкой? Где она? Не нужно ли ей чего?» Путя ответил со злостью, но то была хорошая злость: «Плохо ей, сам, что ли, не понимаешь? Уехала к сестре в Томск. Пойдет работать. Сказала, так ей легче. Она сама все решила, и свой уход тоже». «Еще бы! Накотвал, а она... она...» — Кунгурцев задохнулся. Путя глянул спо-

койно и холодно: «Чего не было, того не было» — и вышел из кабинета.

Когда Путятины уехали, Кунгурцев поделился с женой своими наблюдениями. «Не знаю, ничего не знаю, да и знать не хочу! — отмахнулась она. — Я люблю Липочку, а эту не привечу никогда!» «Мне она тоже не показалась, — сказал Кунгурцев. — Какая-то холодная, отчужденная, я таким не верю. Пропал Путя, ох, пропал!» «Да нет, — сказала Марья Петровна, — она не злодейка». Простое это замечание произвело громадное впечатление на Кунгурцева. Он ждал, что Марья Петровна разделает Путину жену под орех. Его ничуть не удивило бы, услышь он о молчаливой женщине с усталыми глазами и грустным ртом: «Проходимка! Чтобы ноги ее здесь не было!» Но Марья Петровна при всей своей неприязни удостоверила ее доброкачественность. А это означало, что отношения семей могут продолжаться. Конечно, их дружба с Путей выдержит любое испытание, но встречаться им стало бы ох как трудно! Так могло случиться, и он не подумал бы разубеждать жену, безоговорочно подчиняясь ее оценкам. Он разбирался в деловых качествах человека, нравственная суть нередко ускользала от него.

Но теперь он решил возобновить обычай ежесубботних встреч, тем более что на него свалилась неожиданная напасть и Путя мог оказаться полезен. Позвонил секретарь обкома и попросил принять группу кинематографистов, снимающих большой фильм о Восточной Сибири. Секретарь назвал имя главного киношника, добавив тоном, исключаяющим возражения: «Слышал, конечно?» Кунгурцев, не разобравший имени, пробормотал: «Что я, дикарь какой?» «Значит, чувствуешь, кого к тебе посылают?» — возликовал секретарь. После этого уже не имело смысла спрашивать, почему именно он, Кунгурцев, должен принять великого киношника в свой выходной день, пожертвовать ему еще и воскресенье, поить, кормить, ублажать, лелеять и, главное, дать почувствовать, что такое Сибирь и сибиряки!..

Кунгурцев был директором завода абразивов, самого большого в Сибири. Этот завод, возникший еще до революции у залежей корунда и выросший с пятилетками до предприятия союзного значения, собрал вокруг себя поселок, уже претендующий на статус города. Избяной центр с горластыми петухами, кривыми огородамишками и кирпичевыми старухами на завалинках обрастал кварталами многоэтажных домов, где разместились магазины, парикмахерские, пошивочные, кинотеатры, учебные заведения, детские сады и ясли.

Завод царил над местностью. Из-за него на железной дороге, протянувшейся через всю страну, возникла станция, и асфальтированное шоссе соединило станцию с поселком, и другие дороги — бетонные и грунтовые — побежали во все стороны света от заводских ворот; из-за него ощерились крыши телевизионными антеннами, афиши оповещали о приезде столичных гастролеров, строились стадион и плавательный бассейн. Перестань завод существовать — и всякая жизнь тут захирела бы, а затем и вовсе покинула скудные, не родящие хлеб земли.

Понятно, что директор завода был царем и богом пространств, над которыми растекались дымы заводских труб. В его владения входила прозрачная, быстрая, холоднущая речка со старицей, делившей город надвое, островки, заросшие дикой смородиной, пойменные луга, голубеющие незабудками, тайга, полная по опушкам грибов, а в крепи — рябчиков, забытые черемухой овраги и балки. Кому же, как не ему принять и потешить суровыми сибирскими радостями знатного гостя!

И тут у Кунгурцева возник хитроумный замысел. Киношник придет из Иркутска электричкой, встречать его надо машиной. И для пикника с ночевкой у костра необходима машина. Выходит, шоферу его персональной машины придется работать в субботу и воскресенье. Он, конечно, даст ему отгул или оплатит сверхурочные, как тому будет угодно, но никогда еще не пользовался директор машиной для личных нужд. Правда, ему вроде бы партийное поручение дано, но все равно неловко. А Путя рад каждой возможности лишний раз покрутить баранку. Сколько лет водит, три машины сменил, а жадность к рулю как у начинающего. Коли живет в человеке извозчик, то какой бы пост он ни занимал, настоящая радость — погонять своих залетистых. Зовя Путя на помощь, а не просто в гости, он чувствовал себя словно бы менее виноватым перед Липочкой. К тому же Путя нужен не только как водитель, но и как хороший соотрапезник, сам Кунгурцев молчуней породы, да и в кино ни черта не смыслит.

Все эти соображения он изложил Марье Петровне. «Что ты крутишь,— усмехнулась она.— Хочешь увидеть Путя, ну и зови на здоровье». Но все-таки, позвонив Путе, который обрадовался до смерти и понес восторженную чушь, Кунгурцев заменил приглашение просьбой выручить. Путя сразу сник, решив, что зовут его одного на предмет обслуживания московских гостей. «Не беспокоить, старик, все будет сделано»,— сказал он погасшим голосом. Тут Кунгурцев понял, что перемудрил в своей преданности Липочке, но упорно придерживаясь окольных путей, сказал: «Учти — они приезжают в десять утра, их трое, значит, тебе придется сперва заскочить к нам, а потом налегке на станцию». «Будет сделано! — счастливо вскричал Путя.— Закину своих дам — и к поезду. Жди нас в девять ноль-ноль. Обнимаю».

Нет, все-таки он неплохо придумал: избежал прямого приглашения Путиной жены, устранил неприятные акценты, не погрешил против Липочки и сразу включил Путя в свои заботы, что должно было поднять того морально: Кунгурцев был убежден, что Путя изнемогает под веригами больной совести.

Прибыл Путя, как всегда, вовремя, с женой, падчерицей и собакой, великолепным своим Ромкой. Кунгурцев и Ромка, давно не видевшиеся, обрадовались друг другу до слез. На Ромкиной сизо-голубой короткой шерсти с коричневыми пятнами лежал отсвет былых безмятежных времен. Липочка в нем души не чаяла, но Ромка, настоящий охотник, а не домашняя забалованная тварь, признавал одного хозяина. Он и пищу принимал только из его рук, и, чем бы ни был занят, всегда помнил о нем, подбегал и заглядывал в глаза, будто желая убедиться, так ли он себя ведет и нет ли каких распоряжений. Калечась на охоте, он лечился только у Пути, лишь ему позволял осматривать ранки, выстригать лишнюю шерсть между подушечками лап, расчесывать шерсть, промывать глаза. Но при долгом отсутствии Пути он допускал заботы Липочки, только пищу не принимал от дикой тоски по хозяину, но воду пил, давал себя выгуливать и чистить щеткой, словно знал, что должен сохранять форму. И была у него милая привычка: нет-нет да и лизнуть Липочке руку как бы в знак признания ее права находиться при них с хозяином. Каждый такой нежный, горячий лизок заставлял колыхаться от счастья крупное Липочкино тело. Сама умевшая безоглядно любить, она была благодарна за каждый добрый жест в ее сторону, независимо от кого этот жест исходил: взрослого человека, ребенка или бессловесной твари.

Кунгурцев сразу понял, что у новой хозяйки и ее дочери контакта с Ромкой не получилось. Вера Дмитриевна просто не замечала его, а девочка только нервировала собаку бесцельными демонстративны-

ми окриками. Олечка казалась много старше своих четырнадцати лет: высокая, смуглая, совсем сформировавшаяся и обещающая стать красавицей, она мало походила на мать, забрав, видимо, все лучшее у отца. В ее поведении неуверенность сплеталась с гонором. Когда кунгурцевские огольцы с воем любовной тоски накинулись на Ромку, и внимания не обратив на прекрасную незнакомку, она пренебрежительно дернула плечом, вскинула голову, красиво натянув профиль, и громко, утверждая свою власть хозяйки, крикнула: «Ромка, на место!» — и пес с несвойственным ему рабым припаданием заполз под стол. Этот окрик обратил братьев к гостю. И до чего же скоро старший и средний поняли, что главное чудо дня не их старый, брыластый, слюнявый золотоглазый шерстяной друг, а загадочная смуглая чужеземка, вдруг оказавшаяся дочерью дяди Лешки. Только меньшей сохранил верность Ромке, но и тот в исходе дня на реке, когда лесной костер простреливал искрами тьму, предложил Олечке бежать на БАМ.

Парни Кунгурцева являли собой три ипостаси человеческой суги: в старшем, огромном, могучем и вроде бы чуточку ошалелом от избытка силищи вырвудубе, торжествовала плоть; средний — при всех потугах подражать старшему брату, что запутывало его в тщету физического соперничества, — становился самим собой, когда замирал над какой-нибудь машиной, чертежом или загадкой органической жизни, он принадлежал царству мысли; в одиннадцатилетнем Вениамине этой семьи цвела душа. Он редко позволял братьям заманивать себя в их бесовские игрища, всегда был сам по себе, паря в надзвездных пределах и внимая музыке сфер; его отношения с людьми, вещами и явлениями были исполнены недоступной другим тонкости и тайны, он мог быть пронзительно жалок своей невмещаемостью в привычные земные мерки, а мог и раздражать, мелочь пузатая, высокомерной отчужденностью и, как повелось с библейских времен, был любим отцом с мучительной нежностью и страхом. Но и эта преобладающая в нетях душа предала Липочку, бессильная противостоять колдовству женских чар.

Вера Дмитриевна была к псу не просто неприметлива. Порой он подбегал и, слыша на ней запах хозяина, с коротким фырком поддевал носом ее руку, но она никак не отзывалась. Кунгурцев решил, что пес хочет пить.

— Мы забыли миску, — рассеянно сказала Вера Дмитриевна.

— Да есть у него тут миска! — вскричал Кунгурцев, подчеркнув, что Ромка свой человек в доме.

Но Вера Дмитриевна не пошевелилась. Кунгурцев принес ему воды, тот понюхал миску издали, но пить не стал.

— Не любите собак? — спросил Кунгурцев Веру Дмитриевну с какой-то неприятной улыбочкой.

— По правде говоря, не очень, — отозвалась она спокойно.

— И ваша дочь тоже?

— Я бы не сказала. Но ее испугала в раннем детстве большая собака. Она даже заикаться начала, и я водила ее к логопеду.

— Как можно не любить собак? Ведь собака — это лучшее из всего созданного человеком.

— Алеша тоже так считает. Мне это не кажется убедительным. Взяли прекрасного, естественного во всех повадках хищного зверя и превратили в подхалима, льстеца и раба. Чему тут умиляться? Но человек так самовлюблен...

— Подхалима, льстеца? — перебил Кунгурцев. — Посмотрели бы вы на сторожевых овчарок, какие это льстецы!

— О чем вы говорите? — сказала женщина укоризненно и брезгливо. — Это собаки концлагерей.

— Черт с ними! — покраснел Кунгурцев. — А охотничьи псы? Какой ум, какая преданность!..

— Преданность — опять же к выгоде человека. А ум? Просто чутье и натаскивание, так, кажется, это называется?

— А Ромка? — не слушал ее Кунгурцев. — Разве можно не любить Ромку, Ромулю, красавца, умницу?

Она пожала плечами.

— Прекрасный пес... У меня никогда не было собаки, ни в детстве, ни... потом. Наверное, надо привыкнуть их любить. — Это прозвучало примирительно.

«Ты не крутись, не крутись! — рычал про себя Кунгурцев. — Не по-сибирски это. Сказала, что не любишь собак, так уж стой на своем, не оправдывайся, не изворачивайся, не хитри!..»

— Может, вы вообще не любите животных?

Она опять пожала плечами, углы рта опустились.

— Жалко их...

— Я не о жалости говорю, — наседал Кунгурцев, чувствуя, что становится неприличен в своей настырности, но не в силах взять себя в руки.

— Да что ты пристал, как банный лист? — разозлилась Марья Петровна. — Ну не любит! Успокоился? Она людей любит, — добавила со сложным выражением.

— Я не очень понимаю, что это значит, — тихо сказала Вера Дмитриевна. — Слишком уж отвлеченно.

— Поработали бы в больнице с мое, поняли бы!

— Возможно. Но я работала в канцелярии, и такого, как бы сказать... широкого чувства у меня не возникло. Люди разные, есть хорошие, есть плохие. Хотя что такое хороший человек? Для одних он хороший, а для других никуда не годится.

— Ну, так можно любое дело запутать, — сказал Кунгурцев.

Она явно имела в виду себя: вот, мол, для Путятина хороша, а для вас не очень-то. Разговор приобретал опасный оттенок.

— Ну, а если вместо «люди» мы скажем «народ» — тогда все станет ясно? — сказал он, довольный своей находчивостью.

— Несомненно! — Она чуть улыбнулась. — Но, кажется, это обязательно лишь для вождей и героев, а среднему человеку можно обойтись узким кругом. Я очень люблю тех, кого люблю, и могу только пожалеть, что их мало. Ведь любить так приятно.

«А Липочка всех любила!» — подумал Кунгурцев, не заметив почти открытой насмешки последних ее слов. Зато от Марьи Петровны это не укрылось, и она властно положила конец спору:

— Ладно! Каждому свое. Любим мы людей или не любим, а на стол накрывать надо.

— Я тебе помогу, — сказал Кунгурцев. — Да и Вера Дмитриевна не откажется.

— Пожалуйста, — отозвалась та вежливо, но без горячности.

— Хозяйничать не по вашей части? — осведомился Кунгурцев.

— По правде говоря, нет. — И сочла нужным пояснить: — У нас был тяжелый и безалаберный дом. Не знаю, говорил ли вам Алеша.

— Он нам ничего не говорил.

— Безбытно мы жили. Но это никому не интересно. Лучше скажите, что я должна делать.

«Должна»!.. Разве спрашивала об этом Липочка! Она засучивала рукава, повязывала фартук и начинала шуровать, аж дом трясся! Да ведь эта женщина впервые у них. Все равно, настоящая хозяйка пой-

дет на кухню, заглянет под каждую крышку, сунет нос в духовку, обследует холодильник и сразу поймет, что делать. Но Марья Петровна на кухню гостью не пустила, а поручила ей накрывать на стол:

— Скатерти, посуда и приборы в буфете.

Сами Кунгурцевы окунулись в непроглядь кухонного чада, где задыхалась тучная Анна Ивановна с вылезшими из орбит васильковыми глазами.

— Отдохните, мама,— попросил Кунгурцев.

— Не знаю, угодила ли,— жалобно сказала старуха.— У меня Липочкиного таланта нету.

— Тс! — прошипели зять и дочь.

Конечно, у нее не было Липочкиного таланта: одно перегорело, другое недожарилось, третье перепрело, но и у них его тоже не было. Они толкались, мешая друг другу, одновременно хватались за солонку или уксусницу, забыли нарезать хлеб, заправить салат майонезом, сунуть стручок красного перца в бутылку с разведенным медицинским спиртом. Всем скопом не могли управиться с тем, что легко, весело и незаметно делала одна Липочка.

Собачий лай и шум в прихожей возвестили о приезде гостей. Кунгурцев выступил им навстречу, но приезжие, дети и обезумевший вконец Ромка сплелись в какой-то невероятный клубок. Затем всю эту кутерьму загорела рослая фигура Пути.

— Боевое задание выполнено! — доложил он и, приметив за плечом Кунгурцева жену, хозяйничающую у стола, весело крикнул: — Уже запрягли тебя?

— Ничего ей не сделается,— проворчала Марья Петровна, продвигаясь в фарватере мужа.

— Так и надо! — ликовал Путя, счастливый, что жена вошла в быт Кунгурцевых.

Он рванулся к ней, очистив путь. И как-то сразу распался клубок у вешалки; ребята отпрянули к стенам, старший схватил Ромку за ошейник, притиснул к себе, а навстречу Кунгурцеву с высоко поднятой рукой и растопыренной для пожатия пятерней устремился великий киношник в сером клетчатом костюме, очень маленький, очень худой и очень старый. Он, конечно, и ведать не ведал о существовании Кунгурцева, пока бродяжья судьба не закинула его в этот забытый богом угол, но порыв его казался таким искренним, любовно-неудержимым, словно он чаял найти здесь свет истины и духовное исцеление. Пожатие его закиданной старческой гречкой костлявой лапки оказалось неожиданно сильным. «Оператор! — сообразил Кунгурцев.— Привык камеру таскать». И по-сибирски ответил на рукопожатие. Они сыграли вничью и остались довольны друг другом. Главный киношник был передан Марье Петровне, а Кунгурцев познакомился с толстым лысым администратором группы Буройгой и милотливой ассистенткой Леночкой. Тонюсенькая, с великоватой головой, с виду совсем дитя, Леночка поспешила сообщить, что окончила киноинститут и могла бы претендовать на должность второго режиссера, но пошла ассистенткой, лишь бы поработать с таким мастером. «Так он режиссер!» — смекнул Кунгурцев.

Воспользовавшись тем легким замешательством, какое обычно предшествует началу пиршества, Кунгурцев отвел ассистентку Леночку в сторону и сказал заговорщицким полупшепотом:

— Вроде бы неудобно спрашивать...— И чуть замялся.— Но что поделаешь, наш уважаемый гость, он, извините...

— Не знаю,— быстро сказала Леночка и покраснела.— В таких вопросах я не ассистирую.

Она решила, что Кунгурцев хочет узнать, не нужно ли тому в отхожее место.

— Я не о том,— заверил еще более смущенный Кунгурцев.— Видите ли, я редко хожу в кино, телевизор вообще не смотрю и ужасно отстал. Какой последний фильм нам подарил...

— Господь с вами! — перебила Леночка почти возмущенно.— Ну конечно, африканская эпопея!

Кунгурцев покаянно хлопнул себя по лбу. На самом деле документальную кинематографию он вообще не знал, если исключить киножурналы, которые показывают перед сеансами. Но, конечно, старый зубр не занимается такими мелочами.

— А как вы к нему обращаетесь? — поинтересовался он.

— Шеф. Еще со времен института, я кончала у него. Но и вся студия так его зовет. Он же основоположник...

И тут позвали к столу.

Во главе стола посадили знатного гостя, по правую руку от него Марию Петровну, а по левую Путю. Кунгурцев сел рядом с женой, чтобы свободно лицезреть Путю, возле него села Леночка, дальше — вся ребятня, а напротив — Бурыга, Вера Дмитриевна и теща. И вот когда наконец все разместились и Путя, перегибаясь через стол, простираясь в самые дальние концы, словно стрела подъемного крана, разлил по рюмкам и бокалам водку, вино, ягодный напиток, ощутил Кунгурцев набухшим сердцем, как не хватало ему Пути все последнее время, как соскучился он по его милой худобе, чуть сжатой в висках голове, теплым карим глазам, ухватистым, ловким рукам и мягкозвучному полюсу.

Но день этот был не Путе посвящен, и первый тост подняли за приезжих. Умно усугубив сибирскую немногословность, уведя в глубочайший подтекст те дары, коими обогатили отечественное киноискусство чествуемые, тонко и загадочно выделив шефа, не назвав его священного имени, словно на нем лежало табу, Кунгурцев сообщил своему тосту какой-то таинственный блеск. Но и режиссер не ударил лицом в грязь, сведя в ответном тосте сибирские пространства с необъятностью сибирского гостеприимства, восславив Дом, Семью, Хозяина, чье имя он, несомненно, успел забыть. На этом с официальной частью было покончено.

Всё навалилось на еду, а Кунгурцев предался умиленному разглядыванию Пути. Как у него все ловко получалось: он не забывал о режиссере, шутил с Марьей Петровной, подкладывал соседу Бурыге, который рубал так, будто его только что вывезли из голодающей Эфиопии, успевал и сам выпивать и закусывать, заводил молодежь и не давал погаснуть общему разговору. Путя много знал и не пускал словесных пузырей. Он мог говорить о ловле хариуса и омуля, об охоте на сайгака и изюбра, о сибирских цветах и травах, зверях и птицах, об автомобилях и самолетах, о водных богатствах и недрах края, об изыскательных работах и стройках, о проблемах БАМа и новейших технических достижениях, о мировой науке и о декабристах в Сибири, что было его любимой темой. О том же, чего он не знал или знал плохо, Путя помалкивал. И охотно слушал, что говорят другие. Но главное, это был тот Путя, чей бок столько раз прижимался к боку Кунгурцева на студеных ночевках во время медвежьих или сайгачьих охот, с кем встречали зори и рассветы, с кем бедовали и тонули в походах и с кем не страшно будет встретить старость.

Но наслаждаться лицезрением друга Кунгурцеву никак не удавалось. Великий киношник требовал слишком много внимания прежде всего тем, что ничего не требовал, от всего отказывался и умолял не

замечать его. Прижимая худые руки к груди, он заклинал не наливать ему — не пьет, давление, ишемия, не подкладывать на тарелку — воробьиный желудок не вмещает пищи. Приходилось упрашивать, улаживать, чуть не в ногах валяться: «Попробуйте хоть омулька, особого копчения, с душиком!» Долго ломается, вопит: «Куда столько? Вы злодей!» — потом со вкусом съедает, неумеренно хвалит и зовет к администратору Бурьге, который с набитым ртом кивает и лупит воловь глаза. А ты принимаешься сызнова: «Грибочки собственного засола, вы обязаны попробовать!» Опять долгое сопротивление, затем энергичная работа худых челюстей: «Божественно!» «А теперь пирожка с капустой, этот кусочек прямо на вас смотрит!» — ну как с маленьким. И главное — он все ел, да и пил, как вскоре выяснилось, не хуже людей. С ужасом отказавшись от домашней перцовки — в разведенный медицинский спирт брошен стручок крепкого болгарского перца, — он с видом пай-мальчика подливал себе вишневки безобидного красного цвета, но в том же серьезном градусе.

У Кунгурцева мелькнула недобрая мысль, что настойка уложит режиссера на лопатки и они поедут на реку своей компанией. Но этот эльфический, или, как сказала бы теща, бескишечный, человек обладал завидной выносливостью. Он не пьянел, но все добрел, лущился и как-то странно увеличивался в объеме, поглощая все, что не было им. Маленький, хрупкий, со слабым сиповатым голосом, он подчинил себе застолье. Кажется, у Чехова встречается мысль, что на сцене короля играют окружающие, воздавая ему королевские почести. Администратор Бурьга, отрываясь от насыщения, и Леночка, клевавшая, как птичка, тоже «играли» короля, причем у Леночки это шло вовсе не от ассистентского подобострастия — от преклонения перед мастером, который к тому же был ее учителем. В свои игры они замешали сперва детей, а потом и взрослых участников застолья. И теперь уже короля «играли» все, и он, сам того не желая, возвысился и распространился. Кунгурцева как хозяина радовало, что гостю оказан почет, но ему стало не хватать Пути. Тот был неважным придворным и предпочел уйти в тень.

Устав от челюстной работы, администратор Бурьга шумно вздохнул и во всеуслышание объявил, что Байкал гибнет.

— Почему? — всплеснул худыми руками режиссер.

— Разрешили возить нефть баржами, а при заливке определенный процент неизбежно попадет в воду. А Байкал замкнутый водоем.

— Сколько я себя помню, — заметил Кунгурцев, — Байкал всегда погибал. Да ведь не погиб.

— Его спасли в кино, — со смехом сказал Путя. — Помните, чем кончается фильм «У озера»? Стаканчиком чистой, как слеза ребенка, байкальской воды.

— На целлюлозном комбинате и сейчас угощают такой водичкой, — заметила Леночка.

— Только приезжих, — сказала молчаливая до сих пор Вера Дмитриевна, — местных на туфту не возьмешь.

— Сколько я себя помню, — повторил Кунгурцев, которому не нравился этот разговор, — Байкал всегда погибал, а вон — даже омуль восстановился.

— Тоже мне омуль! — сказал Путя. — Настоящий омуль жиром плавится.

— Байкалу ничего не будет, — неожиданно отчетливым, ясным голосом произнес режиссер, словно читал по книге. — Вся нефть унесет Ангара. Заливка барж будет производиться ниже ее истока.

— А как же со сливом нефти, или там не происходит утечки? — вмешалась Марья Петровна.

Ей-то чего было вступать? Вопрос повис в воздухе. Режиссер прикрыл глаза, после каждого усилия жизни ему требовалось некоторое время на восстановление. Сам Кунгурцев не был в курсе проблемы, а всезнайка Путя сидел с пустым, отсутствующим лицом. И тут Кунгурцев понял, как трудно жил его друг последнее время. В мучительной раздвоенности, душевном смятении, в постоянной лжи, а ее не избежать, как бы чисто ни вести дело, ведь умолчание та же ложь, он терял себя, свой широкий, жадный интерес к жизни, видно, и не читал ничего и, разумеется, отстал, он-то, привыкший быть всегда на острие событий. Бедный, бедный Путя! Тяжело поворачивать дышло судьбы на старости лет. И Кунгурцеву захотелось сделать для Пути что-то хорошее, доброе, немедленно сделать. Он приподнялся и громко:

— Вера Дмитриевна, за ваше здоровье!

Она удивленно вскинула брови, слегка поклонилась ему и отпила немного вина. Кунгурцев схватил свою рюмку духом и со стуком поставил на стол.

Ловя маринованный масленок вилок, Кунгурцев увидел Путино лицо, выражавшее не простую дружескую благодарность за внимание, оказанное его жене, а что-то весьма дрянное: какую-то рабью преданность. «Хочешь — залаю? Хочешь — к ногам подползу? Велишь — убью!» — такую вот низкую готовность прочел он на искаженном уродливой гримасой благодарности лице Пути. И было это — как смертный приговор Липочке. Лучше бы не вылезать ему со своим тостом. Тем более что Вера Дмитриевна не приняла его подачку. Безразлично ей, что ли, отношение Кунгурцевых, или это какая-то душевная тупость, черствость или, что еще хуже, презрительная самоуверенность? Но Алешка!.. Продался со всеми потрохами за один любезный жест в сторону его жены. Не бывало такого между ними. Они все принимали друг от друга как должное, без благодарности да и без обиды. Докатались, нечего сказать!..

Кунгурцев помрачнел, отключился от происходящего, забыл о своих обязанностях хозяина. Когда же вновь вплыл в действительность, то услышал, как захмелевшая Леночка толковывала что-то через стол трезвой и невозмутимой Вере Дмитриевне:

— Он так много видел!.. Где только не бывал!.. Все величайшие события истории прошли перед ним. Он снимал первую мировую войну, Временное правительство, штурм Перекопа, приезд Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд в Москву. Он снимал убийство Распутина...

— А Голгофу он не снимал? — спросила Вера Дмитриевна.

«А она злая!» — подумал Кунгурцев.

— Нет. Это событие потом преувеличили. А он в это время снимал Тиберия на Капри, — без запинки ответила Леночка.

«Молодец, девочка! Хорошо отбрила!» — одобрил Кунгурцев.

— Он видел столько великого, что стал ценить лишь простую жизнь, — продолжала Леночка. — Он говорит, что настоящий второй план есть только у повседневности.

«Ай да старик!» — восхитился Кунгурцев.

После изобильной закуски и грибных щей с пирогами от котлет все дружно отказались. Попили смородинового киселя с медовыми коржиками, и Путя пустил в потолок пробку от шампанского.

— Теперь я понял, что такое сибирское гостеприимство, — сказал режиссер, чокаясь с Кунгурцевым.

«Э, милый, побывал бы у нас раньше — ты бы действительно по-

нял, что такое сибирское гостеприимство, узнал бы, каким сладким может быть каждый кусок, когда его напугают ласковым уместным словом! Натрескаться, как Бурыга, можно в любой столовке, а настоящее застолье — тонкое искусство, которым мало кто владеет. Была у нас одна, что владела и заставляла всех плясать под свою веселую дудочку. Люди брюхо набивали, а за плечами у них крылышки отрастали, каждый вставал из-за стола облаканный, уваженный, подобреший и даже тяжести от наших сытных блюд не чувствовал. И все были — как с одного корабля. А здесь всяк своему нраву служит. Один вон рыгает, прикрываясь для вида толстой рукой, другая тень на плетень наводит, третья вовсе отсутствует, главный гость дремлет, а хозяйка радуется, что котлеты остались и не надо на ужин горячего готовить, сам же хозяин растекся, как дерьмо в оттепель. Да, есть еще Друг дома, продавшийся со всеми потрохами за лживый тост. Ну да ладно, могло и еще хуже быть...»

Заметив, что он погрузился, Марья Петровна улучила минуту и шепнула ему на ухо:

— Наш гость от тебя в восторге. Наконец, говорит, увидел настоящего сибиряка!

«Слабак я, а не сибиряк», — подумал Кунгурцев.

Сборы в лес были по преимуществу мужским делом, и тут особенно блистал Путя. Сказывался навык заядлого путешественника, охотника и рыбака. Но сегодня он превзошел самого себя. Все так и горело у него в руках. Женщины еще возились на кухне с судками, мисками и кастрюльками, а он уже упаковал и погрузил в машину одеяла, подушки, посуду, термосы с кофе, складные металлические стульча, полиэтиленовый мешок с костями для Ромки и «тысячу мелочей», необходимых для ночного лагеря в тайге.

Наконец все было собрано, и первая партия в составе водителя (он почему-то стал называть себя «драйвером» — от избытка восторга, что ли?), Веры Дмитриевны, московских гостей и Кунгурцева отправилась в путь. Им надлежало заехать сперва на пристань и взять из лодочного сарая палатку и надувную резиновую лодку. В последний миг из подъезда выметнулся с воем Ромка и зацарапал передними лапами в боковое стекло, умоляя взять его с собой. Сидевший впереди Кунгурцев открыл дверцу и взял его к себе на колени, трогательно худого и легкого. Пес дрожал и поскуливал, потрясенный невиданным предательством хозяина.

«Драйвер» Путя повез их почему-то дальним путем, мимо больницы, где работала Марья Петровна, нового кинотеатра и строящегося бассейна. Кунгурцев хотел было указать другу на его ошибку, но сообразил, что Путя нарочно избрал окольный маршрут, дабы показать москвичам кунгурцевские владения с самой выгодной стороны. Путя так ловко маневрировал, что несколько раз им открылись в очень выгодных ракурсах и здания заводских цехов, и заводоуправление, и новая проходная.

Кунгурцева и умиляли и чуть раздражали наивные потуги друга поразить выдавшего виды кинозубра зрелищем завода средней руки. И тут режиссер обнаружил, что и впрямь обладает незаурядной наблюдательностью и профессиональным опытом. Своими старыми, захламленными, слезящимися глазками он уловил в глубине заводского пейзажа почерневшее одноэтажное здание бывшей заводской конторы, где до революции производился расчет с рабочими. Это зданьеце было сознательно оставлено на территории завода при всех перестройках как своего рода памятник. У Пути было любимое словечко «усечь», каким он обозначал высшую степень сметливости, сообразительности. Старый режиссер сразу все усек про контору:

— Молодцы, что сохранили эту развалюху, пусть люди видят, с чего начиналось.— И стал засыпать Кунгурцева короткими, четкими вопросами, и все о нужном, важном.

Директор отвечал с охотой, хотя и в обычной своей неторопливой манере. Внезапно режиссер замолк.

— Больше вопросов нет? — с улыбкой спросил Кунгурцев.

Старый человек не ответил, он спал, мгновенно скошенный усталостью и всем выпитым за обедом.

Он проснулся на пристани — так пышно именовали дощатый причал владельцы местного флота: моторного, весельного, парусного. Открыл глаза, охватившие в мути и распыле незавершенного пробуждения нутро машины, а снаружи лодочные сараи, широкую быструю речку, тайгу на другом берегу и небо всюду, где не земля, и обрадовался своему возвращению в этот прекрасный мир.

— Кажется, я вздремнул?.. Ваш учитель, Леночка, явно стареет.

Из сарая появились Кунгурцев и Путятин, волоча по здоровенному оранжевому мешку. В одном находилась палатка, в другом лодка. Казалось, никакая кладь не влезет в перегруженную машину, но уверенный и бодрый Путятин, сочетая богатырскую размашистость движений с точным глазомером, что-то переложил, что-то сдавил, умял, машина вроде бы раздалась, а пассажиры на заднем сиденье слепились в плотный ком, и два громадных мешка нашли свое место.

Путятин дал задний ход, чуть не въехав в реку, развернулся, на первой скорости одолел крутой подъем и по грохочущему деревянному мосту перемахнул на другую сторону. Он погнал машину извилистой лесной дорогой, по узловатым корням сосен и елей, стреляя шишками из-под колес, затем круто забрал к реке и ухнул в зеленую глубокую траву пойменной луговины. Машина прошла будто зеленым тоннелем и стала у самой воды.

Быстро разгрузив машину, Кунгурцев и Путятин надули резиновую лодку, после чего «драйвер» умчался за оставшимися — Марьей Петровной и ребятней.

Режиссера усадили на складной металлический стул, а Кунгурцев сволок резиновую лодку в воду и стал пружить в нее тюки и корзины. Режиссер подумал о том, что скромный пикник на берегу таежной речки по своей фундаментальности и громоздкости стоит хорошей киноэкспедиции. Но киношникам, чтобы разбить лагерь, понадобилось бы неизмеримо больше людей и времени. Здесь же Кунгурцев принял помощь лишь толстого Бурьги, а Леночку отослал собирать незабудки. Вера Дмитриевна ушла в глубь берега, где колыхались розовые копыя рослого кипрея. Ромка как оглашенный носился по берегу, забегал по брюхо в воду, всплывая с лозин желтеньких камышовок. Режиссер прикрыл глаза в тихом умиротворении, но, как нередко бывало, память подсунула то, что никак не вязалось с окружающим. Залитая кровью арена, истыканные бандерильями лопатки и спина опромного быка, подушки, о которые спотыкался плотный и бледный матадор с кровавой раной в паху. Это было в Толедо, когда проколотый рогом Домингин никак не мог поразить своего последнего быка. Режиссер открыл глаза. Он видел слишком много крови в своей жизни, и не только на войне. Кровь проливалась всюду, где люди стремились сделать что-то из ряда вон выходящее, будь то строительство гидростанции, бой быков, штурм Эвереста или финиш марафонской дистанции на Олимпийских играх, когда победитель рухнул с горловым кровотечением. Из него тоже выпустили при разных обстоятельствах немало крови. Он возненавидел ее цвет, запах и солоноватый вкус. Резиновая лодка, в которую уселись Кунгурцев и Бурьга, была изнутри тоже цвета крови. Режиссер отвернулся.

Приятен был вид густо-зеленой осоковой травы, мелькающего в ней пестрого тела Ромки, розового кипрея, окаймлявшего луговину, и белой женской кофточки.

Но прошло немного времени, и ему пришлось опуститься на дно ярко-красной изнутри лодки, будто в лужу крови. Это было омерзительно до содрогания, но он ничем не выдал себя.

Сильное течение подхватило лодку и понесло. Кунгурцев налег на слабенькие алюминиевые весельца и направил лодку к противоположному берегу. Рубашка его расстегнулась, обнажив волосатую загорелую грудь в полосках пота от шеи к седой поросли. Крепкий брюшной пресс ходуном ходил. Маленький режиссер, скорчившийся на дне лодки, следил за трепбом с удовольствием, отдающим легкой печалью. Что может быть лучше молодости и здоровья? Пятидесятилетний Кунгурцев казался ему молодчиком. «А сколько мне лет?» — подумал режиссер и не мог вспомнить. Давно уже это ему не удавалось. А что, если он был всегда? И всегда будет? Как редчайшее исключение природа дарует своим любимцам жизнь вечную. Он знал нескольких знаменитых людей, твердо решивших никогда не умирать. Почему бы и ему не стать одним из них? Для этого требуется, коли ты избранник, немного — избегать очевидных глупостей. Вот Тициан уже ступил в бессмертие, да не уберется от чумы — сам виноват. А он видел одного пастуха в Менгрелии, который живет несколько столетий и давно перестал вести счет годам. Но ему вроде бы рано забывать свой возраст. «Какой склероз!» — восхитился режиссер. У него не было страха перед склерозом, ибо знал: на съемочной площадке и в монтажной он будет делать свое дело так, будто у него сосуды двадцатилетнего. Склероз минует профессиональные навыки человека, а бытовая чудаковатость даже украшает стариков. Но соглашаться надо только на бессмертие, долгожительство — чепуха. Вот считается, что далеко дней его начало, а он помнит, как мать намыливала его в детской цинковой ванне и он хлопал себя по скользкому тугому животу, словно это было вчера. Все конечное быстро, как вспышка молнии, одно лишь бессмертие протяженно.

Что-то ткнулось в руку режиссера, которой он держался за округлый борт лодки. Это был Ромка, плывший за ними с высоко вскинутой над водой шоколадной мордой. Но достигнув стрежня, пес сообразил, что хозяин остался на том берегу, и повернул назад.

Уже вблизи другого берега им пересекла путь длинная лодка, выплывшая из-за поросшего черемухой островка. В лодке сидели старик со старухой. Они плыли по течению, и старик лишь чуть шевелил кормовым веслом. Дно лодки было заставлено плетеными корзинами, доверху полными дикой смородиной — красной и черной. Поравнявшись с резиновым пузырем надувной лодки, старик приподнял картуз над белой лысиной, а старушка приветливо улыбнулась.

— Вечер добрый, — сказал Кунгурцев. — С удачей вас. По островам собирали?

— По островам, — подтвердил старик, и лодка скользнула мимо.

Кунгурцев помог режиссеру вскарабкаться по круче высокого берега. Здесь за старыми соснами, утопившими в реке струистые отражения своих крон, оказалась круглая полянка, местами ярко-зеленая, местами побуревшая в утомлении долгого жаркого лета. На буром горели кинovarью слившиеся в большие лепешки лиственных маслята. А стояло чуть напрячь зрение — и между корнями сосен по краю леса виднелись проклюнувшие землю и хвойный настил головки других маслят, опалово-бледных и склизких. Кунгурцев предложил Леночке и Бурыге набрать грибов, а режиссеру снова устроил трюк в тени, отбрасываемой сосновой лапой.

Режиссер послушно сел на складной стул, как бы провалившись в самого себя. Ему нравилось беспрекословно подчиняться чужой и разумной воле. Кажется, никогда в жизни не чувствовал он себя так хорошо, спокойно и защищенно, как в этот день, когда незнакомые люди взялись его опекать. Напротив на обгорелый пенёк опустилась пестрая кедровка и принялась доверчиво и заинтересованно разглядывать пестрого человека своими круглыми охрыными глазками. И режиссер стал рассматривать кедровку своими выцветшими, но не утратившими зоркости глазами. Они приглянулись друг другу — птица и человек. И жаль было, что кедровку вспугнул невидимый враг.

Кунгурцев распаковал тюки, разостлал по земле надувной пол палатки и убедился, что ножной насос, давно уже барахливший, совсем отказал. Придется надувать ртом. Но это можно сделать только вдвоем, дуя с двух концов, одному сроду не справиться. Грибник Бурьга исчез в зарослях, старик режиссер — без пользы, даже если испустит дух в этот матрас; придется ждать Путя. И вспомнив о Путе, Кунгурцев с ужасом обнаружил, что забыл на том берегу его жену.

Господи, да как же это могло случиться? Когда он перевозил режиссера и Леночку, Вера Дмитриевна обрывала кисти рослого иванчая. Он зацепил рассеянным, словно не видящим взглядом ее светлую кофточку, но то ли как-то не связал, то ли... Значит, верно, что человек должен отвечать за все, что щедро приписывают случаю: внезапную забывчивость, двусмысленные обмолвки, неловкие жесты, причиняющие кому-то боль, — это все знаки творящейся внутри нас подспудной жизни, более искренней и подлинной, чем наше внешнее, сознательное поведение. Он смекнул произнести фальшивую здравицу в ее честь, но он же забыл взять ее в лодку. Он не оставил на берегу ни безликого Бурьгу, никакой малости из поклажи, но забыл жену своего друга, притворившись перед самим собой, что не узнает ее светлой кофточки среди розовых цветов!..

Хорош!.. Что он скажет Путе? Но этого придумать он не успел, потому что Путя сам предстал перед ним в плавках и резиновых сапогах, совсем сухой, только головки сапог блестят от воды.

— Ты что, как святой Иорген, прошел по воде? — спросил Кунгурцев, балдея от собственного нахальства.

— Рыбаки перевезли. А ты вроде забыл о нас? — сказал Путя напряженным голосом.

— Кто знал, что вы такие быстрые! — Кунгурцев поймал ариаднину нить и уверенно двинулся вперед. — Цветочницу свою нашел?

— Какую цветочницу? — Голос все еще был напряженным.

— Жену, кого же еще? Так кипреем увлеклась, что забыла обо всем на свете.

— А-а!.. — сказал Путя с облегчением, как человек, готовый принять любую ложь, если в ней будет хоть видимость правдоподобия. — Собрала опромный букет, да он сразу обвял. Ладно, сейчас я их всех перевезу.

— А потом купаться? — радостно сказал Кунгурцев.

— Как положено!..

...Кедровка, так внезапно покинувшая обгорелый пенёк, успела зачаровать старого человека. Несомненно, ее охряные блестящие круглые глазки излучали колдовскую силу, раз после ее исчезновения начались странности. Сперва появился голый человек в сапогах, толкнув мысль режиссера к резервации сиуксов, жалких остатков некогда могучего, гордого племени, ныне безропотно вымирающего, он снимал их когда-то и курил трубку со старым, больным, полупьяным вождем; затем сиукс исчез, но возникли современного обличья мужчина и женщина и стали сыпать на землю возле него грибы. Вско-

ре выросла целая гора, и он испугался, что гора эта непременно рухнет и погребет его под собой. Вот и пришла та глупая случайность, которая перечеркивает избранничество. Тициана сгубила чума, Коненкова — сквозняк, а его — грибная гора. И тут она действительно рухнула, не причинив ему даже малого вреда. И сразу он увидел множество людей, среди них были совсем юные, исполнявшие какой-то дикий, видимо ритуальный, танец вокруг девочки с длинными смуглыми ногами. Потом вернувшийся сиукс вместе с тучным гринго легли на живот и стали с двух концов надувать огромную плоскую шкуру. Шкура вспучивалась, дышала, росла, набухала опасностью, но режиссер вдруг перестал бояться. Нечто подобное уже не раз бывало с ним: лесная чаща и зверь, изготовившийся к прыжку, и чей-то глаз, берущий на мушку его висок, и целящийся из лука, и чья-то рука, занесшая топор. Но настоящее так быстро превращается в прошлое, что стоит перетерпеть всего лишь мгновение — и ты спасен, ибо пуля, стрела, взблеснувший топор и отверстая пасть уже оказываются в прошлом.

Поэтому он не двинулся, не изменил позы, лишь смежил утомленные веки, а когда вновь открыл их, вместо раздувающегося зверя стоял ладный оранжевый домик, а в руку ему тыкалось что-то теплое и аппетитно пахнущее.

Отхлынула муть экзотических видений, продолжалась неспешная, безопасная, основательная сибирская жизнь. Он взял в руку котлету, а в другую синюю, с золотым ободком рюмку. Сиукс, обратившийся в симпатягу Путяттина, стал наливать из бутылки, в которой плавал красный стручок перца.

— Путя,— укоризненно сказал гринго Кунгурцев,— ведь есть же вишневая.

— Нет-нет, я хочу как вы! — воскликнул режиссер и с неожиданным проворством сбросил себя со стула и, собравшись в коротком полете, предстал стройным, элегантным, сухощавым джентльменом.— За тайгу! — сказал режиссер и опрокинул рюмку в рот.

Кунгурцев последовал его примеру и позорно поперхнулся. Он думал, что пьет ту же перцовку, что и за обедом, но Путя то ли по ошибке, то ли из ненужного удалства сунул стручок перца в неразбавленный девяностоградусный спирт.

— Прелесть! — сказал режиссер.— Прямо дух захватывает. И крепко, и вкусно. Я не откажусь еще от рюмочки.

Они повторили, и режиссер с довольным видом опустил на стул и стал жевать котлету.

— С ума сошел? — зашипел Кунгурцев на Путию, отведя его в сторону.— Он же загнуться может.

— Ты ни черта не понимаешь. Это железный старик. Он нас всех переживет. А спиртику я на послекупанье приготовил. Купнемся?

— А как же! — счастливым голосом сказал Кунгурцев.

Для него не было большего удовольствия, чем искупаться в ледяной воде горной речки. Но, кроме Пути, никто не соглашался составить ему компанию.

Путя побежал за полотенцами, а Кунгурцев, весь как-то помолодев, хотел пригласить на реку случившегося неподалеку Бурьгу, но осекся, увидев его остекленевший взгляд и могучую работу челюстей, уничтожавших засунутую в батон котлету. Другую котлету и полбатона Бурьга держал в руке.

— У старых киношников,— раздался нежный голос Леночки,— есть негласное правило: ничего не оставлять врагу. Это означает уничтожать даровые харчи без остатка.

Кунгурцев усмехнулся чуть натянуто. Его коробило от такого

рода остроумия. Зеленые глаза Леночки блестели. Стоило ей чуть выпить — и вместо восторженной прозелитки десятой музы пробуждался другой человек: наблюдательный, насмешливый, со злинкой. И очень легко было представить, какой она станет, когда осыплется с ее острых черт пыльца юности и придет тяжелая зрелость со всеми неизбежными разочарованиями. «Дай бог тебе, хорошего мужа, дочка», — от души пожелал ей Кунгурцев, но, разумеется, не вслух...

...— Если ваш муж был так плох, что же вы раньше не ушли от него? — спросила Марья Петровна.

— А вы много видели женщин, которые уходили бы от мужей ни к кому и никуда? — ответила Вера Дмитриевна. — К тому же с ребенком и с такой жалкой профессией, как у меня, — секретарь-машинистка.

— Знаете, милая, это все-таки странно...

— Ничего странного, уверяю вас.

...Вода в этой быстрой речке не прогревалась за день, и войти в нее легче на ранне, когда воздух пронзительно свеж, а траву вяжет утренник, нежели в теплый, облаканный солнцем подвечер. Студь мозжит пальцы ног, подкатывает к сердцу, сжимая его, и вот-вот задушит. Кунгурцев и Путятин, оба голые, стоят на мелководье, обхватив себя накрест руками, и трясутся, диковато и неनावистно поглядывая друг на друга, ибо соглядатай — это помеха к отступлению, к бегству, и вдруг не сговариваясь, но всегда одновременно ныряют с головой.

Обожженные холодом, они почти теряют сознание и выныривают заочневшие, но счастливые, визжащие, хохочущие. Сердце уже боролось за себя, мощно разгоняя кровь по жилам, с каждой секундой прибавлялась бодрость, переходя в жеребчий восторг. Два немолдых и солидных человека ведут себя, как деревенские мальчишки. «Ухожу под воду!» — торжественно объявляет один и, сверкнув белым задом, ныряет на дно. И знает, что другой уже повторил его подвиг, не потеряв и мгновения. Вода чиста и прозрачна, не надо закрывать глаз. Они видят желтый песок, и галечник, и пузырьки бьющих со дна ключиков, косые стайки мальков, изредка зеркально взблеснет крупная рыба; в нежно-зеленоватой притеми они различают то бронзовые, то синеватые — по освещению — тела друг друга и вступают в мучительную борьбу, кто дольше продержится под водой. Обмирает сердце, сейчас лопнут остекленевшие сосуды, но, проклиная упорство другого, они держатся, пока вода сама не выталкивает их на поверхность. И выныривают неизменно в один и тот же миг. Кажется, этого опыта достаточно, чтобы отбить охоту к подобным состязаниям, но, чуть отдышавшись, они начинают нырять на дальность. И занимаются этим до спазмов, до судорог. Но вдруг один будто отключился и с сосредоточенным видом что-то ищет под берегом. Тотчас же другой принимается исследовать изножье тальника на островке-кочке. Результат этих напряженных поисков — какая-нибудь осклизлая коряга или полусгнившая деревянная уключина. Найденный предмет швыряется на середину реки, и за ним с паническими воплями устремляется Ромка. С самого начала речной феерии томится он на берегу, тихонько поскуливая, ему строжайше запрещено лезть в воду, пока боги наслаждаются купанием. Теперь наступает его звездный час. И любимый хозяин и любимый друг хозяина поочередно швыряют ему палки, коряги, сучья, корни, силясь забросить как можно дальше и вместе с тем приметно для Ромки. Верному псу невдомек, что они снова соперничают, и он служит каждому с равным усердием.

Впервые за годы совместных поездок на реку Кунгурцеву каза-

лось, что Путя получил какой-то перевес над ним. Здоровьем они не уступали друг другу, Кунгурцев был чуть подюжее, Путя чуть полоче, и, в общем, у них все получалось так на так. Но сегодня Путя и пронирывал дальше, и палок ему больше под руку попадалось, и кидал он их удачнее. Подъемная сила приставных крыл помогала Путе, жаль только, что крылышки эти оплавятся раньше, чем он достигнет солнца. И когда, не вытираясь, в мокрых трусиках — это тоже входило в ритуал, — лишь глотнув обжигающего спирта, они двинулись к стойбищу, Кунгурцев сказал то, что накопело на сердце:

— Что же все-таки будет с Липочкой, Алеша?

— Не надо, — сказал Путя и весь сморщился, как обезьяний детеныш. — Не надо... Липочка — это моя боль.

И Кунгурцев замолчал, обезоруженный жалкими словами...

На реке было светло, лишь огнистый язык из-за леса облизывал с исподу белые облака, медленно плывущие по голубому легкому небу. Но наверху, на поляне, тени по-вечернему сгустились, засмуглела трава, потемнела хвоя. Далеко-далеко, в глубине тайги, багровел грозный августовский закат, не даря ни отсвета сумеречной чащи.

Женщины чистили грибы, снимая ногтями, как чулок, склизкую кожицу со шляпок сосновых маслят, а сухую кожицу листовичных маслят соскребывая ножом. Очищенные грибы они кидали в десятилитровую кастрюлю. А рыжики и обабки откладывали в сторону, имея на них какие-то особые виды.

— Дайте мне, милая, вон то ведро, — попросила Марья Петровна.

— Вы все время называете меня «милая». Я вам действительно так мила? — спросила Вера Дмитриевна...

...С Кунгурцевым творилось что-то неладное. Холодная, свежая вода, яростные мужские игры, возня с Ромкой, голое молодечество обернулись вместо ожидаемой радости тихой, щемящей тоской. Что тому виной — несостоявшийся ли разговор с Путей на реке или какие-то более тѣжные потери, которые он и сам еще не постиг, сказать было трудно, но если во время купания ему почудилось, что все еще может наладиться, что главное сохранилось, то сейчас верх брало другое: ничего не налаживается, ничего не сохранилось.

Его тоску усугубляло бездарное поведение Пути. Тот наверняка чувствовал, что другу не по себе, но, вместо того чтобы как-то приладиться к нему душой, принялся грубо богатырствовать, теперь уже вокруг костра. Он то и дело нырял в чащу и возвращался с чудовищными охапками хвороста. Ветви царапали его голую кожу, но он ничего не замечал весь во власти своего тупого ликования. Он притаскивал громадные сучья и обрубал ветви небольшим острым топориком, аж звон по тайге шел. Здорово у него получалось, и если он хотел привлечь внимание жены своими подвигами, то вполне преуспел в этом. Она отложила нож, сняла фартук из газет и подошла к Путе. И Кунгурцев понял, что вся его тоска, весь душевный неуют идут от этой небольшой тихой женщины с усталыми глазами и грустным ртом, которая держится так неприметно, но мешает всему.

Кунгурцев отвернулся и стал складывать костер.

Подошла Марья Петровна.

— С ума не сходи, оденься.

— А Путя? — Это прозвучало совсем по-детски.

— Ну, Путя в таком разогреве... Он сейчас может без штанов хоть на Северный полюс.

— Это верно, — упавшим голосом сказал Кунгурцев.

— Ты что смутный такой? — Марья Петровна внимательно посмотрела на мужа. — Завидуешь ему, что ли?

— Чему завидовать-то?
— А как же? Молодожен. А ты при старом барахле остался.
— Я с ним не меняюсь.
— Еще чего не хватало! А все-таки завидно. Ладно, работай, за-
позднились мы с костром. А вещи твои я сейчас принесу.

Подобная заботливость была не в привычках Марьи Петровны, это и тронуло и насторожило Кунгурцева. Видать, жалок он ей по-
казался. И что это за шуточки насчет его зависти к Пуге? Неужели
она не понимает, не чувствует, насколько чужда ему эта женщина?

Перед тем как окончательно исчезнуть, догорающее в глубине
тайги солнце залило пространство таинственным, странным светом.
Деревья цвета старой нечищенной бронзы упирали вершины в позла-
щенную бронзу неба. В бронзовом воздухе бронзовели лица людей и
складки одежды. А затем будто щелкнул выключатель. Кромешная
тьма длилась какие-то мгновения — низкая, едва ставшая над землей
луна пустила сквозь тайгу свой бледный свет, он простерся по туману,
до этого незримо, и поляна окуталась серебристым дымом.

В этой драгоценной реющей мороси то и дело возникало долгое
струящееся тело девочки в белом платье и сразу растворялось, ис-
таивало. И темные пятна, числом три, проступали в тумане и, не об-
ретя отчетливости, исчезали.

Дочь и мать придерживались разной тактики. Взрослая женщина
работала на отчуждение, маленькая женщина расколола вражеский
стан, обратив в рабство трех олухов царя небесного. Неуклюжие, не-
расторопные и одержимые, пытались они поймать беспомощно расто-
пыренными руками белый призрак, лунный блеск на тумане. Кунгур-
цев от души пожалел своих губошлепов, в которых, несмотря на раз-
ницу в возрасте, одновременно проснулось сердце.

А костер между тем не желал разгораться. Он чадил, смердил,
постреливал, но пламя не подымалось столбом, а изнемогало в сыром
топливе.

— Я думал, таежный костер — это что-то величественное, — влаж-
ным, насморочным голосом сказал режиссер, подвигаясь к вялому
огнищу, — готический собор из пламени.

— За костром надо ухаживать, — немного смущенно отозвался
Кунгурцев.

— Как за женщиной?

— Как за самой строптивой женщиной.

Мягкий укор режиссера заставил Кунгурцева встряхнуться. Он
перебрал костер: что посуше — вниз, что посуше — вверх, самые
толстые и влажные поленья отбросил в сторону, они пойдут в дело,
когда костер разгорится и затрубит. Странное дело: дождей почти
не было, лето и вообще выдалось засушливое, а хворост сыроват от
обильных рос. Он напихал в костер сухого мха, старых газет и, став
на четвереньки, уподобился кузнечному горну. Нехотя, лениво, прозя
вот-вот погаснуть, костер все же начал разгораться, наконец занялся
весь и взметнул к небу столб пламени, откуда вырвались искры бе-
резовых шелушинок и полетели выше деревьев, тцась стать звезда-
ми. Кунгурцев подложил дровишек.

— Хороший костер, — нежно сказал режиссер, — как на Кубе.
О, Куба!..

Но Кунгурцев не был доволен. Горели хорошо тонкие сухие вет-
ки, но он видел, как немощно облизывает пламя толстые поленья. Де-
рево дымит, чернеет, обугливается, наконец костру удастся посадить
на ребро полена багровую бабочку. Она ползет к комлю, трепыхая
крылышками, переползает на кору, закручивая на ней пепельные ба-
рашки, и как-то незаметно исчезает. И опять долго-долго трудится

костер, чтобы посадить новую огнистую бабочку на полешко, и опять столь же короток ее век. Чтобы костер жил, нужно хорошее сухое топливо. Хватит Путе богатырствовать по-пустому, волоча сюда перегнивший в земле бурелом и сырые лежины из оврагов.

Путя с великой охотой взялся за настоящее дело. Вера Дмитриевна вызвалась ему помогать. Кунгурцев забрал ведра и отправился на реку за водой. Надо было чаю вскипятить и сварить грибы, чтобы не зачервивели к завтрашнему утру. Когда он вернулся, костер гудел, а на краю широкого багряного круга высилась гора суховершника, и Путя, все еще голый, багровый от пламени и влажный от пота, поигрывая топоришком, сказал, озабоченно кривя рот:

— Как хочешь, Павел Леонтыч, а придется одну березку свалить. Костру это сухотье — как семечки, на ночь никаких запасов не хватает.

— Да кто же позволит живое дерево валить? — испуганно отозвался Кунгурцев.

— Ты, Паша, царь и бог этих благословенных мест.

— Не льсти. Пустое.

— А ты не ханжи. Посмотри, сколько свежих пней. Лучше взгляди лесника как следует, он за водку всю тайгу сведет.

Кунгурцев чувствовал, что Путе ужасно хочется повалить большое дерево, и не только ради костра. В другое время он ни за что не позволил бы, хотя заводские бесчинствовали в лесу как хотели, но сейчас ему показалось мелким отказать Путе.

— Черт с тобой. Только выбери стойное.

— Еще чего! — сразу обнаглел Путя и вышагнул из света костра. Вера Дмитриевна последовала за ним.

Вскрест послышался стук топора, потом шорох и треск падающего дерева. Шум грозно нарастал, приближался, казалось, дерево рухнет прямо сюда, на костер и сидящих вокруг людей. Но нет, оно упало где-то там, в глубине тьмы, и только ветер, рожденный его падением, пригнул пламя. И в эти мгновения еще плотнее стала тьма, объявляющая поляну и лес. И непонятно было, как могли дети носиться среди кустов и деревьев и не переломать себе рук и ног, не выколоть глаз. Можно подумать, что они, как летучие мыши, снабжены особыми локаторами. И все-таки жуть брала, когда, мелькнув в красном свете костра, они вламывались во тьму чащи. И каким-то образом в этой сумасшедшей беготне младший Кунгурцев успел предложить Олечке побег на БАМ, а та насплетничать матери.

В свою очередь, Вера Дмитриевна рассказала об этом Кунгурцеву, когда вместе с Путей приволокла срубленную березу. Конечно, Путя взял не сухоподстой, а свежее, хоть и старое дерево. Он принялся обрубать сучья с тем залихватским размахом, которым отличались все его действия в этот день. Вера Дмитриевна увела Путя в свое время, которое не было временем Кунгурцева, временем Липочки и самого прежнего Пути. Теперь он стал моложе их всех на целое поколение, и в этом был еще один грех Веры Дмитриевны.

За весь день Вера Дмитриевна впервые сама обратилась к Кунгурцеву, и это можно было принять за попытку сближения. Но он оказался душевно неподготовленным и вяло любопытствовал, что же ответила Олечка «его дураку». В «дураке» проглянуло раздражение, то ли не уловленное Верой Дмитриевной, то ли оставленное без внимания. Олечка сказала, что уже дала слово его старшему брату. И опять Кунгурцева не хватило на какое-либо изящное движение, легкую фразу.

— Опасная у вас семейка... — начал он, но, спохватившись, пере-

метнулся к теме «нового поколения», сам устыдился нудного, неуместного морализирования и замолчал.

...Попили чаю из громадного алюминиевого чайника, и Марья Петровна, напрягшись, как перед трудной операцией, всем своим сильным характером, загнала разбушевавшихся ребят в палатку. Туда же отправилась Леночка, а еще раньше — клевавший носом Бурьга. Режиссер, узнав, что Кунгурцев ночует у костра, решил составить ему компанию, и переубедить его не было никакой возможности.

— Здесь теплее, чем в палатке,— говорил он,— а под утро мы раскидаем жар по земле, застелим плащ-палаткой и отлично поспим часок-другой. Мне этого, во всяком случае, жватит. Старый человек не должен много спать.

— А вам приходилось спать на кострище? — удивился Кунгурцев.

— Да... Много раз. А впервые в Рын-песках, там были очень холодные ночи.

Кунгурцев надеялся, что Вера Дмитриевна тоже ляжет в палатке, а Путя присоединится к ним, но этого не случилось. Натаскав целую гору хвороста и сложив поленицу дров, чтобы хватило на всю ночь, Путя наконец-то оделся и вместе с женой отбыл на другой берег спать в машине. За ними увязался Ромка.

Огромное одиночество обьяло Кунгурцева. Он пытался думать о том, что настанет завтрашний день и будет восход солнца, и жемчужная, дымчатая роса, и утреннее купание с Путей, и чарка обжигающего спирта, будут жаренные с луком маслята и отварные рыжики с уксусом, будут долгие сладостные часы безделья, и безумные игры детей, и старый, не похожий на других человек, столько переживавший в жизни, которого он уже начал любить, но почему-то все эти мысли не приносили утешения, а тем паче радости. Чувство утраты не притуплялось, оно прочно втеснилось в сердце.

Странное безголовое существо с выщербленной спиной и крупом выскочило из лесу и, попав в свет костра, обрело телесную цельность, став мокрым, тихо скулящим и подвывающим Ромкой,— его серебристая шерсть на боках, брюхе и лапах будто фосфоресцировала, а шоколадные пятна сливались с темнотой ночи.

— Ромка! — тихо позвал Кунгурцев.

Пес припал к земле и униженно, что совсем не отвечало его достоинству, подполз к Кунгурцеву и стал лизать ему руку теплым языком.

— Прогнали тебя? — догадался Кунгурцев.— Ах ты бедная моя собака...

Разве могло такое случиться раньше? Путя нередко спал в машине с Липочкой, но с ними всегда делил ложе Ромка. Они рассказывали со смехом, как наваливался на них тяжелеющий во сне пес. Путя называл такие ночевки «Морфей в аду». Но, конечно, новой мадам Путятиной вовсе не хочется, чтобы с ними находился в машине мокрый, пахнущий псиной Ромка. «И потом, они же молодожены», — невесело ухмыльнулся Кунгурцев.

Ромка трясся от холода и обиды. Он не замечал, что шкура его, обращенная к огню, дымится и потрескивает от искр. Кунгурцев накрыл его полкой плаща, прижал к себе костлявое дрожащее тело.

— Ничего, Рома, ничего, мальчик, мы и без них обойдемся. Спи, милый, и пусть тебе приснится заяц.

— Этот драйвер... ваш друг... — донесся словно из бесконечной дали слабый голос режиссера.— Отчего он такой счастливый... и такой несчастный?

Кунгурцев помолчал, не зная, должен ли отвечать на этот вопрос. Но сибирское уважение к старости взяло верх.

— Наверное, оттого, что нельзя строить свое счастье на несчастье других.

— Ну что вы! — Голос звучал так же далеко и очень спокойно. — Мы все только этим и занимаемся. Такого счастья, которое творилось бы не в ущерб другому, просто не существует. Когда вы обнимаете одну женщину, другая, иногда неведомая вам, плачет в подушку. Это же так очевидно... — сказал он почти извиняющимся тоном.

Кунгурцев молчал, и режиссеру вдруг расхотелось в чем-то убеждать его. Почему-то опять вспомнился Домингин и закиданная подушками, испачканная кровью арена.

— Слушайте, — сказал он, — вы не задумывались над тем, почему страшные раны матадоров, а рог попадает чаще всего в пах, никогда не приводят к потере мужской силы?

— По правде говоря, нет, — отозвался Кунгурцев.

«Ну и ладно, — подумал режиссер, — с матадорами вообще все в порядке». И с ним самим вроде бы все в порядке. Он будет жить вечно. Снимет и этот фильм о Сибири и еще десятки, сотни фильмов, снимет и фильм о золотом веке человечества. Получит множество высших наград, премий и кубков. Вот только никогда не увидит маленьких сухих рук своей матери, так похожих на его руки, но свои руки он не любил. И он сказал не зная кому, но твердо веря, что его услышат:

— Если есть хоть один шанс на миллион, что я увижу маму, запирайте ваше вонючее бессмертие. Немедленно!

...Путятин завел мотор, плотно закрыл жалюзи и включил печку. Минут через пятнадцать — двадцать настало нутро машины прогреется и можно будет раздеться. Он достал из багажника постель, разложил сиденье.

Туман заволакивал луг. Он шевелился, ворочался, сплетал и расплетал белесые космы, в нем вспыхивали холодные бледные искорки, он уже поглотил и реку и приречный кустарник, накрыл другой, высокий берег, лишь верхушки сосен отчетливо рисовались в мутном темном небе, в прожелти размытых звезд. Туман расстелился по лугу, сейчас он окутает машину, заполнит все пространство своей зыбкой, реющей субстанцией.

Путятин закурил, сделал несколько глубоких затяжек, провел рукой по запотелому стеклу и увидел, что жена легла, не дожидаясь, когда машина прогреется. Он погасил сигарету, разделся, швырнул одежду в багажник и забрался в машину.

— Ох, какой ты мокрый и холодный! — сказала Вера Дмитриевна, но не отодвинулась, а прижалась к нему своим слабым телом.

Он обнял ее, стал жадно целовать, только сейчас поняв, как истосковался по ней в этот долгий, упрямо разъединявший их день. И то сложное, смутное, порой мучительное, что наплывало на него, как ни стойко он держался, разом отпало, словно струп с давно зажившей раны, и осталась лишь правда любви, близости и счастья.

В машине стало жарко. Он выключил мотор, приспустил боковое стекло и закурил. Выдыхаемый дым ввинчивался синей спиралью в молоко тумана. Потом снова вытянулся рядом с женой. И в который раз подивился ее тихости. Пока он крутился, искал сигареты, спички, курил, закрывал окошко, снова укладывался, она не пошевелилась. Она вообще обходилась минимумом движений, жестов, люди вокруг нее казались судорожно-суматошными, как в старых немых фильмах. Но что за этим — дисциплина, чрезмерная сдержанность или скован-

ность, навязанная трудной жизнью и всегдашним самоконтролем, он не знал, ибо до сих пор едва прикоснулся к ее внутреннему миру.

— Хорошая, видно, женщина твоя бывшая жена,— сказала она.

Путятин не понял, вопрос это или утверждение.

— Конечно, хорошая! — В тоне его почему-то прозвучала запальчивость. Он поторопился искупить ее малодушием. — И очень удобная для окружающих.

— Понимаю,— сказала она. — Я далеко не такая удобная. Твоим друзьям будет трудно привыкнуть ко мне.

Тут не было ни обиды, ни желания вбить клин между ним и Кунгурцевыми, и уж подавно — ревности к оставленной женщине. Она хотела осмыслить день, прожитый бок о бок с его друзьями, и даже выражала косвенную уверенность, что им придется смириться с ней. Она не хотела лишать мужа этой дружбы, но и не строила себе никаких иллюзий, глядела в будущее серьезно и трезво.

— Ты не думай... — сказал Путятин. — Они хорошие люди. Очень хорошие и надежные.

— Я знаю. Хотя тоже не такие удобные, как твоя бывшая жена. Удобных людей вообще мало. Но еще меньше настоящих друзей и терять их нельзя. У меня, например, вообще не было друзей. Разве только в детстве.

— А дочь? Разве она не друг тебе?

— Нет,— сказала Вера Дмитриевна с той жуткой простотой, что манила его и вместе отпугивала. — Она по-своему любит меня, но другом ее был отец.

— Она что же, не видела?..

— Все видела... Ну, не все, конечно, но многое, и это работало на него. На несчастного, грешного, непонятого и погубленного всеобщей черствостью отца. И потом, знаешь, он очень красивый, ему на пользу его пороки. У него блестящие, какие-то драгоценные глаза, нервные, порывистые и при этом изящные движения. Он всегда возбужден, приподнят и производит впечатление предельно искреннего человека. Он все время врал, с первого дня нашей жизни. Мне кажется, можно простить все, кроме вранья. Он был тверд и постоянен только в обмане, в одурачивающем, сводящем с ума вранье. Фанатик вранья, он скорее взмоет бы на костер, чем признался в своей лжи. Это какая-то порядочность наизнанку.

— А разве Олечка не сама решила, с кем ей быть?

— Сама... По-моему, тут сработал инстинкт самосохранения. И еще — твоя машина.

— Ну ладно!..

— Серьезно. Она же девчонка. Тщеславная, глупая, легкомысленная девчонка. Она выглядит старше своих лет, но крайне инфантильна. Ты не представляешь, как ей все это льстит: машина, собака, твои прекрасные ружья...

— Ты наговариваешь на нее.

— Зачем?.. И потом это в порядке вещей. У нее никогда не было хороших игрушек. Важно другое. Я не очень верю в разные воспитательные меры, но верю в очарование человека, назовем это так. И надеюсь, она разглядит владельца столь прельстивших ее вещей.

— Я не умею с детьми...

— Ничего и не надо уметь. Ты вовсе не обязан ею заниматься, упаси боже! Просто будь самим собой...

«Как много в отношениях людей предвзятости, как мало желания проникнуть в существо другого,— думал Путятин. — Ведь и Кунгурцевы, самые близкие мне люди, все решили про Веру заранее. И что бы она ни делала, это не растопит льда. К чести ее, она и не пыталась

выгадать у них что-либо, оставалась самой собой, без малейшего, впрочем, вызова. Если кто и заискивал перед Кунгурцевыми, так это я. Но, может быть, моя ошибка в другом — не следовало вообще навязывать им Веру? Ведь Липочка была таким же их другом, и кто дал мне право решать за всех? Не лицемерь, друг! Уезжая в Томск, Липочка меньше всего думала о Кунгурцевых. С Пашей другое дело. Он преданно любит свою Марью Петровну, но нужна ему жена не деятельница, а домашняя хозяйка. Он выше всего ценит в женщине чисто домохозяйские добродетели. Терпеть не может ходить в гости и обожает принимать у себя — хлебосольно, изобильно, щедро, размашисто, словом, на том уровне, которого умела достигать только Липочка. Ему кажется, что он скучает по Липочке, а он скучает по ее пирогам...»

— Слушай, ты совсем не умеешь готовить? — спросил он, запоздало спохватившись, что жена не могла следить за ходом его мыслей и вопрос покажется ей по меньшей мере неуместным.

— Смотря что называть готовкой. Суп я, конечно, сварю, котлеты сделаю, но всякие разносолы — где мне было научиться? Ты, видимо, все-таки не представляешь, как выглядел наш быт.

В который раз он убеждался, что Веру Дмитриевну невозможно застать врасплох. Она всегда была готова к ответу, ничуть не удивляясь и не противясь причудам чужой мысли. Он не мог найти этому объяснения, но относил за счет все того же внутреннего сцепа, не дающего ей расслабиться, уйти в собственный туман. Ей приходилось за многое отвечать, и она всегда была собранна, как солдат перед боем. «Милый мой, бедный солдатик!» — зажимая комок в горле, думал Путьятин.

— Я умею готовить омлет-офензер, — сказала она непривычно низким голосом.

— Что-о?

— Омлет-офензер.

— Что это такое?

— Омлет с овощами, сыром, грибами и шпиком.

— Откуда такие познания?

— Меня научила сослуживица. Она ездила по студенческому обмену во Францию. Жила там целый год и каждый день готовила омлет-офензер. Дешево и питательно.

«Пашу на офензер не купишь», — с грустью решил Путьятин, а вслух сказал:

— Будешь нам его готовить?

— Конечно!

Она осторожно, будто все вокруг было из стекла, повернулась к мужу и медленно, нежно, сильно поцеловала в губы.

Никогда еще так пронзительно не чувствовал Путьятин женщину. Это было не наслаждение, а что-то иное, сладчайшая мука, которую равно невозможно ни длить, ни прекратить, а потом обвал, томительное падение и опамятование в щемящей опустошенности.

Было жарко, влажно, душно. Он отстранился от Веры, скользнул к самому краю, к стенке машины. От запотелых окошек тянуло холодом. Ему почудилось, что Вера хочет обнять его, и остывающее тело передернуло судорогой протеста. Ему невыносимо было сейчас прикосновение к естеству женщины. Но она не тронула его, лишь натянула на себя простыню и, похоже, сразу уснула.

Туман заклеил окошки машины серебряной фольгой. За этим туманом, за огромной ночью, простершейся на тысячи километров, спит, а скорее томится без сна, изгнанная им Липочка. Такая большая, сильная, полная тепла и заботы, готовности жертвовать собой всем, кто

вступал в необъятный круг ее доброты, и ставшая вдруг совсем одинокой, никому не нужной. Да нет, наверное, она нужна своей недавно овдовевшей сестре, но разве это может насытить Липочкину душу? Ни в чем, ни в чем не виноватая ни перед богом, ни перед людьми и разом лишенная всего, что составляло смысл ее жизни: беззаветно любимого человека, дома, друзей. А легко ли начинать новую жизнь за пятьдесят? Путьгин всхлипнул и замер испуганно. Но Вера спала, дыхание ее было глубоким, долгим и мерным. Он перестал сдерживать слезы. Он тихо плакал, и просил прощения у Липочки, и благодарил Кунгурцевых за то, что они не приняли Веру. Ему бы не осуждать их с грошовым цинизмом, а поклониться им в ноженьки за верность Липочке и верность ему прежнему.

Ах, если бы вернулось прошлое! Он знал, что это невозможно, и тосковал, и плакал, и так, с мокрым лицом, заснул тем слабым, непрочным, прозрачным сном, когда окружающее не утрачивается, не исчезает, а пронизывает тонкую кисею видений и ты даже не знаешь, что спишь. Ты сохраняешь память о себе, сознаешь положение своего тела, ощущение ложа, все запахи и шумы, и только закрытые глаза обращены не к внешнему миру, а внутрь — к реющим образам сновидений. Он знал, что лежит в тесной машине, чувствовал под боком жесткую горбину стыка спинки переднего кресла с задним сиденьем, слышал бурлящую у валуна реку, слышал дыхание спящей возле него женщины и обнял ее наугад за плечи. И в самое первое мгновение не удивился, что под ладонью оказались полные плечи Липочки, по которой он только что беззвучно плакал. Потом усомнился, не поверил, но ладонь не обманывала, слишком привычное было под нею. Вот и две крупные оспинки, каждая величиной с трехкопеечную монету, которые он не спутает ни с какими другими. И он слышит запах ее сухой теплой кожи. Это невероятно, непостижимо, но она явилась, выселила случайную зашелицу и заняла свое место возле него. Навсегда. И тогда в отчаянии и ужасе он закричал, хотел вскочить, но сильно ударился головой и рухнул назад.

— Что с тобой?.. Успокойся! — послышался встревоженный голос.

Он не понимал, кому принадлежит этот голос, и неловко вскинувшись, упираясь ногами в щиток, а головой в спинку заднего сиденья, нелепо провиснув, таращился в темноту и жалобно стонал.

— Успокойся, милый!.. Это же я.. я, Вера...

— Правда ты?.. Фу, господи! — выдохнул он остатки ужаса.

— Тебе приснилось что-то страшное?

— Уж куда страшнее... — пробормотал он.



ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ



ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ

.

Будь шагом тверд, будь поступью суров,
Всегда своим будь верен убеждениям:
Из всех тебе дарованных даров
Гордись одним лишь самоотверженьем.

И прежде был да и пребудет впредь
Наш отчий край велик самоотдачей,
И чем сильнее верить и хотеть,
Тем он верней вознаградит удачей.

А у кого душа поражена
Безверьем — у того обмяк и разум,
И суть предметов для него темна,
К ней всякий путь ему навек заказан.

Ведь в этом бытии любой предмет
Окраску изменяет очень скоро
От освещенья (как ложится свет!),
От точки зренья, от прицела взора.

Ужель я не отверг холопства власть
Когда неустрашимо и жестоко,
Вдвойне сердцебиенью подчинясь,
Влил жизнь свою в безудержность потока?

Нет, я не раб! Скорей наоборот —
Я в вольной отрешенности порыва,
Чеканя золото, как и в прежний год,
Своим тавром пометил это диво!

О, крылья! Вас я к ветру подыму,
Размахом вольным гневный воздух вспеню:
Уж если и подвластны вы кому,
То только вере, только убеждениям!

Вот потому-то поступью суров
Будь — и шагай смелей и полновластней:
Из всех судьбой дарованных даров
Подвижничества дар всего прекрасней.

Однажды ночью, сверстники-друзья,
Мы шли (а ночь была светла кострами),
И Смольный, как внезапная стезя,
Возник и утвердился перед нами.

О, Смольный, Смольный, Смольный той поры,
Ты молот, меч, готовый для удара,
Сияли в голосе твоём, добры,
Глаза одной шестой земного шара.

И разве этот дом был просто дом?
Бессонным исполином в славе ранней
Вздыхался он, несом двойным крылом
Бессмертно-окрыленных упований!

Глаз пулемета зорко и толково
Ощупал нас. Колонны. Патрули.
— Стой! Кто идет? —

На окрик часового

ответил я:

— Мы к Ленину пришли!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

Читая «Картлис Цховреба»¹

Над летописью до рассвета
Не сплю и вижу, город мой,
Как жгли тебя за летом лето,
Кропили краской кровавой.

В ночь выбегу — и лет на двести
Гул битвы отлетит. Пойму,
Что все дома твои на месте,
Я рад покою твоему.

Хлебам, чье тесто захмелело,
И стройкам там, где город рос,
И розам алым Табахмела,
И женщинам, достойным роз.

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.

¹ «Картлис Цховреба» — свод древнегрузинских летописей.

ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ

Сказанное вдали от Грузии

Порой
 от милой Картли вдалеке
 Музеев и соборов вереницы
 Я обхожу,
 и мается в тоске

Душа
 И чувством ревности томится.

В покоех Лувра,
 посреди щедрот
 Уффици,
 как в беспамятстве недуга,
 Оно в груди теснится и растет,
 Слезами горло стягивая туго.

Я думаю о тех, кто превозмог
 Твердыню камня и холста пределы,
 И, ревности не пряча между строк,
 Взыскую к их высокому уделу.

Волшебники палитры и резца,
 В каком пыли,
 в каком приливе чувства,
 Как бескорыстный дар, свои сердца
 Вы возложили на алтарь искусства.

Каким избытком страсти и труда
 Вы жизнь свою наполнили до края,
 Чтоб в мраморе и красках навсегда
 Бессмертье обрела душа живая!

Я знаю, что завидовать не след
 Их мирным дням в лучистом блеске славы
 Их памяти незамутненный свет
 Не потревожит мой упрек неправый.

Да будет так!..
 Но, скорби не тая,
 Иных творцов с тоской неизгладимой
 Вдали от Картли вспоминаю я:
 Художники земли моей родимой!

Когда б не лихолетье войн и смут,
 С какой любовью вы воспеть могли бы
 Благословенный сеятеля труд
 И вечных гор незыблемые глыбы.

И базилики росписью покрыв,
 Какого б вы исполнились горенья,
 Запечатляя сретенья порыв
 И чудотворный миг преображенья.

Но в годы потрясений и невзгод,
Среди врагов, до Грузии охочих,
В воителях нуждался наш народ
Превыше, чем в художниках и зодчих.

Когда мутилось небо и орда
Неотвратимой близилась судьбою,
Он, как в пучине Страшного суда,
Спасенья не видал перед собою.

И осиянной не было венца
Для мастера,
что, смерть презрев упрямо,
Израненный, сражался до конца
В притворе им расписанного храма.

Сквозь слезы я взываю к их теням,
Их крестный путь припомня на чужбине:
— Какую песнь допеть не дали вам,
Как оборвали жизнь на середине!

Но среди руин, зиявших без прикрас,
В круговороте горя и смятенья
Их гений лучезарный не погас,
Не обескрылел в сумраке забвенья.

Мой отчий край — грузинская земля
Уберегла от пагубы и тлена
Творенья их.

О родина моя!
Так будь же ты навек благословенна!

Перевел ИЛЬЯ ДАДАШИДЗЕ.

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

В твоей Балкарии

К. Кулиеву.

На войну ушли поэты,
В край, где в сумрачном молчанье
За горами голубыми
Горы белые вдали
Высились, огнем объята...
С боем днями и ночами
Шли мы по твоей отчизне,
По Балкарии мы шли.

Бронированная лава
Встала у ворот Дарьяла,
То и дело ударяла,

Пробиваясь в сердце скал...
 Нас оружие пленяло,
 Ослеплял нас блеск металла,
 Да, никто из нас, поэтов,
 О таком и не мечтал.

В чистом, трепетном, наивном
 Поэтическом восторге
 Замирали наши души,
 Вдохновляла нас гроза...
 Но шинели были грубы,
 И колючи гимнастерки,
 Тяжела сапог солдатских
 Пропыленная кирза.

Сотрясала канонада
 От вершины до подножья
 Отступающие в небо
 Торопливые холмы.
 На войну ушли поэты,
 Мечь звала...
 Но все же, все же
 В эпосе бурлящих будней
 Лирику искали мы.

Стали горы и долины
 Огнedyшащей машиной,
 Механизм войны работал
 И катился по стране...
 Не до лиры

 в дни лихие,
 Мы — солдаты и мужчины,
 Но поэтами мы были
 И в боях и на войне.

Вся Балкария —
 сплошная дымная передовая,
 Рухит вражеская кара непокорный твой аул.
 Всюду

 братские могилы —
 На холмах и в долах края,
 Тянется, не умолкая,
 Пушек приглушенный гул.

Где романтика, и грезы,
 И лирическая тема?!
 Только пыль, и пыль,
 И трупы в окровавленной пыли.
 В громе и столпотворенье,
 В гневных заревах Чегема,
 По обрывистым дорогам
 Как в бреду мы шли и шли.

Всюду — буря чуждой прозы,
 Чад,
 Разбитые обозы,
 Черствый быт и пепелище...
 Но в горниле грозных дней

Мы святым огнем горели,
 В царстве прозы, черной прозы
 Мы нашли свое призванье —
 Там, в Балкарии твоей.

Стали горы и долины
 Огнедышащей машиной,
 Механизм войны работал
 И катился по стране...
 Не до лиры

в дни лихие.

Мы — солдаты и мужчины,
 Но поэтами

мы были

И в боях

и на войне.

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.

КАРЛО КАЛАДЗЕ

Я, Гиви Кимеридзе, пронзаю взором тьму

Я тоже один

среди тысяч искателей света —

Ищу на Луне вечной жизни приметы.

Ну что тут скрывать — ни следа,

ни намека,

Нет, я не нашел на планете далекой.

Быть может,

след жизни на Марсе отыщется вскоре,

Мой взгляд устремляется в звездное море...

Но звезды хранят нераскрытые тайны —

С надеждой ловлю голоса мироздания.

Я тоже один среди тысяч искателей света!

Надвинулась ночь и колеблет завесу небес,

Я, Гиви Кимеридзе,

увидел звезды неразгаданной блеск.

Ночь бродит над башнями Абастумани,

Зекари,

Негаснувшей страстью наполнены звездные дали.

Всего на мгновение звезда раскрывает ресницы,

Но сердце мое к этим звездам стремится.

Погаснет звезда,

застывая в анналах расчетов,

Но долгие годы не гаснет в глазах звездочетов.

Зачем отмечать эти точки на досках небесных?

Мгновение.

Свет гаснет, и мгла подступает,

А искра живая бессмертием подкупает.

Судьба!

Что угодно?

Мгновение — восторженный праздник,

Но вновь всю жизнь звезда отдаленная правит.

Тень крыла вошла над лесами
и к звезде устремилась по ветру,
ты впервые поверил — летаем,
и в полет зародилась вера.
Ты окинь дни прошедшие взором,
дни, что канут в туманный вечер,
ты увидишь — друг другу горы
головы положили на плечи.
Сердце не оскверняй обманом,
сердце в небе найдет исцеленье.
Верь ему — и сквозь дымку тумана
ты отыщешь родное селенье.
Шав-набад² — побратим и опора,
предков путь упирается в скалы
и уходит за снежные горы
и туманные перевалы.

Ты не скажешь — людские стремленья
уподобились в час тревог
позвоночника искривленью
на изгибах дорог.

Только ты не упустишь из виду
бурку, брошенную туда,
где твой путь и тернист
и извилист
и за тучами гаснет звезда.

Божьей милости ждал,
не иначе,
только с неба катился упрек...
Выпрямлял позвоночник,
а значит,
ты освоил сверхтрудный урок.

Небожитель,
крылья не складывай,
и на вечность с улыбкой гляди,
и грядущее в буднях угадывай,
ибо вся еще жизнь впереди.

Какая высота,
стремительность полета,
и неба синеву
пронзают самолеты.
Я вижу в облаках
сквозь облачный дымок
Начало и конец
всех пройденных дорог.

Перевел ВЛАДИМИР РАВИЧ.

² Ш а в - н а б а д — название горы.

ОТАР ЧЕЛИДЗЕ

Молчаливый хозяин

Не помню, где остался город,
Свет полыхнул,
 помчался прочь,
Я видел, как приходит в горы,
Карабкаясь по склонам, ночь.
Я видел, как земля дождями
Навстречу небу полилась,
Как звезды над землей дрожали
И ночью не смыкали глаз.

Гласит обычай — шире двери,
Хозяином радушным будь
И гостю окажи доверье,
Коль в дом решил он заглянуть.
Путь из Орбели ночью долог,
А свет не уходил из глаз,
И тропка вывела на домик,
У домика оборвалась.
«Хозяин!» — позвала усталость,
Как выстрел, голос грохотал,
Пошел ущельями, кустами,
Спускался по отрогам скал.
Собака под кустом завыла,
Все ожило: и дом,
 и двор,
И задремавшее светило
Вдруг выскочило из-за гор.
Казалось, Курша Амирана³
Завыла.

Приоткрылась дверь,
И я увидел великана,
О Грузия, твоих земель.
И я сказал себе: пожалуй,
Род не уронит честь отцов,
Пока земля еще рождает
Таких плечистых молодцов.
Хозяин не проронит слова,
Встречает словно брата брат,
Принес что в доме есть съестного,
Собрал на стол, чем был богат.
Был роздан хлеб,
 хлеб вместо мчади⁴.
Я молча опустил глаза,
И я услышал — сквозь молчанье
Прорвались женщин голоса.
Вдруг голос,
 голосок печали
За стенкой в комнате возник.

³ А м и р а н — герой народного эпоса; Курша — его собака.

⁴ М ч а д и — кукурузная лепешка.

Молчал хозяин.

Что ж, молчанье
 Порой дороже слов иных...
 Хозяин подтолкнул стаканы
 И до краев налил точь-в-точь.
 Так с молчаливым великаном
 Мы коротали эту ночь.
 Старик сказал: «Пойду»,

печально
 Глаза отвел,

сказал мне: «Спи».
 Повел широкими плечами,
 Не заглянул в глаза мои.
 Ушел,

но голосок печали
 За стенкой в комнате возник.
 Там женщин голоса звучали
 И что-то говорил старик.
 Шептались как-то приглушенно,
 Чуть слышно говорил старик.
 Я что-то понял приближенно,
 Лишь что-то,

а во все не вник.

Я засыпал под вой собаки,
 Под этот шепот за стеной.
 Полоска света в полумраке
 Все время двигалась за мной.
 Я спал,

но был разбужен плачем.

Увы, не петушиный клик
 Будил.

Так женщины не прячут
 Слез.

Горло разрывает крик.
 Речь оступилась где-то в горле,
 И понял я

и тотчас вник:
 Старик, непоправимо горе,
 Нет, сына не вернешь, старик.
 Всей статью на тебя похожий,
 Погиб от раны пулевой —
 Военной метины.

О боже,
 Как мало жил наследник твой.
 Не показал хозяин горя,
 И гостю двери отворил,
 И, как гласит обычай,

гостя
 Согрел радушием своим.
 Вот он стоит.

За ночь прощанья
 Он белой бородой зарос,
 Как белая трава печальной,
 Стоит и не уронит слез.
 Стоит дрожа,

чуть отрешенно,
 И шепчет про себя: «Сынок...»

Убили...
 Найден выход.
 Вот
 Растает память,
 растворятся тени.
 Что грезилось тебе?
 Какой исход
 Ты ждал?
 Дорога?
 Сон?
 Коляска?
 Привиденье?
 Нет, ты не знал тот поворот в судьбе,
 От волчьей стаи не сумел отбиться.
 За тыщу лет я плакал о тебе,
 Предчувствуя коварное убийство.

О, знамя Грузии,
 чеканя слог,
 Ты был нам пастырем и верой,
 Но правды горькой досказать не смог,
 Той правды,
 что Акакий⁷ нам поведал.

Картлос⁸

Ты звездой промелькнула,
 бороздою на сердце легла,
 Для кого моя кровь
 на горячую землю пролилась?
 Жизнь, словно звезда,
 за собою влекла
 И сквозь голые камни пробилась.
 Потерял я тюльпаны..
 Как ребенок с обидой на лбу
 Обижался.
 Кого-то напрасно тревожил.
 Но обиды прошли..
 Разбежался по склонам табун,
 И повисли в руках
 беспольные вожжи.
 О любви говорил.
 Но прервалась вдруг речь.
 Я всю горечь измены
 в мгновенье измерил,
 И я понял: измена смертельна, как меч,
 И, как пуля, коварна измена.
 Но, как стадо коров,
 я смогу отогнать
 Все напасти с улыбкою грустною.
 За мою спиной усталая мать —
 Моя Грузия.

Перевел ВЛАДИМИР РАВИЧ.

⁷ Акакий Церетели.

⁸ Картлос — имя, олицетворяющее Грузию.

ИОСИФ НОНЕШВИЛИ

*Ты стоял на родных горах**Важа Пшавела.*

Арагва, Арагвиани,
звезды раскрыли глаза,
и протянули длани
небеса.

Боль одинокого дуба,
хохот ущелья змей
разбередили душу
и поселились в ней.

Гомон щита Зезвайского,
рокот несущихся рек...
В жизнь не верит райскую
человек.

Души, как буревестники,
в небо идут напролом,
может, того не ведая,
боль принесут под крылом.

Гори,
Ерцо и Душети,

Гудамакари,

Гушети,

Плави⁹ шуршащие камыши.
Песни чанга¹⁰ чуть грустные
восходят на небеса,
слышу напевы Грузии,
Грузии голоса.

Эхо в горах чуть теплится,
тают слова хвалеб,
но не хмиадами¹¹ стелется
жизни насущный хлеб.

Званье поэта народного
не утверждают в верхах,
тот, кто был словом Родины,
им и остался в веках.

Ты присягал Родине,
рекам,

долинам,

полям.

Шел ты с народом без ропота,
горе делил пополам,

хлеба краюху черствую,
воду и горькую соль...

⁹ П л а в и — местность в Грузии.

¹⁰ Ч а н г а — грузинский музыкальный инструмент.

¹¹ Х м и а д ы — горные хлеба.

На Востоке все поэты радостно,
 Подхватив нестройный мой рассказ,
 Брови бы сравнили с тонкой радугой,
 С жемчугами — блески грустных глаз.

И тебя поэты все восточные
 Породнили б с песней соловья,
 Красоте внимали бы восторженно,
 Их пленила красота твоя.

Я не замечал
 и многим жертвовал,
 Но однажды
 в предрассветный час
 Я увидел чудо,
 а не женщину
 С грустной искоркой
 уже не юных глаз.

В тихом женском голосе почувствовал
 Я далекий отзвук неземной,
 Я не знаю,
 может, мне почудилось —
 Небо расколосось надо мной.
 И пестрило надо мною радужно,
 Ослепляя перевозанной синевою,
 И я понял: в грусти или радости
 Вечно ты останешься со мной.
 Почему глаза твои печальные
 С укоризной смотрят на меня?
 Эту встречу, вовсе не случайную,
 Ни на что бы я не променял.

Перевел ВЛАДИМИР РАВИЧ.

ХУТА БЕРУЛАВА

Стих обращается к стихотворцу

Мой зодчий и мастер, зовущийся в мире поэтом,
 Меня одаривший и жизнью, и зреньем, и светом!

О, жизнедаритель, твою прославляю отвагу,
 Без этой отваги не смог бы я сделать ни шагу.

Но помнишь: рыбак обнаружил в темнице кувшина
 Пленного мавра и выпустил грозного джинна...

Я, может быть, ростом побольше, чем думают люди...
 Побойся коснуться — я в замысле, в тесном сосуде.

Ожидание

Есть в тебе напряженье пружины,
И художника сердце тревожно.
Эти горы твои и долины
Уступить никому невозможно.

Здесь твой голос окреп очень рано,
Только сам говорливым ты не был.
Увлекал тебя вал океана,
Но стрелю ты ринулся в небо.

Но не ближе
 звезда в этой бездне,
Та, что в детстве тебе отвечала...
Жизнь жестокая, жаркая песня
Начинаются будто сначала.

Как пружина, ты весь в напряженье,
Но сумеешь ли вдруг распрявиться,
Чтоб успела свое отраженье
На бумаге
 оставить зарница?

Перевел МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ.



КОНСТАНТИН СИМОНОВ



ЯПОНИЯ — 46

Страницы дневника

Тридцать лет назад я возвращался из Японии после поездки, которая заняла около пяти месяцев. Оставалось доехать до Москвы, чтобы начать работу над большой книгой о Японии, для которой, как мне казалось, были собраны все необходимые материалы — в этом, собственно, и заключался для меня главный смысл поездки.

Однако где-то на перегоне между Читой и Иркутском к нам в вагон принесли телеграмму, из которой следовало, что я должен слезть с поезда, пересечь на самолет и немедленно отправиться в длительную командировку в Соединенные Штаты. Телеграмма не предполагала возражений, не оставляла времени на размышления и, как впоследствии выяснилось, надолго перекрестила все мои прежние планы.

Я слез с поезда и через трое суток — по тому времени достаточно быстро — оказался в Вашингтоне, а мои товарищи по поездке в Японию Борис Агапов, Борис Горбатов и Леонид Кугреватых все еще продолжали свой путь в Москву. Вместе с ними возвращалась в Москву Муза Николаевна Кузько, старейшая стенографистка «Красной звезды» и мой неизменный помощник в военные и первые послевоенные годы. Вместе с Музой Николаевной в ее объемистом рабочем чемоданчике ехали в Москву и мои японские дневники, больше тысячи страниц, продиктованных, но по большей части еще не расшифрованных. И потому, что там, в Японии, не хватило на это времени, и потому, что некоторые страницы этих дневников и записей бесед с самыми разными людьми я до возвращения домой предпочитал хранить не в машинописи, а в закорючках той старинной стенографической системы, которую еще в начале века взяла на вооружение Муза Николаевна.

Сейчас эти дневники, а точнее страницы из них, перед вами. И мне остается объяснить, почему — сейчас. Почему я все-таки решился предложить вниманию читателей эти тридцатилетней давности записи тридцатилетнего в ту пору автора, так и не написавшего тогда на основе этих записей задуманную им книгу о Японии.

На мой взгляд, послевоенной Японии повезло в нашей литературе. На память сразу же без особых приглашений приходят «Японские заметки» Ильи Эренбурга, «Японцы» Николая Михайлова (в соавторстве с Зинаидой Косенко), «Саг камней» Даниила Гранина и, конечно, «Ветка сакуры» Всеволода Овчинникова — плод многолетних пристальных наблюдений и размышлений умного и тонкого человека.

Последней по времени из этих книг о Японии была книга Бориса Агапова, над которой он работал очень долго и умер накануне ее выхода из печати. Так же как и у Овчинникова, эта книга — плод многолетних размышлений, только с той разницей, что в основе всех этих последующих размышлений лежат наблюдения и разговоры того, первого послевоенного года в Японии, когда я почти ежедневно был или спутником Бориса Николаевича Агапова, или слушателем его вечер-

них кратких и остроумных резюме, которыми он имел привычку заканчивать очередной рабочий день.

Впоследствии, работая над книгой, он сетовал, что в свое время многого не записал, и, для проверки памяти прочитав мои дневники, попросил позволения привести несколько выдержек из них в своей книге. Я сказал, что буду очень рад этому.

— И вам нисколько, ни чуточки не жалко? — почему-то улыбнувшись моей готовности, спросил Борис Николаевич.

— Ни чуточки. А почему вы спрашиваете?

— А потому что я на вашем месте, наверное, сам бы напечатал эти дневники. Не только то, что вы уже давно выгащили из них для ваших «Рассказов о японском искусстве», но и многое другое, к искусству не относящееся.

Я возразил, что все остальное уж очень прочно прикреплено именно к тому, 1946 году в Японии и если годится, то скорей как исходный материал для размышлений, к которым я не готов, ибо занят и, наверное, еще долго буду занят более существенными для меня размышлениями о минувшей войне. В ответ на это Борис Николаевич сказал, что слова «исходный материал» как раз и подойдут для хорошего заголовка в духе конструктивистов, к которым он принадлежал в 20-е годы. А что касается размышлений, то не надо быть эгоцентриком.

— Не сидите, как собака на сене, на своем «исходном материале», напечатайте его и предоставьте другим возможность поразмышлять над ним, раз вы, по вашим словам, сами неспособны на это.

На этой его полусерьезной-полушутливой фразе и кончился тогда наш разговор.

Прошло несколько лет. Умер Борис Николаевич Агапов. Вышла его талантливо, с блеском написанная книга о Японии, очень добрая по отношению ко всем нам, его тогдашним спутникам, очень строгая по отбору материала и глубокая, а порой и тревожная в ее опиравшемся на остро и точно увиденное прошлое анализе нравственных и политических проблем современной Японии.

Держа в руках эту книгу, я вспомнил наш давний разговор с Агаповым, перечел свои японские дневники и подумал, что, пожалуй, несмотря на тридцатилетнюю давность, некоторые их страницы и в самом деле могут в какой-то мере служить «исходным материалом» для размышлений не только о тогдашней послевоенной, но и о современной Японии. Ибо с годами я стал лучше, чем в молодости, понимать, как многое в жизни общества иногда незаметно для поверхностного взгляда уходит корнями в прошлое, особенно в поворотные, критические его годы.

Итак, не решившись вопреки совету Агапова на это название, предлагаю вниманию читателей свой «исходный материал» 1946 года почти без всяких комментариев, кроме тех, которые содержатся в этом моем предисловии и послесловии.

23 января 1946 года. Токио

Только сегодня наконец дошли руки до дневника. Придется в наказание себе записывать сразу почти за целый месяц.

26 декабря, теперь уже прошлого года, в 10.30 утра невдалеке от Владивостока мы погрузились на самолет типа «Катарина», двухмоторную амфибию. Наши вещи, а главное — многочисленные ящики с продуктами, полетели на другом самолете.

Полет занял около пяти с небольшим часов. Лететь было не так холодно, как мы ожидали, и только когда мы шли над горами, на высоте трех с лишним километров, то было немного трудно дышать.

Первое впечатление от Японии сверху — очень много гор, сплошь горы, и редкие, с высоты кажущиеся неширокими долины, почти сплошь застроенные и разделенные квадратиками полей.

Уже близко к концу полета мы увидели справа знаменитую Фудзи. Она была действительно очень красива, геометрически совершенно законченна и не похожа ни на одну другую гору.

Около четырех часов пополудни мы после довольно долгого кружения над аэродромом наконец сели. Мы должны были прилететь на аэродром Ацуги, где, согласно радиограмме, нас ждали. Пока мы приземлялись и вылезали из самолета, мы не заметили никаких признаков ни машин, ни встречающих людей. Стояло довольно много американских самолетов, ходили, топтались и ездили на «джипах» американцы; мы тоже топтались около нашего самолета. Они нас ни о чем не спрашивали, и мы их ни о чем не спрашивали.

После довольно долгого топтания мы наконец стали пробовать хоть как-нибудь объяснить. Но среди американцев не было ни одного человека, знавшего русский, французский или немецкий, а среди нас ни одного, знавшего английский. Наконец выискался какой-то поляк, с которым начал разговаривать Горбатов, но так как это был американец польского происхождения, то их знания в польском языке оказались приблизительно одинаковыми и они объяснялись больше на пальцах и не слишком удачно. Наконец американцы привезли на «джипе» какого-то немолодого затюканного человека, который хоть с пятого на десятое, но все-таки говорил по-русски, видимо, сильно робея перед своим начальством.

В конце концов выяснилось, что мы сели не на тот аэродром. Я стал просить, чтобы американцы соединились с Ацуги по телефону и узнали, находятся ли там встречающие нас люди. Нам ответили, что телефонной связи нет.

Тогда мы решили лететь на Ацуги, но американцы не давали разрешения на вылет. Явился какой-то американский майор и заявил, что не может нас сегодня выпустить, что он отправит машину в Токио, чтобы там сообщили о нашем прибытии, а мы должны будем ночевать здесь.

И вдруг все переменялось: нам сказали, что мы можем лететь на Ацуги, что оттуда получена телефонограмма. Как выяснилось, встречавшие нас, обеспокоившись нашим отсутствием, дали телефонограммы по всем аэродромам и, узнав, что мы здесь, затребовали нашего вылета на Ацуги.

Перед вылетом американцы стали переписывать фамилии экипажа и всех летевших. Эта процедура была закончена, когда уже начало темнеть. Наконец мы влезли в самолет и через двадцать — двадцать пять минут в полутьме сели на аэродром Ацуги, где нас встретили корреспондент ТАСС и еще несколько наших военных и гражданских лиц.

Примерно через сорок минут после приезда, уже в полной темноте, мы тронулись из Ацуги в Токио. Езда на японских дорогах — по левой стороне, и американцы этого придерживаются. Меня в эту первую поездку, да и несколько дней потом, все время не покидало ощущение, что сейчас вот этот выскакивающий из-за поворота автомобиль **вылетит** на нас. Хотелось схватить за руку шофера.

По бокам дороги мелькали бумажные окна и стены придорожных **домиков**, иногда темные, иногда освещенные изнутри. Японки топали на **своих** традиционных деревянных колодках, о которых кто-то из

нашей братии не так давно написал, что вот, мол, японцы до того бедны, что даже ходят на деревянных колодках. Эта история, кстати сказать, стала притчей во языцех, о ней в Токио мне говорили по крайней мере десять человек.

Первое ощущение — теплынь, тишина, какая-то легкость, разлитая в воздухе. Почему-то мне нравится приезжать в чужую страну, на чужое и новое место ночью, вот в такую теплую ночь. Это как-то многообещающе и чуть-чуть таинственно — словом, хорошо.

Мы приехали в корреспондентский клуб, где нам было отведено помещение. Это было очень жарко натопленное здание в одном из многих переулочков в центре Токио. Мы разделись и сразу прошли в столовую. Обед уже кончился. Нас быстро покормили типичным американским обедом с двумя ложками какой-то бурды вместо супа, с прекрасным ананасным соком, хорошим мясом и очень вкусным сладким.

После обеда нам показали наше жилье. Трудно придумать комнату, в которой было бы менее удобно жить. Дверью она выходила в кинозал. Кроме того, она была проходная. За ней была еще одна комната, от которой нас отделяла только занавеска. В отведенной нам сравнительно небольшой комнате стояло четыре высоких, как катафалки, или, вернее, чтобы не преувеличивать, высоких, как письменные столы, кровати, а посредине стол, на который мы мгновенно вывалили все свои вещи и потом уже до самого дня отъезда отсюда так и не могли в них разобраться.

Сейчас же после обеда я поехал в здание посольства, где познакомился с временным начальником нашей военной миссии.

Мы поговорили по делам, я рассказал о наших задачах и нуждах и вернулся в корреспондентский клуб, на чем и закончился этот бесконечно длинный день, начавшийся в семь часов утра во Владивостоке телефонным разговором с Москвой и кончившийся в Токио на похужей на катафалк кровати, при температуре тридцать градусов по Цельсию и черт его знает сколько, наверное двести, по Фаренгейту. Здесь у американцев поистине чудовищная привычка отапливать себя до потери сознания, чего я не замечал за ними в Европе. Видимо, играет роль то, что многие из них приехали сюда с Филиппин, и батумский климат средней Японии для них примерно то же, что для нас Верхоянск.

Последующие две недели были убиты главным образом на всякое устройство — на устройство жилья, поиски переводчиков, машин, шоферов, на восстановление телефона, водопровода, на организацию питания и т. д.

Устройство нашего быта оказалось безумно канительным делом. На второй день пребывания товарищи из нашего посольства предложили нам для жилья бывший торгпредовский дом, который был заброшен и в нем жила только охранявшая его старая служанка.

Этот небольшой двухэтажный особнячок, продуваемый всеми ветрами, стоял на узкой улочке, сохранившейся среди окружающих пепелищ. Он представлял собой сооружение этажерочного типа, в котором и звуко- и тепло-, а вернее холодопроницаемость доходили до того, что было слышно, как дышат в соседней комнате.

Зима в Токио выдалась на редкость для нас удачная, теплая и солнечная, но в тот день, когда мы осматривали дом, на улице было довольно прохладно, а в доме стояла сырая стужа, в нем было куда холодней, чем на улице.

По углам комнат стояли и лежали странного вида чугунные печки, о которых мы узнали, что это р е н т а н ы, что к ним нужно прилаживать трубы, которые будут выходить прямо через окна на ули-

цу, и в эти рентаны надо класть особого сорта уголь, тогда они будут слегка обогревать помещение, причем нас предупредили, что без привычки все это будет трудно и будет болеть голова, но ничего, жили же здесь люди!

Чтобы не длить этих мрачных описаний, скажу только, что мы с Агаповым в течение двух дней составили длинную «смету» всех работ, необходимых по дому.

Пришлось доставать все, начиная от чашек, стаканов, сковородок, кончая стеклами, электрическими плитками, столами, стульями,— словом, всего не перечислишь.

Дальше встал вопрос о людском персонале. Для того чтобы топить вышеупомянутые рентаны, готовить и убирать помещение, нужны были служанки, для того чтобы найти их, нужно было иметь переводчика, через которого мы могли бы объясниться, а для того чтобы найти переводчика, нам опять-таки нужен был переводчик. Такой же заколдованный круг возникал и при поисках шофера.

Сначала к нам прикомандировали очень милого, культурного и прилично знающего английский и японский языки паренька из нашего посольства, который, однако, при всех своих достоинствах обладал двумя недостатками: во-первых, он, не будучи переводчиком по профессии, время от времени вдруг обижался, что несет при нас эту функцию; а во-вторых, он не мог разорваться на нас четверых, и мы вынуждены были ходить всюду гуртом, дьявольски надоедая друг другу.

Затем был найден переводчик — японец, господин Сато. Не знаю, как он владел японским, возможно, очень хорошо, но по-русски, надо отдать ему справедливость, он говорил отвратительно. Из его рта вырывалось какое-то цвяканье и сжосюканье, и после получасового разговора с его участием я ловил себя на том, что меня перекашивает и одно ухо от напряжения начинает вытягиваться в его сторону. Кроме того, для него нужно было доставать костюм, ибо он ходил в военном. Нужно было доставать ему и сезонный билет, потому что он жил за сто с лишним километров от Токио. К тому же он был в прошлом жандармским офицером, и сознание этого не доставляло нам особой радости. Дня три помучившись с ним, мы отказались от его услуг.

Следующим этапом нашей деятельности была мобилизация на поиски переводчика белоэмигрантского населения города Токио и его окрестностей. В результате в нашем доме появился огромный толстый ребенок по имени Жорж, с меня ростом, с прямым пробором и важным выражением лица. Он довольно прилично объяснялся по-английски и по-японски, но, будучи эстонцем, рожденным в Японии, ни лыка не вязал по-русски. Полагаю, что его русский словарь состоял примерно из того же количества слов, что словарь людоедки Элочки у Ильфа и Петрова. Однако мы прибегаем к его услугам, ибо, если нужно сказать шоферу, чтобы он нас вез налево, а не направо, сказать служанке, чтобы она топила рентан или, наоборот, чтобы не топила,— для всего этого Жорж абсолютно необходим. Он пребывает у нас с утра до ночи, скучая и толстая.

Наконец появился Витя Афанасьев, очень милый мальчик пятнадцати лет, тихий, хороший и застенчивый, но у него опять-таки два недостатка: во-первых, он живет черт знает где и ездить туда и обратно ему, особенно при нынешней сумятице токийского транспорта, трудно; а во-вторых, его русский словарь хотя и пообширней словаря Жоржа, но для серьезных разговоров этого, увы, нам маловато.

Вообще жизнь без знания языка поистине отвратительна. Мы делаем зверские усилия, но они зачастую ни к чему не приводят: ни нас толком не понимают, ни мы толком не понимаем; и только теперь,

когда мы наконец нашли двух хороших переводчиков-японцев, кажется, сможем немного вздохнуть.

Впрочем, довольно о быте. Попробую вспомнить то любопытное, с чем мы столкнулись в первые дни.

Во-первых, общее впечатление от Токио и Иокогамы.

Токио, который составляет одно целое с Иокогамой, в смысле планировки до некоторой степени похож на Берлин. Это один огромный город с довольно большими разрывами, отделяющими друг от друга сросшиеся с ним городки и города,— иногда это река, иногда парк. Впрочем, точное представление об этом сейчас составить трудно, ибо Иокогама выжжена почти дотла, да и периферия самого Токио тоже сожжена больше чем наполовину.

Нетрудно представить себе, какой ад был здесь, когда на город сбрасывались десятки тысяч «зажигалок» и он весь горел. То, что осталось от Токио, состоит из трех частей: во-первых, сам по себе составляющий целый город центр Токио, построенный в основном европейски; во-вторых, разбросанные по всему городу островки каменных зданий, разнокалиберных, многоэтажных, в большинстве своем некрасивых и не очень вяжущихся друг с другом (Токио почти не бомбили фугасными бомбами, от «зажигалок» эти дома не могли сгореть и поэтому остались целыми); и, наконец, в-третьих, довольно многочисленные улицы и кварталы, состоящие из мелких несгоревших деревянных домов.

Когда мы в первое утро проснулись в Токио (а корреспондентский клуб, как я говорил, стоит в центре) и пошли по улицам, нас поразил вид десятков совершенно целых кварталов. Но сейчас же за этими кварталами начинаются абсолютные пустыри, на которых из кусков обгоревших досок и груд черепицы торчат только бесконечные несгораемые шкафы. Огромное количество таких шкафов торчит прямо из земли, как старые кладбищенские монументы. Это производит довольно необычное и странное впечатление.

Деловая часть города не блещет красотой, но зато поистине прекрасен кусок Токио, непосредственно окружающий императорский дворец. Многочисленные дворцовые здания, находящиеся в середине великолепного парка, обнесены широкой, низкой, белой, крытой черепицей стеной и обведены довольно широким каналом. Вокруг канала то ли парк, то ли бульвар, типично японский, с низкими, разлапыми, очень красивыми японскими соснами с черными стволами и темно-зеленой, почти черной хвоей. А между этими соснами простирается земля, какая-то особенная, не похожая ни на какую другую, чуть холмистая, с зимней увядшей желтой травой откосов, как будто подстриженных бобрком; и от этого во всем облике парка есть какая-то графичность, какая-то подчеркнутость: земля отдельно, стволы сосен отдельно, их кроны отдельно. Когда смотришь на такой парк, то понимаешь, что острый, четкий, иногда кажущийся фантастическим японский пейзаж на картинах и на тканях на самом деле очень реалистичен, очень похож на правду природы.

Впечатления о жизни города пока самые поверхностные. Токио (я имел потом возможность сравнить его с другими городами) переполнен американцами. Как мне кажется, по крайней мере добрая половина всех американцев, находящихся в Японии, пребывает именно в Токио. Они большие, шумные, ездящие на «джипах», толпами ходящие по улицам, кричащие, разговаривающие. Они и именно они видны прежде всего в Токио. Целые улицы из «джипов», прищартовавшихся к тротуарам, моряки, с торжественным видом едущие на рикшах (которых, кстати сказать, не очень много, и ездят на них большей частью компаниями, очевидно, чтобы покататься и испытать это

экзотическое «удовольствие»), солдаты, идущие толпами по тротуарам, — все это создает ощущение города, переполненного американцами.

Японская толпа не идет в полном смысле этого слова; она, я бы сказал, шмыгает. Женщины вообще из-за своих деревяшек не идут, а как-то бегут вприпрыжку, наклонившись, причем если они одеты в кимоно, то бегут с горбом за спиной. Это впечатление горба создает широкий пояс — оби, — завязанный сзади огромным бантом. Он еще усугубляет впечатление согнутости женской спины. Мужчины очень плохо одеты, многие в полувоенной, так называемой национальной форме, которая была выработана во время войны и, как многое другое в Японии, преследовала цель экономии, ибо большинство текстильных фабрик было переведено на оборонные нужды. Те же, что в нормальной пиджаках и галстуках, тоже одеты плохо, в старое; причем неопытному европейскому глазу очень трудно в большинстве случаев отличить отдельные категории японцев, которых ты видишь: легко спутать богатого дельца и бедного интеллигента, не говоря уж о более тонких различиях.

Женщинам во время войны запрещено было носить кимоно и приказано носить брюки. Сейчас примерно половина ходит в этой полувоенной форме, а половина надела прежние кимоно, и, видимо, сделала это с радостью. Кимоно самые различные, часто пестрые и красивые, странно выглядящие в холодный, тусклый день, особенно на фоне остальных, еще очень серых и бедных одеяний. Женщину, одетую по-европейски — в платье, костюм, пальто, — встретить можно редко.

Вообще надо сказать, что если японцы и непривычны к жестоким морозам, то к постоянному ощущению холода зимой они, видимо, приспособлены гораздо больше, чем мы. Одеты они очень легко, большинство ходит без пальто. Температура на улице близкая к нулю. Такая же температура и в домах. Такие печки, как у нас, редкость. В подавляющем большинстве японских домов, по существу, нет никакого отопления, кроме так называемых хибати — небольших лакированных деревянных горшков, обшитых внутри красной медью. В этих горшках под золой тлеют угли. Вокруг них сидят и греют руки. Конечно, комнату, особенно комнату, стены которой состоят из деревянных переплетов, затянутых вошеной бумагой, такими хибати не обогреешь. Правда, во многих учреждениях и в более состоятельных домах в нормальное время было паровое отопление, но сейчас оно из-за отсутствия угля не работает нигде (за исключением зданий, занятых американцами), и в таких домах с бывшим паровым отоплением особенно холодно. Газ тоже не работает. Только в новогодние праздники на несколько часов было дано немного газа.

Однако, несмотря на ощущение бедности в одежде, я бы не сказал, что японская толпа производит мрачное впечатление. Можно встретить много улыбок, смеха. Я достаточно пробыл в голодной Европе и знаю, что такое лица, исхудавшие от голода. Таких лиц здесь немного. Другой вопрос, что, быть может, японский рацион питания иначе построен, чем у европейцев, но сказать, что здесь, в Японии, массовый голод, особенно судя по первым впечатлениям, которые, конечно, надо проверить, нельзя.

Везде и всюду очаровательные японские дети. Они толстощекие, розовые, упитанные и когда одеты в кимоно, то очень похожи на старинную японскую живопись и на дешевые, продающиеся в магазинах сувениры. Дети плотные, серьезные и, насколько я успел заметить, не капризные и не озорные. Во всяком случае, ограничения для детей при входе в японский театр нет, и матери часто притаски-

вают в театр (как обычно носят японки — за спиной) годовалых и полугодовалых детей, и очень редко, когда где-нибудь в зале раздастся их крик или писк. Дети сидят в театре серьезно и тихо, высовывая свои мордочки из-за плеча матери, что-то деловито жуют или просто молчат.

Несколько странное впечатление в первые дни на меня производила привычка японцев носить маску, закрывающую рот и нос. Это четырехугольник, вернее ромб, обычно черный, закрывающий нос и рот и двумя тесемочками завязанный сзади за ушами. По представлениям японцев, это предохраняет от простуды. Бог им судья. Во всяком случае, это достаточно уродливо.

Японский город делится не на улицы, а на кварталы. В квартале, который называется Гинзой, вернее не в квартале, а в целой серии кварталов, в районе, который считается деловым и главным образом торговым центром города, довольно много магазинов и лавчонок, бойко торгующих. Торгуют преимущественно тем, что предназначено для американцев. Продают кимоно, пояса, куски вышитых шелком и золотом материй, всякого рода коробки, портсигары, вазы, рюмки и чашки, наборы для чайных церемоний и для еды, продают всякие фальшивые драгоценности, безделушки — словом, все то, что, широко говоря, называется сувенирами, и на каждом втором магазине вы можете видеть надпись по-английски: «Сувенир шоп».

Японцы тоже заходят в эти магазины, но, сколько я успел заметить, покупают мало: наличных денег у населения немного. Цены сильно возросли, по крайней мере в десять — пятнадцать раз. Для японца или японки, которые зарабатывают триста, четыреста, пятьсот иен, кимоно, стоящее шестьсот — восемьсот иен, не очень-то доступно, а за хорошее надо вообще заплатить целое состояние — две с половиной тысячи иен.

Общая несоразмерность между повышением зарплаты за время войны и повышением цен, в особенности за последнее время, весьма велика — разрыв в пять, шесть и семь раз. В связи с этим все торгуют: муж служит — жена торгует, жена служит — муж торгует.

Вдоль всей Гинзы по обеим сторонам улицы тянутся бесконечные лотки, то есть, попросту говоря, барахолка, где целыми часами люди сидят на корточках и на разостланном платке или куске фанеры продают все что угодно: два одеяла, четыре ножа, десять вилок, одни носки, две униформы, пять лаковых чашек, электрический чайник, нитку искусственного жемчуга, несколько связок бумаги, лакированные коробки или электроплитки, палочки для чесания спины, палочки для того, чтобы есть рис, несколько сковородок, обрезки разных тканей, носовые платки, бьюварчики, зеркала, опять электроплитки.

Продается очень много электроприборов и металлической посуды. То и другое связано с двумя обстоятельствами. В Японии перестало работать большинство заводов, а предприятия, производящие электроэнергию, разрушены меньше всего (примерно пять процентов), так что электроэнергии неограниченное количество, отменены всякие лимиты на нее. И вот как грибы растет кустарное производство электроплиток.

Также в массовом количестве производится всякая посуда, очевидно из остатков металла на неработающих заводах.

На улицах и перекрестках во многих ларьках продают сушеную морскую капусту, мандарины, иногда яйца, которые по бюджету местных жителей стоят очень дорого — пять иен штука.

В нескольких магазинах продается всякого рода рыба и морские животные — крабы, каракатицы, осьминоги. Около магазина прямо

на тротуаре можно видеть небольших акул размером с шести-, а то и с десятигодовалого ребенка. Раньше считались съедобными только акулы плавники, это был даже деликатес, а сейчас едят акулье мясо, и находятся люди, которые считают, что это вкусно.

Магазин, в котором продается рыба, производит впечатление изобилия. Рыбы много и всяческой, но покупают ее мало: она дорогая. Такое количество рыбы, которого может хватить на обед семьи, стоит двадцать — тридцать иен, в зависимости от сорта, а это, конечно, для рядового обывателя очень дорого.

24 января 1946 года. Токио

Все-таки даже в несколько приемов не вспомнишь подряд всех событий этого месяца, поэтому ограничусь наиболее запомнившимся, следовательно, и наиболее интересным.

Во-первых, о свидании с Макартуром.

Если не ошибаюсь, вечером 28 декабря мы услышали первое сообщение об установлении Союзного контрольного совета в Японии. Это нас, конечно, обрадовало: и вообще — как наш политический и дипломатический успех, и в частности — как обстоятельство, которое облегчало нам тут работу и ставило нас в гораздо более независимое положение.

У нас очень остро стоял вопрос с машиной, а также было неизвестно, какие существуют правила передвижения и поездок по Японии для корреспондентов; хотя мне и говорили, что тут нужно либо летать, либо ездить на поезде, я по старой фронтовой привычке считал, что для поездок, даже самых дальних, лучше использовать машину. Поэтому я решил воспользоваться своим рекомендательным письмом от Гарримана к Макартуру. Наш переводчик позвонил макартуровскому адъютанту, и утром 29 декабря я встретился с ним.

Это был высокий, седой, с морщинистым лицом полковник, не слишком вежливый и не слишком невежливый. Он принял меня стоя, так и не сел. Я, объясняя цель своего визита, сказал, что у меня письмо от Гарримана к Макартуру. Полковник попросил, чтобы я отдал ему это письмо: он передаст его Макартуру и потом сообщит, когда тот меня примет, если сочтет нужным меня принять.

— У нас делается несколько иначе, — возразил я. — Если человек приходит с рекомендательным письмом, то его принимают или не принимают вместе с письмом, а поэтому я прошу доложить Макартуру о том, что я хочу прийти к нему с этим письмом, а потом сообщить мне, примет он меня или не примет.

Полковник ответил не без юда:

— Возможно, русский обычай таков, но у нас здесь американские обычаи.

Пришлось вынуть и отдать ему письмо.

Мы ушли и отправились завтракать в корреспондентский клуб. Не прошло и часа, как в клуб позвонили, вызвали меня к телефону и сказали, что просят быть у Макартура в офисе сегодня в половине шестого.

Ровно к половине шестого мы отправились туда. В той же приемной меня встретил тот же полковник; теперь с ним был еще и генерал Беккер, старый и довольно нелюбезный генерал, ведающий в штабе делами печати. Он сказал, что Макартур хочет меня видеть, но перед этим просил его, генерала Беккера, предупредить меня о двух обстоятельствах.

— О каких? — спросил я.

— Во-первых, чтобы вы не говорили никому из корреспондентов и вообще по возможности никому не говорили о своем посещении,

ибо Макартур никого не принимает, а если корреспонденты узнают, что вы у него были, то это будет прецедент, который доставит ему много осложнений.

Я обещал, что, конечно, ничего никому не скажу.

— Кроме того,— сказал Беккер,— просьба ничего не писать об этом посещении в прессе по тем же причинам, а также потому, что свидание будет неофициальное.

Я сказал, что не собираюсь ничего писать, и это было истинной правдой.

— Кроме того,— добавил Беккер,— я вас прошу ничего не передавать кодом, то есть шифром.

Это было уж вовсе глупо. Кому, зачем и для чего я буду передавать кодом что-то о своем свидании с Макартомуром? Я пожал плечами и сказал, что не собираюсь ничего передавать кодом, которого у меня, кстати сказать, нет, и я даже не очень знаю, что это такое.

Минут через десять меня пригласили в кабинет к Макартуру. Кабинет у него был довольно простой, строго обставленный, насколько я успел заметить: письменный стол, диван, круглый столик, два кресла — это все или почти все. Со мной вместе вошли Беккер и американец-переводчик.

Макартур, когда я вошел, стоял у стола, зажав в зубах огромную трубку, такую огромную, что он все время поддерживал ее рукой. Это была подчеркнута простая солдатская, видимо традиционная для него, трубка — круглый кусок не то дерева, не то обожженного кукурузного початка, и в него вставлена простая обструганная палочка вместо мундштука. Держа то в зубах, то в руке эту трубку и далеко отставляя руку с трубкой от тела, Макартур сделал несколько шагов мне навстречу, энергично пожал руку и пригласил сесть. Я сел на диван, он в кресло, переводчик рядом со мной, Беккер немножко поодаль.

Один или два раза во время беседы Макартур вставал, делал два-три шага по комнате и снова садился. Это высокий человек, довольно широкоплечий, в одинаковой для всех американцев форме: в длинных брюках, ботинках и зеленой куртке с напуском, широкой и скрывающей, как мне показалось, его начинающуюся старческую худобу. Впрочем, его шестьдесят лет ему, пожалуй, было трудно дать; на вид это был человек лет пятидесяти с небольшим. Лицо сухощавое, которое можно было бы назвать красивым, если бы не какая-то излишняя резкость во всех чертах, и гладко зачесанные назад лоснящиеся темные волосы без седины. Он, несомненно, был военным, солдатом до мозга костей, это чувствовалось. Но в то же время в том, как он двигался, как слишком прямо держал корпус и голову, как слишком резко придвигал и отодвигал руку с трубкой, как тоже слишком резко и отчетливо попыхивал этой трубкой, и в том, какая большая и грубая была эта трубка, и даже в подчеркнутой простоте его одежды была некая излишняя аффектация.

Это была какая-то странная аудиенция. Десять дней спустя я вспомнил о Макартуре, когда разговаривал со знаменитым актером театра «Кабуки» Оноэ, человеком его лет. Не знаю, почему у меня возникла такая ассоциация, но когда Оноэ, распахнув кимоно, напружинив ногу и показав свои железные, несмотря на шестьдесят лет, мускулы на ноге, с некоторой гордостью потребовал, чтобы мы потрогали эти мускулы в доказательство того, что они действительно железные, мне почему-то вспомнился Макартур. Что-то похожее было и в нем. По-моему, он беспрерывно в жизни показывал людям свою мускулатуру, конечно не в буквальном смысле слова.

Разговор длился минут пятнадцать, был коротким и бессодержательным, возможно, потому, что переводчик плохо справлялся со

своим делом, а скорее потому, что мне, в сущности, не о чем было говорить с Макартуром и тем более ему со мной.

Макартур спросил меня, намерен ли я отсюда писать в газеты. Я сказал, что едва ли, что я не журналист, а писатель, что я хочу изучить Японию основательно и, вернувшись, написать книгу, отрывки из которой, возможно, будут печататься в газетах. Он сказал мне, что он очень рад, что я именно писатель, а не журналист, потому что журналисты обычно гонятся за сенсациями и, очевидно, поэтому все изображают неверно и неглубоко. После этого он сказал, что вообще рад, что меня видит.

Эти любезности говорились таким рубленным тоном, что я чувствовал себя не собеседником, а котлетой. Потом он заговорил о Гарримане, спросил, когда я его последний раз видел. Я сказал. Он спросил меня, как Гарриман выглядит. Я сказал, что хорошо, добавив слова Гарримана, что он жалеет, что сам не может попасть в Японию, что он хотел бы еще раз посмотреть ее. В ответ на это Макарттур сказал, что Гарриман был в юности в Японии. Отец Гарримана был здесь руководителем первых железнодорожных и пароходных компаний. Потом он сказал, что они с Гарриманом друзья, и, улыбаясь, стал рассказывать о том, как они где-то когда-то охотились на уток вдвоем. Я выслушал эту историю про уток, возможно очень интересную на английском языке, но совершенно косноязычно переведенную мне переводчиком.

Потом Макарттур спросил, какие у меня к нему вопросы. Сначала, идя на свидание, я думал задать ему некоторые вопросы относительно мероприятий, проводимых им в Японии, и о последовательности этих мероприятий, но после предупреждения Беккера о том, чтобы я все держал в тайне, и особенно после его слов о запрещении передачи кодом, у меня отпало всякое желание задавать какие бы то ни было хоть сколько-нибудь связанные с политической вопросы. Мне казалось, что в этой атмосфере всякий мой вопрос будет воспринят как желание что-то выпытать и потом передать кодом. Поэтому я сказал, что просто очень хотел его повидать, что видел многих военных деятелей на Западном фронте и мое представление о выдающихся людях этой войны было бы неполным, если б я с ним не встретился, что у меня вопросов нет, но есть две просьбы, выполнение которых могло бы мне посмотреть Японию, с тем чтобы потом серьезно и активно написать о происходящем здесь.

— Какие просьбы? — спросил Макарттур.

Я сказал, что первая просьба — дать мне ввиду того, что по всей стране стоят американские гарнизоны, соответствующую бумагу, которая обеспечила бы в нужных случаях содействие американцев. На это Макарттур показал на Беккера и сказал, что он даст необходимые бумаги, когда они мне понадобятся.

— И второе. Нельзя ли на время нашего пребывания здесь приобрести или получить во временное пользование одну закрытую легковую машину, чтобы мы могли иметь некоторую свободу передвижения для более дальних поездок?

К моему удивлению, Макарттур ответил на этот вопрос не коротким «да», а какой-то весьма длинной фразой, которую в довольно невнятном переводе я понял так, что, к сожалению, он не может мне в этом помочь, потому что сейчас пароходы еще возят солдат и не возят из Америки ничего, в том числе и машин, что машины, которые есть здесь, все распределены и он в ближайшее время не может мне выделить машину, но что у генерала Беккера — это был второй жест в сторону Беккера, — у которого есть парк машин, можно будет взять, когда мне будет нужно, машину для поездки.

Я был немножко удивлен этим, по существу, отказом, а также и самим объяснением, быть может, неточно переведенным, но мне ничего не оставалось, как только поблагодарить.

— Есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы или пожелания? — спросил Макартур.

Я понял это как сигнал к окончанию беседы, и так как по моим расчетам пятнадцать минут, которые я определил себе как время, которое мог отнять у Макартура, уже истекли, то я поднялся и сказал, что у меня нет больше никаких просьб и пожеланий, ибо все, что нужно писателю, желающему знать страну, это бумага, которую мне выдаст Беккер, машина, чтобы передвигаться, и карандаш самого писателя. На этом плюс прощальные любезные улыбки и закончилась наша беседа.

Я, как и обещал, никому не говорил о своем посещении Макартура. Но вдруг ровно через неделю после этого один из американских корреспондентов стал меня настойчиво расспрашивать, был ли я или мы все вместе у Макартура. Я сказал ему, что, независимо от того, были мы или не были, я по этому поводу связан словом и ничего не могу ему сообщить. Тогда он сказал:

— Напрасно скрываете, потому что у меня есть вырезка из американской газеты, где уже напечатано о том, что вы были у Макартура.

Оказывается, произошло следующее. Один здешний американский журналист написал статью (вырезку из которой я надеюсь получить и привести где-нибудь здесь в дневнике), в которой описывались разные подробности нашей жизни в Токио, наше сознательное притворство, будто мы не знаем английского языка и не желаем ни с кем говорить по-английски, хотя на самом деле мы отлично знаем английский язык (ох, если бы так!). Было также описано, как мы ежедневно утром, днем и вечером пьем в ресторане водку и едим черную икру (если бы так!). А главное, было написано, что мы все четверо долго добивались приема к Макартуру, и наконец когда были им приняты и когда Макартур спросил нас, какие у нас к нему вопросы, то не задали ему никаких вопросов, а только попросили у него машину, бумагу и карандаши!

Суть статейки, живописующей, как в Токио прибыли четыре безнадёжных идиота, была ясна. А что касается источника информации, то подозреваю, что им мог быть сам генерал Беккер, как мне с первого же взгляда показалось (а первое впечатление меня редко обманывает), чрезвычайно и подчеркнуто к нам нерасположенный.

Корреспонденты, жившие с нами в пресс-клубе, отнеслись к делу серьезно и, не ставя нас в известность, написали в какое-то американское издание коллективное письмо, в котором сообщали, что все написанное этим корреспондентом клевета. Узнать об этом мне было профессионально приятно, у меня застарелая слабость к газетчикам, и я больше люблю думать о них хорошо, чем плохо, хотя, к сожалению, слишком часто впадаю в ошибки.

В первых числах января нам давала обед газета «Асахи». Было на обеде человек двенадцать, из которых трое японцев, говорящих на русском языке, корреспонденты ТАСС — один, говорящий по-английски, а другой по-японски — и мы четверо грешных. Это был настоящий японский обед по всем правилам в одном из хороших токийских ресторанов.

С точки зрения разговоров, происходивших там, это был типично парадный обед, где говорились комплименты нам и говорили комплименты мы, — словом, обед обычный, затеянный для того, чтобы с са-

мого начала нашего пребывания в какой-то мере связать нас с «Асахи» и убедить написать именно туда свои впечатления о Японии, на что мы, естественно, сразу же после приезда не согласились не из каких-либо дипломатических соображений, а просто потому, что у нас не было еще почти никаких впечатлений. Подробно опишу процедуру именно этого обеда и потому, что он был первым, и потому, что он, по сути дела, и состоял из одной этой процедуры.

Хороший японский ресторан обычно помещается точно в таком же доме, как средний ресторан и плохой ресторан: обыкновенный серый дом с двумя или тремя ступеньками, с решетчатой, затянутой воценой бумагой дверью. Вы отодвигаете эту дверь и входите. Широкая каменная плита, четыре ступеньки и дальше полированный пол, круглая корзинка, в которую вы ставите палку или зонтик, если он у вас есть. Направо приступочка, куда вы ставите ботинки.

Вас встречает одна или две молодые японки, иногда милovidные, иногда нет, одетые в кимоно и в плетеные туфли с такой системой застежек, что держаться они могут только на ноге, одетой в особый японский чулок — таби. Он сшит из белого полотна, облегает ногу до лодыжки и отличается от всякого другого чулка тем, что большой палец пришит в нем отдельно. Между большим и вторым пальцами как раз и проходит застежка, при помощи которой держится на ноге эта туфля. Иногда женщины встречают вас просто в одних белых чулках. Если вы видный гость и обед организован более парадно, вас вместе с этими молодыми женщинами встречает какая-нибудь далеко не милovidная старуха в темном кимоно — хозяйка ресторана или распорядительница.

Вы садитесь на приступку, снимаете туфли, причем не удивляйтесь, если женщина наклонится и поможет вам расшнуровать ботинки. Потом, если это хороший ресторан, вам дадут с л и п ы — войлочные или полотняные туфли на веревочной подметке, без задников, которые, если вы имеете нормальную мужскую ногу, будут вам малы.

Вы проходите по коридору с навощенным блестящим полом, по которому действительно страшно ходить в наших уличных туфлях, и, оставив на пороге эти слипы, уже в носках входите в комнату, застланную чистыми циновками. В комнате нет ни дверей, ни окон в обычном понимании, есть только раздвижные бумажные и картонные стенки, которые легко ездят на шарнирах.

Корреспондент «Асахи» господин Хатанака, который был устройтелем обеда, пригласил нас сесть вокруг низкого стола на подушки, и служанки немедленно принесли нам зеленый чай в чашках с крышками.

Мы сидели около стола, пили чай и болтали. Продолжалось это минут двадцать — двадцать пять. Я ожидал, что именно сюда принесут еду, но Хатанака, видимо заметив на наших лицах недоумение, сказал, что здесь мы пробудем недолго, а обедать перейдем в другое место. Действительно, еще минут через десять мы поднялись и перешли в соседнее помещение.

Это была довольно большая комната, тоже огороженная картонными стенами, застланная циновками, с великолепным полированным невысоким деревянным потолком. Низкие, сантиметров пятнадцать от пола, столы были сдвинуты вместе и составляли один большой. Вокруг лежали темные шелковые подушки, и рядом почти с каждой подушкой стояли хибати, в которых был насыпан песок, и в этом песке в середине тлели угли, не чадая и почти не давая запаха, но в то же время создавая легкое тепло. Снаружи хибати были холодные — дерево не пропускало тепла, — а сверху над ними можно было погреть руки,

и когда их в комнате стояло восемь или десять, они постепенно согревали ее.

Две или три служанки опять принесли по чашке чая, потом стали приносить приборы: крошечные фарфоровые подставочки для палочек, палочки, чем-то вдруг напомнившие мне гигиенические кисточки для бритвы (они были также аккуратно запечатаны в наощенную бумагу в доказательство того, что ими еще никто не пользовался), похожие на пиалы фарфоровые рюмки для саке вместимостью граммов по пятнадцать и большие, выдолбленные из целого дерева, темно-коричневые подносы с довольно высокими закраинами, сантиметров в пятнадцать. Для каждого обедающего предназначался отдельный поднос, на который ставились все блюда. Конечно, в этих подносах и таился секрет чудесного состояния полированных столов, за которыми обедало, может быть, не одно поколение японцев. Столы, само собою разумеется, были без скатертей.

Служанки продолжали еще суетиться и приносить на деревянных подставках маленькие фарфоровые кувшинчики с горячим саке (японская слабая, примерно восемнадцатиградусная, и в горячем виде очень вкусная рисовая водка).

Тем временем начали появляться гейши. Это были молодые и в большинстве своем миловидные, а по японским понятиям, должно быть, просто красивые женщины, которые на ходу переняли у служанок часть их работы, то есть служанки продолжали что-то носить из кухни, подавать какие-то чашечки, обычно закрытые, какие-то соуснички и т. д. и т. п., а гейши брали у них все это, ставили на стол и, сев на корточки, ухаживали за вами.

Я не берусь отвечать за нравственность каждой из них вне пределов такого ресторана, но здесь, в ресторане, они работали как артистки, которые принимали гостей и ухаживали за ними, а впоследствии танцевали и пели.

Нас было человек двенадцать, гейш было семь или восемь. Когда японцы садятся в ресторане за стол, то они садятся с большими интервалами. Во-первых, между ними ставят хибати, а во-вторых, оставляется место для гейши, чтобы она могла присесть подле вас. Гейша садится не рядом с вами, а чуть-чуть позади. Она наливает вам саке, она передает вам кушанья, она вскакивает, для того чтобы помочь служанке принести новый поднос с едой, покидает вас на минуту и снова возвращается к вам. Она не наливает вам в стоящую на столе рюмку, а говорит: «Дозо» (что значит «пожалуйста») — и вы должны приподнять свою рюмку со стола, тогда она наливает. Если вы этого не сделали, значит, вы не хотите пить.

Гейшам ресторан платит двадцать пять, тридцать, сорок иен в час за их работу, нанимая их на два, три, четыре часа, в зависимости от того, какими деньгами решили рискнуть организаторы обеда. Гейши появляются не все сразу, а сначала приходит одна, потом другая, потом третья, и так на протяжении часа появляются все. Одеты они обычно со вкусом, в более пестрые и красивые кимоно, чем служанки. Прически у них разные. У одних просто пучок обычной прически, у тех, кто постарше, прическа устроена на старинный японский манер, который можно увидеть на японских миниатюрах и вышивках.

Гейша сидит рядом с вами и ничего не ест, это не принято. Вы можете угостить ее саке. Для этого нужно передать ей свою рюмку, взять в руки бутылочку с саке и налить ей самому. Без этого она пить не станет. Обычно она не откажется и хотя бы из вежливости выпьет одну рюмку, но это зависит от ее желания. Гейша будет сидеть рядом с вами, мило щебетать, быстро выучит русские слова «спасибо» и «пожалуйста», но через десять минут, по традиции подчеркнув, что

она только артистка и хозяйка за столом, она не останется уже рядом с вами, а перейдет к вашему соседу, а к вам подсядет через минуту или две другая. Так постепенно они все будут путешествовать вокруг стола. На этот раз устроители из «Асахи» постарались блеснуть хорошим обедом и хорошими гейшами из известной танцевальной школы.

Танцы были устроены в последней трети обеда. Гейши вначале протанцевали несколько классических танцев с веерами, с подносом. Все это сопровождалось пением солистки и игрой на сямисэне — инструменте, внешне похожем на большую мандолину с очень длинной декой. Потом одна из гейш исполнила два или три характерных танца, надев на лицо одну из традиционных японских масок «смеющаяся девушка». Это утрированная и очень забавная маска, прекрасно выполненная; держат ее изнутри зубами за специально сделанный для этого выступ.

Потом вышли две гейши и, прежде чем начать танцевать, начали что-то объяснять по-японски. Хатанака перевел, что сейчас будет исполнен коротенький танец прощания и встречи, причем гейши просят помнить, что одна из них, та, что слева, — женщина, а та, что справа, — мужчина. Они действительно исполнили очень коротенький и забавный танец, состоявший всего из нескольких па. Сначала они отворачивались друг от друга, потом гейша, изображавшая мужчину, отходила на три шага, потом поворачивалась, возвращалась, они низко кланялись друг другу, смотрели друг другу в глаза и брались под руки. В этом и заключался весь танец.

Потом нам подали еще какое-то последнее блюдо, кажется, соевые овощи и рис. Это был конец обеда. Гейши незаметно одна за другой исчезли; остались только служанки, обносившие нас фруктами. Я посмотрел на часы. От времени появления до времени исчезновения гейш прошло ровно два часа. Именно на такой срок они, очевидно, и были наняты.

Вот, собственно, и все, что можно рассказать об этом обеде. Перечислением блюд заниматься не стоит, наверное, японские блюда лучше будет описать где-нибудь в одном месте, в конце поездки. Что до разговора, то в нем не было ничего содержательного. Это была типичная представительская беседа...

Поскольку я заговорил в своем дневнике о гейшах, чтобы уже не возвращаться к этой теме, забегу вперед и приведу свою запись о той погробной беседе с гейшей, которую я предпринял позднее, в Киото, с желанием попробовать все-таки выяснить, что представляет из себя реально и в данное время эта загадочная для нас профессия.

23 февраля 1946 года. Киото

В Киото есть два района, где живут гейши. Один из них, самый большой и известный, Геон, расположен почти в самом центре города и существует в том виде, как сейчас, уже больше ста лет.

Это обособленный от всего остального квартал (вернее, несколько кварталов), как бы окруженный стеной из домов, причем над входами в узкие улицы сделаны деревянные арки, тем самым, попадая в Геон, ты как быходишь в него через ворота.

В Геоне несколько сот домов: в одних гейши только живут, в других — только ресторанички, где они работают, в третьих — и то и другое.

На домах почти нигде не увидишь вывесок, только маленькие решетчатые двери с навесами да звуки сямисэна и голоса откуда-нибудь сверху указывают на то, что тут рестораничок. Не всякому и не всегда

здесь отопрут, в иной из ресторанчиков можно попасть только по рекомендации старых гостей; во всяком случае для того, чтобы тут укромно пообедать или поужинать, нужно заказать место с утра или лучше накануне.

Я просил специально устроить мне встречу с немолодой и выдавшей виды гейшей. К нам вышла женщина средних лет, худощавая, довольно скромно одетая, с густыми гладко зачесанными волосами, с бледным красивым лицом, несколько обезображенным огромным синяком на подбородке, о котором ее подруга, воспользовавшись ровно тремя секундами ее отсутствия, чисто по-женски поторопилась сказать, что этот синяк оттого, что она вчера пьяная свалилась с лестницы.

В начале разговора на лице у женщины была как бы надета неподвижная, усталая, белая, с тонким оттенком желтизны маска, напоминающая хорошие старые маски театра «Но». По мере продолжения разговора маска оживлялась, иногда появлялась естественная улыбка и естественные ноты в голосе, но чаще это бывал только резковатый, заученный профессиональный смех и визгливые нотки искусственного веселья. Это было не нарочно, а как вторая натура, даже естественные чувства выражались чаще всего через заученное. Эта привычка была уже как старая женская японская прическа, которую женщины зачесывают сразу на многие годы и только поправляют ее. (Кстати сказать, я вдруг вспомнил, как во время посещения золотого павильона буддийского храма я вытащил из круглого ящичка гадательную палочку, и с этой палочкой мы зашли к дряхлой, должно быть столетней, старухе сторожихе, которая, посмотрев на палочку и помусолив пальцами в старой книге, сказала, что я вынул «среднее счастье». Это, если я не запямятовал, означало: счастье, счастье и еще раз счастье. И говорят, это гораздо лучше, чем вытянуть «большое счастье», которое означает «предел счастья» и которое, повернувшись своей обратной стороной, может превратиться в несчастье. Я вспомнил здесь, в Геоне, об этой старухе потому, что у нее, как у многих старых японских женщин, была лысина. Старинная японская прическа, в течение долгих лет своей тяжестью давя на затылок, протирает лысину — это, так сказать, профессиональная болезнь старинных японских модниц.)

Вскоре после начала разговора гейша, видимо не желая оставаться наедине со странными иностранцами, позвала свою подругу, другую гейшу, лет двадцати девяти, но на первый взгляд выглядевшую как девятнадцатилетняя девушка. Это была хорошенькая женщина, как и первая, тоже скромно одетая, с горбоносым лицом, как это ни странно, еврейского типа. Она была бойкой особой, сразу принявшей на себя половину разговора и, быть может, перехватившей бы его весь целиком, если бы я этому не воспрепятствовал, ибо первая гейша была для меня интересней.

Минут за пятнадцать до нашего ухода пришла хозяйка дома (это был только ресторан, и гейши жили не здесь). На странном лице этой женщины было написано преступление. Ей было лет сорок, и лицо ее было скорее красивое, чем некрасивое, и в то же время оно чем-то, не могу отдать себе отчета чем, производило резко отталкивающее впечатление. Очевидно, у нее была какая-то асимметрия в лице, но какая, я не мог понять.

Я спросил, нет ли описания истории Геона. Мне принесли маленькую брошюрку для туристов. Я спросил, нет ли специальной песни Геона. Оказалось, что есть. Одна гейша взяла в руки сямисэн, а другая стала петь. Хозяйка ей подтягивала с неподвижным лицом. Песня была заунывная, со странно звучащим и часто повторяющимся припевом «Геон, Геон».

На этом можно было бы и кончить, если бы не желание все-таки сделать некоторые предварительные выводы, основанные и на этом продолжавшемся несколько часов разговоре, и на других разговорах с гейшах с журналистами, и на некоторых в разное время подмеченных черточках.

Безусловно, гейши не проститутки, особенно в японском, самом прямом из всех пониманий этого слова. Но, конечно, это в то же время и не люди искусства в нашем понимании. Есть, конечно, исключения, есть, наверное, и гейши, относящиеся к своему делу как к священному ремеслу и достигшие большого совершенства в нем, но, повторяю, это исключение, и притом умирающее. Вообще же это система продажи своего ремесла, иногда более, иногда менее близкого к искусству, причем как к а к е м о н о (картина) в доме есть дополнение к нему, так и гейша есть дополнение к ресторану, к обеду, к мужской беседе — и она и ее искусство.

Вы приглашаете друзей пообедать с вами в ресторане и приглашаете гейш. Если вы небогаты, вы приглашаете одну-двух, если вы богаты, вы приглашаете нескольких, иногда даже по числу гостей. Вы нанимаете их на два или три часа, и они являются ровно на два или на три часа. За те деньги, что они от вас получили, они обязаны, во-первых, исполнять роль хозяек в японском понимании этого слова (то есть наливать вам саке, подкладывать подушку, если вам неудобно сидеть, следить за тем, чтобы не потухло хибати, и ничего не есть — во всяком случае, до тех пор, пока мужчины не закончат еду); во-вторых, за эти деньги гейша обязана развлекать вас салонной болтовней, поддерживать беседу, если она не клеится, тактично молчать, если она клеится, и умеренно кокетничать с одним или с двумя из гостей (в зависимости от того, сколько гейш и сколько гостей); в-третьих, гейша должна вместе со своими подругами где-нибудь в середине обеда, обычно ближе к его концу, спеть несколько песен, сыграть на сямисэне и протанцевать один или два обычно несложных танца. Причем должен сказать, что, на скольких обедах я ни был, особенного мастерства ни в игре, ни в пении, ни в танце я не встречал. Обычно это неплохо, и только. Должно быть, есть средний профессиональный стандарт, который в основном повсюду и соблюдается.

Итак, это почасовая продажа своего времени, своего искусства болтовни, искусства застольной хозяйки и искусства пения, музыки и танца, причем это последнее не больше чем десять процентов от целого.

Но продажа своего маленького искусства, чаще ремесла, продажа внимания, любезности и кокетства, в конце концов, недалеко от продажи любви, ибо продажа любви ведь не есть же на самом деле продажа любви! Это ведь и есть, в сущности, продажа любезности, внимания и кокетства и сопряженная с этим продажа тела.

Не удивительно, что большинство гейш является продажными женщинами, только, конечно, в совершенно ином понимании этого слова, чем продажные женщины публичных домов. Если вы позвали гейш на обед, то этим все и ограничится. Но в то же время они почти всегда имеют любовников, иногда меняющихся, иногда более или менее постоянных, оплачивающих их расходы, иногда живущих с ними долгие годы, иногда покупающих на их имя рестораны и дома гейш.

Часто у гейш рождаются дети (у второй из наших собеседниц было, например, четверо детей, и все от разных отцов), они считаются незаконными, и их растит мать. Девочки обычно тоже становятся гейшами (для чего кончают специальную школу), мальчиков отцы иногда «приписывают» к себе, особенно если у законной жены нет детей, но это редко.

В конце войны профессия гейш была запрещена. Тогда союзладельцев домов гейш организовал несколько мастерских по пришивке пуговиц к обмундированию и т. п. Там гейши и работали во время войны, но это, видимо, была все-таки липа.

Если подбирать европейский синоним к этому сословию женщин, то, пожалуй, ближе всего к нему французская куртизанка XIX века, описанная у Бальзака или у Золя. Она тоже нередко маленькая актриса, вокруг нее тоже много мужчин, и за нее также на определенном отрезке времени платит один, тот, кто на правах этого мира ею законно владеет, содержит ее.

Мечта многих гейш — выйти замуж. Но обязательное условие женьбы на гейше — это оставление ею своего ремесла.

— Ну, а если гейша так любит свое искусство, что не захочет его бросить ради замужества? — спросил я.

Меня долго не понимали, потом наконец поняли и улыбнулись:

— Нет, так не бывает.

И я, в свою очередь, понял: не знаю, как в старину, а сейчас это не такое искусство, из-за которого гейша пренебрегла бы стоящим замужеством.

При всех хороших словах, которые японцы говорят о гейшах, эта профессия все-таки считается не вполне уважаемой. Если женщина была гейшей в прошлом, это еще ничего, если в настоящем — это влекуще и в то же время не до конца прилично. Иметь гейшу любовницей — шикарно, но прийти с ней в благовоспитанный дом — неприлично.

Было бы неверно искать этому объяснение в том, что в Японии, скажем, как некогда в России, сомнительной с точки зрения светских приличий считается вообще профессия актрисы. Это отнюдь не так. К профессии актрисы в Японии относятся так же, как и в европейских странах. А профессия гейши есть профессия гейши, нечто, чему невозможно подыскать полный синоним в западном быту.

24 января 1946 года. Токио (продолжение записи)

Запомнилось, как в один из первых дней января мы поехали километров за шестьдесят от Токио, в курортное местечко Камакура, известное и как курорт и как место, где находится одна из достопримечательностей Японии — огромный камакурский Будда.

Выехали туда утром, ехали по очаровательным местам по берегу моря. По дороге заезжали на островок, соединенный с берегом мостом. На этом островке, который представлял собой довольно крутой и маленький холм, удивительно уютно разместился крошечный городишко с узкими извилистыми улицами, с маленьким синтоистским храмом наверху и с небольшим, но прекрасным парком. Побродив по этому городку, мы поехали дальше, мимо еще нескольких городков и селений, совершенно целых и представлявших разительный контраст с начисто разрушенной Йокогамой, через которую мы проезжали час назад.

Наконец добрались до самой Камакуры. Место красивое: синий залив, бесконечная даль Тихого океана, много зелени — светло-зеленые бамбуки с никогда не вянущими листьями, темная, почти черная зелень японских сосен, — маленькие, уютно выглядящие дома. И среди всего этого, высоко поднимаясь над крышами домов, стоит, вернее не стоит, а сидит, скрестив руки на животе, действительно очень большой круглоголовый невозмутимый медный идол, сооруженный здесь не то в IX, не то в X веке. Чтобы примерно соотнести величины, скажу, что он, пожалуй, раза в два выше и объемистее Царь-колокола. Через дыру в его левом боку можно войти внутрь и подняться по вин-

товой лестнице на площадку, снова выводящую наружу где-то между его лопатками.

Около Будды, как всюду около всех японских достопримечательностей (впоследствии в этом я убедился), стояла большая белая квадратная доска с черными буквами английских надписей. Там был написан целый столбец цифр: высота Будды в футах, ширина Будды в футах, толщина Будды в футах, сколько футов брови, сколько футов нос, сколько футов губы, сколько тонн веса. Эта колонка цифр плюс еще одна цифра — год появления Будды на божий свет — и исчерпывала все сведения. Точно такие же сведения я потом читал везде — бесконечное количество футов с дополнительными указаниями, что это самая высокая пагода, или самый длинный храм, или самый тяжелый истукан.

Будда — темный, рыже-буро-зеленый, внутри чем-то похожий на сталактитовую пещеру; грубое, шершавое, старое бронзовое литье. Спереди Будда внушает почтение, сзади, где в глаза все время лезет площадка с перилами, вылезавшими из его лопаток, производит слишком деловое впечатление и почтения уже не внушает.

Сидя под навесом шагах в пятидесяти от Будды, сзади него, мы, проголодавшись за дорогу, основательно закусили и выпили две бутылки виски и водки, бывшие у нас с собой. Настроение было радужное, и будь у нас еще одна бутылка, то мы, по великой русской традиции, наверно, спели бы здесь «Стеньку Разина».

В дни, когда мы метались в поисках переводчика, мне пришлось попасть в два русских эмигрантских дома, о которых следует сказать несколько слов.

Русских эмигрантов в Японии немного, пожалуй, во всей стране не наберется больше восьмисот — девятисот семей, из них семей двести живет в Токио и Йокогаме. Эмигранты тут разные. Незначительное меньшинство составляют люди, попавшие в Японию еще до первой мировой войны, оставшиеся тут после японского плена или находившиеся в составе религиозных миссий. Главное же и основное количество эмигрантов — либо русские, приехавшие из Маньчжурии, где они жили, либо (и этих гораздо больше) эмигранты, бежавшие с Дальнего Востока в 1920, 1921, 1922 и даже в 1923 годах; причем нельзя сказать, чтобы это были все офицеры и солдаты белой армии, многие из них просто торговцы, промышленники — словом, люди штатские, состоятельные, спасавшие свои капиталы и не видевшие возможности существования в советской России. Жили они все эти годы в Японии ни шатко ни валко, занимались ремеслишком, торговлишкой, поддерживали некоторые русские традиции, ходили в русскую церковь, содержали на свои средства русскую школу и в большинстве своем учили и научили своих детей, родившихся уже в Японии, не бог весть как хорошо, но все-таки говорить по-русски.

После антикоминтерновского пакта и особенно во время войны им пришлось туговато, кое-кто из них иногда по году и по два сидел в тюрьме, многих били в полиции иногда якобы по подозрению в шпионаже в пользу России, а иногда и просто так, как русских, без объяснения причин.

Сейчас им живется неплохо, особенно тем, кто занимается торговлей и мелкой промышленностью, ибо после прихода сюда американцев все вообще европейцы — по сравнению с японцами — поставлены в особое положение: получают повышенные нормы питания, а главное, имеют лучшее правовое положение. Поэтому японцы их, с одной стороны, побаиваются, а с другой — иногда пользуются ими как ширмой: принимают компаньонами в свои предприятия и магазины или

делают дела, пользуясь их именем. Словом, обстоятельства у них поправились, и старик Воеводин, первый из эмигрантов, с которым я познакомился, подвыпив, в припадке откровенности говорил мне:

— Я вот голый был, голый при капитуляции. Все с меня раздели, все сняли. В тюрьме лупили. А сейчас опять живу. Сто тысяч иен в кармане. И дальше намечается!

Насколько я мог выяснить, до войны он занимался мелкой парфюмерией, а сейчас вместе с сыном перешел на шелковое производство, кажется, неофициально вошел в компанию к какому-то крупному фабриканту шелком.

Все эмигранты сейчас радушны и полны желания услужить. Дети их, учившиеся в начальной русской школе, а потом обычно в английском колледже и знающие три языка, почти все служат переводчиками или еще кем-нибудь у американцев. Нам, например, для того чтобы пригласить себе переводчика из числа этой молодежи, пришлось «снимать» его со старой работы.

В радушии и в расположении к нам у некоторых из эмигрантов есть некая наигранность, другие, как мне думается, вполне искренни, а в какой-то мере, конечно, все искренни. Все-таки в этой очень далекой по всем статьям от нас стране за двадцать пять лет никто из них не ояпонился: дети говорят по-русски, в домах существуют (в одних больше, в других меньше) какие-то старые русские обычаи и порядки — елки на рождество, русская пасха, русского засола огурцы, щи к обеду. Все это, может быть, мелочи, но в сумме их есть что-то такое неумемное, что говорит о крепких национальных корнях самых разных русских людей. Правда, в этом смысле у стариков больше привязанности к России, которую они видели и знают. Дети тоже питают симпатии к ней, но американский сервис действует на них разъедающе. Это легко понять. Здесь американская армия, американские солдаты, американские машины, американские продукты, американское виски, американские самолеты, американская полиция — все это шумно, громко, очень заметно, как это всегда бывает с американцами. И вот дети плавают между двумя ощущениями — желанием вернуться на родину, о которой говорят отцы и о которой они сами ничего не знают, и желанием попасть в Америку, которую они видели сами во всем блеске первого победного ажиотажа.

8 января, на второй день рождества, празднующегося здесь у эмигрантов по старому стилю, мы приехали на вечер к Воеводиным. Компания у них была любопытная: сам Воеводин, шестидесятилетний человек, начинающий лысеть, но без единого седого волоса, немножко клонящий голову набок и глядящий с прищуром хитрого ярославского мужика, хотя он из Сибири; его жена, маленькая, с загрубевшими от кухни руками, сухонькая, черная, похожая на турчанку, вежливая и по-старомодному чопорная; их две родные дочери и одна приемная — девушки от шестнадцати до двадцати, все отлично говорящие по-английски и довольно мило, почти без акцента, по-русски; старый отставной артиллерийский прапорщик из рядовых — Маслов, седой человек с хриповатым голосом, любящий поговорить о войне, об артиллерии и, кажется, как и Воеводин, занимающийся сейчас шелком; седая дама лет пятидесяти, как говорится, со следами бывлой красоты, полька, родившаяся в Маньчжурии, в Харбине; ее муж — из бывших офицеров, худощавый, откровенный и с достоинством держащийся человек; еще один пожилой человек неопределенных лет — регент церковного хора, который, подвыпив, пел находящиеся на грани приличия куплеты времен гражданской войны; бывший владивостокский театральный деятель, старик с одним глазом, худой, жалкий, приглашенный сюда больше как тапер, чем как гость, плохо иг-

равший вальсы, польки и краковяк, а потом, подсев ко мне, спрашивавший, знаю ли я Асеева и Третьякова, вместе с которыми он занимался литературной деятельностью и организовывал в двадцатых годах какой-то театр во Владивостоке; еще одна девушка, дочь Маслова; долговязый и очень стеснявшийся американский сержант, который, видимо, пришел с ней и ушел часа через полтора после начала, то ли обязанный по службе возвратиться к определенному часу, то ли не выдержавший русской системы веселья. Вот примерно компания, собравшаяся за длинным столом, заставленным полурусскими, полуневесть какими, уже потерявшими национальную окраску закусками и бутылками с виски.

За столом было шумно и весело и была какая-то на этот раз неиграющая теплота в тостах, которые один за другим произносили мужчины за русскую армию, за флот, за Россию, за победу, за русских людей. Потом отставной офицер, о котором я уже говорил, вдруг обратился ко мне и сказал:

— Вы знаете, я вот шел сюда и очень тревожился. Я ведь никого из новых, советских людей не видел. Очень боялся — пойму ли я вас? А вот все понимаю. Каждое слово понимаю. Совсем тот же язык у вас остался. Вы не можете представить себе, как это мне приятно.

После ужина были отодвинуты столы. За маленьким столом пили чай. Старый знакомый Третьякова и Асеева барабанил на рояле вальс «На сопках Маньчжурии» и другие вальсы, а потом и польку и краковяк. Девушки, а также и пожилые дамы довольно бойко отплясывали все эти недоступные мне танцы. За стеклянной дверью горела елка.

Вышли мы из дому, как считается по-здешнему, очень поздно — часу в двенадцатом. Дом был в таком узком переулке, что машину пришлось оставить метров за сто пятьдесят от него, на углу большой улицы. Мы подошли к машине, сели в нее и едва тронулись, как через полметра со свистом спустило заднее колесо. При общем участии и содействии при свете стеариновых свечей стали менять колесо, а из старого вытащили огромный гвоздь, который, безусловно, кто-то подставил углом перед колесом с таким расчетом, что, как только машина тронется, шина спустит. Иначе этот гвоздь никак не мог бы попасть в колесо. Такие истории тут происходят, как мне сказали, довольно часто.

Наконец мы сменили колесо и уехали.

25 января 1946 года. Токио

Придется просидеть хоть до утра, но погасить до конца долг за прошлое. Пока не выветрилось из памяти, попробую записать хотя бы некоторые впечатления от поездки по военно-морским базам, которую мы предприняли вместе с нашим морским представителем адмиралом Стеценко между 12 и 22 января.

Первый пункт, который мы посетили, была основная внутренняя военно-морская база Японии Курэ, расположенная на берегу внутреннего моря, окруженного с трех сторон островами Хонсю, Кюсю и Сикоку.

Во-первых, впечатления от самой базы. Курэ — небольшой, на три четверти разбитый бомбежками город, который был, очевидно, не более как полипом при базе. Бухта, в которой размещена база, очень широкая, имеет прекрасные глубины и узкую горловину входа в нее, так что в ней всегда тихо. Километров на шесть-семь вдоль полукругия бухты тянутся цехи судостроительных заводов.

Американская авиация поработала здесь основательно. Многое разбито вдребезги. Здесь бомбили явно не только «зажигалками», как

в Токио, но и тяжелыми фугасными бомбами. В Курэ были большие судостроительные верфи, а также завод морских гидросамолетов, и все это в значительной степени перепахано сейчас авиацией. Больше всего сохранились сухие доки; они сейчас или пусты, или в них стоят ремонтирующиеся небольшие американские суда. Прямо у стенки высятся громада одного из крупнейших японских авианосцев, сейчас приспособляемого для перевозки возвращающихся из Китая японских солдат.

Курэ через несколько дней должен передаваться приходящим сюда британским оккупационным силам; многие цехи, оставшиеся после бомбежки целыми, подметены под метелку. В порту грузятся американские корабли. На всем пространстве порта громадное количество американских грузовых машин, которые, по-видимому, вывозят с этой территории не только свое многочисленное выгруженное здесь имущество, которым завалены все пристани, но и кое-что из оборудования.

На стапелях не стояло никаких сколько-нибудь значительных недостроенных японских судов, на воде — тоже. Кое-где среди железного лома и обвалившихся крыш виднелись недоконченные остовы подводных лодок — средних, малых и малюток, так называемых живых торпед.

Объехав порт на машине в сопровождении морского полковника, мы поехали на остров, расположенный внутри бухты. На этом острове, где сейчас американский госпиталь, раньше размещалась японская военно-морская академия — святилище японского военно-морского духа.

Академия, располагавшаяся на острове, представляла собой особый, видимо, совершенно замкнутый в себе мир: мысли человека, учившегося здесь, не должны были никуда уходить из замкнутого круга впечатлений, понятий и представлений. Академия, очевидно, расширялась: вместе с довольно давно построенными зданиями рядом высились еще неоконченные, не покрытые крышами, но уже заставленные станками и приборами новые учебные мастерские и лаборатории. Все было оборудовано солидно, без излишнего блеска, но обстоятельно.

В центральном здании, где помещается американский госпиталь, стоял дым коромыслом. Курэ — один из основных пунктов отправки людей на родину. В вестибюле этого здания и вокруг него толпились несколько сотен кричащих, смеющихся и не оказывающих никакого почтения начальству демобилизованных американских солдат, уезжающих сегодня в Америку.

Академия была внешне цела, но в то же время изрядно разорена, то есть в ней осталось на месте все, что нужно грузить лебедкой, но не было почти ничего, что в силах поднять и унести один человек.

У причала стояло учебное судно, похожее на «Аврору». Это был ветхозаветный крейсер типа «Авроры», захваченный японцами у России во время русско-японской войны. Он, конечно, остался на месте. Остались на месте и находившиеся на берегу образцы вооружения, разные типы корабельных башен, орудийные стволы, а также, видимо, показательные образцы разного наземного вооружения, несколько японских танков и танкеток, выкрашенных в знакомую мне еще по Халхин-Голу ядовитую желто-зеленую пятнистую краску и имевших такой же ненадежный вид, как и там.

Большой центральный плац окружали многочисленные здания: главное здание, где помещались аудитории, двухэтажное здание казарм для слушателей, здание мастерских, здание фехтовального зала, а также здание, где помещался военно-морской музей академии.

Музей извне тоже был цел, но внутри являл собой зрелище полного разгрома, который, очевидно, начали японцы, а довершили американцы — не из злого умысла или стяжательства, а из-за непреодолимой страсти к сувенирам и органического равнодушия к любым сокровищам чуждого им духа.

На втором этаже в полукруглой комнате, по форме похожей на домашнюю капеллу, сделанной достаточно дешево и безвкусно, как все, что строится в Японии в европейском духе, и выложенной искусственным мрамором, помещался прах знаменитого адмирала Того, победителя при Цусиме. Это был полупамятник-полухрам. В стену была врезана большая бронзовая двустворчатая дверь, на которой были изображены разные трогательные и героические моменты из жизни Того: какие-то картинки из его детства и молодости, потом военный совет, потом гибель русской эскадры при Цусиме и наконец Того, сидящий на кровати около какого-то лежащего на ней бородатого человека. Насколько я понял, это было изображение известного и чрезвычайно разрекламированного в свое время японцами посещения адмиралом Того раненого адмирала Рожественского в японском госпитале.

Нас сопровождал японец, живший здесь раньше. На всякий случай мы обратились к нему за подтверждением, спросив его, что здесь изображено. Он без запинки быстро сказал, что это Того посещает в госпитале раненых и больных японских солдат. Не знаю, то ли он действительно не знал изображенного здесь сюжета, то ли считал невежливым говорить нам о его истинном содержании. Скорей всего так, потому что на меди было отчетливо выбито изображение старого бородатого европейца, лежащего на европейского типа койке.

Все эти изображения сделаны чрезвычайно плохо, и это особенно странно, когда вспоминаешь ту изумительную резьбу по дереву и по кости, которую встречаешь в Японии на каждом шагу.

Мы приоткрыли дверь. Внутри была не особенно глубокая ниша вроде маленького алтаря, где на постаменте стояла бронзовая урна с прахом Того.

Мы спустились на первый этаж, где был расположен собственно музей.

В одном из залов была смонтирована целая капитанская каюта с какого-то из захваченных русских военных кораблей — старая, хорошо, добротнo сделанная каюта; казалось, что из нее не выветрился еще морской запах. Было странно войти в нее и присесть на диван. С какого корабля эта каюта, ни я, ни адмирал так и не могли выяснить. Тут же рядом стояли у стены огромные деревянные двуглавые орлы, добытые, наверно, где-нибудь еще во времена русского парусного флота: такие бывали на носах парусных корветов и фрегатов.

Наконец мы вышли из музея и поплыли назад. Островок быстро удалялся. Я подумал: каждый год здесь выпускалась тысяча морских офицеров. Еще шесть месяцев назад последний скоротечный выпуск лихорадочно зубрил перед экзаменами свои военно-морские науки, и для них представить себе американца, топчущего своими подбитыми гвоздями ботинками по плитам комнаты, где лежал прах адмирала Того, было в высшей степени странно, так же странно, как представить себе какую-нибудь перемену в планетной системе. Круговращение шло и шло своим законным чередом и порядком, потом лихорадочно ускорилось к концу войны. И вдруг в один день все лопнуло и стало бессмысленным...

Очень странное чувство владело мной, когда мы отплывали от этого острова...

Из Курэ мы отправились на машине за пятьдесят или шестьдесят километров в Хиросиму — место падения первой атомной бомбы.

Я уже знал из рассказов, что вид Хиросимы не совпадает с теми первыми московскими представлениями, которые возникли, когда мы прочитали об атомной бомбе. Я помню, у меня тогда было ощущение какой-то выжженной земли, огромной воронки в несколько километров шириной и в несколько сот метров глубиной — словом, ощущение чего-то загадочного, как-то химически испепеленного. В реальности все это было не совсем так.

Для того чтобы представить себе то, что я увидел, нужно понять прежде всего, что такое японский город, подобный Хиросиме. Это город в триста — четыреста тысяч жителей, губернский центр, в котором, однако, с трудом наберется больше пятнадцати — двадцати каменных зданий, все остальное — из дерева, причем очень легкого, из картона и бумаги. Некоторые дома, внешне имеющие вид каменных, на самом деле представляют собой просто обмазанную штукатуркой плетенку из дранки и, может быть, еще более непрочны, чем деревянные строения.

И вот мы стоим в центре Хиросимы. Примерно здесь (кто говорит — в трехстах, кто — в пятистах метрах над нашими головами) разорвалась атомная бомба.

Во-первых, начнем с того, что нам придется отказаться от представления о взрывной волне, идущей от места разрыва по диагоналям вверх. Здесь взрывная волна шла от места разрыва, то есть с полукilометровой высоты, по диагоналям вниз. Во-вторых, посмотрим, что осталось от города. Бетонные дома (а их в городе штук пятнадцать — двадцать) стоят на месте; из них силой взрыва выбило окна, двери, с иных сорвало крыши, с иных нет, но они, зияя пустыми окнами, стоят. Если вообразить, что взята чудовищная железная метла и этой метлой выметено из зданий все, что в них было, то можно себе представить тот вид, какой имеют эти дома.

Кругом этих домов пустыня. Над пустыней возвышаются железные телеграфные столбы, кое-где помятые, но в большинстве целые, и деревья — есть вырванные с корнем, но большинство стоит, только кажется, что та же железная метла смела с этих деревьев все листья, все до одного, и они стоят абсолютно голые.

Кроме деревьев и столбов, неожиданно самыми высокими пунктами пейзажа оказываются довольно многочисленные, рассеянные по городу старые кладбища. Японское кладбище больше всего напоминает, пожалуй, древнее еврейское кладбище, которое я видел в Праге. Это поставленные рядом друг с другом высокие плоские каменные плиты, часто из неровных и необделанных кусков камня; это каменные же и довольно высокие светильники. И все это, крепко врытое в землю, осталось стоять в полной неприкосновенности. А дома из дранки, картона, дерева и бумаги рассыпались.

Здесь, как и в Токио, среди пожарища всюду видны несгораемые ящики. Там, где они были крепко привинчены или забетонированы, они стоят; там, где просто были поставлены на пол, повалились.

Крыши осыпались и покрыли землю осколками черепицы. Бумага и картоң превратились в прах; черепица разбилась, но осталась и засыпала всю землю.

В километре от центра взрыва — река. На ней мосты. Они целы. Таково зрелище Хиросимы — мрачное, но не загадочное. Ожидаемый загадочный ужас превратился в страшной силы удар, который рассыпал все, что было некрепко, и оставил то, что крепче — деревья, столбы, камень, бетон.

Вот пока и все, что осталось в сознании.

Эта запись, датированная январем 1946 года, одна из немногих, вызывающих у меня желание прокомментировать ее сейчас, спустя тридцать лет.

Я дважды был с тех пор в Хиросиме и знаю сейчас — как это знают сейчас все — и что такое радиация, возникающая в результате взрыва атомной бомбы, и что такое лучевая болезнь, и сколько людей погибло от нее еще и через год, и через три, и через десять лет после того взрыва в Хиросиме, от которого меня тогда, когда я там был впервые, отделило во времени всего-навсего несколько месяцев.

И, однако, я оставил свою тогдашнюю запись в неприкосновенности. Да, мне, как и многим другим людям, не хотелось верить тогда во все те долговременные трагические последствия атомного взрыва, о которых уже возникали первые страшные предположения, все еще не умевшиеся в нормальном человеческом сознании.

Да, мне хотелось верить, что этот взрыв — просто страшный, небывалой силы удар, и ничего больше.

Я еще не мог примириться с мыслью, что после нескольких лет той беспощадной войны, свидетелем которой я был, человечество может столкнуться в будущем с чем-то еще неизмеримо более страшным.

Мой ум человека, только что пережившего войну, еще отказывался в это верить, и я пытался успокоить себя и даже наивно посмеивался над людьми, на всякий случай, от греха подальше, не советовавшими ехать туда, где недавно были атомные взрывы.

Хотя, как показало будущее, смеяться было не над чем.

Да, я не был дальновиден. Но чувство протеста, которое я тогда испытывал, было психологической чертой человека того времени. И не желая расставаться с этой печатью времени, я оставил свою запись о Хиросиме, так же как и последующую — о Нагасаки, именно такими, какими они сохранились в моих тетрадах с далекого 1946 года.

Вернувшись в Курэ, мы отправились оттуда на юг, на остров Кюсю.

Мы ехали поездом вечер и ночь; ночью проехали знаменитый четырехкилометровый железнодорожный туннель, построенный японцами уже во время войны под Симоносекским проливом, и утром проснулись на самом южном из островов Японии — Кюсю, на том берегу Симоносекского пролива, в Модзи. По поводу этого названия мы с Агаповым шутили, что проехали весь путь от Лодзи до Модзи. И в самом деле, в начале июня, возвращаясь после войны в Москву, я ночевал в Лодзи и вот в начале января 1946 года открываю глаза и просыпаюсь в Модзи.

Это маленький, местами почти разрушенный, а местами почти целый городок и в то же время — небольшая по размеру, но весьма существенная военно-морская база, запирающая с обеих сторон — и с Японского моря и с Тихого океана — вход в Симоносекский пролив.

Пролив здесь очень узкий, в самом узком месте, по-моему, меньше километра.

Симоносекский пролив во время войны играл для Японии в миниатюре роль Суэцкого или Панамского канала, то есть, если он переставал работать, японским кораблям, шедшим от восточных берегов Японии к западным и наоборот, предстоял путь вокруг всего острова Кюсю. Поэтому, конечно, американцы позаботились о закупорке этого пролива и набросали туда в последний год с воздуха чудовищное количество мин. Только после капитуляции во время траления пролива японцы потеряли здесь шестьдесят судов, взорвавшихся на минах. Маленькие суденышки время от времени перебирались через про-

лив, петляя по уже протраленным местам между бесконечными трубами и мачтами затонувших пароходов, но сквозного плавания через Симоносекский пролив еще не было.

Мы поехали по пирсу. На другой стороне виднелся Симоносеки. Там была такая же портовая стоянка и стояло также некоторое количество судов. В остальном обе стороны пролива были похожи почти как фотография и ее изображение в зеркале.

В порту ничего особенно интересного не было. У пирса стояло несколько кораблей, все больше тральщики и один японский эсминец с оторванным куском кормы. Мы поднялись на него. На эсминце оставалось человек тридцать команды. Все в погонах и кокардах, все похожие друг на друга, грязные и небритые, худые, скорее всего голодные. Один из этих одинаково невзрачно одетых людей был командир эсминца; отличить его от других было невозможно.

Оторванный кусок кормы был, в общем, не катастрофической аварией; эсминец еще годился, тем более что был построен всего лишь в 1943 году, но какая-то печать полной отрешенности, дикой грязи и запущенности уже лежала на нем.

Когда мы уходили с эсминца, я оглянулся. У поручней, уже не ожидая, что мы обернемся, стояли пять или шесть японцев, среди них и капитан. Они стояли не положив, а уронив руки на поручни и одинаково неподвижно смотрели куда-то: не на корабль, не на нас, не на город, а куда-то, как мне показалось, в недавнее прошлое, которого до странности, до ужаса вдруг больше не существовало...

Поезд тронулся. Мы ехали вечер, ночь и утром приехали почти на самую западную оконечность острова Кюсю, на самую крупную из японских военно-морских баз западного берега — Сасебо.

Город Сасебо основательно разрушен, как и многие города Японии, и, пожалуй, даже больше, чем они. Но что до самой базы, то она разрушена гораздо меньше, чем база в Курэ.

Размеры ее огромны. Представьте себе огромную бухту общей площадью водного зеркала во много квадратных километров, разветвленную на большое количество бухт и бухточек, с таким далеким выходом в море, до которого на быстроходном катере мы впоследствии шли чуть ли не полчаса.

Кругом бухты высились со всех сторон вплотную к ней подходящие горы. Горы эти изрезаны лощинами и ущельями, переходящими одно в другое. По ущельям и лощинам выются многочисленные автомобильные дороги, но сколько мы ни ездили, я так и не мог понять, когда на какой стороне бухты мы были. Дороги все время крутились вокруг бухты, уходили от нее и снова возвращались к ней.

В горах, под землей, было спрятано все хозяйство базы. Когда мы ехали, мелькали подъездные пути, арки, туннели, врезанные в скалы, закрытые наглухо ворота с надписями «Не курить!», «Взрывчатые вещества!», «Боевые припасы!» или вовсе без надписей. Это были огромные пороховые и артиллерийские склады, склады торпед, склады всяческого вооружения, а также цехи судостроительных заводов и ремонтных мастерских. Все эти укрытия своим количеством и солидным видом производили сильное впечатление.

Некоторые цехи из тех, что стояли на открытом месте, имели плачевный вид. Но тут следует сказать об одной особенности японских заводов. Все это чрезвычайно легкие конструкции, сделанные из дерева и гофрированного железа; от сравнительно небольшой бомбы они рушатся, падают и являют собой зрелище окончательного и безнадежного разгрома. Между тем внутри цехов в большинстве случаев все стоит на месте. Станки стоят, закрепленные на своих бе-

тонных плитах и колодках. Учитывая, что по климатическим условиям в Японии, а в особенности здесь, на Кюсю, нет необходимости строить капитальные здания, все эти «этажерки» очень легко и быстро могут быть восстановлены.

Кроме многочисленных разрушенных таким образом цехов, было, пожалуй, не меньшее количество цехов целых, некоторые из них, по моему впечатлению, даже работали.

После длительного осмотра базы с суши мы съездили к себе на поезд, «отленчевались» (этим словом мы заменили теперь устаревший термин «позавтракать») и поехали осматривать базу с моря. К часу дня мы прибыли к маленькому чистому белому зданию коменданта порта — милейшего коммодора Даффи, о котором особо и потом. Этот Даффи вместе с командиром одной из плавучих баз, капитаном первого ранга, посадил нас на сияющий чистой катерок, и мы стали колесить по бухте. Вся акватория бухты была усыпана судами; по-моему, здесь было по крайней мере несколько сот судов. Стояли красавцы — американские крейсера, новенькие, чистенькие, «с иглочки»; стояли целые караваны американских сторожевиков и миноносцев. И тут же рядом повсюду — грязные, черные корпуса японских пароходов и военных судов. Несколько — теоретически — среднего размера, а просто так, на глаз, громадных японских авиаматок, по большей части недостроенных, стояло в разных местах гавани; одну или две из них, так же как в Курэ, приспособляли для перевозки солдат на родину, а остальные стояли совершенно пустынные, унылые и удивляющие своей асимметричностью — надпалубные надстройки, как на всех авиаматках, были расположены на одном борту.

Было очень много подводных лодок, по крайней мере несколько десятков, начиная от крошечных лодок-«самоубийц» и кончая тремя сверхмощными лодками-крейсерами, производившими впечатление огромных махин и на самом деле обладавших чудовищным для подводных лодок водоизмещением в пять с лишним тысяч тонн каждая. Таких лодок, говорят, было четыре, но одну американцы уже увели. Лодки эти так и не были использованы для той цели, для которой они предназначались при постройке. А цель заключалась в следующем. Идея построить эти лодки-гиганты возникла вследствие другой идеи — во что бы то ни стало разрушить сооружения Панамского канала, что в условиях войны на двух океанах создало бы для Америки чудовищные неудобства. Эти лодки, на каждой из которых было по сто двадцать человек команды, были предназначены для того, чтобы совершить секретный и длительный переход к Панамскому каналу, ночью подняться и выпустить в воздух по четыре закрепленных на каждой из них гидросамолета. Эти шестнадцать гидросамолетов с грузом бомб в тридцать две тысячи килограммов должны были неожиданно появиться над сооружениями Панамского канала и разрушить их, обрекая, конечно, на гибель и себя.

Не знаю, не успели или не смогли выполнить этот план японцы или после того, как были выстроены лодки, план был сочтен вообще нереальным, но эта мечта кончилась тем, что все четыре лодки-гиганта были захвачены американцами здесь, в бухте Сасебо.

Утром мы оказались в Нагасаки — крайней южной точке нашего путешествия.

Нагасаки — город, если не ошибаюсь, с четырехсот- или пятисоттысячным населением. Он отчетливо делится на две части: равнинную, более удаленную от моря, и морскую, расположенную в склад-

как приморских холмов и примыкающую к Нагасакскому военному порту.

Центр падения второй атомной бомбы был над равнинной частью города.

Картина была та же, что и в Хиросиме, а если добавить, что в этой части города почти не было каменных зданий, то теперь взгляду просто не на чем было остановиться.

Вдоль железнодорожного пути стояли полурассыпавшиеся цехи военных заводов концерна Мицубиси. Они напоминали собой карточный домик в ту сотую долю секунды, когда его толкнули и он находится на середине своего падения и все вертикали в нем стали диагоналями. Пытаюсь объяснить как можно точнее, хотя это трудно; в общем, впечатление странное.

На окраине города стояла еще одна огромная группа цехов заводов Мицубиси. Здесь была другая картина. В двух километрах от места взрыва цехи не покосились, а как бы, если так можно выразиться, в одну секунду обветшали, то есть имели такой вид, словно на них в течение десятилетий воздействовали поколения людей и все силы природы — ветры, дожди, метели. Стены, вернее легкие металлические конструкции стен, стояли, а стенные панели, сделанные, как и всюду, из легкого гофрированного железа, были частью сорваны, частью вмяты внутрь здания. Потолки провисли, как плохо натянутая простыня.

Я забрел внутрь одного из цехов механического завода и прошелся по нему. Это было не то что страшно, а странно. Было похоже на сказку о спящей царевне. Стояли верстаки с тисками; в тисках была зажата то одна, то другая работа, какая-нибудь шайба, болт, наполовину обпиленный; рядом валялся напильник; на токарных станках были закреплены в люнетах длинные валики; станок был весь опутан стружкой, она так и вилась от резца, заржавевшая под дождями, но целая; на сверлильном станке лежала наполовину просверленная чугунная крышка; сверло было опущено в отверстие до половины и так и осталось там. Все застыло в одну секунду. Все это жило, работало, вертелось — все эти станки и приводы трансмиссий; и люди стояли у всех станков и тисков... И вдруг — удар, и они все умерли. Надо понимать так — мгновенно умерли.

Когда я шагал по этому цеху, мне все казалось, хотя это было вероятно, что где-нибудь за станком я найду забытый труп...

Далее нам предстояло ехать на северо-западное побережье Японии, в Майдзуру, тоже одну из крупных военно-морских баз Японии.

Ехали около суток без особых приключений.

Проехали последовательно через крупные города Кобэ, Осаку и Киото. Кобэ сильно разрушен, Осака тоже, но деловой центр, так же как и в Токио, сохранился и выглядит почти так же, как и в Токио, со своими неравномерными и некрасиво построенными полунебоскребами в японском понимании этого слова, то есть шести-семизэтажными домами, напоминающими небоскребы не масштабами, а своей узкой вытянутостью вверх из-за бешеных цен на городские земельные участки.

Дорога, как большинство железных дорог в Японии, по эстакаде проходила прямо через город, вернее над городом. Поезд останавливался, как трамвай, в нескольких местах Осаки, и сверху можно было наблюдать оживленную городскую жизнь, сотни уже выстроенных наспех ларьков, дощатых лавчонок и ресторанчиков, в большинстве китайских.

В Киото мы немножко опоздали, хотя вообще японские железные дороги работают с отличной точностью,— простояли всего тридцать минут и сразу были прицеплены к поезду на Майдзуру и покатали дальше.

Пять часов от Киото до Майдзуру были самым прелестным участком нашего пути. Дорога эта, проходящая к морю через невысокий горный хребет, изобилует превосходными пейзажами: то небольшие равнины, сплошь состоящие из маленьких рисовых полей, с деревьями, расставленными, как черные пешки на шахматной доске; то ущелья или с визгом налетающие на вас короткие туннели — десять, двадцать, тридцать туннелей; а главное, бегущая по теснине рядом с рельсами быстрая горная река. Мы несколько раз с грохотом переезжали через мосты. Река была то слева, то справа от поезда; она мчалась через дороги, окруженная то темными разлапыми японскими соснами, то бамбуковыми рощами. Этот одинокий пейзаж время от времени оживляли люди — плотогонцы сплавляли по реке лес. И плоты и плотогонцы — все это было частью японского пейзажа. Плоты были очень узкие и очень легкие, состоящие из связанных между собою длинных многометровых бамбуковых стволов. Они иногда были такие длинные, что повторяли своими изгибами изгибы реки. А плотогонцы были в синих полотняных куртках с белыми иероглифами и в огромных, плетенных из камыша конусовидных шляпах, которые, как я думал раньше, уже сто лет не носят не только в Японии, но и нигде на свете.

Около четырех часов дня, миновав несколько больших туннелей, мы приехали в Майдзуру. Здесь толстым слоем лежал мокрый, таявший и снова сыпавшийся с неба снег.

Я так и не мог впоследствии точно выяснить, сколько было всего Майдзур. Не то четыре, не то пять: северная, южная, западная, средняя и еще какая-то. Залив, тянущийся в длину чуть ли не на сорок километров, по очертаниям напоминает Кольскую губу в миниатюре. И все эти многочисленные Майдзуры были расположены по разным сторонам многочисленных бухт. Все в целом составляло довольно большой город, а в отдельности это были маленькие десяти-пятнадцатитысячные городишки, каждый с унылой широкой центральной улицей, с одним европейского типа магазином и с одним переулком публичных домов.

Снег усиливался и сыпал непрерывно. Начинало темнеть. Городок, как я сказал, был унылый и ничем не примечательный, но бухта, по берегу которой мы ехали, на мой вкус, была в этот вечер необыкновенно красива. Сыпал мокрый снег, было промозгло и холодно, вода в бухте стояла высоко, ровно, темно-серая, почти черная, налитая до краев. Белые с серыми пятнами горы замыкали ее со всех сторон, и на темно-серой воде стояли совершенно черные суда. Все это было удивительно похоже на Мурманск, на тот унылый и свирепый пейзаж Кольского полуострова, который я люблю труднообъяснимой, но сильной любовью.

Утром мы поехали посмотреть порт.

В Майдзуру было довольно солидное строительство малых подводных лодок. Кузнечные, литейные, формовочные цехи — все было в полной сохранности, но в запустении. Кое-где работали один-два рабочих. Где-то стучал молоток. Мне невольно пришла в голову мысль, что, наверно, они делают зажигалки — такая уж возникает ассоциация, видимо с детства: на заводе пустые цехи, один рабочий, постукивание молотка, зажигалки...

На стапелях стояло с десятков корпусов недоконченных лодок. Это были лодки на шесть — двенадцать человек.

На другой стороне бухты, куда мы приехали под конец, стояло у пирса несколько подводных лодок: одна — японская, боевая, вторая — большая транспортная, предназначавшаяся для того, чтобы снабжать горючим и всем прочим в определенных условных местах в океане другие лодки, находящиеся в плавании, и, наконец, третья лодка — немецкая, среднего размера, одна из трех или четырех, пришедших сюда за всю войну не то из Гамбурга, не то из Штеттина, вокруг всего света. Эти лодки во время войны были единственным средством сообщения Германии с Японией; они привозили документы, которые не рисковали передавать по радио, дипломатов, военных представителей, а какая-то из них, говорят, даже пришла с грузом редких металлов, необходимых как составная часть в плавке высококачественных, нужных японцам для военных целей сталей.

Странно было видеть здесь эту немецкую подводную лодку. Взяв фонарик, я спустился в люк и добрался до центрального поста. Все подводные лодки похожи друг на друга, и здесь, в Майдзуру, в Японии, на немецкой лодке мне невольно вспомнилось начало войны и мое плавание по Черному морю в Констанцу на нашей лодке. И, боже мой, как все это сейчас далеко! И странно, что я жив и что нахожусь вот здесь!..

Необъяснимое чувство тоски охватило меня на этой лодке. Странно было еще и то, что внутри горел свет... Почти через полгода после капитуляции! Он горел всего в двух отсеках. Видимо, эти лампочки были включены на питание к аккумуляторам, и они могли гореть тут не только полгода, но еще год, учитывая громадную мощность аккумуляторов на подводных лодках. И хотя это очень просто объяснялось, но в том, что внутри лодки горел свет, оставалось все же что-то непонятное и странное. Казалось, что из соседнего отсека через дверь вдруг вылезет какой-нибудь немец, подполковник, прячущийся здесь все эти полгода. Это, конечно, глупость, но...

Кроме приборов, на лодке ничего не осталось — все уже было растащено на сувениры. Я пошагал по одному отсеку, по другому. Это со мной редко бывает, но почему-то именно с этой лодки мне хотелось взять какой-нибудь сувенир, но все было уже словно слизано коровьим языком.

Днем город Майдзуру такой же унылый, как и вечером: широкие серые скучные ровные улицы и серые скучные переулки, все такое ровное, не возвышающееся крышами одно над другим, что невольно приходит мысль о рабочем поселке. Да и люди, идущие по улицам, похожи на жителей рабочего поселка. На улице грязь. Большинство мужчин и женщин в высоких резиновых сапогах. Те, кто не в сапогах, ходят на чудовищно высоких деревянных гета с поперечными подпорками, сделанными на случай снега и грязи.

Чтобы представить себе эти, если так можно выразиться, японские калоши, попробую описать их совершенно примитивно, потому что иначе их описать невозможно. Надо вообразить себе обыкновенную скамеечку, которая ставится под ноги, с доской и двумя ножками во всю ширину доски. Если мы уменьшим эту скамеечку до размеров ноги и верхнюю доску сделаем приблизительно по форме ноги, а ножки высотой в семь — десять сантиметров, то это и будут японские гета для дождя и снега. Как ходят на этих гета и даже почти бегают, для меня остается таким же секретом, каким является до сих пор езда на велосипеде. Представить себе что-нибудь более неудобное, чем эти гета, трудно, хотя, правда, я, кажется, обидел наших дам, забыв о французском каблуке.

Мы попали в город как раз в то время, когда люди возвращались с заводов, а заводы в Майдзуру работали. Шло довольно много жен-

щин, а главным образом шли матросы в полной военной форме, в такой, в какой они ходили во время войны, многие даже с кокардами. Только трудно было разобраться, кто из них матрос, а кто офицер, потому что не было погон. Рабочие и матросы шли целыми ватагами по улицам города.

Мы остановили одну группу и разговорились. Разговаривавший с нами человек, как выяснилось, в недалеком прошлом был капитаном флота, офицером на одном из миноносцев. Сейчас он перешел тоже офицером на торговый пароход, который ходил в мелкие каботажные плавания. С этого парохода была уволена часть торговой команды (она перешла работать куда-то на завод), и все должности помощников капитана, механиков и т. д. были замещены офицерами с одного и того же миноносца, и только для того, чтобы судно ходило по-прежнему под торговым флагом, остался прежний торговый капитан.

Было ясно, что японцы не хотят дисквалифицировать своих военных моряков, пересаживают их на торговые суда, то есть фактически не демобилизуют их, и это одна из любопытных форм мимикрии, с которой нам еще, очевидно, не раз придется встретиться.

Выехали мы из Майдзуру часов в пять, а в девять уже были в Киото. Завтра у нас оставался целый день для осмотра. Но ложиться было еще рано, и мы пошли пешком бродить по городу. Улицы были темны и пусты. Изредка пролетала машина. Разрушений вечером не было заметно никаких, все стояло целое. Кое-где изредка попадались освещенные или полусвещенные стеклянные двери: либо магазины сувениров, либо гостиница.

Побродив полчаса по городу, мы зашли в какую-то узкую улицу, похожую на тупик, и уже собирались вернуться, как вдруг кто-то из прошедших на десять шагов вперед крикнул нам:

— Эй, идите сюда!

— Что? — лениво отозвались мы.

— Нет, идите, идите сюда!

Мы прошли десять шагов и догнали кричавшего. Он стоял на углу неожиданно возникшего узенького переулка.

Мы заглянули в этот переулок. Он был ярко освещен, причем освещен ярко не по-европейски, а по-японски, то есть бесконечными разноцветными бумажными фонариками: синими, желтыми, красными, фиолетовыми. Застроен был переулок, насколько видно было глазу, с обеих сторон двухэтажными домиками японской архитектуры, ночью, в свете этих фонарей, в большинстве своем казавшимися очень красивыми.

На первом угловом доме была выведена белым надписью по-английски: «Военнослужащим американской армии вход воспрещен» — знаменитый «лимитед», который мы так часто видели в Японии. А под этим огромными буквами угрожающей красной краской было написано: «В. Д.» — предупреждение о том, что здесь венерические болезни.

Из этих надписей мы окончательно поняли, что поехали на улицу публичных домов. Я слышал раньше о том, что есть такие улицы, но реально не представлял себе, что это значит. Так как мы не принадлежали к военному служащим американской армии, то вошли всей кучей в переулок, с любопытством разглядывая все, что было кругом.

Оказалось, что это не одна улица, а квартал, или, вернее, целый район публичных домов.

От той улицы, по которой мы прошли, влево и вправо ответвлялись переулки; эти переулки упирались снова в улицы, улицы шли одна за другой; потом протекала какая-то речка с красивыми полу-

круглыми мостиками. Обе набережные речки и дальше за речкой еще улицы, улицы — все это было одно и то же: публичные дома.

Теперь попробуем представить себе, что это такое — одна из этих улочек, или, по нашим понятиям, переулков, по которой с трудом пройдет легковая машина и, пожалуй, не пройдет грузовая.

Темная ночь, сырая и теплая, с накрапывающим мелким дождем, от которого под ногами блестит асфальт — улица асфальтирована. Вымытые этим же дождем, стоят с двух сторон дома. У входа в каждый горит один или несколько цветных фонариков. В верхнем этаже иногда слышится заунывное японское пение, а внизу у входа сидят два существа — жаба и старуха. Жаба очень большая, больше, чем это бывает в природе, и каменная; старуха очень маленькая, меньше, чем это бывает в природе, и живая. Жаба — хорошая примета: она предохраняет от дурных болезней и привлекает гостей. Старуха тоже привлекает гостей. Она сидит на корточках, по-японски. Когда вы проходите мимо, она что-то кричит вам сначала в лицо, потом вслед. Это хозяйка, бандерша, или «мама», как называют ее в Японии.

За открытой, верхней, раздвинутой стеклянной дверью видна внутренность маленького вестибюля, из которого ведет одна или две лестницы наверх. Несколько красивых ваз. Одно или два карликовых дерева — японская вишня с крошечным полуметровым стволом и, очевидно, такими же, как всегда, но кажущимися здесь, на этом маленьком дереве, огромными цветами.

На украшенной резьбой стене, в которую сразу упирается ваш взгляд, как только вы подойдете к дому, висит нечто вроде щита с японскими иероглифическими надписями и со вставленными в щит фотографиями женщин. Количество фотографий зависит от количества проституток, которые работают в этом публичном доме: две, три, пять, шесть, семь, редко больше; чаще всего четыре-пять. Иногда здесь можно видеть все фотографии, иногда в одном или в двух местах щита фотографии нет, а вместо нее видны какие-то иероглифы. Мы спросили, что это значит. Старуха вместо ответа вытащила такую карточку с иероглифами, перевернула, и на другой стороне оказалась фотография японки. Суть заключалась в том, что, когда девушка свободна, висит ее фотография; когда она занята с гостями, ее фотография перевертывается и видно только ее имя, написанное иероглифами на оборотной стороне фотографии.

Если не считать старух, улица была пуста. Изредка прошмыгивал в какой-нибудь дом одинокий японец. В связи с усилившимися венерическими болезнями недавно наложенное на квартал американское вето лишало эти дома наибольшей и выгоднейшей части их клиентов. В связи с этим в квартале царил уныние. В большинстве домов на щитах с фотографиями не было ни одной перевернутой. Ни старухи, ни каменные жабы, ни раскрашенные фарфоровые коты — по приметам тоже зазывалы — не помогали.

Смешная деталь. В одном довольно хорошо освещенном и красивом на вид публичном доме, стоявшем на набережной речки, или, вернее, канала, через весь вестибюль были повешены крест-накрест две огромные гирлянды флагов; можно было подумать, что это будка корабельного сигнальщика или приготовления к елке. Здесь были флаги всех наций: Англии, Америки, Индии, Гондураса, Чили, Никарагуа, Сиамы и бог его знает еще чьи!

— Все флаги в гости будут к нам, — пошутил Агапов по этому поводу.

Пробродив часа три по этому кварталу, мы, усталые, изрядно вымокшие, потому что дождь все усиливался, очень голодные, добрались наконец до выхода и на противоположном углу за чертой квар-

тала увидели домик, освещенный изнутри, с приветливо колыхавшимися в дверях несколькими красными полотнищами, означающими, что это ресторан.

Мы зашли, сели за столик, выпили немножко сакэ, съели по темпуре, очень вкусной, кстати сказать, особенно с голодухи, но не в этом дело. Дело в том, что в углу в этом же ресторанчике сидел японец, который мне запомнился. Он был в белоснежных чулках, ноги его были на деревянных колодках; на нем было изысканное темно-фиолетовое кимоно, а под ним еще другое, темно-серое. У него было совершенно неподвижное красивое лицо, такое, какие нарисованы на старинных программах театра «Кабуки». Он сидел и медленно, небрежно что-то ел палочками и неподвижно, не отрываясь, холодным и ненавидящим взглядом смотрел на нас. Это был человек, по-японски, с превосходным старинным вкусом одетый, молодой, красивый и, как мне показалось, злой как черт. Для полноты картины не хватало только, чтобы из-под его кимоно высовывались длинные ручки двух японских мечей, тогда можно было бы иметь представление о живом самурае. Он просидел минут двадцать, за это время несколько раз ковырнул палочкой в подносе с рисом, стоявшем перед ним, потом встал, под нашим носом с презрительным жестом человека, отряхивающего отвратительный прах со своих ног, запахнул кимоно и вышел, я бы сказал, выскользнул за дверь.

Остается добавить несколько слов об американцах, с которыми мы ездили и встречались за эти десять дней.

Поездка адмирала была сугубо официальной, преследовала она официально заявленную цель — посещение японских военно-морских баз. Поэтому американцы встречали и везли его, а заодно и нас всех как официальных представителей России.

Организовано все было очень точно и разумно. Находились мы всюду на месте днем. Ехали, используя главным образом ночи. Пять здоровенных молодцов из милитер-полис (военной полиции) ехали с нами в вагоне, охраняя наш покой. Капитан Дэнью, деликатный и добродушный, всегда и всюду был и в то же время не был, присутствовал и в то же время не мешал, переводил и в то же время не вмешивался в разговор. В этом толстом человеке, у которого была русская жена, жило одно неукротимое желание — скорее добраться домой. Он тосковал о тех десяти письмах, которые придут из Америки за эти десять дней и которые он прочтет только потом все сразу. Он с нетерпением ждал телефонного разговора, который обещан каждому американскому военному в Японии один раз в месяц из Токио прямо с домом. Потом он рассказывал мне о своей ферме, о своей жене, о том, как он, вернувшись, будет заканчивать последний курс юридического факультета. Будущая жизнь в его изображении выглядела тишайшей идиллией, для осуществления которой не хватало только одного — возможности поскорее вернуться домой.

Вообще нужно сказать, что в смысле тоски по дому у американцев слабей нервы и меньше, чем у нас, выдержки в нашем понимании этого слова. Во-первых, они избалованы прекрасно налаженной связью, регулярными отпусками, возможностью почти в любой точке земного шара иметь ежедневные письма из дому, пришедшие не позже чем через десять дней после их написания. Во-вторых, их маленькие домики где-нибудь в штате Огайо — очень цепкая вещь. Этот домик мыслится именно там, именно в этом городке, именно в штате Огайо; его никуда не перетащишь, потому что там за него заплачено именно в том отделении банка, в который предстоит выплачивать остальную рассрочку, и именно там живет жена, профессия кото-

рой — заниматься хозяйством и ждать. И в сознании невозможно передвинуть ни себя, ни этот домик, ни жену никуда в другое место, в то время как в нашем сознании все легко передвигается: меняются дома, города, берется под мышку семья и два чемодана — и все это с легкостью движется из конца в конец страны.

Словом, американцы почти все до единого рвутся домой.

По поводу каждого парохода, отошедшего на родину и не заполненного демобилизованными, пишутся письма. Это возбуждает взрыв страстей. И я думаю, что известную роль в том, что сейчас все относительно благополучно, сыграла и эта тяга американских солдат, да и не только солдат, домой.

Таковы мои наблюдения на этот счет, сделанные, конечно, не только на основании разговоров с одним Дзэнью.

В каждом месте, где мы были, нас встречали, и провожали, и сопровождали нам на всем протяжении пребывания. Американцы не формалисты, и официальность им даже тогда, когда они хотят ее соблюсти, дается плохо. При всех обстоятельствах она кончается через пятнадцать минут после начала «парти».

Что такое американская «парти» в здешних условиях? Это, если вкратце охарактеризовать, максимальная выпивка с минимальной закуской: банка консервированных орехов, блюдо с крошечными сэндвичами — с консервированными огурцами, с консервированной колбасой, с консервированной горчицей, с консервированным маслом, — графин с консервированной водой, привезенной в запаянных банках откуда-то, кажется из Канады, и со льдом, не знаю, может быть, тоже консервированным и тоже привезенным откуда-нибудь из Америки, и несколько бутылок американского, а за нехваткой его и японского виски.

Пьют все стоя, едят очень мало, так что и та мизерная закуска, что подана, не съедается. Обычно во время еды американцы ничего, кроме джусов и воды, не пьют. «Парти» чаще всего устраивается до или после ленча или обеда, но никогда не в процессе еды. Пьют довольно много, но виски тянут по большей части разбавленное водой, поэтому при попытках напоить нас и при том, что мы не оставались в долгу и заставляли их пить наравне, дело обычно оканчивалось плачевно для затеявших его, и мы с адмиралом и Агаповым победно прошли тернистый путь «парти», оставаясь на высоте положения.

На первой «парти» в Курэ был генерал — командир корпуса, адмирал и человек восемь полковников — начальников различных отделов штаба корпуса. Профессиональными военными из них были только двое, остальные стали офицерами и дослужились до полковников во время войны, совершенно естественно, быстро повышаясь в должностях, ибо у американцев ни с чем не было такого катастрофического положения, когда они начали войну, как с офицерскими кадрами. Того, что хватало на их крошечную добровольную армию, конечно, ни в какой степени не могло хватить тогда, когда началась всеобщая мобилизация.

Если учесть, что во время такой «парти» присутствует четверо или пятеро русских, не знающих ни слова по-английски, и восемь или десять американцев, не знающих ни слова по-русски, и один переводчик, то легко понять, что это, в сущности, довольно комическое зрелище. И уж тем более «слушалище», ибо, если попробовать застенографировать разговоры, которые ведутся на «парти», то у того, кто прочел бы такую стенограмму, создалось бы совершенно твердое впечатление, что из пятнадцати собравшихся все пятнадцать — круглые идиоты.

В самом деле, о чем говорить на такой «парти»? И вот на ней царит тот условный, дипломатично-вежливый тон, без которого вообще было бы неизвестно, о чем говорить. Обычный стандартный набор фраз:

- Русские здорово пьют. Ого!
- Американцы тоже неплохо пьют!
- Выпьем, выпьем!
- До дна, до дна! По-русски до дна!
- Да, я знаю, все русские пьют до дна.
- Хорошо выпили! До дна, до дна!
- Вам нравится кока-кола?
- Да, мне нравится кока-кола. А вы любите водку?
- О, рашен водка! О! О! О!
- Русские папиросы из Москвы. (Вынимаются папиросы.)
- О, рашен папиросы!

И папироса засовывается не тем концом. Если же, наоборот, закуривающий папиросу американец бывал в России или вообще курил где-то папиросы, то обыкновенно следует фраза:

- А я знаю, почему у ваших папирос такой длинный мундштук.
- Почему?
- Потому что у русских большие бороды. Это чтобы не сжечь бороду. Сигаретой можно сжечь бороду.

На это следует шутка с нашей стороны:

- Если водка мешает твоей работе, то брось работу.

Это вызывает здоровое оживление. Американцы быстро подыскивают нечто похожее из своего арсенала шуток относительно выпивки. Потом мы рассказываем что-нибудь насчет выпивки. Потом начинается опять:

- Нет, полней!
- Нет, до дна!

Потом идут обоюдные стандартные слова «о'кей», «сенк ю», «ка-рашо», «привьет», «хау ду ю ду», «до свидания», на что с легкостью убивается еще минут пятнадцать времени. К этому стандартному набору в зависимости от обстоятельств добавляется еще пара шуток или анекдотов о пьянстве и о женщинах, потом опять начинается «хау ду ю ду», «гуд бай», «до свидания», «прощай», «о'кей» — и «парти» заканчивается к общему удовольствию.

Все это, конечно, происходит не от природной глупости собеседников с обеих сторон, а главным образом от незнания языка и вдобавок еще от какой-то установившейся традиции лживой, легкой и бессмысленной болтовни.

В Модзи американцы с утра попробовали быть формалистами, и встретившие нас моряки и сухопутный майор были очень сдержанны, даже угрюмы. Они были неприятно удивлены, увидев, что двое из наших разговаривают с японцами прямо по-японски, в то время как они не понимают по-японски и не знают, о чем наши разговаривают. После ленча, когда мы захотели проехать поглядеть расположенный недалеко от Модзи завод, который, как впоследствии оказалось, гораздо лучше можно было видеть с железной дороги, они вдруг засовецались, сказали, что они должны позвонить, согласовать с командиром полка. Конечно, они согласовали, и мы поехали смотреть, но самый факт свидетельствовал о том, что нас решили принимать формально.

А потом состоялась «парти» у командира полка, и с этой «парти» значительно повеселевший майор и капитан второго ранга поехали провожать нас на поезд, где мы уже со своей стороны устроили «парти», после которой они стали нашими самыми лучшими друзьями и сходили с поезда, с трудом поддерживая друг друга, и, стоя на перро-

не, махали шапками и кричали что-то малопонятное даже в том случае, если бы мы великолепно знали английский язык.

В Сасебо после поездки по порту была «парти» у коменданта порта commodora Даффи. Это был маленький, очень энергичный, подвижной, быстрый человек, по моему представлению, больше похожий на француза, чем на американца, очень гостеприимный, очень любезный и готовый нас засыпать презентами. По его приказу были специально изготовлены для сувениров носовые платки, где была нарисована придуманная им эмблема — кулак с пальцем, показывающим на восток, то есть домой, и с надписью: «Сасебо. Комендант порта». Кроме того, он нас записал в члены «Даффи-клуба» и выдал нам карточки. Для Агапова дело кончилось тем, что Даффи в приливе чувств подарил ему ящик консервированной воды. Адмиралу угрожало получение ящика консервированного какао, но он кое-как отбрыкнулся.

Квартира коменданта состояла из двух крошечных комнаток наверху комендантского дома; одна из этих комнат была спальня, другая бар. Здесь все было сделано, как он заявил, за двадцать четыре часа и стоило сорок иен. Надо сказать, что все было сделано чрезвычайно остроумно и со вкусом, причем был использован каждый кусочек места.

Даффи двигался по своей комнате, как капелька ртути, пролитой в маленькую коробку: он непрерывно катился по комнате и, казалось, бежал даже тогда, когда сидел.

Кроме маленького Даффи, с нами пили долговязый капитан первого ранга и мрачный помощник Даффи, человек с красным бульдожьим лицом, широкоплечий, угрюмый, несколько раз пытавшийся поймать меня на том, что на самом деле я будто бы говорю по-английски. В конце концов отчаявшись, он просто заявил мне, что я говорю по-английски, но скрываю. И так и не поверил моим отрицаниям. Ах, если бы он был прав! Дорого бы я дал, чтоб это было так!

Даффи оказался крепким стариком и пил здорово, правда время от времени передергивая. Что же касается капитана первого ранга, то адмирал, почему-то решив его напоить, взялся за дело со всем хохлацким упрямством, и к моменту нашего отъезда капитан первого ранга уже не мог свободно передвигаться на своих журавлиных ногах, а, шатаясь, шел вслед за нами, держась то за нас, то за стену, говорил, что он без нас никуда, куда бы мы ни поехали, даже в Москву, и что он тут не останется, а пойдет с нами, чтобы больше уж никогда не расставаться. Бедному Даффи и прочим американцам пришлось удерживать его силой.

Любопытной личностью оказался командир полка, расположенного в Нагасаки. Он воспринял наш приезд как событие весьма серьезное, которое должно быть в центре его внимания и за которое на него падает немаловажная ответственность. Прибытие русских смутило его покой, и он решил не спускать с нас глаз в буквальном смысле этого слова.

Как только мы приехали, сам полковник еще с двумя офицерами явился к нам в вагон, посидел минут пятнадцать, сказал, что нам все приготовлено, просил прибыть к нему на «парти» перед отъездом, в пять, и отбыл. Это был еще совсем молодой, на вид лет тридцати пяти, сухощавый, скорее красивый, чем некрасивый человек с нервным лицом и подчеркнутой аффектацией в движениях, в походке, в голосе.

Вслед за этим началась наша поездка. Дали нам три или четыре «виллиса». Кроме того, где бы мы ни ездили, мимо нас мелькал «виллис» с милитер-полис и с радиоустановкой на нем.

К нам были прикомандированы два лейтенанта, и когда мы с Агаповым однажды забастовали и не захотели ехать в военную гавань, а сказали, что пойдем по городу, то на лицах американцев изобразилось недоумение. Видимо, им были даны необыкновенно серьезные инструкции не спускать с нас глаз и ехать всем за нами скопом, а между тем мы, разошедшись в разные стороны, захотели ехать одни в одну, другие в другую сторону.

Наконец с нами остались один лейтенант, говоривший по-русски, и шофер. Мы поехали в город. Когда мы выходили из машины и шли пешком, оба тоже выходили из машины и шли за нами пешком, причем оба были явно милейшие ребята, но имели точную инструкцию не спускать с нас глаз.

Почему мы ходим по городу? Почему пешком? Почему мы не поехали в военный порт? Почему мы в штатском? Все это были, видимо, волнующие их вопросы. Мы же ходили по городу с простым желанием купить хороший сацумский сервис. Других — ни шпионских, ни диверсионных — целей у нас, прямо скажу, не было. К своему огорчению, сервиса мы так и не купили, ибо на том единственном хорошем магазине, в котором были какие-то забавные вещи, висела американская надпись: «Этот магазин превысил цены. Командование просит союзных граждан ничего не покупать в этом магазине». Выяснилось, что это распоряжение все того же полковника и что он тут, кажется, в единственном месте во всей Японии на свой страх и риск и по своему собственному усмотрению регулирует цены.

Агапов, который увидел в окне понравившийся ему сервис, в душе чертыхнулся по адресу полковника, но после вывешенной на витрине просьбы заходить в магазин было неудобно.

Кроме той «парти», которая должна была состояться в пять у полковника, в час должна была состояться еще одна маленькая «парти» у нас в вагоне, поэтому я спешил вернуться. Агапов же, которому осточертели «парти», хотел еще побродить по городу. Я сказал лейтенанту, что хочу вернуться на машине, а Агапов пока погуляет. Это вызвало в душе лейтенанта новое смятение. Он сказал: «Сейчас, одну минуту» — и куда-то исчез на пять минут, надо думать, что звонил по телефону. Потом вернулся и сказал, что хорошо, что тогда он делает так: он останется с господином Агаповым, а я поеду с шофером.

— Вы прямо на поезд? — переспросил он меня еще раз.

— Да, я прямо на поезд. Там в час должен быть ваш полковник.

На лице лейтенанта выразилось опасение, что я, оставшись наедине с шофером, остановлю где-нибудь машину, выйду из нее и исчезну в недрах Нагасаки. Полагаю, что моя догадка была правильна, ибо едва мы выскочили из переулка, как с соседней улицы вслед за нами выскочила машина милитер-полис и поехала за нами по пятам. Только когда мы уже доехали до железнодорожного пути и свернули на рельсы, за которыми виднелись наши вагоны, мой шофер и лейтенант кивнули друг другу, сказали «о'кей», помахали руками, машина милитер-полис развернулась и поехала обратно.

Учитывая наше единственное скромное желание купить вышеупомянутый сервис, все это вызвало у меня бурный приступ веселья. Со всей этой канителью я опоздал минут на пять, и полковник уже сидел с адмиралом. Я присоединился к ним. Мы понемножку выпили, на этот раз совсем чуть-чуть.

Вдруг примерно через полчаса влетел лейтенант и, встав навтыжку, стал рапортовать полковнику. Как мне потом перевели, рапорт его сводился к абсолютно полному перечислению всех происшедших событий, то есть того, как мы не хотели ехать в военный порт, как он решил ехать с нами, как мы поехали, в какие магазины мы заходили,

как мы читали надпись оффис-лимитеда, как мы в этот магазин не вошли, как мы заходили в другой магазин и покупали четки (действительно, мы зашли в магазин буддийской утвари и купили по связке четок). Лейтенант отрапортовал это единым духом, вибрирующим от волнения голосом.

— О'кей,— сказал полковник и отпустил его мановением руки.

После «парти» я выразил желание пойти в ресторан съесть что-нибудь. Ресторан был близко. Я сказал, что пойду туда просто пешком с переводчиком. Не тут-то было! Сейчас же нам были приданы два «виллиса», и мы посетили ресторан в сопровождении, по крайней мере, человек пяти американцев и еще каких-то двух уже вовсе мне неизвестных людей. Словом, комедия продолжалась.

В пять часов мы приехали вдвоем с адмиралом на «парти» к полковнику. Принял он нас так же аффектированно, как и держался все время. Были все офицеры штаба. Была очень умеренная и сдержанная выпивка стоя. У входа, прислоненное к стене, стояло знамя полка и национальный флаг. На фоне всего этого мы дважды снялись. Потом адмиралу была подарена палка с серебряным набалдашником в виде якоря, в свое время подаренная каким-то японским министром внутренних дел какому-то японскому морскому чиновнику, но сейчас числившаяся, видимо, среди трофеев полковника. Что до меня, то меня полковник окончательно огорошил тем, что мне как поэту (адмирал так меня представил) подарил поэму собственного сочинения, которая лежит у меня сейчас на столе. Это довольно объемистая баллада, написанная очень длинными строчками и, насколько я мог понять из перевода (его делали мне прямо с листа), весьма серьезного содержания.

После этого мы уехали с адмиралом на поезд, зажав в руках — он палку японского морского чиновника, а я поэму американского полковника.

Последняя «парти» была в Майдзуру. Весь офицерский корпус там состоял из двух лейтенантов: один — тридцатилетний, работавший по технической части и до войны имевший мрачную профессию (он препарировал в морге трупы), второй, двадцатипятилетний, был начальником гарнизона. Конечно, такое событие, чтобы младший лейтенант в качестве начальника гарнизона принимал адмирала, было результатом редкого стечения обстоятельств, и лейтенант был безумно доволен этим, весел и распорядителен. Это был превосходный парнишка, который, кстади сказать, получив телеграмму о нашем прибытии, накануне перепугал весь город, заставив японцев готовить для нашего размещения дома, заявив, что завтра приезжает русский адмирал, а через два дня вслед за ним сюда явится полк русской пехоты...

Оба были очень славные, услужливые ребята. В презент нам они приволокли откуда-то несколько японских офицерских мечей. Часа в три или четыре дня, засев с нами за «парти» у нас в вагоне, они сидели до отхода поезда, потом ехали с нами от станции до следующей, потом еще до следующей, каждый раз отправляя свои машины вслед за нами по дороге, наконец на какой-то станции они вылезли из вагона совершенно «еле можаху», а мы с адмиралом, гордые еще одной своей победой, стояли в дверях вагона и подставляли свои разгоряченные лица освежающему действию дорожного ветра.

26 января 1946 года. Токио

Вчера после ленча в начале второго мы поехали в гости к самому известному из нынешних композиторов Японии и, по существу, основоположнику современной японской музыки — композитору Ямаде.

Как это часто бывает в Токио, наш «джип» неожиданно свернул с большой улицы в какой-то даже не переулок, а, я бы сказал, щель,

поднялся под углом чуть ли не в тридцать градусов на несколько десятков метров в гору, и мы вылезли у небольшого серо-черного, обычного для Японии цвета, дома. За деревянной решеткой был виден маленький, поднимавшийся в гору японский садик с врытыми в землю плоскими плитами камней, с каменными фонарями, глиняным круглым столом и четырьмя такими же тумбами вокруг него, с маленьким, полуметровым, прилепившимся к стене синтоистским храмиком, на крошечных ступеньках которого стояла чайная чашка приношений. Короче говоря, это был прелестный садик.

Что ж до вида и цвета чисто японских домов-особнячков, то они напоминают национальную одежду мужчин. В ней те же особенности: темно-серый или черный цвет, не сразу заметное изящество и такая же не сразу заметная, но тем не менее существенная разница в оттенках цветов и фасонов.

В сених нас встретила начинающая стареть, но еще красивая японка. Она поклонилась нам традиционным поклоном, наклонив корпус вперед и одновременно скользнув прижатыми к телу ладонями от бедер к коленям.

Через секунду вышел хозяин, старик Ямада, которого, собственно, нельзя было назвать стариком. По нашим представлениям это был человек среднего, а по японским, пожалуй, скорее высокого роста, с высоким лбом и с большой наголо обритой шишковатой головой. Лицо его было почти гладким, и только несколько морщин на шее и мешочки у глаз выдавали его возраст. Ему было шестьдесят лет. Одет он был в просторное шерстяное кимоно, черное, в мелкую-мелкую клетку. Из просторных рукавов выглядывали еще совсем не старческие красивые руки.

Ямада ввел нас в свой кабинет. В кабинете стоял большой рояль, несколько низких, современного стиля кресел, чугунная переносная печка, письменный стол, заваленный нстами. Против обыкновения, в кабинете было тепло. Впрочем, мы уже перестали быть требовательными в этом смысле, и нам уже казалось, что тепло всюду, где не идет пар изо рта.

Объясняя цель нашего прихода, мы попросили Ямаду рассказать нам о японской музыке, так как у нас о ней знают меньше, чем о какой-либо другой. Ямада в ответ на это сразу сказал, что он два раза был в России, четыре раза ездил через нее, назвал десятка два городов, в которых он был, и упомянул о цикле лекций, которые он читал в России о японской музыке, о своих знакомствах с нашими композиторами, в том числе с Шостаковичем, искусство которого он очень высоко ценит, и, добавив ко всему этому, что он член РАБИСа, пошел к столу что-то доставать. Я подумал, что он сейчас покажет членскую книжку РАБИСа; чем черт не шутит, может быть, и в самом деле она у него есть. Но Ямада, роясь в столе, сказал еще одно слово:

— ГОМЭЦ.

И я, не сразу сообразив, что же это такое — ГОМЭЦ, потом вдруг вспомнил по буквам, что существовало у нас когда-то Государственное объединение музыки, эстрады, цирка.

Пошарив в столе, Ямада показал нам, правда, не книжки, а два значка: один витиеватый значок с надписью «РАБИС» и другой с театральная маской на синем фоне и с надписью «ГОМЭЦ».

Снова усевшись в кресло, старик согласно нашей просьбе начал рассказывать о японской музыке, начиная с азов. Он сказал, что японская оригинальная музыка, или, другими словами, старая японская музыка, возникла не слишком давно. Имеет смысл говорить о ней примерно не раньше чем за триста—четырееста лет до наших дней. Она родилась среди горожан, как и театр «Кабуки», о котором нам уже

рассказывали и частью которого она была: ведь там все действия актеров сопровождаются пением певца. Если отнять от «Кабуки» музыку, то он потеряет половину своего смысла. Музыка же вне театра вообще не существовала. Дворянский театр «Но» тоже связан с музыкой («бу-гаку»), восходящей к китайской и корейской музыке плюс буддийские мотивы. В ней, в сущности, нет мелодии, а только сложный ритм, под который и исполняется танец.

Старая японская музыка не записана — ноты появились в Японии гораздо позднее. К тому же записать ее по современной нотной системе нельзя — в японской музыке другой строй. В ней в отличие от европейской интервалы между нотами меньше полутона, есть четверть и восьмая тона. На рояле, например, ее нельзя исполнить точно, только разве что на скрипке.

Первое, что пришло в Японию из европейской музыки, это военные марши (это была английская музыка оркестра морского флота в Сацуме) и религиозные песнопения иезуитов.

Современная музыка появилась в Японии после переворота Мэйдзи. Тогда была организована первая государственная музыкальная школа. Эту школу и окончил Ямада в 1908 году, потом поехал учиться в Германию. В 1911 году, вернувшись в Японию, он написал свою первую симфонию и первую оперу, что и обозначило рождение современной японской музыки. Потом он написал еще три оперы, больше тридцати симфонических поэм и очень много песен, потому что именно они давали ему материальные средства.

Преподаватели в первой музыкальной школе сначала были все европейцы, а сейчас уже, конечно, все японцы. Школа государственная, и все ее профессора являются чиновниками японского правительства. Для того чтобы поехать куда-нибудь на гастроли, надо каждый раз просить разрешение правительства. Поэтому сам Ямада в этой школе не работает.

В 1914 году Ямада создал первый симфонический оркестр, но из-за материальных затруднений вынужден был его распустить.

В 1921 году, вернувшись после большой поездки по Америке, он снова загорелся идеей организации оркестра из молодых музыкантов. Трудность была в том, что государство отнеслось к его идее вполне безразлично и не субсидировало молодой оркестр. Никто из богатых людей не хотел вкладывать деньги в это непонятное им начинание. Ямаде пришлось одолжить где только можно почти миллион иен под свою личную ответственность. Вот тогда его и выручали песни.

После войны, после того, как прежние ценности — и в первую очередь армия и вооружение — потеряли смысл, общество и государство стали более внимательны к культуре. Теперь на его Токийский городской оркестр (кроме него, в Японии есть еще четыре оркестра) муниципалитет намерен давать каждый год миллион иен.

На наши вопросы о составе этого оркестра Ямада рассказал, что обычно в симфонический оркестр японские национальные инструменты не включаются, но в музыке, которая написана самим Ямадой, есть много мотивов, которые исполняются на японских инструментах. Тогда они — главным образом ударные — вводятся дополнительно в оркестр.

— А нельзя ли дать флейте или скрипке исполнять мелодию чисто японскую? — спросили мы.

— Это будет, как если бы из японских продуктов готовить русское кушанье. Можно, конечно, но теряется смысл и неинтересно.

— А если европейские мелодии давать на европейских инструментах, а японские на японских?

— Получится совершенно отдельная, не сливающаяся музыка.

Сам он, Ямада, создает европейскую музыку, не вводя специально в нее элементы старой японской. Но когда его произведения слушают европейцы, то говорят, что японский национальный колорит в ней все равно есть.

К концу разговора в комнату пришли тридцатилетний японец, прилично одетый, плотный, которого Ямада отрекомендовал своим секретарем, и та женщина, которая встретила нас в сенях. Это была, как ее нам представили, примадонна.

Ямада встал, подошел к шкафчику, достал оттуда пузатенькую бутылку виски и предложил всем выпить. Старик произвел на меня впечатление жизнелюбца. Он, видимо, понимал толк в жизни, с удовольствием курил и опрокидывал рюмку одним глотком, чисто по-русски.

Когда разговор иссяк, мы попросили его нам что-нибудь сыграть. Он охотно согласился, и минут пять прошло в разных устройствах: передвигали и включали лампы, передвинули рояль, достали ноты. Потом он сел за рояль, а примадонна встала, но не так, как стоят у нас, у самого рояля, а немножко поодаль, сзади, у столика.

Ямада стал играть японскую народную песню, как он сказал, в его инструментовке, а на самом деле просто свою песню, написанную на народный мотив.

Когда примадонна запела, ее лицо приобрело удивительное очарование. Она была среднего роста, худенькая, с худощавым лицом, прямым тонким носом, с глубоко вырезанными и чуть приподнятыми ноздрями. Эти ноздри были почти уродством и в то же время придавали ее лицу какую-то особенную прелесть. Она пела без всякого напряжения, которое всегда бывает так неприятно в певцах, пела почти не открывая рта. Одетая она была в кимоно не темное и не пестрое, очень изящное, совсем не похожее на продающиеся во всех токийских магазинах на потребу европейцам, которые в смысле вкуса — в убранстве домов, тканях, безделушках и всем прочем — по сравнению с японцами истые варвары.

Затем были исполнены еще две песни, написанные по народным мотивам, а потом Ямада сказал:

— А вот одна из тех песен, которые я сочинял для того, чтобы иметь возможность материально поддерживать свой симфонический оркестр, — «Кататино». («Шиповник».)

Это была поистине очаровательная песня, в которой мелодия была вполне привычной для нашего уха и в то же время определенно японской, а в припеве, где повторялось слово «кататино», мне послышалось что-то одновременно и итальянское и грузинское. Словом, песня была прелестна. Я сейчас же спросил, есть ли пластинка с ней, для того чтобы повезти в Москву. Ямада ответил, что есть.

Затем примадонна спела большую арию из оперы Ямады «Рассвет». Посредине арии, где, очевидно, вступал мужской голос, Ямада сам запел тихим низким голосом и спел один или два куплета очень выразительно.

Я вообще люблю, когда поют композиторы. Хотя голоса у них обыкновенно плохие, но когда они поют, то понимаешь, какое здесь должно быть настроение, а когда поют даже хорошие певцы, то понимаешь это далеко не всегда, ибо они гораздо чаще любят свой голос, чем то, что они поют.

Вскоре после этого мы распрощались, уговорившись встретиться завтра, то есть сегодня, в пять часов. После мучительного обувания ботинок, которые мы, как и во всех японских домах, оставили у порога, мы двинулись домой.

Сегодня в пять часов вечера, как и договорились, мы поехали на ужин к Ямаде. В презент старику я взял бутылку водки, о своем равнодушии к которой он накануне упомянул.

Он нас уже ждал.

Мы, как и вчера, немножко посидели внизу, выпили по чашке зеленого чая. Этот чай, надо сказать, вообще автоматически предлагается гостям хозяевами всюду, начиная от ресторанов и кончая мастерской портного или сапожника.

В углу у Ямады, как и во всех японских комнатах, была токомона, то есть священное место, маленькая ниша в стене, а снизу полированная доска и на ней чашка с водой. Сейчас там горело два резных каменных стенных фонаря (впрочем, в них было проведено электричество), сзади них стояла чашка с песком, из которой торчали какие-то тонкие, похожие на стебли цветка прутики, их кончики медленно тлеи, это были благовония. Зажжены фонарики были по торжественному случаю приема гостей.

Когда мы входили в комнату, Ямада взял в руки бутылку с водкой и, откинув рукав кимоно, поставил ее между фонариками, после чего повернулся к нам и, улыбнувшись, сказал, указывая на все вместе — и на фонарики и на водку:

— Священное место.

Пожалуй, это типично для отношения к религии в Японии.

По узкой лестнице мы поднялись на верхний этаж. На площадке стоял большой японский барабан. Ямада показал нам, как в него бьют. Выше барабана на стене висели три металлические тарелки — гонг. Ямада продемонстрировал, как они звучат, причем все три издавали разный по высоте звук, а при последовательных ударах получалась своеобразная гамма.

Наконец мы вошли в столовую. Она в отличие от кабинета была вполне японской комнатой с двумя сдвинутыми низкими столами и с подушками вокруг них, которые Ямада предложил нам сложить по полам, чтобы было удобно сидеть.

В комнате все было очень просто: циновки, хорошо отполированные столы, ширмы с каким-то одним очень мелким и тонким рисунком в углу, углубление в стене с черной полированной доской, на которой стояло всего три безделушки — ваза, другая ваза, белая, очень высокая, и какой-то крошечный шарик. Все это светлое, а полированная доска абсолютно черная.

Когда мы уселись, начался разговор об искусстве в японском быту и о том, кто строит вот такие дома, кто планирует их — художник или заказчик? Ямада сказал, что такие дома строит обычно артель строителей, в которой есть главный, причем площадь дома измеряется не метрами, не футами, а циновками: дом на столько-то циновок. Существуют примерные планы каждого из таких домов. Такой план представляет строитель заказчику. Тот может внести свои исправления, но обычно строители неохотно с ними соглашаются. Во-первых, зачастую в них нет нужды, ибо строители сразу представляют хороший план, а во-вторых, они полагают, что они специалисты, что они лучше знают, так что переспорить их даже в какой-нибудь детали очень трудно.

— А вообще принцип японского вкуса, — сказал Ямада, — такой: немного, но хорошо, просто. Главное — простота.

Нельзя было с ним не согласиться.

Показывая на свою полку с тремя безделушками, Ямада сказал:

— Богачи часто стараются собрать много произведений искусства и расставить их обязательно на виду. А эти три вещи все дешевые. Эту вазу я купил в Шанхае всего за десять иен. Она старинная. Сей-

час она стоит дорого. А главное, ей не мешают на этой полке другие вещи, не правда ли?

На стене, как часто бывает в Японии, висело узкое длинное полотнище, на котором было написано два десятка небрежных иероглифов. Кстати сказать, не следует думать, что небрежно и вкось написанные иероглифы — это плохо написанные иероглифы. Иногда это так, а иногда это особый стиль иероглифического письма, очень высоко ценящийся. Но, конечно, нашему неопытному глазу отличить первый от второго очень трудно.

— Это стихи того поэта, который написал слова к понравившейся вам песенке «Шиповник», — сказал Ямада. — Это был мой большой друг, он недавно умер.

— А что здесь написано? — спросил я.

— Здесь написана танка. — Ямада перевел содержание: — «Около дома росло дерево. На нем распустились листья. Потом расцвели цветы. Потом к ограде подошла лошадь и съела их». Вот и все.

Я сказал, что, по-моему, это стихотворение ироническое.

— Да, — сказал Ямада.

— А может быть, печальное? — спросил Агапов.

— Да, и печальное тоже, — сказал Ямада. — В танке обычно помещается то и другое — ирония и печаль, в этом ее особенность.

Начали ужинать. Ужин был длинный и изысканный. Чувствовалось, что Ямада любит и умеет хорошо поеть. Подали перелитую в графин водку. В этой изящной комнате, где все было изящно, начиная от украшений и кончая посудой, на которой нам подавали еду, странно выглядел этот графин и рюмки, принесенные к нему. Это была грубая европейская работа — чешский хрусталь не из хороших: белый с фиолетовым выгравированным рисунком. Хрусталь никак не гармонировал со всем остальным в доме. И мне подумалось, что при очень большой отдаленности друг от друга двух культур часто бывает, что человек, имеющий прекрасный вкус у себя дома, но воспринимающий чужую культуру как экзотику, обнаруживает в ее восприятии неожиданно плохой вкус.

Еще когда мы поднимались на второй этаж, Ямада обратил мое внимание на висевшую на видном месте небольшую картину.

— Это я привез из России, — сказал он.

Это был совершенно ужасный этюд масляными красками, изображавший, видимо, какую-то сценку из жизни пионерского лагеря. Написано это было так плохо, что не могло быть и речи, чтобы повесить такую картину в московском доме, имеющем хоть какое-нибудь отношение к искусству. А у Ямады, отличавшегося тонким вкусом, на видном месте висел этот ужас.

Мы сидели у столиков довольно долго — два или три часа. Сначала было подано несколько очень вкусных закусок: традиционный а с а к а — японский салат, сушеная каракатица, по вкусу похожая на воблу и, как мы узнали, приготовленная таким же образом, потом суп, сваренный из улиток и приготовленный внутри самих же раковин. Это те самые большие зазубренные раковины, которые у нас так часто украшали столы и каминные в эпоху декаданса. Оказывается, эти раковины кладут в кипяток и варят не открывая. Потом открывают створку как своеобразную крышечку и к сваренной таким образом улитке прибавляют специи и зелень и все это подают на стол в самой раковине. Это очень вкусно. Зелень во всех японских блюдах абсолютно зеленая.

— Вы знаете, как это достигается? — сказал Ямада. — Это делается так: зелень бросают в суп, когда он уже готов, за пять минут до

того, как снимать с огня, и ни в коем случае не закрывают после этого суп крышкой. Тогда зелень не теряет цвета.

Время шло незаметно за легкой болтовней. В прошлый раз мы говорились на все серьезные темы и сейчас просто болтали что взбредет в голову.

Покончив с едой, мы спустились вниз и там присидели еще около часа.

В конце вечера зашел живший где-то по соседству известный японский музыкальный критик, редактор музыкального журнала и в то же время заведующий, как Ямада выразился, общей частью в его оркестре. Это был высокий, весьма интеллигентный человек, как выяснилось, говоривший почти на всех языках, кроме русского. От него мы узнали, что до войны существовало два японских ежемесячных музыкальных журнала, один для широкой публики, а другой для узкого круга специалистов и знатоков. Во время войны издавался только последний, и за всю войну вышло всего четыре номера, из которых три сгорели в разных типографиях, не успев появиться на свет божий. Теперь он снова должен начать выходить ежемесячно.

Мы уже собрались совсем уходить, когда Ямада обратил наше внимание на висевший около дверей странный рисунок. Это было довольно хорошо, хотя и небрежно нарисованный тушью какой-то дворец, круглый, обтекаемый, со странными выступами и галереями вокруг него, и все это было окутано какой-то туманной дымкой. Похоже было на то, как наши иллюстраторы рисуют здания марсиан.

— Это дворец музыки по моему проекту. Его рисовал мой ученик. Это здание на шестьдесят пять тысяч человек. Я сам его спроектировал. Всюду должно быть одинаково слышно, и оркестр должен играть для себя в закрытом помещении. Он никого не должен видеть, и зритель, каждый в своей клетке, никого не видит, ни соседа, ни оркестра, так, чтобы для него существовала только музыка. Только музыка. Больше ничего!

На этом мы простились, договорившись увидеться в конце февраля, когда будет исполняться его опера по радио.

Вчера днем после нашего первого визита к Ямаде мы вместе с нашим переводчиком Хидзикатой поехали на заранее назначенное свидание в дом к его отцу, старому Хидзикате, известному левому театральному деятелю Японии, или, как его иногда тут называют, красному графу. Насколько мне известно, он и в самом деле по происхождению один из представителей японской аристократии, граф. В свое время, после его отъезда за границу в 1933 году, специальным указом он был лишен этого титула.

Мы добрых полчаса ехали через Токио на одну из отдаленных окраин. Это уже был не Токио в прямом смысле слова, а одна из частей большого Токио, то есть нечто вроде нашего Кунцева или Филей.

— Поедем в наш скворечник, — сказал Хидзиката, — в наш карточный домик.

— Почему вы его так называете? — спросил я.

— Просто он очень маленький. Это временное помещение. Вот если мы с вами поедем в феврале в деревню, вы там увидите деревенский дом. Он большой. Он был построен по планам отца перед войной и в начале войны.

— Но ведь ваш отец сидел в это время в тюрьме? — спросил я.

— Да. Он там, в тюрьме, чертил эти планы, а мать строила. У нас там дом и земля.

— Много земли? — спросил я его.

Хидзиката пожал плечами:

— Не очень.

— Ну а по новому закону придется ее продавать?

— Если бы мы сдавали в аренду, то да, пришлось бы продавать,— сказал Хидзиката.— Но ведь, вы знаете, закон имеет одну оговорку.

— Какую? — спросил я.

— Нельзя иметь земли больше пяти серпанов в том случае, если вы сами не работаете на этой земле, если вы сдаете ее в аренду. А если вы работаете на ней сами, то вы можете иметь больше пяти серпанов. Наши домашние там действительно работают.— Хидзиката улыбнулся.— Но вообще-то говоря, эта оговорка в значительной степени лишает закон смысла. Всегда можно не работать и сделать вид, что ты работаешь, и не продать землю. Правда, говорят, что система прогрессивных налогов, которую хотят ввести, все равно не даст возможности иметь много земли, но это еще покажет будущее.

Мы свернули с шоссе, сделали несколько поворотов по очень узким улицам с плетеными заборами, за которыми шли сплошные темно-зеленые сады, и остановились у деревянного двухэтажного узенького домика, действительно чрезвычайно похожего на скворечник.

Сняв туфли, мы прошли в комнату, где посредине поверх циновки на двух положенных рядом досках стояла жаровня и были накрыты приборы, то есть стояли стаканчики, рюмочки для саке и лежали палочки. Вокруг досок на циновках лежали подушки. В комнате было довольно холодно. Мы не решились усесться и ходили, переминаясь с ноги на ногу.

Через минуту появился младший брат Хидзикаты, как я его теперь буду величать — Иосиф Иосифович: по дороге в машине Хидзиката назвал мне имена и отчества всех членов своей семьи. Отца звали Иосиф Акимович.

— Почему Акимович?

— Имя его Иосико. Отца его звали Акино.

— А вас как зовут?

— Илья.

— Почему Илья? А как ваше имя по-японски?

— Тэсю.

— Почему же вы Илья?

Хидзиката пожал плечами:

— Не знаю. Так стали звать в России, вот я и Илья.

Младшего брата звали, как и отца, Иосиф, то есть Иосиф Иосифович. Это милейший парень невысокого роста, с круглым, как луна, лицом, в больших роговых очках. Ему около двадцати лет, он учится в императорском университете на отделении агрокультуры. На нем какая-то невероятная гимназическая фуражка со сломанным козырьком, черная крылатка, черный потрепанный студенческий костюм, из-под которого вылезает длинная тряпка, которая, как мне сначала показалось, просто выпала у него из кармана и держится на кончике. Но оказалось, что нет: это его носовой платок.

Иосиф Иосифович в возрасте от семи до одиннадцати лет жил в России, учился в советской школе, которая, видимо, навсегда испортила его по японским понятиям и сделала из него юношу чрезвычайно непочтительного и невоспитанного, но очень славного. Иосиф Иосифович пьет, курит, первый лезет к отцу в коробку за папиросами, подставляет рюмку, бойко говорит на все темы, но все это у него получается очень наивно и мило.

Скоро спустился и сам Хидзиката-старший, по-русски приветствуя нас:

— Очень рад вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте.

Я почему-то ожидал, особенно зная о том, что Хидзиката четыре

года просидел в тюрьме и только недавно выпущен, встретить почтенного старца, но ожидания меня обманули. В комнату легкой юношеской походкой вошел чрезвычайно подвижный японец, которому я с трудом дал бы его сорок восемь лет, если бы не коротенькая, седеющая, клинышком, а-ля Генрих IV бородка, отпущенная им после выхода из тюрьмы. У него длинное желтоватое лицо с чуть-чуть раскосыми глазами, на нем европейский, я бы даже сказал, чуть легкомысленный костюм: серые брюки и серый клетчатый, по-спортивному сшитый пиджак. Что же до лица, то это одно из тех лиц, которые нельзя назвать типично японскими; если можно так выразиться, лицо с японским оттенком, не больше.

Сегодня мне еще раз в голову пришла мысль, основывающаяся на многих наблюдениях, что люди интеллигентных профессий во всех странах чаще, чем представители так называемых низших классов, утрачивают свои резкие национальные особенности во внешности, в лице. Особенно наглядно это было видно в Японии. В среде потомственной интеллигенции сравнительно мало типично японских, широкоскулых и косоглазых, лиц, а есть просто лица, имея которые можно выдавать себя за японцев.

Вместе с Хидзикатой пришел известный японский левый литературный критик Курахара. Он, так же как и Хидзиката, сидел в тюрьме, только в другое время и вдвое больше, чем тот: восемь лет. Это был болезненного вида человек с умными усталыми глазами. Разговор о том, что он был в тюрьме, зашел потому, что он отказался пить и скромно объяснил это тем, что немного попортил себе здоровье в тюрьме.

Потом вошла жена Хидзикаты-младшего (младшим я зову нашего Хидзикату, а Иосифа́ Иосифовича я буду звать самым младшим Хидзикатой), крепко сложенная молодая женщина с некрасивым, но очень милым лицом и спортивной фигурой. Она была одета в какую-то клетчатую куртку и брюки и ходила с трудом: одна нога у нее была в гипсе. Она ее вывихнула и, как сказал Хидзиката, вот уже месяц не может играть в театре. После этого выяснилось, что она молодая и способная актриса.

Началось сукьяки. Так как все равно надо где-то описывать, что такое сукьяки, то опишу это здесь.

На жаровню, стоявшую посредине стола, была поставлена сковородка. Жена Хидзикаты внесла большую плоскую плетеную корзину, в которой во всей красе своей натуральности лежали куски струганой морковки, толстые куски зеленого лука, крупные куски нарезанной редиски и еще несколько сортов разных непонятных нам овощей, тоже нарезанных кусками. Она взяла понемножку каждого из овощей и положила в кипящую жидкость на сковородку. Потом была внесена большая миска, обложенная зелеными листьями, на которой лежало нарезанное тонкими длинными кусками мясо. Это мясо клалось поверх овощей все в ту же кипящую жидкость. Потом были принесены яйца и чашки, похожие на наши среднеазиатские пиалы.

Следуя примеру хозяйки, мы разбили по яйцу и вылили их каждый в свою чашку, размешав. Теперь нам осталось вооружиться палочками и есть сукьяки. Мы брали палочками с кипящей сковородки куски мяса, окунали их в яйцо и отправляли в рот. То же самое мы делали и с овощами. Все это было необычайно вкусно, остро, а главное, это была предельно натуральная, какая-то наглядная еда: и корзина с нарезанными овощами, и куски мяса, обложенные зеленью, и шипящая жаровня — все это было очень красиво; вдобавок жидкость на сковороде шипела так, что мне, когда я один раз отвернулся и забыл об этом, показалось даже, что идет дождь.

Во время сукияки Хидзиката рассказал мне о театральном искусстве Японии примерно следующее.

Первоначально театр «Кабуки» возник не как аристократический театр, а больше как театр городских слоев населения. Но после переворота Мэйдзи «Кабуки» превратился в театр официально поддерживаемый, в охранителя японских традиций. Он был и остался театром, в котором все роли играют и танцуют исключительно мужчины, ибо, как гласит старая поговорка, мальчикам и девочкам можно быть вместе лишь до семи лет, а потом только после замужества.

В эпоху Мэйдзи развился и другой жанр театра — театр слезливой драмы, который взял от «Кабуки» сентиментальную трактовку сюжетов, связанных главным образом с жизнью гейш и обедневших самураев, но допустил к исполнению ролей женщин и исключил из спектакля музыку и танцы.

Как я сообразил во время этого разговора, я уже побывал на одной такой постановке, и, когда просидел половину пьесы, мне по первому мимолетному впечатлению показалось, что этот слезливый театр — самое бесцветное явление в театральной жизни Японии.

В десятых годах этого века многие японцы едут в Европу, учатся в Англии, Германии, в России, и в Токио возникает сразу три театра: первый — под влиянием английского театра и его традиций, второй — под влиянием немецкого свободного театра Макса Рейнгардта, и третий — под влиянием русского театра.

В 1923 году Хидзиката-старший возвращается из-за границы, создает свой собственный театр, в который входят актеры, отколовшиеся от упомянутых трех театров. Этот театр переживает трудное время. Впоследствии он раскалывается на два театра. В нем процветает искусство, связанное главным образом с традициями немецкого свободного театра и его левого крыла, а также с традициями Мейерхольда, спектакли которого Хидзиката видел в Москве, когда позже побывал там. Репертуар очень разнообразный: «Кукольный дом» Ибсена, «Ревизор», «Воскресение», «Воздушный пирог», «Шторм», «Рычи, Китай!».

Хидзикате удалось построить свое театральное помещение, которое во время бомбардировок сгорело. Сейчас, после окончания войны и после выхода Хидзикаты из тюрьмы, возникло объединение новых театров. Было создано четыре труппы, и первой театральной постановкой был «Вишневый сад», который мы видели вскоре после своего приезда.

Японские театры находятся в трудных условиях. Как правило, в котором раньше были исключения, а теперь нет, театры не имеют собственных постоянных помещений. Все эти помещения принадлежат двум монопольным японским компаниям, контролирующим все искусство. Им принадлежат все киностудии, все театральные и концертные залы.

Основной вопрос, который волнует акционерные правления этих компаний, вопрос рентабельности. Театр должен приносить доход. С труппой заключается договор на постановку. Для репетиций им дается от двадцати до двадцати пяти дней, причем так как театральные залы должны быть максимально заняты, то для репетиций на сцене дается не больше трех дней.

Когда спектакль срепетирован и начинает играть, он играет обычно от десяти до двадцати пяти дней, каждый день одно и то же, до войны один раз в день, а во время войны и сейчас два раза в день. То есть актер должен, срепетировав пьесу за двадцать пять дней, потом в течение двадцати пяти дней сыграть ее пятьдесят раз, после чего спектакль умирает.

Если даже пьеса имеет большой успех и на нее ходит народ, то

все равно уже на следующий день после двадцать пятого спектакля зал передается согласно договору другой театральной труппе или концертному ансамблю.

Двадцать пять дней, которые играется спектакль, это максимум. Что же, скажем, до постановки «Вишневого сада», то хотя зал был абсолютно набит — я сам тому свидетель,— но сыгран этот спектакль был всего шесть раз: три дня по два раза, утром и вечером. Такое условие компания поставила руководителю труппы. Конечно, репетировать пьесу двадцать пять дней для того, чтобы сыграть ее шесть раз, тяжело для актерского сердца.

В разгар нашего разговора пришел отец жены нашего Хидзикаты и друг Хидзикаты-старшего, высокий, красивый, седой человек, в облике которого было мало типично японского. Он играл в «Вишневом саду» Гаева, и я его видел на сцене. Это один из виднейших японских актеров.

Хидзиката стал говорить о том, что сейчас для «Кукольного дома» он потребовал себе на репетиции месяц. Это небывало большой для Японии срок. Вообще же он считает, что идеально было бы — и он будет стараться это сделать—добиться двухмесячного срока репетиций и другой очередности спектаклей, хотя бы приблизительно такой очередности, с какой они идут в России. Но для этого нужна ломка всей системы контрактов и взаимоотношений с предпринимателями, а кроме того, и ломка традиций, в частности нужно переучивать публику, которая десятилетиями привыкла к тому, что в таком-то театре двадцать пять дней подряд идет один и тот же спектакль, а потом двадцать пять дней подряд будет идти другой спектакль. Словом, это очень трудная проблема, однако Хидзиката мечтает разрешить ее.

Потом начались московские воспоминания. Хидзиката вспоминал о Москве, где он прожил с 1933 по 1937 год. В 1933 году в Москве была устроена олимпиада МОРТа, то есть Международного объединения революционных театров. В этот МОРТ входил и Хидзиката. Но ему вместе с театром выехать из Японии не разрешили. Тогда он забрал семью и уехал с нею вместе якобы в Париж. В Париж он действительно попал, но только в 1937 году, а по дороге на четыре года задержался в Москве, работая с разными нашими режиссерами, в частности довольно долгое время в Театре революции. С тех пор за девять лет он сильно забыл русский язык и говорит с трудом, но понимает почти все, так что во время нашего разговора приходилось переводить только то, что говорил он, а то, что говорил я, почти все понималось без переводчика.

Под конец вечера зашел разговор о пьесах, которые могут быть сейчас поставлены. Ближайшая постановка, которую намерен показать Хидзиката, это «Кукольный дом». Он уже начал ее осуществлять и пригласил меня приходить на репетиции.

В дальнейшие планы Хидзикаты входит поставить «Бронепоезд» Всеволода Иванова.

— Почему? — спросил я.

— Во-первых, хорошая пьеса, во-вторых, направлена против японского милитаризма, а в-третьих, четырнадцать лет назад я приготовил эту постановку, но мне ее запретили. Я человек упрямый, я хочу сделать это теперь.

Я посмотрел на него и подумал, что он в самом деле упрямый человек. В нем была сконденсирована огромная энергия, которую не смяли ни всяческие испытания, ни тюрьма, я это ясно чувствовал. Сейчас он буквально кипел разными затеями и начинаниями.

Мы расстались в десятом часу вечера, причем Хидзиката пригласил меня приехать к нему в деревню на новогодние праздники, кото-

рые, оказывается, в деревне справляются по старому японскому календарю, на месяц позже, чем в городе.

28 января 1946 года. Токио

К двум часам мы все поехали на встречу с женщинами — писательницами и журналистками в редакцию толстого ежемесячного журнала «Человечество».

Обстановка беседы — очень холодная квадратная комната с очень большим круглым столом, за которым сидели мы, переводчик и шесть женщин: две пожилые, две молодые и две среднего возраста. Три из них писательницы, две публицистки и одна журналистка. Все они сторонницы единого фронта.

Пять из шести были одеты в кимоно, только одна, самая пожилая, по-европейски. Говорили они, когда говорили, хорошо, свободно, иногда между ними возникали легкие перепалки, когда они были не согласны в ответах на некоторые из заданных мною вопросов. Но что было неприятно и что мне лично мешало хорошо слушать их, это несоответствие между словами, которые мне переводил Хидзиката, и выражением их лиц. Рассказывая о трудном положении женщины, о тяжелых перспективах для ее самостоятельной жизни и т. д., они все время улыбались. Особенно много улыбалась руководившая беседой молодая писательница, сидевшая прямо против меня. Она улыбалась маленькими, средними и большими улыбками, она вся корчилась от улыбок, рассказывая самые грустные вещи. Я понимал, что это не больше чем манера, но манера эта выводила меня из равновесия.

Сначала я отвечал на вопросы, за два дня до этого переданные мне и напечатанные на русской машинке. Вопросы были очень толковые и содержательные. Во второй части беседы задавал вопросы я. К сожалению, ответы привели меня к грустному выводу, что хотя в Японии немало культурных женщин и, может быть, даже женщин выдающихся, беспомощность их в общественной жизни еще так велика, непонимание ими возможности своего равноправия так глубоко, что мой личный вывод таков (и боюсь, что я в нем не ошибаюсь): участие женщин в ближайших выборах, а может быть, и в последующих — а уж в ближайших безусловно, — чего доброго, может сыграть на руку больше реакционным партиям, чем прогрессивным.

Беседа наша состоялась как раз в преддверии выборов, поэтому вопросы мои в основном вращались вокруг этой проблемы. До этого времени японские женщины не имели избирательного права, и мне было интересно, как они сейчас относятся к новой возможности. Судя по ответам, пока довольно индифферентно. Большинство женщин, вероятно, вообще не пойдут голосовать, а те, кто пойдет, проголосуют просто вслед за мужем или отцом — согласно японскому обычаю полного подчинения женщины главе семьи. Некоторые женщины говорят: «Лучше получить больше риса, чем избирательные права». Деятельницам женского движения приходится разъяснять совершенно элементарные вещи вроде того, что политика имеет прямое отношение к повседневной жизни, в том числе и к проблемам питания, приходится учить самостоятельности — это главное.

Во время войны в промышленности было занято много женщин — были мобилизованы студентки, старшие школьницы, женщины без определенных профессий. Сейчас они, как правило, возвращаются домой, в семью, и, таким образом, лишаются экономической самостоятельности. Правда, и раньше эта экономическая самостоятельность была довольно зыбкой. К примеру, заработок машинистки двести иен в месяц, а прожиточный минимум на человека приблизительно пять-

сот иен. И если она живет одна, не в семье, какая же это самостоятельность?

Зарботная плата женщин до сих пор составляет примерно половину заработной платы мужчин. Одна из присутствующих женщин десять лет работает в издательстве в качестве журналистки по семейным и школьным вопросам, занимает ответственный пост, но заработок ее гораздо ниже, чем средний заработок мужчины-журналиста.

В области просвещения наблюдается такое же неравенство. В начальной школе девочки и мальчики учатся вместе, у них одинаковая программа, но в средней уже не так. Хотя и в женской и в мужской гимназии обучение одинаково пятилетнее, но окончившие женскую гимназию имеют знания, соответствующие всего трем классам мужской.

Ныне в государственный университет разрешено поступать женщинам, но из-за разницы в школьных программах женщины практически попадают в университет примерно к тридцати годам.

После окончания войны женское движение очень оживилось. Возникли различные союзы и клубы, объединяющие женщин, стремящиеся привлечь их к активной политической жизни. Имеется Союз женщин-журналисток (в дополнение к клубу женщин-писательниц). Начал выходить женский политический еженедельник, готово к изданию несколько журналов: «Работающая женщина», «Демократическая женщина», «Женская линия».

Время покажет, что из всего этого выйдет.

30 января 1946 года. Токио

Сегодня у меня было два свидания. Первое из них с председателем здешней православной консистории японским священником отцом Самуилом в доме отца нашего переводчика и водителя Вити — Бориса Никитича Афанасьева.

Несколько слов о самом Афанасьеве. Сегодня я был у него уже второй раз. Первый раз я приехал к нему, когда искал переводчика, приехал с тем, чтобы попросить у него для этой работы его сына. Афанасьев был очень большого роста, крепкий, могучего телосложения, но, видимо, в последние годы несколько сдавший и похудевший человек с лохматой головой на косой пробор и огромными рыжеватыми казацкими усами, в коричневом пиджаке, в брюках, заправленных в чesанки, в коричневой жилетке и под ней в косоворотке.

С первого взгляда можно было определить — по виду, по одежде и по повадке, — что это русский. Среди ста тысяч людей его нельзя было ни с кем спутать. Он напоминал не то какого-нибудь старого фельдфебеля, не то строительного подрядчика, не то хозяина трактира, стоящего за стойкой. Конечно, это чисто внешние ассоциации, да вдобавок литературные.

Он встретил нас радушно, посадил за стол. Был первый день рождества. На столе была всякая закуска, в том числе русская: селедка, огурцы, свинина, холодец. Стоял графин, наполовину наполненный желтой мутноватой жидкостью.

— Это, извиняюсь, не водка, это, конечно, спирт, ну, разбавленный. Я этих японцев надувал, конечно. Откуда у меня водка? Я спирт достая, разбавляю пополам. Если надо полицейского угостить, взятку дать, то говорю: вот русская водка. А им только это слово услышать, а что пьют, они же все равно не соображают. Но сейчас я, конечно, честно предупреждаю: спирт. А вот огурцы моего засола. Мать, принеси еще огурчиков, слышишь? А вот селедка, не буду врать, не мо-

его засола. Это с Хоккайдо селедка, но русского засола. Там ее Бутаков Петр Федорович солил, есть такой на Хоккайдо. Он там один изнывает, единственный русский человек.

Все в доме было необычно. По постройке он был вполне японский. Ботинки надо было оставлять на пороге. Пол был застлан циновками, но хозяин не забыл своей привычки ходить зимой в валенках, хотя на улице было градусов двенадцать тепла. Сидели мы за нормальным столом, на табуретках, а окна были с переплетами из вощенной бумаги. Селедка была русского засола, но с Хоккайдо. Православный поп, который только что, до моего прихода, ушел и который заходил к Афанасьеву потрапезовать после богослужения, назывался отцом Самуилом и был чистокровным японцем.

Афанасьев не спрашивал о цели нашего визита, не очень интересовался, кто я и что я. Первым делом он хотел просто угостить русских людей, которые к нему пришли. Афанасьев рассказывал о том, какие тут были сообщения о войне, как японцы радовались нашим первым поражениям, как у него сердце болело и т. д. и т. п. Говорилось все это и искренне и в то же время как-то чересчур громко, с аффектацией. Видимо, соединение этих двух качеств и составляло характер этого человека.

Наконец нам удалось рассказать о цели нашего прихода. Афанасьев на секунду притих, а потом сразу же тихо и очень серьезно, так, что мне запало в душу, сказал:

— Ну что ж, раз вам для дела, для родины нужно, то я отдам сына вам в руки, берите.

— А как со службой у американцев?

— Что ж американцы? Возьму от них завтра же — да и вся недолга. Этот сын у меня от второй жены. От первой — два сына старших — в России остались. Уж им, глядишь, под тридцать сейчас. Должно быть, воевали. Может быть, и голову сложили. А этого последнего, раз нужно, готов отдать. Он у меня воспитан хорошо, мальчик хороший. Русскому языку его выучил. Другие многие из наших здесь не учили, всякие люди есть, а я учил.

Потом старик начал рассказывать о своей жизни. Здесь он занимался мелкой торговлишкой и раньше и сейчас; видимо, был активным общественным деятелем, то есть принимал большое участие во всех церковных делах. Кроме того, он был казначеем строительства русской школы и строил ее.

Еще немного поговорив, мы расстались. Я вынес какое-то немножко пуганое, но хорошее чувство от этого посещения — и оттого, что в этом доме было все русское и в нем хорошо говорили по-русски, и от прямоты хозяина, который сказал мне:

— Ну что же, я не могу вам сказать, что каюсь, что уехал из России: не мог я тогда остаться. Были у меня и политические разногласия и религиозные. Не мог остаться, уехал, но русским всегда оставался и считал себя и душой за родину болел.

Рассказывал он также и о том, как ему туго пришлось в последнее время с полицией, как его арестовали, девяносто дней держали в тюрьме и изрядно били, причем нашелся какой-то полицейский, который нашел в нем сходство со Сталиным, видимо из-за усов, и бил его, требуя, чтобы он признался, что он брат Сталина. Рассказано это было так искренне, что я поверил. Арестовали Афанасьева, видимо, по тем же поводам, по каким это делалось обычно: старались навязать признание в связи с русским посольством и консульством, подозревали в шпионаже в пользу русских, в конце концов просто били, чтобы бить.

Таким было мое первое посещение Афанасьева, так что теперь я приехал к нему уже как старый знакомый.

На столе стоял все тот же спирт, потом какое-то виноградное вино своего приготовления. Была классическая русская закуска — селедка с луком, огурцы, холодец, — потом был сооружен великолепный горячий пирог с рыбой, неведомо где испеченный, потому что хозяйка все время сокрушалась, что в этой треклятой Японии ни одной русской печки не найдешь. Был подан даже самовар.

Виктор поехал привезти отца Самуила, а старик Афанасьев пока рассказал нам интересную историю о том, как было организовано в Японии русско-японское общество, само собою, эмигрантское, и как это общество пыталось наложить лапу на русскую школу. Общество это было, конечно, организовано каким-нибудь из отделов японского генерального штаба, ибо основной целью его была будущая совместная эксплуатация Камчатки, а патриотическое для русских объединение этой акции состояло в том, что Камчатку хочет забирать и забрет в конце концов Америка. Чтобы этого не случилось, говорили они, пусть ее эксплуатирует временно Япония, с тем чтобы впоследствии, когда в России установится «истинная русская власть», договориться обо всем на дружеских основаниях.

Представители этого самого общества, снабженные, само собою, японскими деньгами, хотели наложить лапу на русскую школу, которая находилась в трудном материальном положении, предложив дотацию в тридцать тысяч иен (что тогда было громадными деньгами), с тем, однако, чтобы на вывеске школы было написано, что она принадлежит русско-японскому обществу, и чтобы в руководстве школы главную роль играли представители общества. Иным способом взять эту школу они не могли, ибо с документами в ней было все в порядке, она была построена на деньги совершенно определенных людей и как имущество записана на имя Афанасьева.

Свой разговор на эту тему с деятелями русско-японского общества Афанасьев описал мне очень красочно. Он рассказал, как они к нему пришли, как сделали предложение о внесении тридцати тысяч иен и как он в ответ сказал, что передать им школу не может, а если они хотят помочь, то пусть внесут тридцать тысяч на банковский счет, и школа на покрытие своих недостатков будет постепенно брать сколько нужно: пятьсот, тысячу, две тысячи иен.

— Конечно, они на это не пошли, — сказал Афанасьев. — Они мне сказали: «Так нельзя, нужно, чтобы вывеска была другая и, раз мы деньги даем, чтобы школа была под нашим покровительством». Ну, я им на это сказал так: «Тридцать тысяч, конечно, деньги большие. Если свою душу продать за них, ну, это еще можно подумать, сколько там твоя душа стоит. Но чтобы детскую душу за них продать, это дудки! Не будет этого!» — И, прервав рассказ, пояснил мне: — Что же с этой Камчаткой, по какому такому они праву решают, кому Камчатка, Америке или Японии, отойдет? Слава тебе господи, у нас пока русская земля и русская власть на ней, какая ни есть, а русская. А если бы они в школу пришли, так, конечно, такое бы воспитание детям дали, что они на свою родную землю волками бы смотрели. Не пошли мы на это.

Потом зашел разговор о русских епископах японской церкви. Первым был Николай, умерший незадолго до мировой войны, знаменитый здесь миссионер. Его сменил Сергей, рукоположенный впоследствии в митрополиты, занимавший, видимо, довольно обособленную, независимую от японцев позицию. В 1940 году вышел закон, по которому единственной официальной религией Японии признавалась синтоистская; другие религии не запрещались,

но стоять во главе других учений иностранцам запрещалось категорически. Поэтому Сергей был отстранен, выгнан из собора и попал в тяжелое положение, находясь на иждивении поддерживавших его материально эмигрантов. Они ему сняли дом, устроили там домашнюю церковь, в которой и молились. Он был уже старый и болезненный человек, но ничто не говорило о возможности его близкой смерти, как вдруг 10 августа, на следующий день после объявления нами войны Японии, у него начались ужасные боли и рвота, и через несколько часов он умер в страшных мучениях, как уверяет Афанасьев, отравленный японцами. Трудно сказать, так это или не так. Против этого говорит то обстоятельство, что японцам было в эти дни не до того, чтобы заниматься митрополитом Сергием, но, с другой стороны, какому-нибудь полицейскому чину именно в эти дни могла вдруг прийти в голову и такая операция, и, может быть, эта догадка Афанасьева не лишена основания. Он, во всяком случае, отстаивает ее решительно.

Наконец пришел отец Самуил, довольно высокий худой японец в черной, точно такой же, как и у нас, священнической рясе, с очень простеньким и маленьким серебряным крестом на груди, с полуседой головой, без бороды, с маленькими усиками. Ему было за шестьдесят. Это был истощенный, усталый, видимо, не слишком хорошо питающийся человек. По-русски он кое-что понимал, но говорил совсем плохо, то есть слов он, видимо, знал довольно много, но выговаривал их с таким акцентом, так ломано, что более половины из них было так же трудно расшифровать, как чужую стенограмму.

Отец Самуил рассказал мне свою биографию. Его родители-японцы тоже были православные христиане, отец был священником. Юношей мой собеседник окончил токийскую семинарию, где проучился семь лет и где преподавание по большей части велось на русском языке. Интересно, что его отец совершенно не знал ни русского, ни церковнославянского языков. Служба шла на японском языке: епископ Николай, о котором уже шла речь, перевел на японский все церковные книги. Это был огромный труд, и человек он, видимо, был необыкновенный. Японцы его чтут. Даже мост, очень красивый, тот, что на подходе к собору, хотели назвать его именем, но потом назвали по-другому — Хиджирибаси, то есть «светлое место между двумя холмами», — и Николай был этим доволен, он считал, что не следует делать того, что может вызвать споры, разногласия.

Я снова услышал историю последних лет жизни его преемника Сергия и историю его смерти, в естественность которой не верил и отец Самуил. Человек, который теперь занял пост Сергия, — ставленник японских властей, он продал на военные нужды чугунную церковную ограду, которая была прислана с Мотовилихинского завода.

С 1939 года положение православной церкви очень ухудшилось. Денег на поддержание они уже ниоткуда не получали, пришлось изворачиваться самим: сдавали в аренду землю, которая была приобретена раньше, собирали пожертвования среди богатых прихожан. В 1940 году, после закона о ликвидации иностранных миссий, положение православной церкви стало еще тяжелее, но количество прихожан не уменьшилось. Церкви совершали и крещение, и венчание, и похороны, хотя официально это все не имело юридической силы.

Сам отец Самуил занял место священника в 1923 году, а до этого с момента окончания семинарии сразу после русско-японской войны вел миссионерскую деятельность. За это время он обратил в христианство приблизительно двести человек — преимущественно чиновников средних и высших слоев, служащих, студентов. Между прочим, сре-

ди его «подопечных» один японский контр-адмирал, он и сейчас состоит в приходе отца Самуила.

Странное, повторяю, впечатление производили и этот русский дом в Токио и этот старик — японский православный священник, старый, усталый, голодный, какой-то жалкий и в то же время, видимо, человек, имевший свои убеждения. Хотя по выслуге лет он имел право претендовать на сан епископа, но не получил его — очевидно, из-за отсутствия требовавшейся теперь для такого поста связи с японской полицией и полного подчинения ей.

У Афанасьева и его жены было какое-то двойственное отношение к отцу Самуилу. С одной стороны, они оба были почтительны к нему как к священнику, духовному пастырю. И это было очень искренне, потому что они оба были люди верующие. С другой стороны, они относились к нему как к чужаку, потому что он был все-таки японец. Хотя он и был их духовный пастырь, но все-таки в чем-то отстоял от них бесконечно дальше, чем всякий русский.

И именно это двойственное отношение — и то, как он сидел за этим столом, и то, как они говорили с ним, — заставило меня подумать о том, что православная церковь в Японии среди японцев, хоть к ее лону и принадлежат тридцать тысяч человек, все-таки нечто неестественное, неорганичное.

От Афанасьева я поехал на встречу с японскими писателями. Происходила она в большом ресторане со смешанной японской и китайской кухней. Судя по количеству ботинок, которые стояли у порога, народу в ресторане было много. Меня проводили в довольно большую комнату, где меня уже ждали — я минут на десять опоздал. На встрече были две писательницы, человек пять писателей, еще человек пять или шесть сотрудников журнала «Человечество».

Я боялся, что если буду расспрашивать о судьбах японской литературы вообще, то присутствующие дадут самые общие и, следовательно, не самые интересные ответы, и решил конкретно расспросить об организации журнала «Человечество».

Журнал этот не имеет предшественника. Хотя пятнадцать лет назад в Японии и был журнал под названием «Человечество», но новый журнал не имеет к нему никакого отношения, он просто взял это название.

Цель журнала один из руководителей определил как утверждение идеи искусства для искусства, а также призыв к истинной демократии. Как вышло первое соображение с последним, бог им судья. Я привык к подобным ответам и не уточнял его.

Основала журнал так называемая группа писателей из Камакуры — того самого места под Токио, где мы были и видели бронзового Будду. Туда во время войны уехало много писателей. Там они позже организовали общество камакурских писателей, а бумажный фабрикант, у которого была бумага, предложил им войти в камакурское книжное издательство, при котором выходил бы и журнал, на паях, на условии, чтобы он имел пятьдесят процентов акций и они все вместе тоже пятьдесят процентов.

— Хотя, — сказал один из редакторов, — финансово мы равноправны, но литературно у нас больше половины влияния.

— Ну хорошо, — спросил я, — а если бы у вас с ним возникло разногласие в литературных вопросах, что бы тогда произошло, учитывая, что у него все-таки пакет с половиной акций?

Ответ был таков:

— Пока у нас не было такого случая, а если будет, не знаем, что произойдет, увидим...

Я спросил, каков принцип редактирования рукописей. Оказалось, что маленький, сравнительно молодой еще человек, сидевший все время неподвижно и не задавший мне за весь вечер ни одного вопроса, и был главным редактором журнала, отвечавшим за него. Это был, как я понял, хоть и молодой еще человек, но старый журнальный волк, во время войны бывший главным редактором какого-то издательства и теперь уже, очевидно, являвшийся главным хозяином журнала.

Что касается остальных трех редакторов — писателей, сидевших против меня и задававших мне все время вопросы и вообще поначалу производивших впечатление самых главных, — то они читали рукописи уже после него в тех случаях, когда у него были сомнения. Если же он читал один и ему произведение нравилось или не нравилось, то он и поступал соответственно со своим желанием.

Тираж журнала сейчас семьдесят тысяч. Вышел первый номер, который весь распродан. Две трети тиража распространяют компании, занимающиеся вообще распространением журналов и газет, а одна треть отправляется непосредственно по требованиям читателей по их адресам.

Тираж журнала мне показался довольно большим. Я спросил, всегда ли был такой тираж у чисто литературных журналов. Мне ответили, что нет, что чисто литературные журналы имели в Японии значительно меньшие тиражи, потому что у них был небольшой круг читателей. Но сейчас, когда сторело огромное количество библиотек, когда в Японии большой книжный голод, то можно издавать журналы почти любым тиражом — все равно они будут раскуплены. Так как книги и журналы бульварного типа, как выразился редактор, которые раньше в Японии имели широкого читателя, еще не выходят, а читать люди хотят, то вот и читают литературные журналы, поскольку других нет. Нотка сожаления о вынужденности этого чтения проскользнула у главного редактора очень отчетливо.

— Следующий номер мы думаем издать тиражом сто тысяч, а если удастся, то в апреле издадим и триста, надо пользоваться временем, — сказал мне редактор.

— А что же будет дальше, когда восстановятся те журналы, которые сейчас не выходят? У вас уменьшится тираж?

— Да, очевидно, тираж уменьшится.

Этот разговор заставил меня подумать о том, что хорошо бы узнать истинный круг чтения широкого японского читателя, ибо сегодняшние возникающие как грибы прогрессивные издательства и литературные журналы есть не результат естественного развития японской культуры и культурного уровня японских читателей, а нечто в значительной мере искусственное, могущее однажды развалиться, как карточный домик, при появлении бульварного чтения, с одной стороны, и ура-патриотической и шовинистической пропагандистской литературы, с другой стороны.

31 января 1946 года. Токио

Сегодня мы ездили примерно за сто—сто двадцать километров от Токио на север, на шелковую фабрику в Такасаки вместе со старшим сыном нашего токийского знакомого Воеводина Анатолием.

Выбрались мы довольно поздно, дорога отняла три с лишним часа, и приехали мы в Такасаки только к часу дня. Фабриканта не было дома, он должен был вернуться к трем часам, ибо поехал покупать какие-то новые сорок машин для своей фабрики.

Чтобы не терять времени, мы сразу же поехали за город посмот-

реть местную достопримечательность — сорокапятиметровую статую буддийской богини, воздвигнутую в горах неподалеку от Такасаки.

Миновав окраину, мы сразу попали в перелески, а потом в лес, где очаровательная горная дорога поднималась на довольно высокий холм, на котором стояла богиня. Нужно отдать должное скульптору, а вернее строителю,— место было выбрано прекрасно. Богиня была видна еще не доезжая километров десяти до Такасаки. Узкая дорога, шедшая по расщелине, прямо выкинула машину на площадку холма, и богиня предстала перед нами во весь свой рост.

Это было довольно грубо сделанное сооружение из бетона: огромная женщина в длинной одежде, с непропорционально большим и злым лицом и конусообразным убором на голове, напоминающим кардинальскую шапку. Фигура хорошо поставлена и изогнута. Она вся подалась вперед, а в то же время плечи отведены назад, как у человека, сопротивляющегося ветру, дующему ему в спину. Если смотреть на фигуру со стороны, не видя ее лица, то она была бы хороша, если бы не безобразящие ее многочисленные дырки иллюминаторов. Дело в том, что внутри этой фигуры сделана лестница, ведущая наверх, и она освещается через эти иллюминаторы. Дырки выглядят очень глупо, особенно окно в животе со вставленной в него решеткой.

Фигура ничем не облицована, и когда подходишь близко, видны грубые швы слоев бетона. Чтобы представить себе величину богини, лучше всего посмотреть на продающиеся там же открытки с изображением ее. Семилетний мальчик стоит у ее ноги, и его голова находится немногим выше уровня ногтя ее большого пальца. В этой величине и грандиозности и состоит суть затеи всей этой постройки. Построена она была в 1930 году каким-то крупным купцом в подарок городу как памятник павшим воинам в дни двадцатипятилетнего юбилея русско-японской войны.

Вернувшись в город, мы пошли осмотреть фабрику. Она помещалась на одной из окраинных улиц Такасаки, и контора ее, выходящая на улицу, ничем не отличалась по виду от любого другого дома, стоявшего рядом.

Через контору мы прошли во двор. Во дворе стояло два довольно длинных одноэтажных корпуса, в которых жужжали ткацкие станки. Сейчас на фабрике по заказу американцев делали какую-то чудовищную полуселковую-полубумажную ткань, вытканную мелким крестиком. На что такая ткань может употребляться, я так и не мог приложить ума: не то на обивку, не то на занавески, не то еще на что-нибудь в этом духе; типичный японский демпинг, о котором в свое время много кричали: ярко, броско, некрасиво, а главное, если сжать в кулаке, то остается нечто похожее на скомканную бумагу. Работали на фабрике главным образом женщины, большею частью молодые. Мужчины работали в основном наладчиками станков. Получали женщины так же, как и до войны,— вдвое-втрое меньше, чем мужчины. Во дворе стоял небольшой двухэтажный домик, где помещалось общежитие для тех женщин, которые жили далеко и не могли приезжать на работу каждый день. Жило их там человек шестьдесят.

Больше ничего примечательного на фабрике не было, если не считать одного обстоятельства.

Сейчас очень остро стоит вопрос с сырьем: его очень трудно получить. Такой же сложный вопрос — переговоры с американцами о выработке продукции для них. Все фабриканты и заводчики к этому стремятся, и, насколько я понял, не потому, что жаждут работать на американцев, а потому, что фабрики, работающие на американцев, имеют некоторую возможность получать сырье, а серьезного контро-

ля над производством, конечно, нет и в помине. Поэтому, уделяя какую-то часть продукции американцам и получая под это сырье, фабрикант имеет возможность львиную долю этой продукции выпускать на рынок по нынешним чрезвычайно вздутым ценам.

И вот такую своего рода лицензию на право производства, на получение сырья гораздо легче исходатайствовать европейцу, чем японцу. Взяв на себя вопросы доставки сырья и переговоров с американцами, они становятся акционерами и даже компаньонами японских предприятий. Так, насколько я уразумел, было и в данном случае. Акционером и уже компаньоном японского фабриканта шелковых изделий стал русский эмигрант Воеводин-отец.

Осмотрев фабрику, мы пошли в дом к фабриканту. Пока в соседней комнате готовили обед, управляющий и еще какой-то японец, встретивший нас в доме, стали показывать нам разные раритеты. Тут была коллекция старинных ножей четырехсотлетней давности. Эти ножи бывали прикреплены к самурайскому мечу как дополнительное оружие и во время боев и поединков их бросали в противника.

Потом нам показали нечто вроде крошечного лакированного трельяжа, на котором висели многочисленные лакированные коробочки. Это была старинная домашняя аптечка. По черному лаку были выведены великолепные рельефные рисунки. На самом трельяже был изображен осенний лес. Это была картина поистине превосходной работы.

Потом вынесли такой же изумительной работы коробку с изображением одного из знаменитых по своей красоте озер в Японии. На трельяже рисунок был совершенно реалистичен. Здесь же условные волны были изображены однообразными условными золотыми штрихами; скалистые горы громоздились одна над другой на плоскости условно, примерно так, как это изображается на лубочных картинках к житиям святых. Сделано это было отлично.

Трельяж, по словам управляющего, стоил двадцать пять тысяч иен, коробка сорок тысяч. Еще какой-то столик стоил сто тысяч иен. Все это было куплено недавно. Если к этому прибавить, что фабрикант сегодня поехал за покупкой новых сорока машин, то легко понять, что во время войны да и сейчас он не беднел, а богател и तोпились превратить деньги в материальные ценности.

Еще когда мы ходили по городу, я на этот предмет задал Анатолию Воеводину несколько вопросов. Выяснилось следующее. Война была разорением для мелкой японской промышленности. Скажем, в шелковой промышленности мастерские и фабрички, имевшие по пять—десять станков, разорились мгновенно. Во-первых, они не получали от правительства выгодных заказов военного времени, которые перехватывали крупные и средние предприниматели, ибо с ними военному министерству было удобнее иметь дело вообще, и, кроме того, они могли дать крупную взятку для того, чтобы заказ был размещен именно у них. Во-вторых, при недостатке сырья во время войны и после нее они были не в состоянии сами закупать сырье в отдаленных местностях и транспортировать его. В-третьих, при тех остановках в производстве, которые были вызваны перебоями с сырьем, они не имели достаточных оборотных средств для того, чтобы временно прекращая производство, не прогореть.

Если добавит к этому, что во время войны происходило такое мероприятие, как всеобщее обследование промышленности военными комиссиями, которые проверяли, не уходит ли часть продукции на черный рынок и достаточное ли количество продукции вырабатывается из лимитированного государством сырья, если учесть, что в

этих комиссиях царило поголовное взяточничество и результаты обследования зависели от качества презента, то понятно станет, что мелкие фабриканты были в невыгодном положении по сравнению со средними и крупными и в этих обстоятельствах тоже терпели урон.

Фабрикант, о котором идет речь, делал матерчатые лямки для парашютов, то есть имел очень выгодный заказ. Постепенно к концу войны и после ее окончания он начал прибирать к рукам разные мелкие фабрички, находившиеся в этом городе и даже в его окрестностях. До войны у него было сто пятьдесят рабочих и только одна фабрика. Сейчас у него было двести пятьдесят рабочих в четырех-пяти местах, и работа шла на половинной мощности, то есть по оборудованию, которое он приобрел, он бы мог иметь пятьсот рабочих.

Это было очень типичное для Японии явление. Кроме фабрики, у него были еще и свободные деньги для того, чтобы приобретать редкости и чтобы купить автомобиль, как он собирался это сделать, по словам Воеводина.

Но возвращаясь к рассказу. После того как нам показали все эти роскошные древности, управляющий вытащил какие-то коробочки и вынул оттуда глиняных болванчиков, которых можно купить где угодно за цену от одной до десяти иен, и сказал, что это тоже очень старинные вещи и что это нам в подарок. Агапов не удержался от того, чтобы не сказать, что это, правда, не слишком старинные вещи, но что он все равно благодарит. Я же просто молча удивлялся тому, с какой легкостью нас принимают за идиотов.

В этом эпизоде проявился древний японский обычай при каждом посещении дарить какие-то презенты. Когда-то этот обычай был очень распространен, связан с большими расходами, и вообще это был один из самых серьезных обычаев старой Японии. Потом он выродился, и сейчас это зачастую просто правило хорошего тона, ни к чему не обязывающее и не вызывающее лишних расходов, ибо можно подарить все, начиная от спичечной коробки и кончая ножкой от старого стула.

Затем мы отправились в комнату, служившую столовой. Посредине этой комнаты стоял только низкий котацу, причем устроенный так, как это делается в более состоятельных домах. Вообще котацу, который вы можете встретить повсюду, начиная от дома богача и кончая крестьянской хижинкой, — это нехитрое сооружение из жести, то есть горшка с тлеющим углем, квадратного стола высотой сантиметров тридцать и одного или нескольких одеял. Хибати стоит под столом. Все это накрывается одеялами. Под столом образуется изрядно нагретое пространство. Вы садитесь за стол, просовываете под одеяло ноги, то же делают ваши собеседники, и так как тепло некуда уходит, то ногам вашим тепло.

Котацу в доме фабриканта шелка был усовершенствованный: в полу была вырезана дыра размером в квадратный метр и глубиной сантиметров сорок, посредине помещалась хибати, в данном случае электрическое, то есть со вделанной в него обыкновенной электрической плиткой. Над дырой был поставлен стол немножко больше нее. Стол был накрыт большим квадратным ватным одеялом — фуютоном, а поверх этого одеяла был положен большой поднос в размер стола. Вот и все. Вы подходили, садились на подушку и нормально, по-европейски, опускали ноги в это углубление и сидели за столом, как сидят за всяким столом, если не считать, что у вас не было сзади спинки стула. Ногам вашим было тепло, а потом даже и жарко, а спине, по контрасту, люто холодно — словом, все, как полагается в Японии.

Первые пятнадцать минут, когда ноги у меня согрелись и я сидел по-человечески, заставили меня беспредельно восхищаться таким гениальным приспособлением, как этот катацу. Но потом мне вдруг пришла в голову чрезвычайно простая идея: а что, если не вышивать пол, не делать эту дырку, не закрывать ее одеялом, не ставить эту печку, а просто-напросто устроить в комнате паровое отопление, чтобы было тепло и ногам и спине, и поставить в ней обыкновенный стол и около него обыкновенные стулья; и когда эта простая идея пришла мне в голову, то мое восхищение перед гениальностью катацу слегка померкло.

Сидели мы за катацу часа три с лишним. Ели японский обед: рыбу одну, рыбу другую, рыбу третью, наконец сукияки, которое, как я уже успел заметить, является своего рода экспортным блюдом. Японцы, когда собираются одни, едят его довольно редко. Во всяком случае, сейчас.

Сукияки, как это обычно бывает, готовил сам хозяин, появившийся к началу обеда. Он был в дурном настроении, ибо машин не купил: они долгое время стояли под дождем, заржавели и покупать их не имело смысла.

Владелец фабрик и мастерских, трельяжа и шкатулки имел такой вид, что, встретить я его на улице, я бы от души пожалел его. Лицо у него было худое и усталое, изо рта торчал вперед единственный оставшийся черный зуб. Одет он был в знаменитый японский *к о к у м и н*, то есть в ту зеленую форму, в которой в Японии во время войны ходили все, чрезвычайно потертый, старый и даже на одном рукаве залатанный, и вообще являл собой вид вопиющей бедности и презрения к житейским благам.

Проговорили мы около трех часов. Хозяин говорил хитро и осторожно. О демократии говорил, что это хорошо, о партиях говорил, что там все честные люди, которые ведут Японию к прогрессу, на вопрос о том, какие из партий ему ближе, сказал, что он еще не продумал этот вопрос, за кого он будет голосовать, он тоже не продумал, и т. д. и т. п.

Уехали мы часов в семь вечера, причем Анатолий Воеводин, который был уже привычным человеком в доме, принужден был протяться с хозяином по установленному в Японии способу, то есть он становился на колени и клал ему земной поклон, и тот тоже становился на колени и клал ему земной поклон. Чего не сделаешь для коммерции!

Мы как люди, не связанные экономическими путями с этим представителем японского капитализма, обошлись просто низкими поклонами без коленопреклонения и отбыли в Токио.

(Окончание следует)



ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

★

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

* * *

Как поют одичало метели.
Как пророчат рискованный час.
Но огонь не погас.
Неужели
я забыла — огонь не погас!

Я бегу.
Различаю все ближе
пламя тихой и белой свечи,
и текут по сиреневой крыше
серебрящихся лун калачи,

перевитые ветви сирени
распускаются в зеве зимы,
и уносят на крыльях олени
перепуганных призраков тьмы.

Чьи-то мягкие белые руки
холодят раскалившийся лоб,
и — сомнительный символ разлуки —
тает медленно черный сугроб.

Тихий голос — высокая милость —
родником проливается в грудь:
— Хорошо, что домой возвратилась,
отдохни,
успокойся,
забудь...

* * *

Тоскую о том, что ушло,
о полночи, полной тревоги,
о том, как по легкой дороге
мне было идти тяжело.

На зло отвечая добром,
я зло за добро получала,
но если пришлось бы сначала —
все сызнава. И поделом.

Ах, если пришлось бы!
Вернись
назад, унижение и горе,
есть тайная сладость в позоре
и чувство: да, вот она, Жизнь!

И чем тяжелее она,
чем несправедливей и злее,
тем легче — как странно, — светлее
в душе и в природе — весна.

..*

Я с тобой говорила сквозь горы и годы.
Я всегда говорила с тобой издали,
я тебе подарила ощущение свободы
ото всех замечательных женщин земли:

не страдал и не плакал, не томился тоскою,
не искал на дорогах, не терял в темноте.
Разве ты тяготился свободой такую,
разве сердцем тянулся к повседневной беде?

Ты стоял на вершине ослепительно белой,
как стоять подобает не поэту — царю,
и в осанке твоей удивительно смелой
был полет в незнакомую людям зарю.

Я искала в других все земные пороки,
что тебе от щедрот твоя доля дала,
я целила, спасала, распадалась на строки,
унижалась, томилась, теряла, ждала.

Я прошла сквозь судьбу наподобие стали,
оттрепал мое сердце ветровей бытия;
и какие бы люди страниц ни листали,
одинаково им предназначена я,

как смешавшая всё одинокая вьюга,
все спалившая дерзкая вспышка костра,
уходящего в небо земная подруга
и небесная сыну земному сестра.

..*

Обрушился, как ливень, миг,
и — обоготворила.
А ты и вправду был велик,
коль так тебя любила.

Я уверяла: лучше всех
слова твои и очи.
И серебрил довольный смех
простор безлунной ночи.

Ах, тайна вся во мне была,
и в тихий час рассвета

зачем, куда любовь ушла —
никто не даст ответа,

поди попробуй-ка теперь
сам молви речи эти
и самому себе поверь,
что лучше всех на свете.

* * *

Зима закрипела рассыпчатым снегом,
морозным огнем обожгла
и — вечная — над убывающим веком
походкой победной прошла.

Я встретила с ней после долгой разлуки,
и ночь новогодняя вдруг
ко мне протянула холодные руки,
но жарче тех не было рук.

Как сладок уста окаймляющий иней!
Как снежная тропка светла!
Ах, как хорошо на серебряной льдине
глядеться в небес зеркала!

И так озаряет симфонией вьюга
над бледной равниной седой,
что даже предательство лучшего друга
не кажется страшной бедой

и чудится — ветер, словами моими
сметая преграды с пути,
единственной родины верное имя
пытается произнести.



ИОСИФ ГЕРАСИМОВ

★

ПУСК

Повесть

1

Когда она сказала по телефону, что будет ждать у входа в телецентр, Николай Васильевич удивился — они никогда там прежде не встречались; он забеспокоился и спросил: «Почему?» И Тоня объяснила — телевизионщики готовят передачу с участием шефа, она должна отвезти им кое-какие материалы. Тоня тут же пожаловалась на усталость, Николай Васильевич ответил, что обязательно заедет, и едва опустил трубку, как представил: заберет ее в машину, они вместе отправятся к ней на квартиру в юго-западную часть Москвы, так что ехать придется через весь город. Остаток рабочего дня прошел напряженно, пришлось созвать два коротких совещания, подписать множество бумаг — все они были срочные, а Николай Васильевич в полночь уезжал из Москвы на несколько дней, он работал усердно, и рядом с этим усердием в нем существовало радостное ожидание встречи...

Погода стояла скверная даже для конца октября, осень пришла сразу мокрая, холодная, дожди шли нудные, а потом подсыхали крыши, в небе образовывались просветы, но солнце так и не выглядывало, и снова шли дожди, поэтому, когда она сказала: «Давай немного побродим в парке», он поежился. Зачем идти в сырые аллеи, когда можно сесть в теплую машину и ехать, но она настояла, они вошли в парк, миновав старинный одноэтажный дворец, Николай Васильевич сразу удивился, как в парке хорошо и тихо.

Они вышли к пруду, и тут совсем исчезло ощущение неуютности, вода была зелено-желтой от размытого отражения деревьев; Николай Васильевич подошел ближе к воде и увидел, как она прозрачна; водоросли едва шевелятся на дне, в них запутались слетевшие с ивняка желтые листья, не торопясь проплыл небольшой косячок серых рыб — все было покойно, естественно, и Николай Васильевич подумал, что непогода неприятна, когда смотришь в окно на мокрый город или же бродишь по неубраным улицам, а в лесу, в парке исчезает однообразная серость ненастья.

Он видел в воде рядом с собой отражение Тони, ее красная вязаная шапочка выделялась ярким пятном; стоило Николаю Васильевичу протянуть руку, как он мог обнять Тоню; каждый раз, когда он прикасался к ней, рождалась жалость к хрупким плечам, гладкой тонкой коже, жалость эта была приятна ему, он тайно радовался беспомощности Тони, возникала боязнь причинить ей боль или обиду, его всегда поражало, что потом, когда Тоня дви-

галась по комнате или шла с ним улицей, она вовсе не казалась ни хрупкой, ни беспомощной, в ней чувствовалась твердость, сила, и, наблюдая ее такой, он начинал гордиться, что только он один знает, какая она есть на самом деле. Они встречались редко, происходило это по его вине, но он знал, что каждая встреча будет хороша, надолго останется в памяти, и не спешил, медленно брел парком, наслаждаясь покоем. Может быть, поэтому и не воспринял ее слов, не проник сразу в их смысл, будто были они обращены не к нему...

— Нам не надо больше встречаться.

Он посмотрел на Тоню, щеки ее были бледны, на длинной шее выступили от волнения розовые пятна, он догадался, что до этих слов она сказала ему еще что-то важное, а он пропустил. Пытаясь сообразить, что же сказала она раньше, он понял по ее большим страдальческим глазам, что она уходит от него и именно это пытается ему объяснить.

Куда?!

Тоня смотрела на него долго, потом повернулась и пошла берегом; он двинулся за ней, вернее за ее красной шапочкой, которая словно бы манила его, а когда остановился, чтобы прикурить, то заметил: они уже находятся на противоположном берегу пруда, с которого видна серая стрела телевизионной башни. Она выростала за кронами деревьев и отражалась в зелено-желтой воде; три кряквы проплыли по отражению башни, смазав его, и вода заколебалась серым пятном...

Настоящая боль пришла в ночном поезде, когда он проснулся спустя полтора часа после того, как лег и принял снотворное; в голове стоял дурман, все вокруг поскрипывало, постукивало, и среди этих шумов выделялся один; Николай Васильевич долго не мог сообразить, что это такое, потом догадался — дребезжит в стакане чайная ложка; приподнялся, вынул ее из стакана, положил на столик. Тут же услышал, что сосед по купе на верхней полке храпит, правда храп у него не беспощадный и, если прикрыть рукой ухо, его не слышно, но тогда возникают тупые удары по металлу, идущие из глубины вагона,— и Николай Васильевич понял, что дело вовсе не в этих звуках, беспокойство гнездится в нем самом... Не надо вспоминать Тоню, надо думать о Шергове, к которому ехал и которого не видел много лет.

Но долго думать об Антоне Шергове он не мог, потому что не представлял этого человека нынешним, сорокатрехлетним мужчиной, вспиналось Николаю Васильевичу что-то вихрастое, очкастое, добродушное—каким Антон был в студенчестве, тогда они, ровесники, были дружны, а теперь однокашник Николая Васильевича работал директором Высоцкого завода, и, судя по докладным, работал скверно, и, может быть, его придется снимать с должности.

Тоня опять вошла в его мысли, сначала появилось ощущение, будто она рядом, но тут же вспомнил: этого больше никогда не будет.

Но почему? Ведь она любила его самоотверженно, отчаянно, еще полтора года назад она могла бросить все, приехать в другой город, где он был в командировке, примчалась к нему под Свердловск на самолете; и вот: «Он решил вернуться. Я ему сказала: приходи, Наточка не может без отца... Сам понимаешь, теперь, когда мы с ним снова будем вместе...»

Николай Васильевич один раз видел ее мужа, о котором она сначала сказала, что выдворила его, и лишь спустя полгода призналась: муж ушел к другой,— в этом не было обмана, а обычная инстинктивная защита женского самолюбия. Николай Васильевич увидел ее мужа случайно, тогда этот человек вызвал в нем только легкое любопытство: «Вот ты какой!» — а теперь, лежа на вагонной полке, окруженный стонущими, ухажующими, дребезжащими звуками, он почув-

ствовал к мужу Тони неприязнь и глухо пробормотал: «Сволочь. Вот так сволочь...» — это было глупо, он понимал, что глупо, но в это мгновение ему нужно было хотя бы призрачно ощутить виновного.

Боль не исчезала, ему жадно захотелось выпить, совсем немного, хотя бы рюмку коньяка, но он ничего не взял с собой, да у него и не было такой привычки — брать в дорогу бутылку. «Надо заснуть», — приказал он себе, и с этой минуты началось самое тяжкое: он на мгновение засыпал, словно проваливался в жаркую, наполненную угарным газом яму, потом будто поднимался из нее, смотрел на часы, и обнаруживалось, что в тяжком сне прошло не более десяти минут; и так это длилось, пока за окном не начало светать; и тогда он собрался встать, но еще решил полежать, прикрыв глаза...

«Он решил вернуться. Я ему сказала: приходи, Наточка не может без отца... Сам понимаешь, когда теперь мы снова будем вместе... Не знаю, Коля, я ничего не знаю. Ну, показалось ему, что полюбил ту девчонку, убежал. У мужиков это бывает. Каждый волен ошибаться... Ну, говорю же тебе: не знаю. Да и при чем тут любовь? Я рациональная женщина. Мне уже тридцать, и я не могу всю жизнь быть одна. В конце концов, он возвращается в свой дом... Отдай-ка лучше мне эту палку, я прошу тебя — не кидай. Попадешь в одну из этих уток. Они мирные. Ну отдай же, Коля... А что ты? Ты вон какой... широкий, большой. И все у тебя на свои места расставлено. Разве тебя можно со мной сравнивать? Конечно, тебе сейчас обидно, но это пройдет. Немножко помучаешься, и пройдет...»

Его разбудила проводница, принесла билеты, сказала:

— Через сорок минут ваша станция... Ну и сладко же спите, даже завидно.

2

Он взглянул в окно, там было серо, перевел взгляд на часы — поспать ему удалось полтора часа, и этого оказалось достаточно; чувствовал себя Николай Васильевич довольно бодро, хотя где-то в глубине души еще хранился мутный осадок бессонницы. Сосед сидел в кресле по ту сторону столика побритый, в белой рубашке, от него веяло свежестью, чистоплотностью, здоровьем, у него был приятный мягкий взгляд, и весь он был приятный, располагающий к себе.

— Пожалуй, чайку успеете выпить.

Николаю Васильевичу сделалось неловко перед этим человеком за внутреннюю несобранность, он быстро встал, пошел в умывальник и, пока приводил себя в порядок, с удивлением думал: «Как меня это ударило... Вот уж не думал. Что же это я?»

Тяжесть и боль ночи развеялись, наступал день, и в нем были свои заботы, еще немного — и они поглотят его целиком, но, размышляя об этом, он в то же время чувствовал: нет, не избавился от терзаний, они где-то притаились в глубине и еще будет время — заявят о себе.

Он действительно успел выпить чаю; минуты за три до остановки поезда надел плащ, вышел в коридор, и когда остановился у окна, то увидел снег — ослепительный, белый, пушистый, он покрыл поляну, кусты, вершины сосен, хотя под деревьями, у комлей, блестящих то ли от влаги, то ли от тонкого налета льда, еще зеленела трава и мох. «Снег!» И Николай Васильевич тут же подумал: все будет хорошо, обязательно хорошо — и с наслаждением закурил; снег лежал на крышах пакгаузов и других пристанционных построек, чувствовалось, как он легкий, не запятнан ни дымом, ни сажей, в него хотелось окунуть руки, зарыться лицом.

Поезд замедлил ход, за окном потянулся перрон вокзала, и едва

остановились вагоны, как Николай Васильевич увидел Шергова и сам удивился, что узнал его; Шергов стоял, глубоко засунув руки в карманы светлого нового плаща, широко расставив ноги будто для равновесия, низкорослый, с широкими плечами, в шляпе, заломленной назад и открывавшей выпуклый лоб, изрезанный морщинами, и еще выделялись на его лице усы, густые, с рыжинкой,— казалось, именно по ним и узнал Шергова, хотя в студенческие годы Антон усов не носил. Но скорее всего это произошло потому, что во всей позе Шергова чувствовалась уверенность и независимость, взгляд Шергова через очки был нацелен на вагоны; когда поезд остановился, Николай Васильевич ощутил этот взгляд на себе и тут же понял, что и Шергов узнал его, и простодушно улыбнулся, но тотчас пригасил улыбку и быстро оглянулся; тогда Николай Васильевич увидел, что Шергов на перроне стоит не один, а поодаль от него — женщина.

Николай Васильевич ступил на перрон, Шергов тотчас поспешно шагнул ему навстречу, но тут же приостановился, как споткнулся, — это был еле уловимый жест, и, может быть, Николай Васильевич не заметил бы его, если бы одновременно в глазах Шергова не возникло вопросительного ожидания; Николай Васильевич мгновенно понял, чего ждет Шергов, решительно протянул ему руку, улыбнулся:

— Здравствуй, Антон!

Глаза Шергова вспыхнули мальчишеской радостью, он прижался к Николаю Васильевичу, уколол его щеку усами, они похлопывали друг друга по плечу, и Николай Васильевич заметил по-матерински снисходительный взгляд женщины, его излучали большие жгуче-темные глаза...

— Вот, Коля, это жена... Познакомься... Надежда Ивановна...

— Можно и Надя,— сказала она.

Поезд за его спиной тронулся, он стоял на этой станции всего две минуты...

... «Там, в Высоцке, неделю не могут пустить цех. Монтажники отрапортовали о сдаче первой очереди, а цех стоит. Чудовищно! Кто этот Шергов?.. Да, мне ясно, что другие масштабы, ясно, что весь Высоцкий завод в пять раз меньше этого цеха. Но ведь, судя по докладным, Шергов семь лет директором. И не стар еще. Сорок три года... Да какой же он директор, если не может пустить цеха? Экая безграмотность! Я не сторонник крайних мер, вы знаете. Да ведь что делать, дорогой Николай Васильевич. Вы уж, пожалуйста, поезжайте, разберитесь, видимо, придется тащить Шергова на коллегия. Но бог с ним. Главное, чтоб через три дня, и ни часом меньше, через три дня цех работал. Сами понимаете, иначе с нас башку снимут... Так я надеюсь, Николай Васильевич...»

...Ехать от станции надо было километров двадцать; сначала дорога шла через лес, за окном машины мелькала темная желтизна неопавших листьев, клячья зеленой травы меж стволов деревьев, неправдоподобно воздушные шапки снега на опушках и полянах, а потом леса кончились, и потянулись вдоль дороги бревенчатые поселки, пока машина не взлетела на взгорок, тогда открылся большой пруд со свинцовой водой; асфальтовая дорога стрелой летела через насыпь плотины, упираясь в возникающие на горизонте, будто впечатанные в серое небо заводские корпуса.

3

С той самой минуты, как Николай Васильевич сел в машину, он словно бы шагнул из одного мира, тайного, как убежище, где была своя боль и беда, в мир повседневный, хорошо изученный, проверен-

ный во многих измерениях, здесь не было зыбких мест, здесь он чувствовал себя прочно и твердо и потому сразу стал прикидывать, как повести дело, по которому приехал. Можно было круто все взять в свои руки, отстранив Шергова, и сразу же заняться пуском цеха, благо опыт немалый, таких цехов за свою жизнь он пустил с десяток, но можно было и по-другому: дать в первый день простор Шергову, понаблюдать за его работой и, когда обнаружатся слабости директора, вмешаться, указать ему на них и уж тогда действовать решительно. Николай Васильевич, подумав, избрал второй путь — все-таки Шергов одноклассник и надо бы хоть как-то помочь ему.

В дороге обменивались короткими фразами, Шергов пытался рассказывать о местах, которые они проезжали, но рассказывал тускло, видимо стеснялся, и Николай Васильевич, чтобы помочь ему, вежливо спрашивал: «А это что за поселок?»; и только однажды течение разговора было нарушено, когда Шергов спросил:

— Ну, а как Маша?

Он имел право на этот вопрос; Николай Васильевич женился, когда был студентом третьего курса, и Шергов не только был на его свадьбе, а считался на ней главным распорядителем, да и с Машей он был знаком раньше, ухаживал за ней, был отвергнут, после чего и познакомил ее с Николаем Васильевичем, так что получалось: он их и свел.

— Нормально, — ответил Николай Васильевич.

Что стояло за этим словом, понять было трудно, да и сам Николай Васильевич не смог бы разъяснить, просто ему не хотелось говорить сейчас о Маше, но едва он произнес это слово, как заметил, что Надя, сидевшая впереди, взглянула на него в шоферское зеркальце, и взгляд этот показался Николаю Васильевичу осуждающим, и тогда он догадался: Шергов может истолковать его ответ вообще как нежелание возвращаться к прошлому, к годам юности, и чтобы тот не понял его превратно, положил ему руку на плечо, сказал:

— Это, Аягон, мы потом... Посидим, повспоминаем... А сейчас — завод, — вздохнул он. — Такая у нас обязанность — завод..

Квартира, куда его привезли, помещалась в одном из стандартных пятиэтажных домов из серого кирпича, дома эти стояли в лесу; это был обычный трехкомнатный отсек, пол устлан красными коврами и поставлена гарнитурная мебель — такие квартиры содержали многие заводы для приезжего начальства, считалось, что это удобней, сюда можно было приглашать заводское руководство и толковать с ним хоть всю ночь, чего в обычной гостинице не разрешалось распорядком.

Первая комната представляла из себя гостиную, здесь стоял диван, кресла, стол, телевизор, а две смежные были спальнями. Надя сразу же направилась на кухню и там загромычала посудой. Сняв плащ, Шергов оказался в черном костюме из дорогого крепа, в белой сорочке с широким, твердо стоящим воротником, и сразу бросился в глаза галстук, тонкий, черный, закрепленный под воротником на резиночке, на его поле масляной краской нарисована тоненькая пальма и две зигзагообразные линии, изображающие морские волны. Николай Васильевич и прежде видел такие галстуки на периферии, знал, что их привозили как сувениры с южных курортов, и они всегда вызывали у него усмешку своей трогательной безвкусицей.

— Может быть, с дороги? — озабоченно сказал Шергов, указав на бутылку коньяка, стоящую за стеклом серванта, — и ее не забыли, приготовили ради встречи.

— Ни в коем случае, — ответил Николай Васильевич и все смотрел на пальму и волны; рисуночек раздражал его, хотелось протянуть ру-

ку, рывком, так, чтоб лопнула резинка, содрать с шеи Шергова галстук. Желание так обострилось, что Николай Васильевич почувствовал: еще мгновение — и он не в силах будет остановить себя, и потому, услышав шаги Нади, облегченно откинулся на спинку кресла.

Надя справилась на кухне быстро, вынесла оттуда поднос с завтраком, шла раскрасневшаяся, с полубожаженными руками, кожа на них была белая, покрытая золотистыми тонкими волосиками. «А она лет на десять его моложе, а может быть, и больше», — подумал Николай Васильевич, разглядывая Надю, пока она расставляла тарелки и чашки на столе; была Надя в синем шерстяном костюмчике с короткими рукавами, он сидел на ней ладно, подчеркивая стройность фигуры, и чувствовалось — все под ним у нее упругое, крепкое, и лицо у нее было здоровое, открытое, со жгучими веселыми глазами, и потому казалось странным, что до сих пор Надя ни разу не улыбнулась. Николай Васильевич особо ощутил эту неестественность, когда заметил, как Шергов в знак благодарности за то, что Надя так ловко справилась с приготовлением завтрака, погладил ее по руке, легко проведя ладонью по золотистым волосикам, и плечи при этом у Нади вздрогнули. Она разлила кофе по чашкам и сама села к столу.

— Ну так как жить будем? — спросил Шергов, с удовольствием намазывая масло на хлеб; вопросом этим он хотел подчеркнуть, что сейчас все команды отдает Николай Васильевич, а дело Шергова — подчиняться.

Николай Васильевич еще прежде заметил, что Шергов в разговоре с ним пытается избегать прямых обращений, видимо, так и не решив для себя, стоит ли сохранить приятельское «ты» или же соблюдать официальное «вы», и подумал: «Это уж пусть он сам...»

— Что у тебя сегодня? — спросил Николай Васильевич.

Шергов быстро взглянул на часы.

— Через двадцать минут оперативка. Но можно и отменить...

— Не надо отменять, — твердо сказал Николай Васильевич, — сам и поведешь... Как обычно. — И, сделав это распоряжение, повернулся к Наде, улыбнулся ей. — Очень вкусные котлеты. Спасибо. Вы, видеть, кулинарка.

— Научилась, — строго сказала Надя. — Раньше не умела, а теперь научилась.

— А почему же раньше?

— В общежитиях все по столовым питаются. А я с шестнадцати лет по общежитиям.

— Ого! На заводе работали?

— Крановщицей. Очень даже хорошей была крановщицей... Я бы и сейчас... А что?

— А ничего, — вдруг строго сказал Шергов.

Николай Васильевич внутренне усмехнулся — супружеская строгость Шергова показалась ему смешной, — и, чтобы подзадорить Надю, он сказал:

— Ну, если так, то не надо было вообще из крановщиц уходить.

— Так ведь Антон тогда начальником цеха был, — сурово объявила Надя; щеки ее зарозовели, глаза заблестели, и она горячо и в то же время с назидательной ноткой прошептала: — А у нас любовь была.

4

Николай Васильевич привык к стремительным переменам в людях, перестал им удивляться и, посмеиваясь, говорил, что устойчивость взглядов — отход от нормы, во всяком случае, ему не приходилось встречать человека, который бы пронес свои суждения через

всю жизнь. Даже профессор Поповский, наиболее стойкий из встреченных когда-либо им людей, его учитель Поповский, и то насчитывал несколько периодов в своих исканиях, итоги одних часто противоречили другим. Некоторые из оппонентов Поповского активно пользовались этим, самого Поповского и друзей его это не тревожило. «Наука в движении,— говорил профессор,— и она имеет право зачеркивать то, что сегодня ей кажется черновым наброском, хотя вчера это еще звучало как белой вариант». Он любил повторять мысль, что наука запаздывает, довольно часто люди формулируют выводы, когда они уже теряют свою силу. Это не мешает в течение длительного времени верить в открытое и пытаться его применить, несмотря на то, что условия изменились и что теперь эти открытия идут против течения и вот тогда-то и надо суметь отрешиться от заблуждения. Мир, что бы ни происходило, видоизменяется постоянно, сегодня он другой, чем был вчера, и наука не всегда успевает за ним, но это и создает ей стимул к движению.

Когда Николай Васильевич однажды в компании инженеров высказал эти мысли, ему возразили: мол, перемена взглядов на то или иное явление вовсе не означает изменения характера человека, ведь тот же Поповский при таких поворотах не становился иным. «Вот в том-то и штука, что становился! — воскликнул Николай Васильевич.— Если внимательно приглядеться, то можно обнаружить перемены... Ничего не поделаешь: взгляды — часть характера». С ним не очень-то соглашались, но он верил в свои слова...

То, что Антон Шергов — совсем другой человек, чем тот, которого знал Николай Васильевич в студенческие годы, было ясно. Но каков он сейчас? Первая встреча ничего не открыла; раздражение, возникшее по поводу рисунка на галстукке,— вопрос вкуса, и только, да и то вкуса самого Николая Васильевича: ведь, возможно, в Высоцке такие галстуки в особой моде, а тот, что на Николае Васильевиче — широкий, темно-синий, в мелкий белый горошек,— для здешних жителей может показаться дикостью, и с этим не поспоришь. А Шергова он должен был понять, обязательно должен, иначе не сможет принять о нем решение, и в этом нужна максимальная объективность, потому и судить Шергова можно только по его делам, Николай Васильевич свято верил: человек — это труд, так его учили, и так учил он сам.

Заводоуправление оказалось старым двухэтажным зданием с узкими полукруглыми окнами, этому зданию было не менее ста лет; наверно, его много раз перестраивали внутри, пока не образовался зигзагообразный коридор, в конце которого и была приемная.

В кабинете Шергова стояло вдоль стен и по краям длинного стола много стульев, обитых черной клеенкой, с продавленными сиденьями и высокими резными спинками, стены были отделаны старым зеленым ледерином, каким обклеивали когда-то купе мягких вагонов дальнего следования, и если бы не портативная ЭВМ, стоящая на отдельном столике, и телефоны новейшей формы, можно было бы подумать, что, перейдя порог кабинета, Николай Васильевич шагнул куда-то в тридцатые годы.

Шергов решительно нажал кнопку селектора, сказал: «Оперативка. Всех ко мне»; здесь, в кабинете, он подобрался, движения его стали более резкими, то и дело двумя пальцами поправлял очки, будто они у него сползали, и тут же вскидывал растопыренную ладонь к волосам и приглаживал их — Николай Васильевич вспомнил, что эта привычка была у Шергова в юности, но тогда на голове его вздымались русые, с рыжиной непокорные волосы, сейчас же они сделались блекло-серыми, редкими, постоянно приглаживать их было явно ни к чему, а вот привычка осталась.

Кабинет быстро наполнялся людьми, Шергов кивками отвечал на приветствия, не отрывая взгляда от бумаг — видимо, торопился их прочесть и подписать, зная, что другого времени у него сегодня не будет. Пока все это происходило, Николай Васильевич вдруг вспомнил один из эпизодов минувшей юности. Он не любил копаться в прошлом и не принимал всерьез много раз слышанной мысли, что-де прошлое определяет настоящее и будущее, потому что постоянно присутствует в нас. Для Николая Васильевича прошлое виделось как оставленный позади путь, усеянный обломками отживших научных идей и открытий, реальным и живым было — настоящее. Он всю жизнь спешил, и оглядываться ему было некогда, а сейчас он вспомнил...

Шергов был тогда худ, без этого наметившегося брюшка, ходил в серой, из жесткой, почти плащевой материи куртке с накладными карманами; Николаю Васильевичу теперь уж казалось, что другой одежды на Антоне в то время и не было, а как надел он эту куртку с первого курса, так и проходил до выпуска. Жил Шергов в общежитии. Стал приходить к ним в дом, любил копаться в книгах, а библиотека в доме Николая Васильевича была отменная, собрал ее отец, и как ни трудно было им с матерью одним, библиотеку они сберегли, она и сейчас в квартире у Николая Васильевича занимает главное место. Конечно же, он и Шергов были разными, Николай Васильевич рос в доме столичных инженеров, а Антон приехал из Высоцка с завода, о котором мало кто слышал даже в стенах института, так он был невелик и незначителен, и, конечно же, в этой их дружбе верховодить стал Николай Васильевич. Мать полюбила Антона, всегда радовалась ему, он это понимал, и было нечто трогательное в том, что Шергов приносил им в подарок то яблоки (и какого бы сорта они ни были, их звали в шутку «антоновскими» в честь дары приносящего), то сало со шкуркой, полученные им из дому в посылке; преподнося эти подарки, Антон неизменно приговаривал: «Из собственного хозяйства», чуть окая при этом.

Вспомнилось сейчас Николаю Васильевичу вот что. Они уже кончали институт, а к той поре Николай Васильевич успел нахлебаться бед: пережил он и внезапную кончину матери и множество своих невзгод, кое-как сводил концы с концами, и тут подоспела пора рожать Маше; он отвел ее в полночь на Арбат в знаменитый родильный дом, о котором говорили, что попасть туда обыкновенной роженице невозможно, но, видимо, как всегда, разговоры эти были преувеличенны, потому что Машу приняли безо всяких хлопот. И вот когда утром Николай Васильевич, пережив волнения ночи, пришел, чтобы справиться о родах, то в узкой, как коридор, приемной увидел сидящего за круглым столом Шергова. Был он неестественно бледен, словно вся кровь разом отхлынула от его лица, высинив губы; очки его лежали на столе, и слабые, беспомощные веки обвисли, оставив узкие щелки глаз; он сидел, сдвинув колени, на которых лежал сверток, и нервно теребил веревочную завязочку. «Худо ей, — прошептал Шергов, — операция... Уже час как...»

Это был еще один удар в цепи тех неудач, что переживал тогда Николай Васильевич, он принял его покорно, сел рядом с Шерговым, даже не задумавшись, почему тот оказался в приемной раньше него, да и вообще откуда узнал, что Маша в роддоме, ведь Николай Васильевич никому еще не успел об этом сообщить.

Началось долгое, мучительное ожидание, они сидели в тесной приемной, куда приходили люди с передачами для рожениц, писали им записки, смеялись, радовались, восхищались весом и полом новорожденных, придумывали им имена; иногда они выходили на улицу,

поток прохожих тек мимо дверей роддома; они курили, прижавшись к стене, и это длилось до тех пор, пока сестра не сообщала: родился сын, мать и ребенок в безопасности, пусть не беспокоятся — все в порядке. И вот здесь Шергов заплакал, лицо его сморщилось, на нем обнаружилось множество морщин, которых раньше не было заметно, слезы текли из-под его беспомощных век, он их не вытирал и вдруг кинулся к окошечку и стал совать в руки сестре в измятой, замасленной газете сверток. «Да нельзя ей передачу, ничего пока нельзя... Вот потом фрукты»,— объясняла сестра, а Шергов ее не слышал, говорил, что в пакете домашнее сало и сладости, пока сестра не сдалась и не взяла передачу.

Потом они очутились на скамье Тверского бульвара; как это произошло, сейчас вспомнить трудно, но вот запах талого снега и ребячьи крики за спиной остались в памяти, и еще косою синий свет, падавший на Шергова, а может быть, и не было никакого света, а синело меж деревьями небо и Шергов виделся Николаю Васильевичу на его фоне; они сидели молча после пережитого, курили. Николай Васильевич заглянул в пачку, у него оставалось несколько папирос, и он не знал, где взять денег, чтобы купить еды себе и Маше на передачу, и потому стал размышлять: что еще можно отнести в комиссионку? Возможно, что им и было что-то сказано вслух, но не в этом суть: Антон внезапно расстегнул свой затертый плащ, затем распахнул знаменитую куртку, цепкими, скрюченными пальцами рванул подкладку и вынул из потайного кармана плотно сложенные деньги. Николай Васильевич догадался, что это за деньги: Антон копил на костюм, он добился при распределении назначения на Высокский завод и считал, что коль уж едет домой из Москвы инженером, то появиться ему на заводе в заношенной куртке не солидно. В руках его хрустели сотенные, тогда они были большие, парадные... «Возьми три»,— сказал Антон. Николай Васильевич попробовал отказаться, но понял: не сумеет. Он знал, чего это стоило Антону — в студенческие годы большинство мыкалось в нужде, и хоть Шергову порой помогали из дому продуктами, жить ему было трудно. «Спасибо тебе»,— сказал тогда Николай Васильевич. Антон сидел на скамье пунцовый от гордости.

Вот что вспомнилось Николаю Васильевичу, когда смотрел он на Шергова, работавшего за директорским столом, и воспоминание это укололо его острой неловкостью: ведь денег тех он Шергову так и не отдал; сначала их негде было взять, а потом Шергов уехал, но все равно было неловко и даже стыдно. «Как же это я? — удрученно думал Николай Васильевич.— Да что же я выслать не мог?! Фу ты черт, что за напасть...»

Пока он думал об этом, началась оперативка; началась она по обычной на всех заводах схеме — докладом диспетчера о минувших сутках: сначала о травмах, потом о работе цехов и участков; и как только диспетчер кончил, Шергов объявил, что приступает к разбору дел в пятом цехе, это и был тот самый цех, ради которого приехал Николай Васильевич, и потому он сразу же отстранился от прежних мыслей и стал слушать.

— Ельцов, докладывай...

Поднялся высокий человек с крепким, тяжелым носом и маленькими глазами, казавшимися сонными, ему было под пятьдесят, щеки его были плохо выбриты, видимо, он так спешил утром, что оставил местами седоватую щетину; всем своим видом — обвисшим пиджаком, понуро опущенными руками и этим сонным лицом с большим носом — он напоминал Николаю Васильевичу птицу вроде пеликана. Как только Ельцов поднялся, сжимая в руке полоски бумаги, тут же Шергов положил на стол кулак на кулак и, подперев ими подбор-

док, приготовился так слушать, но пробыл он в этой позе недолго; едва Ельцов произнес первые две фразы, объяснив, что наконец-то нынче ночью были заново поставлены на фундаменты станки в инструменталке, как Шергов стремительно откинулся на спинку кресла и перебил Ельцова:

— А почему, почему не с редуктора начинаешь? Успехи потом. Почему редуктор сорвало?

Ельцов стал рассказывать, что редуктор сорвало во время пробной проверки печи, что виноваты в этом монтажники, досказать все ему не удалось — Шергов нетерпеливо перебил его и, широким жестом призывая в союзники всех собравшихся, спросил:

— Ну а трубу, трубу на десятом участке почему не сварили?

И опять же Ельцов, словно заслоняясь от окружающего своей птичьей невозмутимостью, не меняя интонации, стал отвечать, что не подвезли нужных электродов для сварки, и тогда Шергов потребовал подняться того, кто отвечает за эти электроды. Поднялся молодой инженер с веселыми тонкими усиками над вздернутой губой и терпеливо стал слушать, как отчитывал его Шергов, а когда тот кончил отчитывать, молодой инженер объяснил, что действительно им завезли такие электроды, которыми сварку трубы проводить по техническим нормативам нельзя, но он уже ночью созвонился с соседним заводом, где у него друзья-приятели, там обменяют электроды, для чего на тот завод ушла машина. Шергов попал в неловкое положение, но нимало не смутился и еще за что-то выговорил молодому инженеру; тот, спокойно выслушав его, сел. А Ельцов все стоял и вроде даже дремал так, стоя.

Николаю Васильевичу показалось, что Шергов забыл о его присутствии, был он весь в движении, то поправлял очки, то опускал подбородок на сложенные кулаки, неожиданно вскрикивал, вставляя язвительные замечания, поднимая то одного человека, то другого; в первое время Николай Васильевич еще следил за ходом разбора дел, но потом понял — составить цельной картины ему не удастся; Шергов пытается разобрать все сразу, видимо, заранее решив, что на всех участках дела обстоят плохо, и потому сейчас главное — ругать; он будто бы потянул сразу множество нитей, но когда попытался завязать в единый узел, запутал. Николай Васильевич окинул взором весь кабинет и увидел: только Шергов жил здесь активной жизнью, он был возбужден, глаза горели, тело и лицо находились в постоянном движении, а по другую сторону директорского стола было угнетающее спокойствие.

Николаю Васильевичу остро захотелось курить, он встал, чтобы пройти в приемную, там возле форточки толпились заядлые курильщики; Шергов в это время прорабатывал грузного толстощекого человека, отвечающего за водоснабжение; Николай Васильевич думал пройти незаметно вдоль стены, но все посмотрели на него, замолчал и Шергов; тогда он сделал знак, чтобы продолжали. Справа от входа в кабинет стояла большая стеклянная витрина с образцами продукции, выпускаемой заводом, и в этой витрине, как в зеркале, отражался кабинет; Николай Васильевич увидел себя, худощавого, в темно-сером добротном костюме, он двигался мимо людей, с затаенным любопытством поглядывавших на него.

Он вышел в приемную, с жадностью закурил и снова взглянул в кабинет сквозь широко раскрытые двери; люди, казавшиеся со стороны директорского стола равнодушными, не сидели без дела, каждый занят был своим: пряча тетрадки, папки, книги за спинами товарищей, они что-то подсчитывали, записывали, подписывали, читали, чувствовалось — они заняты, и Шергов, взмахивающий руками,

был от них отъединен. Обнаружив это, Николай Васильевич сначала внутренне рассмеялся, но тут же рассердился: «Да что же он делает! Не совещание, а черт знает что! Бессмыслица какая-то... В наше-то время. Неужели он не понимает?..» И едва он это подумал, как услышал Шергова, тот, будто разгадав его мысли, выговаривал стоящему с опущенными руками полному человеку:

— Вы недовольны, что я вынужден спрашивать вас о каждом винтике и каждой гайке? А я и буду у вас об этом спрашивать, потому что вы сами не научились проверять, а если вам этот винтик не дорог, то мне...— И он крепко сжал кулак.

Николай Васильевич взглянул на часы: оперативка длилась уже более часа. Зря он избрал этот путь невмешательства, надо было бы сразу двинуться в цех, все самому посмотреть, прикинуть, понять, почему цех до сих пор не пущен, коль закончены монтажные работы первой очереди.

У него погасла сигарета, он вытащил из кармана спичечный коробок и обнаружил, что спички кончились, оглянулся, отыскивая, у кого бы прикурить. Рядом сидела женщина в сереньком брючном костюме, по-мужски заложив ногу на ногу, курила, у нее был острый, насмешливый взгляд удивительно синих глаз и еще, что он отметил сразу, маленький розовый шрамик на высоком лбу и пышные, с золотистым отливом белокурые волосы. Рядом с ней сидел в коричневом кожаном пиджаке скуластый молодой человек в очках, а другой стоял за их спинами, черноволосый, в свободном сером свитере, эти трое как бы образовывали отдельную группу, их единение чувствовалось сразу; взгляды их были обращены в кабинет, но Николай Васильевич понял, что они и его не выпускают из виду, потому что едва он кинул пустой спичечный коробок в мусорную корзину, как женщина щелкнула зажигалкой и протянула ему. Ей было двадцать шесть или двадцать восемь лет, не более, и пока он прикуривал от ее зажигалки — черного длинного «Ронсона» с бронзовой пластинкой, — она улыбалась.

— Спасибо, — кивнул Николай Васильевич и снова повернулся к Шергову...

5

Из заводууправления к новому цеху было два пути: или подняться на переходные мостки, перекинутые через железную дорогу, а потом уже спуститься в туннель, или же ехать машиной до переезда километра два и по широкой асфальтовой трассе подкатить к входным воротам.

— Пожалуй, лучше пешком, — сказал Николай Васильевич; ему не только хотелось немного вдохнуть свежего воздуха после оперативки, но и взглянуть на завод.

Они поднялись по скрипучим ступеням на мостки. Николай Васильевич остановился возле перил, под которыми была натянута проволочная сетка, забитая сажей. В той стороне, откуда они поднялись, высилось темно-красное здание, закопченные широкие окна его светились изнутри оранжевым пламенем — то был мартеновский цех; вокруг него на разных уровнях несколько пристроек, по которым легко понять, что цех не один раз реконструировали; рядом тянулось длинное, старинной кирпичной кладки строение, оно наполовину ушло в землю, и хотя вокруг все столбики, все опоры были покрашены в веселые — желтый и голубой — цвета, и у ворот стояла березка, еще сохранившая медные листья, и все вокруг было прибрано, омоложено, глубокая старость ощущалась в этом строении, и звук от него доносился хрипый, иногда с тяжким постаныванием, так, будто наруша-

лось дыхание,— то был кузнечный цех. А дальше виднелись контуры застывшей в молчании доменной печи, похожей на средневековую охранную башню, такие домны строили на заре отечественной металлургии, использовать их нынче было нельзя, но и сносить, видимо, не решались, так она и стояла, эта печь, как вековой столб заводской истории; несмотря на то, что все эти цехи были латаны-перелатаны, подстроены-перестроены, за многие годы они притерлись друг к другу, сроднились, и потому огромное здание нового цеха — по другую сторону железной дороги — из белых плит и стекла, в котором отражалась длинная гряда леса, сверкающее, легкое, было как бы из иного мира и не связывалось с прежними строениями, а те казались перед ним обреченными.

Николай Васильевич не спешил уйти с мостков, он неторопливо курил, стараясь все запомнить. Теперь он видел в натуре результаты той довольно напряженной борьбы, которую пришлось ему вести в министерстве. Николая Васильевича, как и многих его товарищей, давным-давно беспокоила судьба стареньких металлургических заводов в Центральной России, заложенных чуть ли не в петровские времена, они достраивались, реконструировались, а когда широким фронтом началось строительство крупных комбинатов, оказались на периферии черной металлургии и с тех пор так на ней и пребывали. У многих ведомств заводики эти были как соринка в глазу, раздавались голоса, что пора их сносить. Но мысль о сносе сразу же наткнулась на сопротивление в Госплане; оказывается, заводики выпускали то, от чего откращивались гиганты. Так вот, например, Высоцкий завод имел вилопрокатный цех, а попробуй без вил обойтись, и широкий стальной лист он катал, и лопаты, и косы... Николай Васильевич одним из первых выступил, чтобы заводики были сохранены... Находились деятели, готовые при первой потребности строить заводы в местах малообжитых. Николай Васильевич предлагал: «Надо строить не новые заводы на новых площадках, а создавать современные цехи на старых предприятиях. Старые цехи на какое-то время поддержат новые, а потом уж новые потянут за собой старые. В итоге мы получим современный завод».

И когда возник проект воздвигнуть в Высоцке колесопрокатный цех, Николай Васильевич поддержал эту мысль... Но пока он знал обо всем этом по бумагам и только сейчас видел, как это выглядит в действительности. Николай Васильевич оглядывал цехи не спеша, и Шергов терпеливо стоял рядом, и те, кто его сопровождал — Ельцов и другие инженеры,— тоже стояли в ожидании, и вот тут-то Шергов неожиданно сказал:

— Эх, а я забыл сразу-то... Ведь Софья Анатольевна просила позвонить. Надо было бы еще с квартиры, когда приехали...

Николай Васильевич не понял, кто это Софья Анатольевна, и с удивлением взглянул на Шергова; тот поправил очки и смущенно ждал, но потом, видимо, догадался, что Николай Васильевич не понимает, о ком идет речь, и поспешил объяснить:

— Поповская... Софья Анатольевна Поповская...

Николай Васильевич внутренне ахнул и не сразу нашелся что сказать.

— Да как же она здесь?

— Гипертония у нее,— смущаясь, виноватым тоном стал объяснять Шергов.— Ну а здешний климат полезный. Я пригласил. У нас тут домик есть для отдыха. «Гайка» называется... Да она у нас все лето...

Они спустились в подземный переход, стены которого были облицованы цветным кафелем — мягко-фиолетовый перемежался с го-

лубым и окантован был белым; Шергов начал сразу что-то говорить об этом переходе, жалуясь на строителей, а Николай Васильевич все думал о его сообщении. Софью Анатольевну он не видел лет пять, дважды или трижды был у нее после смерти Поповского, потом еще звонил несколько раз, поздравлял с какими-то праздниками, а затем она исчезла из его поля зрения; но при чем здесь Шергов, он ведь и Поповского знал плохо, да и как это вообще могло случиться, что Софья Анатольевна оказалась тут, надо было бы обо всем этом расспросить Шергова, но они уже миновали переход и поднялись по лестнице в цех.

— Значит, пойдем по технологии?.. Сюда по рольгангу поступают заготовки... Ну да, конечно, проект знаете... Вот с этой точки почти весь цех виден. Красив. Чертовски красив, я ведь сам нигде таких цехов прежде не видел. Шутка ли, почти километр в длину. И линии, отделка, столько света — искусство, настоящее искусство, говорит нечего... Да нет, тут и без этого смеются, говорят: Шергов — восторженный мужик. А я ведь не только восторгаюсь, а еще и плачу. Только, как Надя у меня говорит, это невидимые миру слезы... Вот посмотри-ка на пол. Как здесь плиты лежат? Я пять раз строителей перекладывать их заставлял, а все равно как на дороге колдобины. Огрызаются: здесь цех, а не зал для бальных танцев, плиты не паркет. Сам знаю, что не зал, что не паркет, но коль такой цех, то уж, пожалуйста, будьте добры... Или вон стена инструменталки. Три раза перекладывать заставлял. Нелегко, конечно. Кулаком стучали: подпиши строителям, они план не выполняют, ты план не выполняешь, всю область назад тянешь, как понимать? А на кой черт сдавать с таким качеством. Чтобы только отрапортовать? А потом два года раны зализывать... Я им так говорю: приняли план сдачи нереальный и сами ведь знали, что нереальный. Отвечают: это у нас мобилизующий план, а какой реальный будет — еще посмотрим... Вот и получается... Не могу я принимать дрянную работу, хоть тресни, не могу! Конечно же, до скандала дошло. От вас приезжал тут один такой бойкий, вместо того чтобы меня поддержать, учил: принимай, говорит, важно цех пустить, отрапортуешь раньше срока — многое простят, а потом уж доделаешь. Я ему: давай письменное подтверждение. Он смеется: привыкли, чтобы вам все разрешали, а вы сами на себя умеете брать. И анекдотец, чтоб совещание посмеялось. Мол, монахи спросили: «Можно ли курить при молитве?» Их наказали; тогда переиначили вопрос: «А можно ли, когда куришь молиться?» Сочли за радивых. Я на этот юмор не реагирую, чувство юмора при таких ситуациях во мне безнадежно погибает. Я этого вашего турнул, не знаю, докладывал ли; правда, турнул вежливо, чтоб не давать ему повода на меня телегу катить... Ну, вот мы и у печки. Чудо! С подвижным подом. Вчера опробовали вхолостую. Все отлично, нагрев прекрасный, и вот поди ж ты — редуктор, что вращает под, сорвало. Ну как тут не взвоешь? Так закрепили, что сорвало. Ночью заново ставили... Ельцов! Кто редуктор красил?.. Нет, ты посмотри, посмотри, прямо по пыли кистью вели, даже обтереть не умудрились. Красочка, мол, все прикроет... Я не хочу, Ельцов, чтоб эта краска через два месяца ошметками отлетала. Пусть немедленно обдерут и покрасят заново... Извини, Николай Васильевич. Ну что ты сделаешь — тут каждый шаг как по битому стеклу. Строителям и монтажникам побыстрее бы из цеха убраться, а нам тут жить... До того привыкли сдавать плохую работу, что недавно сами в свои же сети попали. Сдавали три жилых дома, ну, один из них необходимо было им выделить, а я до сдачи не говорил какой. Потом выяснилось, что получили они не тот дом, на который расчи-

тывали. Вселились, и, говорят, в квартирах жуткая ругань стояла. Ругали самих себя, да как ругали!

Они шли длинным пролетом, впереди Николай Васильевич и Шергов, а на шаг сзади держались тесной группкой Ельцов и начальники цеховых служб — так было принято при обходах. Для Шергова это было неудобно, то и дело приходилось оборачиваться, чтобы сделать замечание или получить нужную справку, но он настолько был увлечен, что и не замечал неудобства; однажды, повернувшись к Ельцову, споткнулся об отрезок трубы и, если бы Николай Васильевич не поддержал, наверняка бы грохнулся на пол.

Николай Васильевич слушал не перебивая, для него сейчас важно было все...

— Ну а вот навесной транспортер. Такого еще нигде в мире нет, только у нас... А автоматика какая! Программное управление... Я, чтоб докопаться, чуть голову себе не своротил, а потом осенило: это же идея Поповского использована. Больше того, у меня диплом на этой идее держался. И вот надо же, ее так развили, так расщепили на множество отсеков, что и узнать трудно. Это же удивительно, как может иногда развиться мысль, пройти такой бесконечно длинный путь, что и нелегко докопаться: где же изначальная точка? Начнется с какого-нибудь реле, а потом, глядишь, целый завод по этому принципу построили. Удивительно... Ельцов! Где у нас электрик? Ах, здесь! Почему обнажены провода?.. То есть как это всего на час? А если замкнет или кран заденет?.. Я буду вас наказывать за нарушение техники безопасности. Все!.. Немедленно закрыть, немедленно... Да, хоть сами!.. Прости, Николай Васильевич... Да, так о чем я? Об автоматике?.. Да нет же — о Поповском. У меня от него письма есть, очень хорошие, интересные письма. Все же странно он умер, мне непонятно. Я на похороны приезжал... На Новодевичьем. А где же ему еще лежать? Много народу было, но из нашего выпуска человека три, не больше. Про тебя спрашивал, сказали: за границей... Да, да, так и сказали: в Лондоне, а телеграмму, мол, туда не стали давать... Я в тот же день уехал из Москвы, потом еще раза два к нему на могилу приходил. И вот любопытно — во время похорон и после, когда на кладбище был, во мне начинали звучать его слова, я несколько раз от него их слышал: «Право ошибаться не имеет ничего общего с одобрением ошибки». Даже интонацию, с какой он это говорил, вспоминал, эдак с нажимом на слова «ошибаться» и «ничего общего». Почему именно это вспоминалось, не знаю, ведь большого смысла я в этих словах не видел и не вижу... Вот сюда заглянем. Там стружкосборщики... По этому транспортеру, а потом под пакет — пресс... Да, здесь изменения в проекте... Провели, провели через авторский надзор. Все-таки и у нас ребятки есть, что хорошо кумекают по части рационализации. Считаю: очень дельное предложение... Ну, я рад, что понравилось. Хорошо, когда и у нас есть что-то свое, не только за границей...

Они дошли до середины линии, тут обрывалась ограда из бетонных плит, отделяющая пролет первой очереди от соседнего, там за частоколом опор виднелся котлован, в котором, урча, работал экскаватор, он повернул стрелу и высыпал черную землю в кузов самосвала; за котлованом были открыты высокие ворота, и из них потянуло холодом; то, что по соседству с готовой линией, под одной крышей еще шли земляные работы — скорее всего их вели под фундаменты станков второй очереди, — нарушало целостность картины, потому Шергов с досадой поморщился, торопливо повел Николая Васильевича к переходным мосткам, чтобы выйти на другую сторону пролета, подальше от урчащего экскаватора.

— А вот я, между прочим, ни в каких иных странах не был... Не

посылали. Да и вообще я нигде не был, только в Москве, когда учился, да потом по командировкам... Нет, на других заводах тоже не был... А так! Наш-то заводик до нынешнего года всегда на отшибе был. Его как реконструировали в тридцатые годы, так с той поры и не трогали. Всегда считали — не перспективный. Его в петровские времена тут заложили, а потом он оказался в тупике. Это сейчас вот этот цех к нам ворвался, как океанский белый пароход в лесную речку вошел... Ну а когда завод на отшибе, и к людям его такое же внимание. Я тут себя хорошо чувствую, директор и все такое прочее, а вот вызовут в Москву на совещание, попадешь в среду директоров, а там что ни человек — на всю страну известен. Каждый из них массивен, величествен, на груди — иконостас, а я — пустой, и неловко мне как-то перед ними становится, будто не по чину меня в их среду пригласили. А ведь я, как и они, называюсь директором. Вот и стараюсь никому на глаза не показываться, чтобы не чувствовать и за себя и за завод ущемленным. И получается: проблем у меня не меньше, чем у других. Но слушаешь тех китов и подумашь — вот это проблемы, это суммы, это объем, и неловко тогда свои вопросы ставить. Мелочи, мол. А за мелочи совестно драться. И уезжаешь несолоно хлебавши... Я один раз в номер люкс к одному такому ведущему попал, фамилии не назову, меня в этот люкс с его разрешения подпустили, там три комнаты было, он мне кабинет отдал: давай, говорит, живи, все-таки директор. Так это действительно через его номер как будто ток высочайшего напряжения пропустили, воздух гудел, телефон со стола срывало. Меня там оглушило. Я живу — у меня ни минуты свободного времени, газеты по ночам читаю, а у него вообще время спрессовано до предела, чуть нажми — треснет. Крепкий мужик. Как-то собрались в его номере другие директора, его друзья, выпил он будь здоров, я бы от такой дозы умер, а у него хоть в глаз. Правда, потом, когда мы вдвоем остались, захмелел, не очень, но все же захмелел. Я ему говорю: ты огромный директор и человек широченный. А он мне объясняет: дрянь я директор, рабочий вол, тараном иду, всю жизнь на одной своей силенке тянул, когда же она кончится... И как в воду смотрел, через два месяца у него инфаркт. Конечно, такое редкий организм выдержит. Он сейчас на пенсии. Слышал тут, молодые его клюют, тут есть у нас — с ним работали. А я его уважаю. Я его видел. Все равно он человекиче. А это уже много... Ну, вот здесь кончается холодная обработка... Диспетчерская связь? Ельцов, как у нас с диспетчерской связью?.. Хорошо, будем готовить... Да, программисты хорошие. ЭВМ там, возле пульта. Заговорились, не показал... Обязательно зайдем... Ну, тут нам долго идти, да, большая линия... Ну что, конечно, еще ездил на курорт, в Сочи два раза, а до этого в Ялту лечиться. Сочи терпел ради Нади, думал ей удовольствие сделать, а потом выяснилось: и терпеть не надо было, она сама заскучала... Ну а вот здесь и я кое-что смастерил. Не бог весть какое открытие, а все-таки приятно. Доказал: еще не все забыл, иногда умею... Как, ничего?.. Ну и слава богу... Пока нас никто не слышит, честно скажу: мне бы, конечно, в свое время не надо было из главных в директора лезть. Хоть и у главного тоже времени ни секунды, но все же больше простора для инженерной мысли. Да ведь какой главный не мечтает стать директором?! Все кажется: вот возьму в свои руки весь завод, тогда и буду творить по-настоящему, никто не помешает, ведь есть, есть идеи... А потом на проверку выходит: ни на какие идеи времени не хватает, потому что директор — это не только техника, а все, от детских яслей, сортира и до этого цеха, все, да еще различные организации по частям растаскивают. Да об этом говорить, говорить, и без меня сказано. Вот если мне что обдумать нужно, я в маши-

ну сажусь, говорю шоферу: «Давай кружи по городу»; он меня возит, а я в это время размышляю. А другого выхода нет. Там, в машине, хоть полное уединение, ни посетителей, ни телефонов, даже родни нет... Ну вот и конец линии... Что, пройдем еще раз? С удовольствием. Вот сюда, пожалуйста, Николай Васильевич, на эти мостки...

6

Когда Николай Васильевич наконец остался один в отведенной ему квартире и отошла суeta дня, насыщенная докладами инженеров, начальников участков и служб, прерываемыми беспокойной, а иногда и нервной речью Шергова, он понял, что не способен уж более ни к каким делам, голова гудела от скопившегося в сознании вороха сведений и фактов, усталость навалилась на него. «Спать, только спать», — решил он, с наслаждением принял душ и едва коснулся щекой подушки, как тотчас же и уснул; ему приснился сон без каких-либо реальных видений, просто перед глазами проходило некое бесформенное движение и что-то звенело, гроыхало, лягало, пока в глубине этих шумов не возник тонкий, похожий на свист снаряда звук, он оказался таким невыносимым, что Николай Васильевич проснулся, а проснувшись, понял — под окном проскрипели автомобильные тормоза.

Вершины сосен виделись на фоне лиловых остатков заката, а под самым верхним обрезом оконной рамы, уже на темно-синем небе сверкала розовая звезда, и по этим приметам Николай Васильевич догадался, что проспал не более четверти часа, потому что когда ложился, за лесом пылал закат. Поворочавшись в постели, Николай Васильевич взглянул сквозь открытую дверь в гостиную на письменный стол, где стоял телефон, и ему остро захотелось позвонить Тоне, он всегда, когда бывал в командировках, звонил ей и радовался, услышав ее далекое, звучащее округло «алло», и хоть разговоры с Тоней, как правило, были пустяковые, да ведь важно было другое — сама возможность позвонить ей и услышать ее голос; и он тут же подумал с грустью: а вот теперь этого нельзя.

И резанула боль, сильно, остро, он задержал дыхание, прикусив губу, с трудом сел в постели. «Да что же это?» — опять, как в поезде, подумал он и с неприязнью взглянул на измятую подушку. Можно принять снотворное, но ведь и оно не помогло прошлой ночью... Неужто опять будет так же?... Надо думать о чем-то другом, надо занять себя... Он прошел босиком по комнате, по красным коврам, и вдруг вспомнил — Софья Анатольевна, и быстро взглянул на часы — было только начало девятого. На письменном столе лежала бумажка, на которой Шергов записал номера телефонов диспетчерской на тот случай, если Николаю Васильевичу потребуется машина. «Ехать, только ехать», — решил он. — Пусть будет неожиданно... А если позвоню, то на том может все и кончиться».

Одеваясь, он вспоминал, когда же поступали от нее в последний раз вести, и вспомнил — в канун Нового года; письмо от Софьи Анатольевны принесли с обычной почтой, оно лежало среди массивных лощеных пакетов министерств, ведомств, иностранных фирм обыкновенное, измятое, и на конверте было написано крупно: «Лично. Вскрыть самому»; но несмотря на это предупреждение, в секретариате письмо вскрыли, листок разгладили и прижали к конверту тугой медной скрепкой. Он запомнил это, потому что вызвал тогда девушку, отвечающую за почту, и предупредил, чтоб этого не повторялось, хотя ничего особенного в письме Софьи Анатольевны не содержалось — несколько поздравительных слов, и все.

Машина ждала у подъезда, и когда Николай Васильевич сел на переднее сиденье, шофер выжидающе посмотрел на него.

— Мне нужно в «Гайку»... Знаете такую?

Шофер молча кивнул.

— Но сначала туда, где можно купить бутылку коньяка и коробку конфет.

Они ехали до дежурного гастронома минут десять, шофер не дал Николаю Васильевичу выйти, взял у него деньги и вскоре вернулся с бутылкой и коробкой; потом они еще ехали минут пятнадцать сперва плохо освещенными улицами, затем лесной дорогой, пока не выехали к озеру. За ним поднималась над черным лесом желтая, с красноватым отливом луна, пока видна она была только наполовину, в небе вокруг нее стоял огромный, лишенный четких границ полукруг, по тяжелой воде скользили зигзагообразные отражения этого сияния. Впереди обозначился дом, он имел несколько странную форму, напоминающую по очертанию приземистую старинную башню.

— Вот здесь,— сказал шофер и остановился у калитки, снова посмотрел выжидающе на Николая Васильевича; этот шоферский взгляд хорошо ему был известен.

— Телефон здесь есть?

— Конечно.

— Тогда поезжайте, я вызову.

Николай Васильевич открыл калитку, подождал, не залает ли собака, но в глубине усадьбы было тихо; машина развернулась на дороге, на мгновение скользнув лучами фар по кустам смородины, белому гравию на дорожке и влажным ветвям тополя; Николай Васильевич еще какое-то время видел, как мелькали красные огни подфарников, и только когда они исчезли, двинулся к дому.

Он медленно шел на освещенные окна — одно горело внизу, другое на втором этаже; луна теперь пряталась за домом, и потому какие-то странные, округлые очертания его были особенно отчетливы. Слева от освещенного окна виднелось крыльцо, и Николай Васильевич направился было к нему, но тут же остановился, потому что на белой занавеске, прикрывающей только нижнюю часть высокого окна, скользнула тень женщины, и Николай Васильевич тотчас понял, что для Софьи Анатольевны тень эта была слишком легкой.

Ему захотелось посмотреть в окно, чисто мальчишеское любопытство оказалось таким сильным, что он, улыбнувшись, огляделся и, заметив за кустами деревянный ящик, пробрался туда; ему пришлось встать на цыпочки, чтоб заглянуть за занавески.

Это была кухня: на стене висела полка, уставленная посудой и различными баночками, у стены газовая плита; Николай Васильевич хотел уже спрыгнуть с ящика, как вновь по занавеске мелькнула тень и к полке с посудой подошла женщина, на ней была клетчатая блузка, напоминающая мужскую рубаху, рукава закатаны, а края блузки были связаны на животе узлом; Николай Васильевич сразу узнал ее, это была та самая женщина, что сидела во время оперативки в приемной и дала ему прикурить от зажигалки; она повернулась к Николаю Васильевичу спиной и потянулась за тарелками на полке, кофточка поднялась вверх, открыв узкую полоску розового тела; женщина взяла две тарелки и стала что-то накладывать в них; светлые волосы с золотистым отливом прикрыли ей лоб, губы теперь не казались ироничными, они были сложены словно бы для того, чтобы произвести негромкий свист, и по краям их образовались две усталые складки. «Конечно же, ей не меньше двадцати восьми». Она делала свою работу не торопясь... «Внимание! Начинаются совпадения!.. Софья Ана-

тольевна. Шергов... Женщина». Покойный Поповский это называл «беспорядочным чудом случайных явлений» и советовал относиться к ним с особым интересом, считая, что они способны создать ту необычайную ситуацию, которая может привести к открытию. Николай Васильевич перенес это наставление Поповского на житейский поток и всякий раз, когда возникала цепь совпадений, настораживался.

Он спрыгнул с ящика и зашагал к крыльцу, потянул на себя дверь, она оказалась запертой, тогда он нащупал кнопку звонка; по ту сторону двери послышались шаги, но он не мог разобрать, кому они принадлежат — молодой женщине или пожилой, он только слышал эти глухие шаги и ждал, почему-то смутно надеясь, что ему откроет блондинка.

Под крышей крыльца вспыхнула лампочка, звякнул замок, дверь отворилась, и Николай Васильевич увидел на пороге Софью Анатольевну, она смотрела на него расширенными, знаменитыми в их среде прозрачно-серыми глазами и сама была в чем-то серебристо-сером, большая, широкая, она закрывала собой почти весь проем дверей, она и не сказала ничего, а только протянула вперед обнаженные по локоть пухлые руки, и он сразу же словно вошел в этот коридор, и руки замкнулись, он прижался головой к ее щеке, трижды поцеловав; от нее пахло ухоженностью, теплом и тем сладостно неповторимым тонким ароматом, который всегда присутствовал в московской квартире Поповских. Его ни с чем нельзя было сравнить; прежде Николай Васильевич думал, что это запах какого-то растения — в квартире стояло множество горшочков с цветами, — но этот же запах он обнаружил и в гостиничном номере, куда однажды пришел к Поповским в командировке; тогда он спросил у нее: «Чем это у вас всегда пахнет?» — она не ответила и смутилась, и лишь позднее кто-то из близких Поповским людей ему объяснил, что Софья Анатольевна тайно любит нюхать табак какого-то особого сорта и ей достают его с трудом. Это был ее запах, знакомый и приятный ему, и вся она была знакомая, с большим и еще крепким телом.

— Ну, здравствуй, здравствуй, — шептала она и гладила его по лицу.

И теперь уж он видел, что голова ее седе и лоб весь изрезан морщинами, а кожа под глазами и на подбородке одрябла, обвисла, но все равно она была еще хороша.

— Наташа! — закричала она. — Наташенька!

Из глубины помещения отозвались:

— Сейчас... Я переодеваюсь...

Она сразу захотела показать ему дом и повела из прихожей...

— Это замечательный дом. Они построили его для рыбаков. Кажется, его так и назвали сначала Дом рыбака. Но потом так получилось, что тут не стало рыбы, и настоящие рыбаки выезжают теперь на другие озера, а этот дом оказался ни к чему. Впрочем, иногда сюда приезжают семьями отдыхать, но в хорошую погоду и летом, потому что можно купаться, а иногда селят приезжих, если все забито в гостинице, приезжие не любят это место — оно очень уединенное. Но нам тут хорошо, даже замечательно... И Наташе удобно, ведь до завода рукой подать... Ты обрати внимание, у этого дома шесть стен. Кто-то так придумал. Все стены одинаковые. Поэтому его и зовут «Гайкой»... Но есть тут одно чудо, ты даже не представляешь, какое чудо: камин... Самый настоящий! Прелесть, правда?.. Сегодня затопим. У нас давно в нем лежат дрова. Приготовили — и лежат. Не было повода затопить. Мы считаем, это праздник — топка камин... Но сегодня празднуем. Ты молодец, что привез коньяк. Я уж и не помню,

когда пила, а ты знаешь, я ужасно люблю пропустить рюмочку... И как это замечательно, что у нас уже готов ужин... Наташка решила тебя поразить, раз она так долго переодевается... Можешь сесть сюда, на диван... Нет, знаешь что, лучше подвинем столик, и тогда мы все сможем сесть так, чтобы видеть огонь... Ты имей в виду: я тебя скоро не отпущу, нам надо досыта наболтаться. Ах, Коля, Коля, это прекрасно, что ты заехал. Когда мне Антон сказал, я ему строго-настрого... Сначала я подумала — ты вообще не приехал, если не звонишь, не может же быть такого, чтоб ты оказался рядом и забыл меня, но потом мне Наташенька сказала — она тебя видела... Честное слово, я не сердилась и не волновалась, знала, что обязательно заедешь... Нам очень о многом надо поговорить, а то когда еще я тебя увижу, а годы летят... Черт знает как они летят — и куда?! Слышишь, она громыхает посудой. По правде сказать, мы с ней голодные, как раз собирались что-нибудь съесть. А-а, она решила еще что-нибудь приготовить, чтоб был настоящий стол. Она молодец, она здорово умеет стряпать... Давай мы тоже не будем терять времени. У тебя есть спички?.. Ну, тогда разжигай камин, там все есть. Даже сухие щепочки и береста... Ну-ну, я все ведь знаю, ты у нас умелец... Как я сюда попала? А ты не торопись. Может быть, это целая история и ее надо суметь рассказать со вкусом. Настоящую историю всегда надо рассказывать по-настоящему. Ты ведь помнишь, как Юрий Сергеевич ценил устных рассказчиков. Помнишь того Ильева с бородой? Как он умел! А? Прелесть да и только, до утра можно слушать. А голоса разные... Даже животным подражал... А вообще-то попала я сюда очень просто. Пожалуй, тут нет настоящей истории... Наташу направили на Высоцкий программистом, а я немножко пожила одна и затосковала, ты даже не можешь себе представить, как затосковала. Бессонница и страшная грусть. Настоящая старость, одинокая... Ну вот видишь, стала сентиментальной душой, совсем несносная старуха, никогда не была сентиментальной, а тут чуть что — и слезы... Не обращай внимания, это все ерунда... Ну, вот и написала Антону. Выручай, мол, у меня гипертония, а ваши места лучше всяких лекарств, очень полезны таким, как я. Он сам примчался, перевез. Как видишь, все очень просто... Конечно, я тут зажилась. Но ведь я не сиднем сижу. Работаю. Привезла с собой папки Юрия Сергеевича. Как залезла в них! Там, Коленка, такое... Новые миры. Честное слово... Вот все надо рассортировать, привести в порядок. Ты знаешь, чем он только не занимался: и свои дела, и философия, и социология, даже медицина. Ему до всего хотелось докопаться самому... Я нашла у него тетрадку со стихами. Такой был хитрюга, даже от меня утаил. А может быть, стеснялся. Ведь иногда те, кто пишет стихи, очень этого стесняются. Вообще мне этих папок на всю жизнь хватит. Там есть очень, очень интересные идеи. Кое-что тебе покажу... Мы еще посоветуемся, я думаю, надо некоторые опубликовать немедленно. Актуальнейшие есть вопросы. Несколько статей совершенно готово к печати, но он не успел их отдать в редакции... Да ведь и потом... Не знаю, говорила ли тебе: он со мной последний год почти не разговаривал. Странная все-таки психология у мужиков: сами увязнут, а почему-то жены виноваты... Ну хорошо, люби себе на здоровье, если уж очень это нужно, но я-то при чем, зачем на меня кидаться?.. Это мое дело, ревновала я или нет, важно, что я ему не показывала, а он все срывал на мне... Как, ты не знаешь?.. Ну, тогда об этом потом, не сейчас... Ты мне тоже должен будешь все рассказать про себя. Вот выпьем... Ну, наконец-то и Наташа. Какая прекрасная еда! И камин... Ну, дорогие мои, сегодня будет настоящий пир. Наташка, ставь поднос на стол и знакомься с Колей...

7

Как же это было хорошо — видеть снова Софью Анатольевну, твердо сидящую за столом, слышать ее голос, отрешившись от всех забот, пить коньяк и чувствовать себя вернувшимся в нечто утраченное; ох, как давно с ним не было этого — безмятежного покоя после приступа усталости и отчаяния; ох, как давно, может быть с тех пор, как не стало вечеров у Поповских с непременно чаем и сухариками, покрытыми оплавленным сыром, что на всю ораву готовила Софья Анатольевна.

Он слышал о Юрии Сергеевиче еще от отца — в молодости они были друзьями,— потом Николай Васильевич узнал Поповского, когда учился в институте, слушал его лекции, но по-настоящему имя Поповского стало широко известно, когда Николай Васильевич пришел в его лабораторию, в НИИ. Что же это было за беспокойное время — все сместилось, все пришло в такое бурное движение, чуть ли не каждый день вспыхивали яркими звездами новые и новые имена то в науке и технике, то в поэзии и музыке, то на театральных подмостках. Многие из них мгновенно исчезали, так же как и появлялись, все сдвинулось, нарождалось нечто новое, и ничего нельзя было пропустить: ни «Голого короля», ни песенки о последнем троллейбусе, ни встречи с ребятами из Дубны, ни лекций в Политехническом о телемеханике и электротехнике, ничего нельзя было пропустить; вот в эти-то дни и объявилось на слуху имя Юрия Сергеевича Поповского. Слава его сначала возникла в недрах НИИ, потом прокатилась по ученой Москве, вызывая сомнения, возмущения и надежды, и вот уже толпы стали собираться у входа в Политехнический, когда на афишах объявлялось имя Поповского, но выступал он редко, хотя спрос на его слово был велик — он один из первых попытался отчетливо объяснить, что произошло в науке, причем объяснить так, чтобы это было легко понимаемо каждым.

«Человеческая мысль, стремясь познать природу, так приблизилась к ней, что перед людьми открылась неоднородность окружающего мира, в нем явно обозначались три относительно самостоятельные области: микро-, макро- и мегамир. До сих пор человек получал все — пищу, материалы для одежды и жилья — из земного макромира, человек был землянином, геоцентристом, но теперь обнаружил, что существует еще два новых мира: бесконечно малых явлений — микрокосмос, и великий мегамир, где Земля всего лишь частица. Разница между этими мирами не только и не столько количественная, а главным образом качественная, каждый из трех миров развивается по своим специфическим законам и обладает определенными особенностями. Стало ясно, что человек более не в силах расширять свою власть над природой, не поняв закономерностей и влияний на нее двух других миров; все усилия людей, овладевающих только земными явлениями, факторами, предметами, в любой момент могут быть сведены на нет, поэтому-то сама логика развития преобразовательной и производственной деятельности заставляет человека войти в эти два доселе малодоступных мира. Как же много неизвестного ждет там человека! — какие необъятные кладовые энергии, видов материи, отсутствующих в земном мире, начиная от новых химических соединений до сверхвысокотемпературной плазмы, открывается там. Но чтобы двинуться туда и овладеть этим богатством, оказались нужны новые орудия труда с производительностью в тысячи раз большей, чем ныне существующая,— вот где лежало главное. Надо прежде всего создать эти орудия труда; природа приблизилась к человеку и отдалилась, и чтоб овладеть ею, понадобился новый качественный скачок — к о с м и з а ц и я техники».

Вот так Поповский определял сущность того, что ныне обрело четкую формулировку «научно-техническая революция», или иначе НТР; одни ученые видят ее в бурном развитии автоматизации, другие — в науке управлять, в ядерной физике — множество, множество вариантов, для Поповского же сущность происходящего лежала в космизации техники и науки.

Какую же внутреннюю силу имел этот невысокий плотный человек с короткой шеей, он почти никогда ни на кого не кричал, говорил мягко, тихо, но если кто-нибудь поступал не так, Поповский произносил, покачивая головой: «Вы меня огорчаете».

Его прямой специальностью было оборудование для металлургических заводов, он участвовал в создании прокатных станов и сталеплавильных печей, и лекции Поповский поначалу читал об этом, но Юрий Сергеевич был еще крепким физиком и философом и вовремя сумел разглядеть, как грядет новая техническая эпоха, и задумался о сущности этого явления, поначалу определив его для себя: космизированная техника... В те годы одно открытие следовало за другим, и надо было суметь распознать, что электронный луч может выполнять роль ножа и пригоден для чистовой обработки металла, а в печах можно производить высокотемпературный нагрев инфракрасными лучами... Он многое сразу увидел через призму своей теории и не удивлялся, что оказался в центре внимания, не поменял своего образа жизни, оставался таким, каким знал его Николай Васильевич в студенческие годы: любил носить широкую одежду, галстуков не знал, да они казались бы нелепыми на его короткой толстой шее, зимой на нем был неизменный бордовый свитер под пиджаком, а летом рубахи с отложными воротниками; да, образа жизни он не поменял, но поменялось отношение к нему самому. Он был острословом всегда, но прежде над его шутками посмеются-посмеются и забудут, теперь же они быстро становились известны, в каждой его остроте отыскивали тайный, скрытый смысл, какого и сам Поповский не вкладывал в сказанное, да и шутил он больше по ходу текущих дел и на темы, близкие их кругу. В то время их НИИ, а к слову сказать, иного научно-исследовательского института, так тесно связанного с практикой, с заводами, Николай Васильевич в ту пору и не знал,— так вот их НИИ получил великолепное новое здание на Ленинском проспекте, стекло и бетон. Едва успели они в нем разместиться, как один из оппонентов Поповского на ученом совете напал на Юрия Сергеевича, сказав, что тайн в науке сейчас быть не может, и решил состричь: «Да и не спрячешь никуда эту тайну, когда живешь в стеклянном доме»; и тут же Поповский ответил: «Когда живешь в стеклянном доме, прежде всего не следует бросаться камнями». Шутку эту повторяли года два, сейчас же она потускнела и не вызывала даже улыбки. Всею свое время.

До чего же было хорошо у огня! Наташа сидела рядом, в брюках, заложив ногу на ногу, и во всей ее расслабленной позе было нечто призывное, вызывающее волнение. Николай Васильевич ничего не знал об этой женщине, а судя по рассказам Софьи Анатольевны, должен бы знать, уж очень Наташа по-родственному была близка Поповской, вот ведь даже переехала сюда из Москвы, тосковала там по ней, а ведь у Поповских детей не было. Может быть, Наташа приходится какой-нибудь дальней родственницей Поповским, ведь всех их близких Николай Васильевич не знал. Расспрашивать об этом Софью Анатольевну было неловко, он подумал: все само собой объяснится.

Они пили понемногу, и сначала говорила Софья Анатольевна, она умела говорить как-то сразу обо всем: и о прошлом, и о своих находках в архивах Юрия Сергеевича, и как лечат остеохондроз — черт

возьми, она столько времени мучается от боли в позвоночнике; ему было приятно ее слушать, она уводила за собой в свой мир, где все было разбросано, все лежало не на своих местах, и вместе с тем это был цельный мир.

Потом она сказала:

— А не расписать ли нам пулюку? Ты ведь, Коленька, когда-то недурно играл.

Конечно, он играл, да ведь и все играли — инженерская утеха, еще на третьем курсе в институте был выброшен лозунг: «Главный зачет — преферанс, кто не научится играть, лишится стипендии»; учились яростно, играли еще яростней, объявились свои чемпионы, для некоторых игра стала бедствием — просиживали ночи напролет.

Наташа принесла из своей комнаты колоду карт, лист бумаги, хорошо отточенные карандаши; но пока она ходила, Николай Васильевич успел взглянуть на часы и подумал: за преферансом они могут засидеться так долго, что ему некогда будет и поспать, а завтра много дел и надо быть свежим, он сказал об этом женщинам.

— Как жаль! — искренне огорчилась Софья Анатольевна. — Тогда в «шестьдесят шесть», хоть что-нибудь...

Наташа быстро перетасовала карты — чувствовалась сноровка, все-таки свой брат, инженерская душа; закончив сдавать, она положила ладонь на карты и, еще не поворачивая их к себе лицевой стороной, проговорила быстро, как заклинание:

— Попутный ветер.

Николай Васильевич внутренне вздрогнул — именно так всегда начинал игру в преферанс Поповский, знали об этом только очень близкие ему люди, с другими Поповский просто не садился играть; Наташа и произнесла-то эти слова с интонацией Юрия Сергеевича, можно было подумать, что Наташа его пародирует; Николай Васильевич быстро взглянул на Софью Анатольевну, но та не обратила внимания на сказанное Наташей, глаза ее азартно впились в карты.

Сыграли они три партии, все их выиграла Наташа, выиграла легко, да и вообще играла она легко; деньги взяла со столика свободным движением — так берут сдачу в магазине. После третьей партии Софья Анатольевна потеряла интерес к игре — она была из тех, кого проигрыш приводил в отчаяние и убивал азарт. Николай Васильевич подумал, что пора и уезжать, посидел, погостил — и хватит, но он пригнулся у камина, разнежился; угасало пламя, вспыхивали угли, покрываясь черно-серым налетом, не хотелось двигаться; он сидел, вытянув ноги к камину, пока не почувствовал на руке прикосновение пальцев. Наташа склонилась к нему так, что мягкие волосы ее задела его щеку.

— Я хочу с вами поговорить, — прошептала Наташа и указала глазами на выход.

Он взглянул на Софью Анатольевну — она задремала, запрокинув голову и по-детски приоткрыв рот, — поднялся и вслед за Наташей на цыпочках вышел в темный коридор.

— Сюда, — услышал шепот, почувствовал, как его взяли за рукав.

И он вошел в комнату, освещенную настольной лампой; здесь стояла широкая кровать, застеленная пледом в желтую и черную клетку, в углу один на другой были поставлены чемоданы, а на стене висело ружье, а под ним на плечиках — мужской черный костюм.

— Мне очень нужно с вами поговорить, — почему-то все еще шепотом произнесла Наташа.

Он продолжал оглядывать комнату и теперь видел, что здесь живут двое: у кровати рядом с женскими стоптанные мужские тапочки, в углу большие болотные сапоги, а на столике, где стояло зеркало, рядом с флакончиками электрическая бритва.

— А кто еще здесь живет? — спросил он.

— Муж.

Он вспомнил, что в приемной во время оперативки рядом с ней были двое: один сидел на уголке стула, скуластый, в очках, в коричневом кожаном пиджаке, а другой стоял — черноволосый, в свободном сером свитере; который из них?

— Где же он?

— На заводе. Он сегодня в ночь...

Она подошла к столику, взяла пачку сигарет, предложила ему и сама закурила, чиркнув знакомой Николаю Васильевичу зажигалкой. Быстро повернулась к Николаю Васильевичу:

— Увезите ее отсюда, только вы это можете. Ей нечего здесь делать. Увезите ее с собой.

— Зачем? — спросил он.

Ударом пальца Наташа сбила пепел с сигареты, да так, что он точно попал в пепельницу.

— Я не могу с ней жить. У меня едва хватает времени на свою работу. А она ходит за мной по пятам, заставляет перепечатывать по десять раз ненужные письма Юрия Сергеевича. Она вмешивается в мои отношения с Пашей.

— Это муж?

— Да, вы его видели на оперативке, он сидел рядом...

«Значит, все-таки тот, в очках и коричневом кожаном пиджаке...
Доброе лицо...»

— Два года она не отпускает меня от себя. Это болезнь. Ей надо жить и работать в Москве. Она там больше сделает. Она сама это понимает, но упорствует. Когда я узнала, что вы едете, то сразу подумала: только вы и можете нам помочь...

Наташа, видимо, считала, что Николай Васильевич посвящен в дела Поповских, и потому он не мог спросить ее прямо, ему нужно было добраться до сути окольным путем.

— А вы сами как сюда попали? — спросил он.

— Нас направили.

— Кто направил?

— Вы... Во всяком случае, в НИИ бумага пришла за вашей подписью.

— Возможно... Да, я помню: сюда были нужны серьезные специалисты по автоматике.

— Я знаю программирование, а Паша еще и хороший математик. Здесь великолепная линия и еще будет вторая очередь. А вообще-то мы думаем: завод только начинается, поэтому нам интересно. Тут многое можно будет сделать. Есть, конечно, и планы... Началось с того, что мы сами попросились. Я была уверена: она ни за что сюда не придет, привыкла к столичной жизни, к определенному укладу. А вот видите — ошиблась, она приехала.

— Да зачем это ей?

Наташа задумалась, взгляд ее скользнул на кончик сигареты, там уже нагорело много пепла, и тогда Наташа снова ударом пальца сбила пепел, точно угодив в пепельницу.

— Я это проверила. Тут несколько причин, но, конечно же, все они идут от Юрия Сергеевича... Но сейчас, Николай Васильевич, важно другое, важен сам факт, и я хочу, чтобы вы поняли: ее необходимо увезти, и сделать это надо как можно быстрее...

Все-таки у нее была удивительная манера говорить: произносила она слова почти тихо, без всякого нажима, но за каждой фразой ощущался приказ. Николай Васильевич почувствовал: еще немного — и

он пообещает Наташе увезти отсюда Софью Анатольевну, так и не вникнув в суть дела; и он робко произнес:

— Но я должен все знать...

Она взглянула на него прямо, взгляд ее синих глаз был открыт, и в них возникло недоумение: а разве вы не знаете?..

За спиной Николая Васильевича скрипнула дверь, он быстро обернулся — Софья Анатольевна смотрела на них, сложив пухлые руки на животе, она с укоризной покачала головой:

— Хороши... Нечего сказать — хороши. Бросили меня у огня...

— Вы же заснули, милая женщина, — улыбнулся Николай Васильевич. — А я собрался уезжать...

— Но прежде уединился с Наташей. Значит, у вас появились от меня тайны? Нехорошо...

Интонация обиженной девочки ей не подходила, она оглуляла ее, прежде Николай Васильевич никогда не слышал, чтобы Софья Анатольевна так говорила.

— Конечно, — сказал он. — А почему бы нам с Наташей не завести тайны?

— И вправду, — насмешливо подхватила она. — Ведь это так естественно.

Ну, вот это уж другое дело, такой тон больше подходил ей...

— Я, кажется, видел телефон в той комнате, где камин...

И пока он шел коридором, потом звонил — вызывал машину, — все думал о странном разговоре с Наташей.

В машине он ехал, прикрыв глаза, энергичный голос Наташи снова зазвучал рядом, на этот раз он уловил в нем уж очень знакомую интонацию, где-то рядом, совсем рядом существовала разгадка...

8

Все утро Николай Васильевич вызывал к себе начальников участков, и ему становилось ясно: люди на заводе не были готовы принять этот цех, он был для них словно марсианский корабль, приземлившийся возле старенького крыльца их дома; его быстро воздвигли благодаря технике, которую двинули в Высоцк, но понять сущность этого цеха те, кто будет его эксплуатировать, так и не смогли.

История этого цеха для Николая Васильевича началась с того мгновения, когда правительством поставило перед министерством задачу обеспечить железнодорожный транспорт колесами высочайшей прочности; вагонный парк стремительно обновлялся, а колес не хватало... Но это было только частью задачи... Скорости — вот что было главным. Колеса, которые выпускались на двух заводах страны, выдерживали скорость железнодорожных составов до ста километров в час, но уже сейчас этого было мало, а пройдет десять — двадцать лет, и скорость достигнет двухсот километров, а может быть, и больше... Конечно же, для производства новых сверхпрочных колес требовалась принципиально новая технология. Два научно-исследовательских института и один проектный, подчиненные министерству, взялись решать эту задачу. В главке посмеивались: снова изобретаем колесо. С самого начала было решено: в цехе применить новейшие автоматические линии. Использовать космизированные орудия труда — Николай Васильевич как ученик Поповского придавал этому особое значение, в институтах министерства давно уже работали над применением в металлургии различных микрочастиц, над внедрением лазерной, плазменной, радиационной технологии. И вот — цех готов. Каждый день простоя — огромные убытки... Но люди, прежде работавшие на заводе, не знакомы были с новой техникой. По докладным Николай

Васильевич знал: дважды пытались осуществить пуск, и оба раза это приводило к авариям; неделю назад при такой попытке вспыхнул было пожар, хорошо успели быстро загасить... Да, те, кто здесь работал, не знали новых электронных схем, ни лазерной, ни плазменной технологии, не умели сочетать действия одного участка с другим; в новом цехе ничего не годилось из старых, отработанных методов, надо было уметь считать по-новому, учитывая небывалые прежде в промышленности скорости. Цех строили, составляли графики, рапортовали о выполнении плана, но не позаботились о главном: кто же будет работать на линиях?..

Сейчас самое важное найти людей, которые сумели бы пустить цех. Кто же даст этой огромной машине толчок, с которого начнется все движение?

Инженеры, с которыми говорил Николай Васильевич, разделились на две группы — одни не верили: «Мы так не считали и считать не научимся»; другие бодрячески утверждали: «И не такие трудности одолевали, одолеем и эту». «Самоуверенность невежества всегда найдется точно в обратном отношении к самоуверенности науки», — усмехнувшись, вспомнил Николай Васильевич из Поповского.

Все время, пока Николай Васильевич занимался начальниками участков, Шергов неотлучно присутствовал рядом, слушая с обостренным вниманием, но к полудню Николай Васильевич обнаружил, что Шергова нет рядом, он вышел минут сорок назад, да так и не вернулся. Ельцов, отводя в сторону вечно сонные глаза, сообщил: директора срочно вызвали в третий цех.

— Авария?

— Возможно, — неопределенно ответил Ельцов.

Николай Васильевич и прежде был насыпан, что в старых цехах Высоцкого завода и дня не проходит без происшествий, это в докладных не раз ставилось Шергову в упрек, а сегодня тем более всякое могло произойти, есть некий необъяснимый закон, его знает любой хозяйственник: в дни, когда прибывает на завод начальство, обязательно должно произойти что-то скверное, непредвиденное; этот закон называют «законом повышенной стервозности».

— Проведите меня к Шергову — потребовал Николай Васильевич. Ельцов замялся; тогда уж Николай Васильевич повторил свою просьбу более настойчиво, и Ельцов покорно согласился.

Они прошли через двор извилистой асфальтовой дорожкой сначала под эстакадой, затем поднялись на длинный переходный мост с деревянным настилом, под ним электровоз тянул несколько открытых платформ с заготовками, и с этого моста Николай Васильевич увидел впереди тяжелое здание цеха из темного, прокопченного кирпича и неподалеку от высоких красных ворот довольно большую группу рабочих; они о чем-то переговаривались, курили, перешучивались. Когда спустились к ним, Ельцов спросил:

— Почему здесь?

Ему тотчас ответило несколько голосов:

— Директор приказал...

Из рассказов выяснилось: в цехе объявили аварийное положение; колпак небольшого конвертора охлаждался водой, и то ли в нем прогорели трубы, то ли еще по каким другим причинам, но вода хлынула в чашу конвертора; слава богу, еще не слили шлак и он образовал некую подушку между кипящим металлом и водой; конечно же, воду перекрыли сразу, а вот та, что натекла в конвертор... Тут не нужно большого воображения, чтобы понять: достаточно воде соединиться с жидким металлом — взрыва не миновать...

— Шергов, как прискочил, всем велел из цеха долой, а сам там с

тремя остался. Ребята ничего, смелые... Конвертор не наклонишь, чтоб воду слить, шлак лопнет... Так они там шланги приспособили и насосом...

— Идемте,— кивнул Николай Васильевич Ельцову, но тот остановился у ворот; тогда Николай Васильевич решил пойти сам — зачем же неволить Ельцова.

Он перебрался через железнодорожные пути и оказался в полутьме цеха; Ельцов сразу же обогнал его; он шел, делая маленькие шаги, они не вязались с его высокой сутулой фигурой, и от этих шагов трепетал, как на ветру, обвисший на плечах его затертый пиджак.

Они шли по пролету цеха, свод здесь низкий, да и было тесно, хотя чувствовалось — порядок поддерживали, вон даже стойки все покрашены в красный и ярко-желтый цвета; Шергова они увидели на площадке, укрытой железными плитами со стертым узором, он стоял без пиджака, в белой рубаше с расстегнутым воротом, волосы его были всклокочены, и весь он так напряжен, как будто приготовился к прыжку куда-то вверх. Шергов не услышал, как подошли Николай Васильевич и Ельцов, правая рука его была вытянута вперед и сжата в кулак, он не взмахнул ею, а еще сильнее стиснул пальцы и крикнул:

— Насос!

Возле конвертора заработал мотор, и в правой стороне за клубился белый тяжелый пар.

— Еще! Еще! — кричал Шергов, кулак его дрожал, голос срывался от возбуждения, так кричат на футбольных матчах обезумевшие от азарта болельщики. — Стоп! Второй шланг! Насос!

Кто-то невидимый Николаю Васильевичу дернул за тонкий стальной трос, и вверх взмыл шланг с оплавленным наконечником, и сейчас же заработал другой насос.

— Еще! Еще!.. Стоп!

И от конвертора прозвенело отчаянно:

— Сливаться?!

Вот это-то и было самым главным: насосы уже не брали воду, а осталась она в чаше или нет — не определишь, и надо было рисковать, тянуть нельзя, еще немного — и металл не сольешь.

Наступила странная тишина, цех был наполнен звуками, но они не воспринимались слухом, а только эта тишина, тревожная, разряженная, и в нее вошел тяжелый шерговский выдох:

— Давай..

И показалось, будто с этим выдохом Шергов как бы прижал своей тяжестью железные плиты и они подались под его ступнями.

Чаша конвертора начала медленно наклоняться; взрыв, если осталась вода, мог последовать в любое мгновение, и Николай Васильевич как зачарованный смотрел на движение чаши не в силах шевельнуться; он видел впереди себя напряженные плечи Шергова, словно он помогал движению чаши, и вот в это-то мгновение Николай Васильевич почувствовал как бы некое слияние с Шерговым, будто стремительно проник в его состояние души и ощутил то же, что и Шергов: упоение риском, острую сладость преодоления смертельной опасности, вытеснившие из сознания страх.

Чаша наклонилась, и было видно, как трескается почерневший шлак, обнажая темно-красные щели, глыбы скользнули вниз, дыма и выбрасывая вверх искры, и открылось ослепительно-белое кипение металла... Теплое дуновение донеслось до Николая Васильевича, снимая напряжение. Все.

Шергов осел, плечи его сразу заострились, на спине под рубашкой резко обозначились лопатки, и в этом месте расплзлись потные пят-

на; не дожидаясь, пока сольют металл, он прошел к стойке, где на крюке висел его пиджак, перекинул его через руку и пошел к выходу, лицо его было землистым.

Все последующее разыгралось в директорском кабинете. Когда Николай Васильевич туда добрался, вокруг длинного, покрытого зеленым сукном стола сидели несколько человек, понуро опустив взгляды, кто барабанил пальцами по столу, кто постукивал спичечным коробком, кто просто оглаживал ладонью поверхность сукна, а поближе к директорскому столу стоял грузный человек с курчавыми седыми волосами, обрамлявшими лысину, он был красен и потен, а на лысине след машинного масла; это и был начальник третьего цеха, и Шергов обращался к нему, прохаживаясь вдоль стола, и Николай Васильевич только сейчас заметил свежую ссадину на щеке директора.

— Ты сколько людей мог покалечить? — глухим, тяжелым шепотом говорил Шергов. — Тебя же под суд надо... Ты понял? Под суд! Ну что молчишь?! — И внезапно голос Шергова взлетел на высокую, визливую ноту: — Говори!

Начальник цеха надулся, еще более покраснел, прогудел глухо:

— Разберем, Антон Петрович... Найдем виновного... Ведь кто знает...

— Да на кой леший мне твой виновный!.. Ты... ты где был, когда вода хлынула?.. Ты почему в цехе не был? А если бы рвануло? А?!

— Я же должен был в столовую... — пробормотал начальник цеха.

Шергов вскинул руки, стиснув зубы, быстро погрозил пальцем и, задыхаясь, как после бега, заговорил:

— Я тебя знаю... Я тебя знаю... Я знаю... Столовая! Ты!.. С запахом в цех уж приходил... Свадьба сына была? А?.. Я простил тогда... А ведь опасный сигнал, ой опасный. С этого все и начинается! — И внезапно Шергов забарабанил сразу обеими ладонями по столу, плечи его мелко задрожали, лицо покрылось каплями пота, и он уж не кричал, а визжал: — Не дам!.. Не дам завод губить! За каждый гвоздик спрошу!.. В нем пота, крови — за века скопилось!.. За все, за все юд ответ!..

Это была истерика, припадок, наступивший как сильная нервная разрядка после тяжкого напряжения в цехе; все сидящие в кабинете замерли, боясь шевельнуться, придавленные гнетом вины перед этим беснующимся человеком; начальник цеха смотрел на Шергова с такой жалостью и такой глубокой виной, что мог и сам повалиться без памяти. «Надо кончать», — жестко подумал Николай Васильевич и хотел уж подняться, чтобы привести в чувство Шергова, как дверь со стуком отворилась и в кабинет вбежала Надя, раскрасневшаяся, простоволосая, цветастый платок сползал с ее плеч; она единым взглядом своих жгучих глаз охватила кабинет и властно прикрикнула:

— А ну все отсюда!

Быстро пошла к Шергову, порывисто охватила его за плечи, прижала к себе, и он сразу же затих под ее рукой; те, кто сидел за столом, торопливо пошли к выходу, а начальник цеха все стоял, удрученный и растерянный. Надя коротко взглянула на него, прикрикнула:

— И ты отсюда! Быстро!

Он тяжело выдохнул и пошел, переваливаясь, к дверям, а Надя, прижимая Шергова к себе, повела в угол, где был умывальник, приговаривая по пути:

— Затихни, затихни... Все хорошо... Ну вот так... Давай-ка я тебя умою. Ишь, весь какой мокрый... Ну вот так, сейчас помоемся и рубашку сменим. Тут у тебя в шкафчике есть, я сама клала... Слава богу, мне Анна Марковна позвонила, а то бы ты тут... Потом с недельку бы и провалялся, промаялся... Эх ты, горе мое..

Она умыла ему лицо и руки, обтерла, достала из аптечки, висевшей тут же в углу, зеленку и пластырь, прижгла ссадину, заклеила, потом достала из шкафчика белую накрахмаленную рубаху, обрядила его; все это она делала уверенно и ловко, и было нечто материнское во всех ее движениях. Шергов покорно подчинялся ей, и когда она застегнула на резиночке галстук под воротником его рубахи, он склонился к ней, чтобы благодарно поцеловать, но Надя опередила его, охватила за шею и поцеловала жарко, прижавшись всем телом.

Николай Васильевич наблюдал за ними, и в нем закипало раздражение: истерика Шергова, эта странная домашность, которую внесла с собой Надя в директорский кабинет, были уж слишком сентиментальны и чужеродны привычному для него деловому ходу событий, он не принимал этих отклонений душой, его возмущало и другое — как и в третьем цехе, так и здесь, в кабинете, Шергов делал вид, будто вовсе не видит Николая Васильевича, а сейчас в эту игру включилась еще и Надя. «Хватит быть наблюдателем,— строго подумал он.— Пора все брать в свои руки...» И в самом-то деле — пришла пора командовать, иначе дело, по которому он приехал, затянется, а ему твердо был определен срок до пуска — три дня.

Он подождал, пока Надя и Шергов оторвались друг от друга, и тогда уж властно и спокойно сказал:

— Ну вот что, сегодня в семнадцать совещание всего инженерного состава. Пуск цеха на завтра, к вечеру. Командую я. Объяви всем начальникам участков — совещание в цехе.

Шергов слушал внимательно, теперь он был спокоен, собран, более того, от него исходило некое благодушие, будто и не было ничего такого, одни радости.

— Хорошо,— спокойно ответил он и стал что-то помечать на настольном календаре.

И тут вмешалась Надя:

— А что же это вы, Николай Васильевич, нами брезгуете?.. Вчера я вас к обеду ждала — не явились. И сегодня не собираетесь? Вы ведь к Антону небось не только как к директору приехали. Он мне много про дружбу вашу рассказывал... Видать, жизнь у вас тогда не пресная была — я слушала, завидовала... А что я вам скажу: был года три такой случай, из области на Антона крепко сели, еще чуть-чуть — считай, и сняли бы. Так я говорила: поезжай вон к Николаю Васильевичу, если вы такие друзья были — поможет. Так он на меня ногами стучал, никогда не стучал, а тут... Очень он вашу старую дружбу бережет и корысти от нее не хочет. Это я вам прямо говорю, чтобы вы худого не подумали. Потому — милости прошу к нам на рыбные пироги. Между прочим, они в печи уже созревают.— И она улыбнулась; он впервые увидел, как она улыбнулась — ярко, сочно, обнажив крепкие ровные зубы...

9

Жил Шергов в бревенчатом доме, на котором выделялись белые кружевные наличники; и улица тоже была вся деревянная, дома на ней стояли впритык, соприкасаясь покатыми длинными крышами крытых дворов — не деревенская улица, не городская, поселковая. Срубил шерговский дом, наверное, давно, понял это Николай Васильевич в горнице, где бревна были обнажены, крепкие, без трещин, цвета воскового — их, видно, не так давно циклевали,— и еще по печам, круглым голландкам, обшитым железом и покрытым черным лаком; печи эти были не нужны — под окнами виднелись батареи парового отопления, но голландки не разоряли, отдавая дань прошлому.

Все в этом доме перемешалось — и старина и новь: у длинной стены горницы стоял массивный, резной работы буфет с ангелочками и амурчиками и тут же финские низкие кресла, мягкие стулья и стеклянный газетный столик, и повсюду (на буфете, на телевизоре, на полочках) расставлены были статуэтки чугунного темного литья — кони, скачущие во весь опор, кузнец, взметнувший молот над наковальной, баба с лукошком, — а на полу толстый нейлоновый ковер болотного цвета. Над диваном на стене развешано было много семейных фотографий — те, что постарше, в деревянных рамах, современные в металлической окантовке. Николай Васильевич окинул их взглядом, перед ним мелькнул кто-то очень знакомый, он сначала и не понял, кто же это такой, и стал искать, теперь уж всматриваясь в каждую фотографию, и вдруг увидел — Маша, она шла по улице, и в походке ее и в том, как были повернуты плечи, ощущалась настороженность, будто Маша подозревала, что за ней следят. Этому снимку было не более пяти лет. Николай Васильевич угадал по легкому весеннему пальто и туфлям, которые тогда Маша носила; ему надо было тут же и спросить о фотографии у Шергова, но что-то его удержало, и он постарался сесть так, чтобы быть спиной к увешанной снимками стене.

Надя сразу же пошла хлопотать на кухню, а Николай Васильевич закурил и, чтобы не думать о Машинной фотографии, взглянул за окно, оно выходило на усадьбу, и там под яблоней бродили по опавшей листве рыжие куры, деловито тычась клювами в землю. «Может, у него и скотина есть?» — усмехнулся Николай Васильевич и сказал:

— Не ожидал я, Антон, что ты в таком доме живешь...

— А что? — простодушно спросил Шергов.

— Да ничего... Но как-то... несовременно, что ли...

— А что же тут несовременного?.. Все у нас есть: и газ, и вода горячая, от ТЭЦ на весь квартал дали, отопление, телевизор. Все, что в московской квартире, то и у нас. Только, пожалуй, воздух лучше, да и вообще... Конечно, можно было бы в заводском доме, да у нас и так каждая квартирка дефицит; наш начальник стройтреста Ежов городок специалистов построил, каждому особнячок, очень хороший особнячок из белого кирпича и усадебка. Но, понимаешь, Николай Васильевич, я этот дом люблю, душой к нему прирос, так люблю, что когда в Москве жил, учился, он мне снился, как человек. Я в другом и жить-то не смогу. Этот дом дед мой ставил, потом отец дотягивал, ну и я кое-что вложил. Опять же в дереве существуем, говорят, полезно... Конечно, я понимаю, что смущает: мол, директор, а как куркуль. Но в каждой местности свои обычаи, свой уклад. Высоцк тем и славен был, что тут рабочий человек себе сразу дом ставил, леса много и дешевый. А обычаи здесь крепко держатся. Возможно, тебе не понять, москвичам это трудно, кругозор шире, а у нас есть своя узость, и победить ее не так-то просто. Вот, скажем, география у нас до сих пор огромное влияние имеет на положение человека. Как это ни глупо, а все равно задается перво-наперво вопрос: кто ты — местный или чужой? Местному верят больше, чужого проверяют. Иной раз ловлю себя на том: лучше уж я на эту должность местного поставлю, чем приезжего, про местного-то я все знаю, и о родных его, и о близких, и что с него спросить можно, и как мне на него воздействовать в нужном направлении, а приезжий иной раз хоть и дело знает лучше, но к нему привыкай, да выясняй, каков нрав... Это ведь мало, что мы делим на местных и приезжих, у нас еще один раздел есть. Высоцк когда-то на слободки был разбит и население каждой такой слободки имело свое назначение и характер. Ну, скажем, Стеганная слобода — в ней жили литейщики, народ веселый, бойкий и трудовой; а вот в Конной слободе народ дошлый, они и в заводе трудились и уходили в извоз, ютились там и разбойники,

что в окрестных лесах пошаливали. А вот наша слобода называлась Ризодеевская, тут проживали рудокопы. А название слобода получила потому, что пролегла по ней дорога, по которой Иван Грозный в свое время войска на Казань провел. А поводырем у него был местный житель, монастырский мастер-ризодей. Народ здесь жил сильный и покорный. Мой дед тоже рудокопом был. Руду добывали не из шахт, а копали колодцы и на бадьях поднимали вверх. И сейчас этих колодцев в лесу множество, не зная, так и свалиться можно... Руды были здесь небогатые, потом добычу их забросили и рудокопы пошли в цехи, главным образом горячие... Ну так вот, Николай Васильевич, хоть и чудно это и в наш век поверить трудно, но и поныне, когда у нас на работу принимают, то смотрят, из какой слободы. Во всяком случае, если из Конной, то в торговую сеть не возьмут, побоятся: цыганит или проворуетса... Что тебе, Надюша?

— А ничего... Вот вам два графинчика принесла. Тут водка, а эта, Николай Васильевич, настойка наша... Подумала: так вам разговор вести легче, пока я на стол накрою... Вот огурчики... Так что налить вам?

— Ничего.

— Тогда настоечки... Она у нас безвредная, ее и Антоша пьет. Не захмелеете, а тонус повышает... Я вот еще что хотела сказать: Ежов сейчас будет... Ничего не могла, Антоша, поделать, ты же его знаешь. Он сам позвонил... Ну, хорошо, я пойду, вам мешать не буду.

— Кто этот Ежов?

— Начальник стройпреста... Да вы встречались. Он, как из Высоцка приезжал, у меня в общежитии останавливался. И у вас в гостях с ним бывали... Ну, это так давно было, можно и забыть. Он постарше меня... Ладно, бог с ним, приедет, так приедет. Он сейчас в области был, сегодня пожаловал, а то бы давно уж вы встретились... Давай все-таки попробуем наливочки, она и вправду безопасна. А аромат-то каков? Чудо!.. Надя у меня по всяким таким вещам мастерица, она и прибы по-своему солит, и огурцы маринует. Полный спец по этой части... Ну, как настоечка?.. То-то... Так о чем мы говорили?.. А-а, о местных и чужих. Я мысль не закончил. Так вот, эти самые разделы и в Москву перекочевали. Это наш брат из периферии туда свои обычаи затащил. Делается так: приедет, скажем, липчанин в Москву, получит сильное место — и он в первую очередь будет тянуть липчанина... Нет-нет, необязательное правило, конечно же, необязательное, но имеет место. И дело это опасное. Возникает круговая порука, а она по наблюдениям моим консервативна, потому что это явление замкнуто в себе и, стало быть, прогресса дать не может... Давай-ка еще по рюмочке, не опьянеем, а усталость всю снимает... А можно и водочки... Нет? Ну и ладно... А вообще-то, Николай Васильевич, места у нас здесь удивительные. Леса стоят еще крепкие, и охоты много и рыбалки. Конечно же, краю нашему исторически не очень повезло. Вроде бы и от Москвы недалеко и центр России, а оказались на обочине общего развития. И главный тут парадокс в том, что отечественная промышленность именно здесь и зарождалась... У нас и на Урале одновременно. Заводчик наш в ту пору не менее Демидова был знаменит. А как, черт, строил! С инженерной точки зрения по тем временам — чудо! Вот посмотри, как система прудов организована. Каскадная, Верхний пруд, Средний, Нижний. И потому не было такого года, чтобы заводы не снабжались водой... А чего только не делали на заводах. И литье для барских усадеб все отливали — фигуры, решетки, в Петербург отправляли, до сих пор стоят; делали вилы, плуги, косы и всякий другой инструмент, катали железо кровельное и много, много всего иного... Сам дом себе по-

строил — лучшим дворцам Петербурга тех времен не уступит, съездим посмотрим, в нем горсовет и другие учреждения. А потом дело захирело. Тут было много причин. И руда, и наследники пошли такие — не могли заводы поставить, отстали. Наши в тридцатые годы реконструкцию провели, обновили завод. Но ведь главный взгляд был туда — на Урал, на Украину, в Сибирь... Жаль, конечно, тут такое бы можно было... Ну ничего, может быть, сейчас. Народ-то у нас промышленный... Вот и Ежов подкатил, дверца машины хлопнула... Сейчас пожалует, родной...

И точно: прозвенел в сенях звонок с переливами, будто рассыпались бубенцы, хлопнула дверь, и веселый голос наполнил дом, сразу чувствовалось — этому голосу тесно в ограниченном стенах просторстве, от него даже чуть звякнули оконные стекла...

— Ну, Надюша, ну, радость... Вот прими от первейшего поклонника...

Вскоре и Ежов перешагнул порог, был он полненький, с округлым брюшком, округлым лицом и узкими, хитро прицеленными глазками, под ними уже вздувались сморщенные мешочки, это да еще поседевшие виски выдавали, что лет ему немало, а так-то он был розовый, свеженький, в новеньком сером, в крупную синюю полоску костюме, пиджак расстегнут, и видны красные узкие подтяжки, и галстук красный. Ежов протягивал пухлую руку, приятно улыбался:

— А ведь не помните, Николай Васильевич, по глазам вижу — не помните. Ежов Леонид Кириллович... Нет, не вспомнили? А я даже у вас дома в гостях бывал. Однажды и ночевал, когда Антона в Москве не было и мне некуда было податься... Ну?

Что-то смутное шевельнулось в памяти: и вправду вроде бы приезжал какой-то человек из Высоцка, товарищ Антона, и мать поила его чаем, соорудила ему постель на диванчике, — а больше ничего в памяти не осталось.

— Что-то вроде... — сказал Николай Васильевич.

— Да не утруждайте себя, — махнул рукой Ежов. — Не помните, так не помните, ну и ладно. Было, да сплыло. Важно, что нынче вы у нас, это очень даже важно...

— Давайте к столу, — от порога позвала Надя.

Они прошли в небольшую комнату, отгороженную от кухни дощатой перегородкой; видно, здесь была столовая, хотя мебель стояла белая — кухонная.

— Извините, что не в горнице накрыла, — сказала Надя, — вашей беседе не хотелось мешать, да тут мне сподручней...

Стали садиться к столу, и Шергов, поправив двумя пальцами очки, вдруг лукаво прищурился, указал на две баночки — одну с красной икрой, другую с черной:

— Твой подарочек, Леонид Кириллович?

— Ну, пустяки... Ну что ты, право, Антон... вечно вот в такое положение поставишь... Ну, выпьем мы что-нибудь?.. Антон по этой части не силен, а вы, Николай Васильевич?.. Тоже, значит, решили воздержаться? Жаль... Ну, а я немного выпью. Ваше здоровье... И сразу, Николай Васильевич, как говорится, с ходу, буду жаловаться на Шергова. Положение у нас, скажем прямо, ненормальное. Директор завода и начальник стройтреста должны в одну точку бить, в ногу идти, иначе дело получается дрянь. Вот для начала возьмем такой пример из нашей общественной жизни. Месяц назад у них на заводе праздник, юбилей с круглой цифрой. Большой праздник, красивый. Решили они там провести торжественно, а потому местком и дирекция выделили средства на банкет. По такому случаю можно. Передовики производства и, конечно, руководство. И мы тоже для

завода не чужие. Вон какой цех отстроили, да еще и много будем строить, потому я на такой праздник вместе с женой собираюсь. И в последний момент узнаю: товарищ Шергов самолично меня из списков в президиум и приглашенных на банкет вычеркнул. Удар, как говорится, наотмашь. Конечно же, я вообще на торжество не иду, ссылаюсь на гриппозное состояние, хотя никто такой причине не верит, и весь вечер на эту тему шушукуются. Мол, вот как директор начальнику треста смазал. Конечно, можно было бы и презреть, но мы в таком городе живем, где все всё друг про друга знают. И скажу по опыту: такие вот штучки-дрючки на авторитет руководящих работников больше действуют, чем события крупного масштаба... А мне товарищ Шергов что ни день подобные козлики откидывает. Так, может, ты, Антон, Николаю Васильевичу объяснишь, для чего ты это делаешь? Вот ты сейчас молчишь, и в усы свои рыжие усмежаешься, и даже вроде бы доволен собой, как я погляжу, но я тебе все равно аппетит сейчас испорчу... Так вот, Николай Васильевич, пришлось мне через два дня по этому поводу на своем активе объясняться. Чувствую, как-то по-иному на меня сослуживцы смотрят. Вроде бы я битый, а дуэли не принял. И поэтому в своей речи я такое место вставил: вот, мол, учитесь режиму экономии у заводских, там директор даже при банкете копейку считает и сокращение штатов проводит. Даже меня сократил, хотя я коньяку вовсе не пью, а водки не более ста пятидесяти, так как имел в своей жизни гипертонический криз... Пришлось так все и объяснить активу. Конечно же, смех в зале, переходящий в сардонический хохот... Вот так-то, дорогой Антон Петрович. Вопросы есть?

— Объясню, Николай Васильевич, и тебе, Леонид Кириллович, объясню... Лучше бы ты ел пирог и запивал юшкой, но если уж сам начал... Неужто в твоем активе и в самом деле такие простак, что поверили, будто жаль мне для тебя водки и закуски? Вон приходи хоть каждый день, Надя тебе настряпает. Можно даже по твоему персональному меню... Но ты бы про другое сказал. Перед самыми торжествами твои гаврики как мне фундаменты под станки залили? Если бы мы на такие фундаменты стали оборудование набрасывать, оно бы и дня не простояло. Не бетон — глина. Позор позором, а не работа. В тот же час как я увидел такие фундаменты, так тебя из списка и долой. Какое же я имею право человека, который такую халтуру нам пытается сдать, да еще за наши же деньги, в президиум посадить? Ты нам такой цех портишь, а рабочие из зала должны на тебя с уважением смотреть, почет отдавать и думать: ах, какой он хороший? А может быть, ты хотел, чтобы за тебя на банкете тост подняли?... Вот и вся разгадка. И доведется мне у тебя на активе выступать, так, конечно, и объясню... Надя, положи-ка ему еще пирога, а то и впрямь подумает, что мы его обделяем...

— Вот, Николай Васильевич, пожалуйста, позиция директора. А между прочим, наш трест по области третье место держит, и если бы не было у нас такого заказчика — полного самодура, взяли бы и первое место. Что получается? Его же куратор по качеству принимает работу, а он следом идет и приемные акты рвет... Молчи, Антон, молчи, пока я говорю... Я ведь, Николай Васильевич, постарше его буду и права кой-какие над ним имею, но он полный неслух. А дело тут вот в чем. Я ведь, как и Антон, всю жизнь в Высоцке, только на войну сходил. И пошли мы на нее с отцом Антона. Был я тогда мальчишкой, а Петр Савельевич — человек опытный, тертый. Вот возле него я и держался. Очень он был мужественный. Ранен был смертельно у меня на глазах и, считайте, на руках моих и умер. Так вот, Петр Савельевич перед смертью мне наказал: «Я тебя тут, Леня, опе-

кал, уму-разуму учил, так ты, если домой вернешься, моего Антона не забудь, стань для него вроде старшего брата и наставника». И эти слова Петра Савельевича для меня закон. И если Антон институт кончил, то тут и мое какое-то участие есть... Да ведь я его этим, как куском хлеба, не попрекаю, и в черной неблагодарности не виню. И вспомнил только для того, чтобы все дальнейшее было понятно. Расхождения наши начались, как этот новый цех заложили. Он заказчик, я подрядчик — и понеслось. Сначала просто ссорились, потом он мне пакости стал строить, да я к ним быстро привык, внимания не обращаю, закаленный. Могу и мимо пропустить всякие невыдержанные крики. Но я, Николай Васильевич, за него опасаюсь, потому как обнаружилось: он дела с большим размахом не понимает. Он даже и сообразить не может, что хозяйственник должен быть не только специалистом, но еще и дипломатом, и смысл этой дипломатии, хоть и с виду простой, не каждому дано постичь. А состоит он в том, прошу прощения за откровенность, чтобы твоими делами и наверху были довольны и на месте счастливы. Вот этой самой истины Антон ну никак понять не может, и отсюда вся беда. Его и наверху не жалуют и тут клюют. То, что он за каждый камешек как за свое личное переживает, это, может быть, и хорошо, но, честное слово, не директорское это дело — бегать по цеху и каждого слесаря за рукав дергать... Нетерпимый он, Николай Васильевич, человек... Колбочка, шиповник...

— Не трогай его, Леня... Ты что-то разговорился, остынь и не трогай...

— Пардон, Надюша... Тысячу извинений. Всегда ценю, когда ты на его защиту кидаешься. Но его как личность трогать ей-ей не хотел. Как личность мне он симпатичен, хоть и нервный...

— Ну и ладно, о его нервах моя печаль... Ну что же это никто про пирог не скажет? Или не по нраву?.. Ну, спасибо, Николай Васильевич. Я вам еще кусок... И тебе, Леня? Вот и ешьте да поменьше спорьте, а то хуже ребятшек... Наши еще в школе, Николай Васильевич. Двое у нас, погодки... В следующий раз зайдете, познакомьтесь... Сейчас я еще чайку поставлю...

— Да-а, ничего не скажешь, оратор ты у нас, Леонид Кириллович, первейший. И что же это выходит: по твоей мерке я, Шергов, самый ничтожный в Высоцке человек. Ну уж если ты такой большой хозяйственник, то, может быть, припомнишь да прикинешь: каким завод был, когда я его принял, и что с ним сейчас. Не ради хвастовства, до передового предприятия заводу нашему еще, конечно, далеко, но ведь был он когда-то на грани полного развала и выпускал изделия — заведомый брак. А ведь чтоб спасти завод, немало труда надо было положить. Не так ли? Не ты ли мне говорил когда-то: только с твоей настырностью и можно было эту развалившуюся телегу из лужи вытащить. Было? Было!.. Так что же сейчас? Стало модно Шергова ругать — и ты туда же подклучился. Ну, я эту моду пережду. Вот пустим цех... Конечно, мы с ним зашились и в этом большая наша беда. Так не зашились бы, если б опять же вы настоящему строили и не приходилось по десять раз переделывать...

— Ошибаешься, Антон, очень серьезно ошибаешься. Завод ты из большой лужи вытащил, это правда; кого выгнал, кого местами менял, кое-что на себе повез вместо других, но вообще-то, если брать суть, сам завод каким был, таким и остался. И если бы не цех этот... Ты в каком веке живешь? Оглядишься... Нет, все-таки странный ты мужик. Я ведь знаю, что ты меня делягой зовешь! А я не деляга, я деловой человек. Понять же ты этого не можешь. Тебе что, мой внешний вид не нравится? Красные подтяжки? Заведи себе синие, чтоб

не завидовать. Не в этом главное... В чем, говоришь? А в том, что деловой человек сейчас главная фигура. Крикуны и рукомахатели никому не нужны. Ты загляни ко мне в трест. Ребята у меня подобранные молодые, крепкие. Мозговой центр, штаб. Об НОТе только заговорили — а он у меня есть, начался спор о социологах — а у меня они уже работают. Вычислительный центр есть. Лаборатория автоматизации — пожалуйста. Идем в ногу со временем. И от всех этих мероприятий результаты имеем. Ну, деляга я или нет?.. Качество тебе недодаем? Сто раз проверял: по существующим стандартам все делаем по первому сорту. Да тебе разве угодить? Ну, влили тебе на бюро выговор за срыв планов — твоего и моего. А могли бы ведь очень просто из партии... И никто бы не помог, никто. А я встал да принял часть удара на себя, понимал, чем запахло... Гудеть бы тебе... Эх, Антон, Антон, по старинке ты трудишься, на силу жмешь, а настоящее дело насилия не любит, оно свободу мысли любит, простор. А ты всех у себя так забил, что они и полслова сказать боятся... Ага, нахмурился! Ну ничего, Николай Васильевич человек свой, пусть он все это лучше за пирогами услышит, чем из докладных вычитает... Ну, до чего же ты меня расстроил. Пожалуй, я еще рюмку выпью. Николай Васильевич, а вы не рискнете? Ну ладно, я сам...

— Будь здоров, Великий Зодчий! Складно у тебя все получилось, даже очень складно. Только я как-то вычитал такую мысль: все было правильно, а вышла гадость. Так вот это тот случай. Конечно же, дорогой Леонид Кириллович, все у тебя есть: НОТ, программирование, социологи, все есть, а вот почему-то в дома, которые вы сдаете, въезжать опасно. Давай-ка обойдем с тобой всех поселенных в новые квартиры. И ручаюсь: не найдем ни одного, кто бы в эту самую квартиру не вложил сразу круглой своей суммы. А почему? Дом сдан, въезжай в него и живи. Так ведь не бывает ничего подобного. Мост вы построили, полгода простоял — ремонт. Но ведь мосты-то по сто лет должны стоять и стояли раньше. Склад нам построили, а через три месяца ремонтируем. Конечно, я понимаю: строительство по одной графе идет, ремонт — по другой. Все у вас правильно, а на проверку выходит — обман. Никаких, конечно, у вас приписок или там махинаций, ничего такого у вас нет. Просто придумали вы себе такие стандарты, по которым можно и брак сдавать. Вот вы и цех этот пытались быстрее сдать, крикнуть «ура», а то, что нам потом годы ваши недоделки исправлять, это вас не касается... Вот так, дорогой друг Ленья, все у тебя правда, а в середине ее — ложь, и на ней твоя правда и держится... Да, у меня такой завод — прореха на прорехе, не повезло ему, только сейчас началось полное обновление, потому что новый цех за собой и другие цехи потянет и все старье сметет. Это понятно каждому. Да, нелегкий у нас завод, зато вранья в нем нет. Вот за это-то я тут и боролся, и все силы именно на это клал. Так что, дорогой друг, ты лучше сейчас меня не трогай, ешь пирог, закусывай икрой, а то я очень могу рассвирепеть и надеть глупостей, за которые тебе же придется и рассчитываться... Вон Надюша чаю несет... Спасибо, родная. Ты ведь, Ленья, мастак по анекдотам, вот и рассказал бы нам что-нибудь веселое... Не хочется?.. Молодец, Надюша, дай-ка мне покрепче... Ну, раз Ленья не хочет, так я вам расскажу случай из жизни, может быть, он наш спор хотя бы чуток и прояснит... Ехал я как-то в Москву, и со мной в купе оказался следователь, возвращался он домой. Молодой человек, лет ему двадцать семь, не более, очень приятный. Был возбужден, спать не мог, да и у меня было беспокойно на душе, потому что вызывали меня в Москву в главк на хорошую прочистку, как говорится у нас — на ковер. Вот мы с ним и разговорились. И тут он мне рассказал

дело, по которому в наш областной центр ездил. А произошла такая история. В воскресный день часу в восьмом вечера взорвался старый дом, трехэтажный. Крыша упала, окна выбило. Сразу же на место происшествия выехала спасательная команда и следователь. Покалечило людей немало, шел футбольный матч, и потому многие сидели по квартирам, смотрели телевизоры. Погиб же один — семилетний ребенок. Следователь прежде всего стал выяснять: отчего же произошел взрыв? Объяснилось быстро — дом загазован. Вызвали экспертов. Те пояснили: случай редкий, работает постоянно служба газа и стоит обнаружить утечку, как сразу же подается сигнал тревоги. Стали искать: что да где? И установили: у магистральной трубы, что пролежала под домом, разошлись швы. Кто же клал эту трубу и когда? Долго копал следователь и выкопал. Клади эту трубу и сваривали в одна тысяча девятьсот сороковым году. Вон какая давность. Один из первых газопроводов. Дело надо было сразу прекращать. Даже если и найдется тот сварщик, за давностью лет его судить нельзя. Да и годы какие прошли — война и прочее, найди-ка попробуй этого человека, да и кто он? Ну а следователь не захотел класть дело в архив, был молодой, как я уж сказал, и настырный. Заела его одна деталь, обнаруженная им в деле. Каким-то чудом сохранились производственные карточки на тех, кто работал по прокладке этого газопровода. Так вот, в карточке сварщика — фамилия его оказалась Мартынов, зовут Степан, — упоминалось, что он имеет личное клеймо. Тогда это движение начиналось, и личное клеймо выдавали только тем, в чью работу безусловно верили и в проверке она не нуждалась. Так вот, этот сварщик Степан Мартынов числился в таких, кому абсолютно верили, и халтуры у него быть не могло. По этой же карточке следователь узнал, что Степан Мартынов двадцатого года рождения, значит, был тогда молод и вполне мог поехать на войну. Жив ли? Оказалось, что жив. Долго колебался следователь: ехать к Степану Мартынову или нет? Ведь дело затевать все равно было нельзя. Так зачем же тревожить человека? А жил Степан Мартынов в нашем областном городе, судьба у него сложилась хорошо. Войну прошел, дважды ранен был, но все же вернулся крепкий, закончил вуз и сейчас начальником смены на заводе. Жил человек, ничего не ведал, и вдруг к нему в дверь постучался следователь и рассказал о том, как взорвался дом и погиб ребенок. Сначала Степан Мартынов не поверил. Тогда следователь оставил его одного и попросил: вспомни все как было четырнадцатого июля сорокового года. И стал Степан Мартынов вспоминать. Я, когда слушал эту историю, сразу выразил сомнение: как это можно через тридцать лет вспомнить обычный рабочий день, по-моему, это даже невозможно. Оказывается, что в случаях острой опасности если памяти чуть-чуть помочь, то она может сотворить чудо и вернуть то, что давным-давно утрачено. И следователь помог Степану, он напомнил, что день тот был невыносимо жаркий, необычный для такой поры — это он узнал по старым метеосводкам, и от жары плавился асфальт. И представьте себе, несмотря на такую давность лет, Степан Мартынов вспомнил. В тот день отвезли в больницу его мать, был он расстроен, спешил закончить работу, сварил трубу, поставил свое клеймо — и в больницу. А ему поверили — работа сделана на совесть. Конечно же, трубу эту, наверно, надо было бы уж и поменять, но факт фактом: остальные трубы, в тот же самый период сваренные, лежат и действуют, а у этой разошелся шов. И это стало причиной взрыва. И вот теперь можете себе представить, какое было самочувствие у Степана Мартынова, если к тому прибавить, что семья у него была бездетной и по этой причине детишек он любил с особой остротой, и тот

семилетний погибший мальчик лег на его совесть. Написал Степан Мартынов заявление, чтобы его привлекли к суду. Но заявление это не приняли как противозаконное... Я следователя спрашивал: а может, все-таки не надо было тревожить Степана Мартынова, ведь бывают же несчастные случаи? Это тоже несчастный случай, пусть бы и было так все объяснено людям. Все равно дела не поправишь, а Степану Мартынову мучиться всю жизнь. Справедливо ли? Не жестоко ли? Следователь мне и ответил: конечно, жестоко, но иначе поступить он не мог, потому что скрой он этот случай — не будут сделаны и выводы, потому тут важна нравственная сторона дела, чтобы другие понимали, каким великим может быть преступлением плохая работа, даже если она случайно плохая. Да и о людях, конечно же, надо судить по тому, что они сделали. Иначе нельзя. Ведь огромная разница между тем, что люди хотят сделать, и тем, что они делают. Результат важен, результат... Вот так-то, дорогой мой Леня. Плохая работа — это не только мерзость, она и в самом деле опасна для жизни людей, потому что результат ее может быть страшным... Не пугаю я, Леня, не пугаю... Знаю... Сварили, скажем, сталь, постарались не заметить внутри раковин — конец месяца, план срывается. А потом из этой стали прокатали стрелу крана, а она груза на стройке не выдержала, обвалилась, людей покалечила... Да ведь и дом тоже может рухнуть через двадцать, скажем, лет... Нет, не пугаю, просто знаю — такие случаи есть. Налить еще чайку, а, Николай Васильевич?..

10

Выехали на завод в половине пятого, распрощавшись с Ежовым, тот тоже было собрался, но Шергов сказал: «Сейчас не надо, у нас свои дела, только помешаешь». Всю дорогу Николай Васильевич думал: откуда у Антона эта фотография Маши и почему он повесил ее на такое видное место?.. Когда вышли из-за стола и снова прошли в горницу, чтобы покурить, Николай Васильевич не сел в предложенное кресло, а встал возле резного буфета, облокотившись на стойку, с этого места хорошо была видна стена за диваном, и теперь, снова разглядывая на фотографии лицо Маши, ее одежду, он окончательно утвердился, что снимок этот сделан не более пяти лет назад, то есть в ту самую пору, когда у них наступил окончательный разрыв. «Вот и еще одна Машина тайна, — с горечью подумал он. — Сколько же их у нее?.. Странная женщина».

О том, что Маша ему изменяет, он узнал при обстоятельствах необычайных; тот вечер и ночь и все, что связано было с событиями того времени, воспринималось им как некая суровая граница, отъединившая одну часть его жизни от другой: в первой была еще какая-то легкость, непосредственность отношений, и дом для него служил теплым и удобным убежищем от хлопот и тревог, здесь можно было бездумно преклонить голову, отдаться ласке, расслабиться; но все это кончилось и началось другое: официальная сухость, преднамеренность каждого шага, обязанности вместо заботы; дом стал похож на гостиничный номер: все на месте, все разумно расставлено, есть необходимое, и только; постепенно это вошло в норму, он привык к такому дому, прижился в нем и ничего не пытался менять...

В тот день умерла Машина мать; Николая Васильевича не было в Москве, он выезжал в пригород, в мастерские, и узнал о несчастье, вернувшись вечером домой, из записки, оставленной Машей. Надежда Тимофеевна жила на Сретенке в небольшой двухкомнатной квартире, где когда-то жила и Маша; домик был старинный, поговари-

вали — будут сносить, может, потому Надежду Тимофеевну не трогали, оставив ей всю жилплощадь, а может, и оттого, что была она вдовой генерала, погибшего в войну. Тихая, вежливая, она всегда со всем соглашалась, когда что-нибудь предлагал ей Николай Васильевич, и была у нее одна страсть — Митька; ради внука Надежда Тимофеевна готова была свершить любое чудо: примчаться в самую скверную погоду через всю Москву, когда Митька заболел, выбить для него путевку в санаторий, чтоб мальчишка подлечил легкие, и самой отправиться в те же края, чтобы быть от него поблизости, а когда Митька подрос, она прятала его у себя в критические для него минуты: вышьет Митька с товарищами, домой идти боится — бабка укроет.

Умерла Надежда Тимофеевна тихо, во сне, дома ее обмыли, уложили в гроб, — она написала в завещании своем, чтобы ее ни в какие больницы не отправляли и вынесли из дому, о чем Маша и позаботилась, пока Николай Васильевич, еще не ведая о беде, пропадал в мастерских. Гроб поставили в маленькой комнате, где обычно Надежда Тимофеевна спала, двери в эту комнату были застеклены, выходили в прихожую, и потому едва только Николай Васильевич перешагнул порог квартиры на Сретенке, как увидел в желтом туманном сумраке — в комнату просачивались сквозь занавески огни уличных фонарей — покойницу, и в первое мгновение Николаю Васильевичу сделалось жутко. Но стоило ему перевести взгляд, обнаружить в комнате сидящего в углу дивана бледного, уставшего от слез и тихо икающего Митьку, как ответственность тотчас победила в нем, он постарался взять себя в руки и шагнул к сыну, понимая, что первая его обязанность в этот миг — привести Митьку в чувство.

Маша стояла у окна и курила, темное платье с глухим воротником обвисло на ее тонкой фигуре, темные волосы, подстриженные под мальчишку, спутались, и этот беспорядок еще больше подчеркивал ее усталость; Николаю Васильевичу остро захотелось приласкать Машу, и он бы сделал это, если бы не Митька.

На столике была початая бутылка коньяка, чашки из-под кофе, на тарелке несколько бутербродов с колбасой и сыром — видимо, оставили те, кто помогал Маше. Николай Васильевич собрался было сказать ей какие-то слова, чтобы выразить свое горе — а он любил Надежду Тимофеевну, был всегда с ней обходителем, — но Маша не дала ему ничего сказать, спросила тихо:

— Хочешь чаю?.. Или кофе?

И он понял: так-то лучше, никаких не надо слов, обрушилось на их семью горе, его надо выдержать, вот и все.

— Лучше крепкого чаю, — ответил он.

Маша вышла на кухню, а он стал думать, как лучше подступить к Митьке, чтобы снять с мальчишки напряжение, парень так был влюблен в свою бабу, что с ним все могло произойти. Пока Николай Васильевич размышлял, звякнул телефон. Николай Васильевич немножко замешкался и снял трубку позднее Маши; телефон был параллельным, один аппарат стоял на кухне, другой в этой комнате, Николай Васильевич это сам устроил, чтобы Надежда Тимофеевна не бегала по квартире, когда звонят. Ему бы, конечно, не надо было брать трубку, коль Маша сняла другую на кухне, но он еще ничего не решил, как быть с Митей, и взял трубку машинально, чтоб занять себя, и тут же услышал мужской голос, удививший его своей мягкой вкрадчивостью: «...Так я подъеду к тебе, как договорились, в девять» — и тут же его перебил холодный голос Маши:

— У меня умерла мама.

— Что?!

— Я сказала: у меня умерла мама...

И тогда мужской голос заметался:

— Извини, ради бога. Какое несчастье!.. Прими мое самое, самое душевное соболезнование. Мужайся... Прости меня. Целую...

Николай Васильевич повесил трубку и посмотрел на Митю, тот по-прежнему сидел не двигаясь в углу дивана. «Спокойно»,— сказал себе Николай Васильевич и стал наливать в рюмку коньяк, и когда уже налил, то увидел, что рюмка нечистая, на ободке ее остался след губной помады, но это не вызвало в нем брезгливости, он торопливо выпил коньяк; вошла Маша, он старался на нее не смотреть, а уставился на чашку с засохшим кофейным узором. Маша поставила перед Николаем Васильевичем стакан с крепким чаем, но в самый последний момент рука у Маши дрогнула, и она опрокинула стакан, пролив горячий чай на колени Николаю Васильевичу.

Часа через два им все-таки удалось уложить спать Митьку — Николай Васильевич подмешал в воду небольшую дозу снотворного, надо же мальчику хоть немного забыться, а то доведет себя,— и как только Митька уснул, они направились на кухню, и там Николай Васильевич спросил, кивнув на телефонный аппарат:

— Кто он?

Она долго смотрела на него темными коричневыми глазами, взгляд этот был ему непонятен, он не смог разгадать, что таилось в нем — презрение или раскаяние, одно он только видел отчетливо: в этом взгляде не было страха; они молча стояли друг против друга на кухне, до них долетал уличный шум — шелест шин, позвякивание троллейбусных проводов, неясный говор, обрывки музыки; плескалась струйка воды в раковине — текло время. Для них оно еще текло, а для той, что лежала за тонкой перегородкой, время остановилось.

— Зачем тебе это? — сказала Маша.

Потом были похороны Надежды Тимофеевны; до того самого момента, пока не начали закапывать могилу, Маша держалась стойко, но едва посыпалась на крышку гроба земля, как с ней произошло нечто страшное: она упала на колени и поползла к могиле, завывала в голос; ее стали поднимать, протягивали ей пузырек с нашатырным спиртом, а она все выла, тряслась всем телом и безумно рвалась к яме; было в этом неистовстве нечто древнее, идущее откуда-то из глубин ее деревенской родословной и ныне обозначившееся помимо воли в ней самой; и по этому ее отчаянию Николай Васильевич понял, к какому пределу пришла сейчас Маша. В высоко взлетевшем над могилой голосе ее слышал он не только скорбь по матери, но и признание вины перед ним, ее мужем, во всяком случае, так он думал и хотел, чтобы все и было именно так, потому что только одно слово и выкрикивала над могилой матери Маша: «Прости!»

Минула после похорон неделя, все улеглось, и наступило время Николаю Васильевичу решать, уходить ли ему из дому или оставаться, то есть, как принято говорить, сохранить семью, и если уж сохранить, то на каких началах.

Утром он дождался, когда Митька уйдет в школу — не хотелось все затевать при нем,— достал из кладовки чемоданы, стал собирать в них вещи первой необходимости. Занятый сборами, не услышал, как Маша вошла в комнату, увидел ее, когда потянулся за стопкой рубаш, лежащих на столе; его сразу же испугала ее бледность и необычная неподвижность лица, даже глаза поблекли и застыли, руки сжимали влажную тряпицу из старого капронового чулка — обычно она мыла ею раковину на кухне. Маша долго стояла молча, потом

сказала негромко, отделяя каждое слово от другого — так иногда учителя ведут диктанта:

— Ты выбрал не лучшее время... Сразу же после мамы... Митя не поймет...

Он не нашелся что ответить, смотрел, как она мяла в пальцах тряпицу,— черт знает почему, это ему мешало!

— Ты хочешь, чтоб я остался? — наконец проговорил он.

— Я прошу тебя об этом... Ты всегда сможешь уйти... потом... когда захочешь...

Все-таки они прожили вместе долго и у них было немало хорошего и трудного; ну и что ж, если кончилась любовь, иногда надо уметь и жертвовать и не позволять себе быть жестоким; он остался...

Они жили вместе, в одной квартире, вместе вставали по утрам, завтракали, расходились на работу, усталые возвращались в свой дом, и каждый из них жил своей жизнью, он своей, она своей, и две эти жизни почти не соприкасались; Маша стала строгой, много занималась Митей, много делала у себя на работе, а он вскоре уехал из Москвы на завод, проработал там два года — нужно было; приезжая в Москву, останавливался у себя и за все это время ни разу не почувствовал, что это его дом, просто было у него такое пристанище. Пока он так жил, появились и женщины, но встречи с ними, как правило, быстро исчерпывали себя, ему становилось скучно, и так это длилось, пока не встретил он Тоню... Вот же опять, стоило вспомнить о ней, как заныло сердце; нет, ничего от него не ушло, просто боль свою он загнал вглубь... И все-таки удивительно, что на него мог так подействовать висящий на стене в квартире Шергова портрет Маши, так подействовать, что он вспомнил то тяжкое для их семьи время...

11

Николай Васильевич и не предполагал, что совещание и обход цеха так вымотают его, ему приходилось втолковывать одно и то же по нескольку раз. Более других его раздражал начальник цеха Ельцов; этот высокий сутулый человек с обвисшим пиджаком на покатых плечах, крепким, тяжелым носом и вечно сонными глазами, казалось, знал каждый сантиметр цеха — как и где проложены подземные коммуникации, все лабиринты маслоподвалов, машинные узлы, — помнил, когда и кем из монтажников собрана та или иная линия, но объяснить смысл и последовательность операций он не мог, тут перед ним как бы вырастала неодолимая стена, о которую разбивался любой ход его мыслей. Чем больше общался Николай Васильевич с Ельцовым, тем яснее ему становилось — этот человек не может быть начальником нового цеха; возможно, он был хорош, когда цех строился — Ельцов проверял качество работ, принимал оборудование от заводов-поставщиков, следил за его монтажом; считалось — он будущий хозяин цеха и потому более других заинтересован, чтобы все было сделано на совесть. Но когда цех вступал в эксплуатацию, нужно уже было другое, и в первую очередь знания автоматике; он был хорошим инженером послевоенной школы; судя по тому, как обращались к нему монтажники, крановщики, подсобные рабочие, его уважали, может быть, даже любили, и он любил свою работу, пропадал сутками в цехе. В кабинете его стояла раскладушка, случалось, что Ельцов и ночевал в этом кабинете.

Шергов неотступно следовал за Николаем Васильевичем, дублировал его приказы и распоряжения, словно боялся, что без этих его указаний в цехе не выполнят то, что считал необходимым Николай Васильевич; Шергов довольно быстро заметил, как мучается Николай

Васильевич с Ельцовым, и поначалу начал было покрикивать на начальника цеха, потом стал жалеть его, болезненно морщился, будто сам получал удары. «Так на кого же тут опереться? — размышлял Николай Васильевич. — Как же это так случилось, что здесь нет людей, готовых к такой работе? Оставалось одно: расставить по местам операторов и начальников узлов, последовательно обойти их всех и проверить, как они готовы к завтрашнему дню. Когда Николай Васильевич отдал команду, чтобы все прошли на свои места, а Ельцов побежал проверять, как выполняется эта команда, Шергов сам заговорил о начальнике цеха:

— Понимаешь, Николай Васильевич, он ведь мужик крепкий, настоящий мужик, другого бы мы и не поставили...

Николая Васильевича поразил тон Шергова, в нем пробились заискивающие нотки, они так не подходили Шергову, что тот и сам смутился, откашлялся и вдруг рассердился:

— Он у нас лучшим начальником цеха был. Потому его и на этот кинули. — И уж совсем задиристо произнес: — Абсолютно честный человек!

— Разве я эти качества поставил под сомнение?

— Нет.

— Так зачем же об этом?

— Ельцова с этого цеха снимать нельзя, — твердо сказал Шергов.

Ах вот как! Николай Васильевич едва успел об этом подумать, а уж Шергов бросился на защиту Ельцова, хотя Николай Васильевич ничем своего намерения не выказал, зная, как сложна такая должностная перемена и вообще как трудно найти человека на такое место; но уж коль Шергов начал этот разговор, то надо было выяснить все дальше.

— Почему же его нельзя снимать?

— Он на этот цех жизнь положил, — убежденно сказал Шергов. — Мы его клеем, клеем, а он терпит. Но если посмотреть в корень... У него жена в больнице после операции помирала, а он тут оборудование принимал. Дважды сюда за ним приезжали, говорили: жена проститься хочет. А он цех не мог оставить... Конечно, я понимаю: эта история может выглядеть сентиментальной чепухой. Но рабочие ее тут вместе с Ельцовым пережили, и она на них очень сильно в свое время подействовала еще и потому, что Ельцов за каждого человека страдает. Между прочим, ни одного дня на бюллетене не был, а у него легкое прострелено. И не размазня он, не манная каша. Требовательный мужик. Его слушают. Как можно такого снимать?

— Хорошо, — кивнул Николай Васильевич, — вопрос ставится так: способен Ельцов руководить этим цехом?

Шергов ответил быстро, будто заранее подготовился:

— Если найти ему помощника... Его опыт и знающий человек...

— А если не найдем?

— Найдем, — убежденно ответил Шергов. — Есть у нас тут один парень...

Ну вот, все объясняется очень просто. Шергов и сам понимал: рано или поздно возникнет разговор, что Ельцова надо снимать, и потому первым его затеял — все-таки он был хозяйственным, и с немалым опытом.

— Тогда зачем же Ельцов, если есть такой парень? — спросил Николай Васильевич.

— Не волевой... Знающий парень, ему по уму и не такой цех под силу, но руководящего таланта в нем нет. Одним словом, не капитан.

— А Ельцов капитан?

— Вне всяких сомнений. Обязательно его надо сохранить.

— За чей счет? — сердито спросил Николай Васильевич. — За чей счет сохранять будем и почему именно на этой должности?

— Как это «за чей счет»? — растерянно проговорил Шергов. — Он же не бездельничать тут будет.

— Но займет не свое место. Не так ли?.. Наверное, его можно сделать начальником службы в заводоуправлении, и он будет хорошим начальником, но это специальный цех, один из самых новых в стране, и здесь мало уметь, еще надо знать... Занять не свое место — это всегда сидеть на нем за чужой счет...

— Не совсем так, — проговорил Шергов; теперь он явно нервничал, торопливо поправлял очки двумя пальцами, потом приглаживал волосы, кепку он держал в другой руке, мял ее сильными пальцами. — Ведь до нынешнего дня был на своем месте...

В голосе его больше не было той уверенности, с которой он начал разговор, да откуда она могла быть у него, если он сам понимал — Ельцов один не сможет справиться с цехом; но, видимо, для Шергова существовало нечто более важное, чем трезвый, рациональный подход в решении этой задачи, ну, скажем, то уважительное отношение, какое испытывали к Ельцову рабочие, и убрать его для Шергова означало подорвать и свой авторитет, поколебать репутацию справедливого человека, которую он так оберегал; могли быть и другие причины, допустим, такие: лишить Ельцова всего этого дела — жестоко, антигуманно... Подобные ситуации давно были знакомы Николаю Васильевичу, и для себя он решил, как быть в таких случаях: если поддаться жалости, или, как принято говорить, «чувству справедливости», к которому непременно взывают, когда возникает такая история, и оставить у руля человека, к делу непригодного, рано или поздно это приведет к осечке: знающий помощник не всегда защита. У начальника власть, он принимает решение; если начальник не обладает нужными знаниями, значит, больше шансов на то, что приказ его может оказаться ошибочным. Но есть правота и за Шерговым: люди не принимают тех, кто из-за разума позабыл о сердце, и потому убрать уважаемого всеми человека только потому, что его знания, его опыт устарели, значит проявить черствость, бессердечие, и оправдать такое почти невозможно. Да, есть только два пути: убрать начальника или не убрать; всякие придумки с помощниками — уловки, и для Николая Васильевича существовал только первый путь — убрать, хотя и был риск вызвать недовольство людей, но тут надо было твердо знать: этот путь более гуманен, чем второй... Так разве Шергов этого не знал?.. Что-то жалкое появилось на лице Антона Петровича, эта жалкость притаилась за очками в потускневших его глазах, в орубевших складках рта; нет, дело, видимо, было не только в Ельцове, а в чем-то более значительном, более важном, о чем он умалчивал и от этого страдал. Николай Васильевич не стал докапываться, еще будет время, а сейчас его заботило другое: на кого все-таки здесь опереться?

— А где этот парень? — спросил он.

— Он там, на командном...

Во время обхода Николай Васильевич определил место, откуда он завтра будет командовать пуском, это была площадка возле кольцевой печи, с нее просматривалась большая часть линии, там же стояла ЭВМ, он приказал поставить на площадке письменный стол — вот это место сразу же и назвали командным пунктом.

— Пойдем, познакомимся.

Шергов двинулся неохотно. Они прошли по широкому пролету,

косые лучи били в огромные окна, где-то в середине цеха лучи перекрещивались, ломались и образовывали бесформенные туманные столбы, и вот за одним из них возникла женская фигура в брюках и свитерке; еще не увидев лица женщины, Николай Васильевич угадал — это Наташа...

Они были на командном пункте все трое, возились с ЭВМ и датчиками. Николай Васильевич взглянул на письменный стол, там стоял микрофон селектора. Наташа, увидев Николая Васильевича, улыбнулась — все-таки у нее была неожиданная улыбка.

— Привет! — помахала она рукой.

И те двое посмотрели на него одновременно, один из-под очков доброжелательно и откровенно, а другой чуть насмешливо-высокомерно, по-мальчишески задиристо, так смотрят студенты на молодого профессора, чтобы подчеркнуть свою независимость.

— Мой муж,— сказала Наташа, указывая на очкастого.

— Латышев... Павел.— Рука была большая и мягкая.

— О нем и речь,— сказал рядом Шергов.

Но уж тянул руку другой, черноволосый, в сером свободном свитере:

— Андрей Ризодеев.

— Как?

— А он наш, с нашей слободы,— усмехнувшись, пояснил Шергов.— Из блудных сыновей. Покружил-покружил по свету, да опять сюда прибежал. Нюх-то у него есть. Вовремя прибежал, как раз нам специалисты его профиля нужны... Электроника...

Андрей рассмеялся, от этого на его смуглых щеках образовались ямочки, было что-то лихое, ухарское в нем, и заговорил он, кривляясь под мужичка:

— А мы и другое можем, к примеру блоху подковать.

«Значит, трое,— подумал Николай Васильевич,— не так уж мало для начала...»

— Селектор подключен? — спросил он, кивнув на письменный стол.

— Так точно,— все еще слегка паясничая, доложил Андрей.

Теперь Николай Васильевич твердо знал, что делать: незачем обходить участки, надо устроить селекторную переключку, это будет одновременно и проверкой и репетицией, и проводить эту переключку будет не он, а вот этот Павел Латышев — посмотрим, что он умеет; ну а чтобы у операторов не вызвать ненужных толков, почему-де у микрофона не Ельцов или Шергов, а Латышев, его можно назвать хотя бы начальником штаба, который организуется только на завтрашний день.

— Объяви — обхода не будет,— сказал Николай Васильевич Шергову,— вместо него переключка. Поведет начальник штаба Латышев.

Шергов все понял сразу, привычным своим нервным движением поправил очки, метнул взгляд влево — там стоял Ельцов, Николай Васильевич и не заметил, как тот подошел; Ельцов стоял, устало свесив руки. Потом Шергов взглянул на Латышева, на краткий миг обозначилась на лице директора неприязнь, но тотчас стерлась, сменившись решимостью. Шергов сел к столу, нажал кнопку селектора и объявил то, что велел Николай Васильевич, потом встал, уступая место Латышеву.

Павел беспокойно потирал руки, смущенно покраснел, его мягко очерченные мальчишеские губы выдвинулись вперед; все, выжидая, смотрели на него: Андрей сочувственно, с него сразу сошла лихость, и было видно, что он переживает за товарища; Наташа — требовательно. Павел повернулся к ней и будто спросил глазами: ну как?

и получил ответ: давай; тогда он вздохнул, опустился на стул, подвинул к себе лист бумаги и нажал кнопку селектора.

— На раскладке, докладывайте,— прозвучал его голос и разнесся многократным эхом под сводами цеха; Павлу сразу же ответили, и он стал спрашивать.

Николай Васильевич следил за ходом вопросов и ответов; да, Латышев проводил переключку умело, когда выяснялась какая-либо недоделка, вызывал службы, давал задания и тут же записывал их себе для памяти. Он вел дело с таким расчетом, чтобы все было готово к завтрашнему утру, хотя пуск цеха был назначен на семнадцать ноль-ноль, он правильно делал, оставляя такое резервное время; чувствовалось, что Павел хорошо знал участок, дотошно выспрашивал о каждом узле, стараясь ничего не пропустить, и вот эта-то дотошность постепенно начинала угнетать, переключка быстро теряла темп, становилась вялой и однообразной, исчезло самое главное— азарт работы, и длинным, длинным казался его путь проверки.

Николай Васильевич взглянул на часы — двадцать минут прошло с тех пор, как Латышев начал переключку...

— Первичная обработка,— назвал Павел второй участок.

На этот раз ему ответили не так быстро и не так охотно — да, с такой дотошностью переключку можно растянуть на сутки. Николай Васильевич оглядел окружающих, прикидывая, понимают ли они, что Латышев проваливается; Шергов понимал, он смотрел на Николая Васильевича с таким видом, будто хотел сказать: «Ну что, взяли?»; Ельцов по-прежнему был невозмутим; у Андрея появилось страдальческое, кислое выражение; Наташа была вся напряжена, губы по краям сломались в крутые скобки, глаза сузились и потемнели, и вся она подалась в нетерпении вперед, и едва Латышев получил ответ по селектору с участка первичной обработки, как Наташа не выдержала, резким движением повернула от Павла микрофон к себе, проговорила:

— Дай-ка мне.

Павел, подчиняясь ей, отодвинулся, она тут же начала спрашивать, и Николай Васильевич отметил: выбрала она самое главное, самое существенное, до которого бы Павел добирался долго и сложно.

Шергов сделал движение рукой, собираясь остановить Наташу, но Николай Васильевич жестом показал: пусть ведет. Голос ее стал увереннее, ей охотно отвечали, переключка пошла энергичней, веселей, как будто в большого вдохнули живительные силы и пульс его, до того затихавший, быстро стал наполняться. Цех ожил, у Наташи было отличное свойство выбирать главное, она словно бы угадывала заранее самые слабые места участков; в ней больше не было нервной натянутости, как только она повела переключку, так сразу же и освободилась от напряжения, просветлели глаза, зарозовели щеки, а голос ее звучал над цехом, и в нем была такая знаковая, спокойная и вместе с тем повелительная интонация, и теперь уж Николай Васильевич не сомневался, слышал ли ее прежде, да, слышал, именно так вел совещания Юрий Сергеевич Поповский, и нужно было пройти хорошую выучку у этого человека, чтобы научиться так командовать.

Она опросила все участки за полчаса, отодвинула от себя микрофон усталым жестом, в нем не было и тени торжества победительницы — закончила свою работу, и все.

— Спасибо,— сказал Николай Васильевич.

Ельцов вытирал потное лицо большим клетчатым платком, он вспотел внезапно, весь покрывшись мелкими каплями; да, безразли-

чие его было только внешней защитой, и эти полчаса, что командовала Наташа, дались ему нелегко; пока Ельцов вытирал лицо большим платком, Шергов смотрел на него с опаской, а потом мягко, как ребенку, сказал:

— Пойдем, Гаврилыч, отдыхать, на сегодня будет...

Они двинулись втроем к кабинету Ельцова, там Николай Васильевич сделал несколько распоряжений относительно завтрашнего дня, потом опять же втроем они вышли из цеха; их ждали машины.

Уже стемнело, за черным лесом угасали остатки заката; Шергов поспешно попрощался с Николаем Васильевичем, пожелав ему доброй ночи, и, взяв Ельцова под руку, повел к своей машине. Николай Васильевич подождал, когда они уедут, закурил; шофер его сжимал баранку руля, заведя мотор, но Николай Васильевич не спешил, он взглянул вперед на дорогу и увидел на фоне гаснущего заката силуэты троих, и тотчас оттуда донесся всплеск смеха, и тогда Николай Васильевич крикнул:

— Эй, молодые люди!

Они услышали его, остановились.

— Садитесь в машину, подвезу!

Они подбежали, стали усаживаться на заднее сиденье, шумно радуясь, что не надо идти к остановке автобуса, ждать, но едва они расселись и машина тронулась, тотчас же и примолкли.

— Почему тишина? — спросил Николай Васильевич.

— Перебариваем минувший день. — Это ответил Андрей Ризодеев.

Николай Васильевич повернулся к ним, они сидели в рядок, тесно прижавшись друг к другу. Наташа посредине; при тусклом освещении приборов он мог лишь смутно различить их лица. Да, это была его опора на завтрашний день, теперь-то он знал это твердо, и он подумал: вот они сделают свое дело, он уедет из Высоцка, а затем все это забудется как не очень значительный эпизод; пройдет год, два, и Николая Васильевича, пожалуй, не вспомнят эти ребята. «А зачем же их сейчас отпускать?» — и, обрадовавшись этой мысли, он предложил:

— Как вы насчет того, чтобы заглянуть ко мне?.. Посидим, поболтаем.

Ему не хотелось, чтобы они истолковали его предложение как приказ, но, наверное, так и вышло, потому что все трое сидели, притихнув, да и что им было отвечать: приказ выполняют, а не обсуждают; Николай Васильевич тут же стал лихорадочно искать, как же поправить дело, как снять с приглашения налет официального, и вспомнил: бутылка коньяка! Она стояла в серванте, ее приготовил Шергов для встречи. Николай Васильевич сказал легко, как бы между прочим:

— Есть коньяк, можно сделать яичницу и, конечно, чай.

— Ого! Это уже серьезно, — весело сказал Ризодеев. — Это уже смахивает на званый ужин. Я, ребята, с детства не пил коньяк. Кто еще за, мальчики?

Все рассмеялись, и Николай Васильевич понял, что сделал правильный ход...

Они шумно ввалились в главковскую квартиру и сразу же принялись за дело, расставили на столе рюмки и тарелки; пока Николай Васильевич мылся, готова была и яичница, да в холодильнике еще нашлась закуска: консервы, сыр, колбаса; он решил дать им полную свободу, главное — не быть хозяином, пусть себя чувствуют так же легко, как когда-то они своей компанией у Поповского. Власть за столом сразу же захватил Андрей Ризодеев; потряхивая спутанны-

ми черными волосами, он разлил всем коньяк, приподнял рюмку, сказал обычное в таких случаях:

— Со свиданьем.

Они выпили, стали закусывать, Андрей начал рассказывать анекдоты; рассказав один, принимался громко хохотать, за столом стало шумно, весело.

— А не скучно вам тут живется? — спросил Николай Васильевич.

Павел бросил на него мягкий взгляд, в нем был упрек: ну как же это вы не понимаете,— и сказал очень серьезно, выпятив вперед пухлые губы:

— Почему «тут»? Разве имеет значение место? Важна степень интересов. У нас она достаточно велика, чтобы еще оставалось место для скуки. Я, конечно, понимаю, что именно вы имеете в виду. Но ведь надо сказать, что внеинтеллектуальные интересы, в сущности, являются второстепенными, как правило, они разрастаются, когда нет условий для полнокровной творческой жизни. У нас они есть...

«Все правильно,— думал Николай Васильевич,— все очень правильно, он говорит, как статью пишет... Ведь это ж надо так уметь говорить». И он посмотрел на Наташу; она склонилась над тарелкой, волосы ее светились, закрыв половину лица, свет падал на них сверху, она слушала Павла небрежно. «Ну и как же это вышло, что они стали мужем и женой? А ведь такая женщина не пойдет без любви... Или я чего-то не понимаю. Нет, никогда не постигнуть тайн супружества...— И он вспомнил о догадке, возникшей у него в машине, когда возвращался из «Гайки».— Надо проверить, обязательно надо проверить...»

Уйдя в свои мысли, он упустил момент, когда завязался спор между Павлом и Андреем, и очнулся в то время, когда Ризодеев, суетливо размахивая руками, сердито говорил:

— Ни фигя подобного!.. Я поездил, посмотрел... Это дребедень, что человек не меняется. Все, все в нем переиначивается. И любовь сейчас другая, чем была пятьдесят лет назад, и мораль, и отношение к жизни. Над вчерашней трагедией можно смеяться, а над комедией плакать. Да сами-то посудите: если человек неотъемлемая часть природы, то, преобразуя ее, человек преобразовывает и себя. Только так и возможно движение. А если не будет возрастать власть человека над собой, то и прогресса не будет. И хотите вы этого или нет, но новый человек рождается и у нас на глазах...

— Ну и какой? — мягко спросил Павел.

— А черт его знает! Тут еще приглядеться надо. Все зависит от того, что будет признано общими ценностями, что примут за бесчеловечное...

Николай Васильевич, слушая их, почувствовал: все, о чем они говорят, ему неинтересно; он уже отвык от таких споров, в свое время довольно накричался при словесных схватках, порой до того, что и голос срывал, сейчас он мог признать нужность спора только по какому-нибудь конкретному поводу, да и то если необходимо было найти точный вывод, а все остальное, как говорят у них в министерстве, «мытый пар», «молодежные посиделки»... Господи, и когда же это случилось с Николаем Васильевичем, что стал он пожилым человеком, когда же пролетели годы и что было в них?.. Он работал как шальной — вот что было в эти годы, чудовищное упоение работой; он поверил своему учителю Поповскому, когда тот увидел в нем организатора: «В науке вы, пожалуй, кое-чего добьетесь, ну, будете средним профессором, да у нас таких профессоров

сейчас хоть пруд пруди, а вот организаторов — раз-два и обчелся, идите на производство, Коля, такая ваша задача: держаться на линии «наука — техника». Он ему поверил, и пошел по этому пути, и многое, очень многое сделал, но все это были дела, а сама жизнь где? Или она и состояла только в делах этих? Куда ушли годы, куда исчезли? А рядом звучали давно знакомые слова:

— ...Все будет меняться — и природа и техника, а суть человека неизменна...

— Ну хватит!

Она произнесла это негромко, но властно, и мальчики послушно примолкли, мальчики с уважением, как на старшую, смотрели на нее.

— Может, мы наконец выпьем за хозяина?

— Ну-ну,— погрозил пальцем Николай Васильевич,— какой же я тут хозяин...

— А все же...— Она первая чокнулась с Николаем Васильевичем, потом потянулись остальные.

Он выпил, поставил рюмку и встал, чтобы взять с письменного стола новую пачку сигарет; как только он поднялся, то заметил — все трое сразу же насторожились; наверное, все это время, пока болтали, ждали — он вот-вот перейдет к тому главному, ради чего привез их сюда; значит, они так и не поверили в приглашение на вольную беседу. «Ну что же», — усмехнулся Николай Васильевич, содрал хрустящую обертку с пачки, закурил и, снова сев к столу, доверительно спросил:

— Ну так, ребята, кто же, по-вашему, может стать начальником колесопрокатного?

Он старался говорить шутливо: дескать, беседа у нас не официальная, можно отвечать, а можно и уйти от ответа.

Но все трое были серьезны: Андрей настороженно оглядывал товарищей, Павел снял очки и, прикрыв слабые веки, провел несколько раз ладонью по лицу, Наташа разминала в пальцах сигарету; она внезапно вскинула голову, чтобы ответить, но Андрей опередил ее.

— Она! — воскликнул он, быстро кивнул в сторону Наташи и добавил: — Латышева!

Николай Васильевич решил не менять полшутливого тона, спросил с усмешкой:

— Доводы?

Андрей вытянул над столом раскрытую ладонь и, загибая пальцы, произнес:

— Хорошая инженерная школа — раз, плюс волевое начало — два, плюс спокойный характер — три...

— Минусы?

— Женщина,— с улыбкой вставила Наташа.

— Раз,— загнул палец Николай Васильевич.

Но Андрей не принял шутки, внезапно рассердился:

— Чепуха! Предвзвешенности!

И Николай Васильевич, глядя в его черные глаза, подумал: «А что-то в этом парне шерговское». Но что же именно — определить не смог и тут же усмехнулся над собой: ведь внешне ни одной схожей черты...

— Ну а вы бы, Андрей, потянули?

Ризодеев тут же скривился, как в цехе, когда его представлял Шергов, ямочки образовались на его смуглых щеках, он протянул:

— Не можем... Зелены, батенька, не по нас бечева...

— Ну а если серьезно?

— А если серьезно... то нет у меня такой школы, как у Латышевой... Со временем будет, а сейчас нет.

— Понятно,— кивнул Николай Васильевич и перевел взгляд на Павла.— Ну а вы?

Павел так и не надел очков, протирал байковой тряпицей стекла, делая пальцами размеренные неторопливые движения; он вежливо улыбнулся пухлыми губами.

— Ну какой из меня начальник.

— То есть как «какой»? Вы инженер.

— Возможно,— все еще продолжая добродушно улыбаться, отвечал Павел.— Но у меня нет, так сказать, стиля. Я имею в виду умение держать людей в руках.

Николаю Васильевичу не захотелось доказывать, что этому-то обычно быстро обучаются на заводах, он и не заметил, как утратил полушутливый тон и заговорил по-деловому. Когда повернулся к Наташе, она смотрела на него бесстрастными синими глазами, в которых не было ни ожидания, ни любопытства, и от этого взгляда он ощутил беспокойство:

— А вы что думаете, Наташа?

Она усмехнулась:

— Мы ведь договорились: я женщина.

Он погрозил ей пальцем:

— Хотите сделать из меня женоненавистника?

— Ну что вы, Николай Васильевич! — В уголках ее губ собрались ироничные складки.— Тех, кто не любит женщин на руководящей работе, должны называть иначе... Но, наверное, пока еще не придумали нужного термина.

Наташа поправила сбившиеся на высокий лоб светлые волосы, стряхнула ударом пальца пепел сигареты, и тотчас исчезла ироничность с ее лица, она заговорила неторопливо, серьезно:

— Конечно, я бы смогла, но... Тут дело вот в чем, Николай Васильевич. Пока еще начальник цеха — это не только производство, а и квартиры, повестки из военкомата, звонки из вытрезвителя, приглашения на ковер... Я к этому не приспособлена. Я инженер,— она опять усмехнулась,— чистой культуры. Многочисленные обязанности начальника не дадут мне сделать того, что задумала... Вот так.

«А сильная она баба»,— подумал Николай Васильевич, и то беспокойство, что возникло в нем, когда он начал с ней разговор, обернулось раздражением — в чем-то Наташа сделалась ему неприятной. «Уж очень тверда в своих мыслях,— подумал неприязненно, может, потому, что она так, свысока, сказала об обязанностях, а может быть...— Ни в чем не сомневается, а ведь женщина». Он почувствовал, что устал от разговора, постарался улыбнуться, сказал:

— Возможны и такие мысли... Ну что же, спасибо, инженеры, за откровенность. Тут в бутылке еще осталось, выпьем на посошок.

— Да, да, час поздний,— подтвердила Наташа.

Он проводил их, потом прибрал со стола — не любил оставлять беспорядка в комнате до утра, это стало у него привычкой в частых поездках; — с удовольствием лег в постель, но уснуть сразу не смог. «Какого черта я полез с этими вопросами?» Но тут же прислушался к себе: что же все-таки его раздражает?.. Да, видимо, эта девчонка задела больное... «Я инженер чистой культуры...» Конечно же, он был «технар» — в институте у Поповского любили это словечко,— «деловой человек», но причислить себя к лику откровенных технократов?.. Возможно, он что-то не понимает в таких, как Наташа, в разное время вырастают разные «технари». После разговора с ней осталось странное ощущение: она один раз сделала выбор цели и

идет к ней без колебаний. А вот ему приходится чуть ли не каждый день выбирать; что ни шаг, то поиск варианта, можно решать так, а можно эдак, пока твои решения не объединятся в то, что называется системой поведения...

12

И все же он хорошо выспался и утром был бодр, после холодного душа растерся докрасна махровым полотенцем, он любил в себе этот взвинченный подъем нервов, когда кажется — все нипочем, важно было сохранить его в себе до вечернего часа, когда назначен пуск цеха. Он позвонил на завод, и Шергов сообщил, как поработали за ночь наладчики, что успели сделать в цехе и что осталось. Этот директорский доклад успокоил его, и он решил не ездить с утра на завод, там обязательно наберется множество различных дел, ими придется заняться, и он только замотается. Подумав, он набрал номер «Гайки».

— Ах ты негодник, — услышал он голос Софьи Анатольевны, — спаиваешь молодежь, а про меня совсем забыл. Или решил: наплевать тебе на старую бабу?

— Совсем наоборот, — улыбнулся он. — Звоню, чтоб назначить свидание.

— Когда? — тут же по-деловому спросила она.

— Сейчас.

— Сейчас я не могу... Обожди, я чуть-чуть подумаю... Ну вот что, сегодня прекрасный день, а я давно не вылезала из своей берлоги. Кстати, мне нужно сделать кое-какие покупки... Знаешь что, давай встретимся у почты. Это тебе назло, там всегда назначают свидание молодые... В одиннадцать. Договорились?

— Договорились.

Спустя полчаса после этого разговора он вышел на улицу; день и впрямь был хорош, небо ослепительно синее, все вокруг было залито солнцем, после многодневного мокрого ненастья сочно, почти как весной, зазеленела хвоя сосен. Он долго шел новым кварталом, шагать было легко и приятно, потом как-то сразу открылась старая улица с приземистыми домами, впереди высилась церковь без купола. Шергов ему уж рассказал об этой церкви: ее пытались взорвать в двадцатые годы, да неумело соорудили заряд, и обвалился только купол, а стены остались целыми. И с тех пор никто не знал, что делать с церковью: восстановить — очень сложно, совсем снести — не хватало у горсовета средств, так она и стояла бесполезно, а за ней возвышался и впрямь похожий на петербургский дворец, покрашенный в зеленое, бывший дом заводчика, — это был центр города, тут были и новая гостиница и кубообразная почта, старые торговые ряды, эдакая одноэтажная маленькая копия Гостиного двора, и рядом с ними новый из красного кирпича и стекла универмаг... Да, это был город со всем тем, что бывает в городах, а их множество объехал Николай Васильевич от больших до малых, и так как сам он был человек городской, то и любил все по-настоящему городское: и утренний запах мокрого асфальта, и заманчивый полусвет по вечерам в кафе и ресторанах, и людской поток на тротуарах, и шелест листвы при электрическом свете, и многое, многое другое. И когда он попадал в незнакомые города, то старался побродить пешком по их улицам, чтобы лучше запомнить, и по-своему запоминал: призрачное смещение зданий в белые ночи Ленинграда, бойкий говор и панибратскую толкотню Одессы, а когда был в Европе, то тоже запоминал таинственную тишину и скуку аккуратненьких немецких городков, толпу лондонских улиц, где каждый

живет и движется отъединенно друг от друга, безразличный к чужому облику, каким бы неожиданным он ни был, безразличный и ко всему остальному. Но был для Николая Васильевича город в Европе, куда он въезжал всегда с охотой и радостью, город, вызывающий в нем беспредельное уважение, какое может только вызвать человек, победивший невероятные страдания,— это была Варшава. Когда он впервые туда попал, его потрясло все, что он узнал об этом городе, как по старинным чертежам варшавяне восстанавливали дом за домом, отливали заново погибшие памятники, чтобы только сохранить облик города, не дать ему стереться, это был адский труд, немыслимый, беспримерный, и люди, решившиеся на этот труд, вызывали у Николая Васильевича глубочайшее уважение, он любил их, любил их шутки, смех, их рассказы и легенды и любил бродить до полной усталости по этому городу пешком... И Высоцк был город, он стоял в стороне от магистральных дорог. Но тоже пережил свои трагедии: два месяца гуляла по нему война, и хотя здесь не было бомбежек, он узнал бессонницу, смерть, насилие оккупации.

Софья Анатольевна опоздала на десять минут, она кинулась к нему, сжимая в руках уже чем-то набитую сумку, лицо ее покраснелось, вспотело.

— Кажется, становится жарко, ты не находишь? — сказала она, отдуваясь.

Он отобрал у нее сумку, взял под руку и повел от почты.

— Ну, знаешь что, — сказала она, — мы с тобой не мальчик с девочкой, чтобы гулять по улицам даже в такую прекрасную погоду. У меня гудят ноги и стреляет в позвоночнике — проклятые соли... Мне ведь нельзя поднимать более трех килограммов, а я нагружаюсь, как вьючное животное... Вон там довольно приличное кафе. Не обращай внимания на это традиционно-идиотское название... Ну, люди не хотят думать, сейчас век стандартов. Если уж есть «Улыбка» в одном городе, она должна быть во всех остальных. Я бы с удовольствием там посидела, и если ты меня еще накормишь...

Они пересекли улицу и вошли в кафе; в зале было совсем немного народу; они заняли столик в углу, у окна, Николаю Васильевичу здесь понравилось. Когда подошла официантка, то выяснилось, что, кроме яичницы, блинчиков и сосисок, ничего нет.

— Пусть будет всего понемногу, — сказала Софья Анатольевна. — И еще рюмку коньяка...

Им подали быстро. Николай Васильевич не спешил начинать разговор, он закурил, сидя напротив Софьи Анатольевны; сейчас, при дневном свете, она выглядела несколько иначе, чем там, вечером в «Гайке», — она очень постарела, и серые глаза ее вовсе не были прозрачны, они подернулись слабой мутной пеленой; выпила Софья Анатольевна поспешно, сладко почмокав губами.

— Так чего ты от меня хотел? — спросила она.

— Ничего, — ответил он, улыбнувшись. — Просто у меня свободное утро, и я решил: надо еще раз встретиться...

— Это ты расскажешь кому-нибудь другому, а со мной такие штучки не пройдут... Я не знаю, о чем вы там шушукались с Наташей в ее комнате, но если шушукались... Она произвела на тебя впечатление?

— Ну зачем же так, ведь у нее молодой муж.

— О, черт возьми! Как будто это сейчас имеет хоть какое-то значение... А что, она и вправду производит сильное впечатление на нашего брата мужика? Уж я-то это знаю... Постой-постой, ах, вот что тебя заинтересовало! Ну да, конечно, я должна была догадаться сразу, ведь тебя не было в Москве, когда все это происходило. Снача-

ла ты был где-то на заводе, потом в Лондоне. Да-да, вся история проплыла мимо тебя... Ну конечно, конечно... А все дело в том, Коленька, что вы ни черта не знали Юрия Сергеевича. Вы его обожали, вы в нем души не чаяли, он был для вас Учитель с большой буквы. А за обожанием трудно различить суть человека. Это уж поверь. Слепые щенята, и только... А я с ним жила много, ой как много лет и видела его всякого. А он очень разный был, наш дорогой Юрий Сергеевич. Иногда мне казалось, что он просто сумасшедший. И я тебе скажу почему. В нем была одна страшная черта — он был однолюб. А это, если хочешь знать, большое, большое несчастье для человека. Такие люди мучаются от своей ограниченности... Сначала по глупости я очень гордилась, что у меня такой муж. Я была для него богиней, и он все творил — для меня... Замкнутый круг: наука, техника и я. Ничего, а?.. Конечно, потом наступило такое время, когда я увидела, как утомительно быть женой однолюба. Но ведь что любопытно, он все понимал. Он мне, знаешь, что говорил? Бедные, бедные бабы, мужской век сильно возрос, сейчас и в семьдесят — мужчина. Добропорядочная женщина должна знать, что если она в юности своей вступает в брак, то ведь это лет на пятьдесят. Ой, а выдержит ли?.. Полвека все-таки... Вот так, Коленька. Но знаешь, что нас спасло? Его другая страсть, то есть его основная страсть — он любил работать. Ох как он любил работать, самозабвенно, отрешенно, и когда он уходил в мир своих мыслей, то все остальное отступало. Ты сам знаешь: есть такие профессоришки, что ужасно любят смотреть на подчиненных им женщин как на своих наложниц. А что, соблазн велик! Хорошенькая аспиранточка целиком зависит от такого профессоришки. Он дает ей тему, он решает, защищаться ей или нет. И представляешь, до того это стало нормой в некоторых НИИ, что сами девчонки начинают смотреть на профессора так, будто ему законно и естественно принадлежит право первой ночи. Через это, мол, надо пройти, и ничего, мол, тут особенного нет... Так о чем это я?.. Ах да, я говорила — он очень любил работать. Ему не важен был успех — важен был результат. Это ведь разные вещи. Можно добиться грандиозных результатов и не иметь успеха. А можно... Помнишь, как у Пастернака? «Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Конечно же, это позор, когда есть успех, а результатик крохотный... К Юрию Сергеевичу пришел успех, и заслуженный. Сначала он даже и не понял, что это успех. Не пользовался им. Ему достаточно было, что вы роились вокруг него... А потом вот что случилось, Коленька. Юрий Сергеевич словно бы вынырнул из своей работы на свет божий, плыл, плыл где-то в подводном царстве, высунул наружу из проруби голову, огляделся и увидел, что, кроме мира мыслей, есть еще и живой, конкретный мир. Вот этим и страшен однолюб. Как только он очнется — держись!.. Да нет, Коленька, ту женщину, Валерию Сергеевну, ты ее знаешь, я в расчет не принимаю. Там не его порыв, там ее инициатива. Высокая плотная баба с гладкой кожей... У нее была крепкая хватка. Кто-то придумал, что она чертовски умна... Нет-нет, я не по злости говорю. Сейчас уж чего же... Просто я знаю, что такие женщины отлично умеют пустить пыль в глаза. Они выучивают наизусть несколько редких мыслей и, играя в невинных девочек, преподносят журчащим полудетским голоском мужские откровения. Это почему-то действует сногшибательно. Валерия Сергеевна была деловой бабой. Ей нужна была диссертация, она ее получила и отошла. Ну и с богом. Правда, под занавес она устроила короткую, но бурную мелодраматическую сценку с выяснением отношений. Но это уж ей нужно было для самоутверждения. Нет, она не в счет... Главное произошло потом... Обожди, мне надо передохнуть. Я взяла слишком большой разгон...

Софья Анатольевна сняла со спинки стула кожаную пузатую сумочку, вынула оттуда платок, вытерла лицо, и когда кинула платок обратно, то вдруг уставилась в открытую сумку так, словно увидела там что-то живое; какое-то время Софья Анатольевна будто бы преодолевала соблазн — вынуть то, что она увидела, или отбросить сумку, — но вдруг решила:

— А, да ладно!

Тут же она извлекла из сумки небольшую, старинной работы серебряную табакерку; Николай Васильевич никогда не видел, как нюхают табак; ему казалось, что эта привычка отошла от людей в слишком давние времена; видимо, прежде она была так же обыденна, как курение; он понимал, что Софья Анатольевна стесняется, и все же с любопытством смотрел, как она открыла табакерку, и сразу потянуло тем знакомым сладостным запахом; она взяла двумя пальцами щепотку, вдохнула ее в себя, замерла, блаженство растеклось по ее лицу, оно сняло возбужденность и волнение, сделав его спокойным и чуточку высокомерным. Софья Анатольевна посидела неподвижно, потом посмотрела влажными глазами на Николая Васильевича.

— Я расскажу, расскажу, — словно успокаивая его, произнесла она, — ты знаешь, я ни черта не понимаю во всех этих фрейдистских штучках, хотя в свое время и прочла добрую половину книг этого Зигмунда. Наверное, я вообще не способна к таким наукам. Вот считать — это пожалуйста... Но, честное слово, во всей этой истории есть что-то фрейдистское. Иногда я думаю, что дело в том, что у нас не было детей. Это всегда чревато трагедией, а когда тебе переваливает за пятьдесят, трагедия становится очевидной. Вот еще почему такие старые крепыши, как Юрий Сергеевич, влюбляются в молоденьких, они для них не только объект обожания, но и воспитания. Возлюбленная и ребенок в одном лице... Но я тебе должна сказать, Наташу он не сразу заметил. Его ведь можно удивить только поступком, в болтовню он не верил. Ну вот, она придумала одну довольно оригинальную схему. В лаборатории в нее не очень поверили. А он прозевал. Она пошла на завод и добилась — вот это она умеет делать очень здорово и без всякого нажима, — чтобы схему приняли. Ее приняли. Результат был замечательный. Она притащила на завод Юрия Сергеевича, ткнула его носом: смотри! И он прозрел. Он увидел ее, услышал ее голос, заглянул ей в глаза. И с этого момента старый черт сошел с ума. Ты бы видел, что с ним творилось! Он вздрагивал и прислушивался, не идет ли она по коридору, он страдал, он писал стихи — жаль, что эти тетрадки остались в Москве, а то б я тебе показала, какие это стихи. Я дала потом прочесть их одному старому поэту, он схватил у меня эту тетрадочку и заорал: «Дайте я опубликую со своим предисловием, для меня это честь!» Конечно же, я на это не решилась. Все же интимное. Наташа стихов этих не читала. Я не даю. Незачем. Он в своей страсти дошел до того, что возненавидел меня. Но ведь я ему не мешала, я все видела и боялась хоть как-то вмешаться... Он стал ее учить. Он всего себя вкладывал в нее. Он почти, Коленька, перестал работать. Для него важна была только она одна. Весь мир — она. Мне кажется, что он и меня-то никогда так не любил... Но, честное слово, смешно наблюдать за такими мужиками. Он ведь не вылезал из своих широких одежд. А свой красный свитер доносил до дыр. А тут вдруг оделся, как фон-барон, заставил меня добыть замшевую куртку и кучу всяких водолазок. Смотреть на него было противно... Подожди-ка, я еще немного передохну...

Кафе быстро наполнялось посетителями; видимо, наступил обещанный перерыв, к ним за столик сели трое, принесли сосиски, и тот, что был помоложе, большеухий, с широким ртом и сросшимися пыш-

ными бровями, осторожно открыл под столом бутылку, они принесли ее с собой; Софья Анатольевна бегло взглянула на соседей по столу и тотчас отвернулась, они ей не мешали.

— Ну а дальше, в сущности, простая история. Она нашла себе этого Павла. Конечно же, он способный инженер, и Юрий Сергеевич считал, что он способный. Но он рыба. Больше о нем, пожалуй, ничего и не скажешь. Диванный мальчик... Он рос под полной опекой родителей, они его берегли, он грыз науку и шоколадки. И таким вырос: все знает, ничего не умеет. Но ей он пришелся. Видимо, она решила, что может сделать из него человека. А может быть, он ей понравился, потому что такой человек ни в чем ей помешать не может. Ну вот, она нашла этого Павла, и Юрий Сергеевич ничего поделать не мог. Он начал ревновать и сходить с ума. И дошел до инфаркта... Вот и все. Наверное, он прожил бы еще много лет, наверное... Но знаешь, Коленька, сейчас минуло время, я отошла от этой истории, и я не могу его осуждать. Он выбрал свой путь, и никто не может быть его судьей. Он познал нечто такое, что не всем дано, а познав, заплатил за это. Цена оказалась слишком велика. Жизнь... Но если точно, то остаток жизни, потому что большую часть ее он прожил интересно для себя и финал оказался ярким. Я, конечно, глупая баба и все у меня перепутано, но, видит бог, я его не только не виню, я ему завидую... Вот так, Коленька, теперь ты легко поймешь, почему я не могу без Наташи. Сначала я ее ненавидела, а потом получилось так, что я не могу без нее, как без дочери. Может, это еще и потому, что она сирота... Он так много в нее вложил, что порой я его узнаю в ней... Но ты не подумай, она не такая, как он. Она машина. Правда, эмоциональная машина, но все чувства ее — как направленный взрыв... Азарт, увлеченность идеей, воля... Ну а вот жалости, грусти, тоски — не жди, этого в ней нет, этого она не знает... Она самая настоящая машина, и сконструировал ее Юрий Сергеевич, и потому, Коленька, я ее люблю и не могу жить без нее...

Ушастый разливал водку по стаканам, делал он это аккуратно, старательно, плеснет из бутылки и прицелится, примеряет, всем ли одинаково, и, обнаружив, что в одном из стаканов больше, доликает в остальные. Софья Анатольевна посмотрела, как он это делает, и вдруг решительно пододвинула к нему свою рюмку:

— А ну-ка налей!

Произнесла она это так строго, что рука у парня дрогнула, и он, даже не взглянув на товарищей, чтоб получить их согласие, налил Софье Анатольевне в рюмку; она поспешно взяла ее и одним крепким глотком проглотила водку, не поморщившись.

— Вот это да! — восхитился ушастый. — Во бабка дает!

И едва успел он закончить, как пухлая рука Софьи Анатольевны взлетела над столом и она влипла парню такую звонкую оплеуху, что в кафе сразу же установилась тишина.

— Какая я тебе бабка, сопляк!

Парень растерянно почесал красную щеку, пробормотал по-детски:

— Да ладно тебе.

И Николай Васильевич не выдержал, расхохотался и тут же услышал, как все вокруг начали смеяться; парень сидел потный и растерянный, а Софья Анатольевна хлопала глазами, будто удивляясь, как же это у нее так вышло.

— Коленька, — просяще позвала она. — Уйдем, пожалуйста, из этого вертепа.

Он оставил деньги для официантки на столе и повел Софью Анатольевну к выходу, чувствуя, как все в кафе следят за ними; они вы-

шли на улицу, тут она глубоко вздохнула, и лицо ее при этом сделалось плаксивым:

— Ну что, Коленька, делать? Совсем я стала плоха. Ну за что, за что ударила этого милого губошлепа?

Он проводил Софью Анатольевну и, когда ехал на завод, подумал: вот все и встало на свои места, догадка подтвердилась; да он еще и прежде слышал, что Поповский перед смертью полюбил какую-то девочку, но слухи всегда слухи, а теперь он убедился, что все это было на самом деле... Он-то уж знал Поповского, знал, как мог тот увлечься, вряд ли это было некое слюнявое обожание старого профессора молоденькой аспирантки, Поповский не из таких, каждый шаг его по жизни был тверд, прочен, и потому это могла быть только любовь, то высокое состояние духа, через призму которого в последний год своей жизни он видел мир, и так велико оказалось это чувство, что оно всколыхнуло в нем иные силы, их хватило и на подлинное счастье и огромную душевную щедрость: ведь не случайно появилась тетрадь со стихами, новая книга о космизации науки и техники — светлая, яркая книга, полная надежд и уверенности в будущем, и, наконец, девушка Наташа, его ученица...

Николай Васильевич попытался представить их рядом: Юрия Сергеевича в замшевой темно-коричневой куртке и белой водолазке, плотно облегающей его короткую шею, — именно в таком наряде Николай Васильевич и видел его перед отъездом в Лондон, видел мельком, так что и поговорить было некогда, и все же обратил внимание, как он бодр, задиристо топорщился над широким лбом рыжеватый, с густой проседью ежик его волос и весело, даже лукаво поблескивали маленькие подвижные глаза; да, рядом с ним вполне можно было представить Наташу с ее ироничной усмешкой... Ничего не скажешь, они бы могли смотреться вместе... Он-то любил, а она?.. Кто же об этом знает...

13

Стоило Николаю Васильевичу переступить порог директорского кабинета и увидеть Шергова, как он тотчас понял — случилось неприятное. Антон Петрович смотрел из-под очков грустно, и сам он как бы усох, сократился в объеме и казался маленьким среди длинных рядов стульев с высокими спинками и старой черной клеенкой; Николай Васильевич поздоровался, и Шергов устало ответил:

— Привет.

— Что случилось?

Шергов долго не отвечал, тоскливо смотрел на Николая Васильевича, потом внезапно вскинулся и ударил раскрытой ладонью так, что стаканчик, в котором густо стояли очиненные карандаши, опрокинулся и карандаши раскатились по столу.

— Ельцов разбился, — с такой глухой досадой сказал Шергов, что глаза его даже повлажнели.

— Как это «разбился»?

— А так. — Теперь уж Шергов вышел из-за стола и зашагал вдоль длинного ряда стульев. — Видел кольцевую печь второй очереди? Там такой узкий котлованчик и мостки через него... Черт его туда занес! Он с этих мостков... Мог, конечно, на острый конец арматуры наскочить, тогда бы хана. Его нашли без сознания...

— Значит, живой?

— Нога сломана да рука покалечена... левая.

— В больнице?

— Дома... Не захотел в больнице оставаться, такой там дебош устроил... Сейчас дома сидит, сын возле него...

— Как же это случилось?

Шергов остановился у стола, вскинул голову и сморщился, будто ему причинили боль, и снова ударил раскрытой ладонью по столу.

— Да пьян он был. Пьян! — И тут же Шергов сдержал себя и проговорил спокойней: — Никогда не пил... А тут, футы-нuty, надо же... Ночью наливался, это он после вашей проверки. Я чувствовал — не в себе он, домой его отвез, а надо бы последить...

Николай Васильевич уловил упрек, он понимал: Шергов говорит все это не случайно. Конечно же, выстраивается логический ряд: приехал из Москвы начальник, показал, что Ельцов плохо подготовлен к работе в цехе, унизил его тем, что разрешил девчонке руководить проверкой узлов, а Ельцов считается здесь честным мужиком, всю душу вложившим в этот самый цех, он не выдерживает обиды, пьет с тоски, идет в цех и разбивается — так кто же в этом виноват? Конечно же, обидчик, приезжий человек. И как ни крути, молва так и определит: он палач, а Ельцов — жертва. Вот такие пироги!

— Ну что же, — сказал Николай Васильевич, — время еще есть. Едем.

— Куда?

— К Ельцову, разумеется.

Николай Васильевич еще сам не знал, зачем ему надо туда ехать и что он будет делать на квартире начальника цеха, он просто чувствовал: это единственно правильный шаг.

Шергов более ничего спрашивать не стал, нажал кнопку селектора и скомандовал:

— Машину к подъезду, немедленно!

Ельцов, оказывается, жил неподалеку от главковской квартиры, в одном из новых домов, сложенных из серого кирпича. Николай Васильевич и Шергов поднялись на третий этаж, на звонок им открыл высокий парень, Николаю Васильевичу почудилось — это тот самый, что присел нынче утром к их столику в кафе, такой же большеротый, с красными торчащими ушами.

— Пропускай, Виктор, гостей, — сказал Шергов.

— Пожалуйста, — прогудел парень, пошире растворяя двери.

Едва они переступили порог и оказались в тесной прихожей, где главное место занимала вешалка, на которой плотно висела самая разная одежда от телогрейки до меховой шубы, как из комнаты раздался властный недовольный оклик:

— Ну кто там еще?

Николай Васильевич усмехнулся, до сих пор он слышал, как Ельцов отвечал тихо, медленно и тяжело произнося слова, будто ему трудно с ними расстаться, это о таких сказано: говорит, как камни ворочает, — а этот оклик был громкий, энергичный.

— Что, или нельзя? — с насмешкой спросил Шергов.

— Один?

— Да вот с Николаем Васильевичем.

Из комнаты послышался торопливый звон посуды, и только после этого прозвучало так же властно:

— Прошу.

Квартира, куда они попали, была обычной, стандартной, из тех, что особенно неудобны по расположению комнат: одна большая, проходная, и из нее двери в две маленькие, Николай Васильевич слышал, что такую квартиру называют «распашонкой»; построена она была похуже, чем это делают в Москве: стены побелены, а не обклеены обоями, на полу не паркет, а крашеные доски, они рассохлись, образовав большие щели.

Ельцов сидел в кресле, положив на стул загипсованную правую ногу, левая рука его была на перевязи, под глазом синяк и на носу косяя ссадина.

— Хо-орош,— протянул Шергов,— брильянтовая рука да и только.

— Садитесь,— не обращая внимания на ехидный тон Шергова, сказал Ельцов.— Витя, подай начальникам стулья.

Того сонного выражения, которое постоянно наблюдал Николай Васильевич у Ельцова и к которому привык за эти дни, сейчас как не бывало, и, может быть, потому стало заметно, что глаза у Ельцова карие, жесткие; тут же Николай Васильевич уловил запах алкоголя; ах вот в чем дело — понятно теперь, почему звенела посуда, пока они топтались в прихожей. Шергов принюхался и покачал головой:

— Ты что же это, опять принял?

— А что, не могу? — задиристо спросил Ельцов.— Я ее лет пятнадцать в рот не брал, даже по праздникам. У Кати на поминках и то ни капли. А сейчас могу, сейчас я на свободе...

— Значит, понравилась. Ну а где же ты ее, грешную, среди ночи достал? Я ж тебя в двенадцать отпустил.

— А сын у меня на что?.. Витька, он в любой час из-под земли достанет. Он будь здоров какой доставала.

Николай Васильевич взглянул на Виктора; тот стоял, прислонясь к косяку дверей, и самодовольно ухмыльнулся от слов отца. «А может быть, это он был в кафе?» За спиной Виктора, видимо, находилась его комната, там на стене висела красная электрогитара, на столе стоял магнитофон и лежала стопка кассет. И у Митьки в комнате было то же самое — и гитара, и магнитофон, и кассеты, сейчас у всех парней одинаковые увлечения, да еще Маша этому потакает, высоченного роста парень — и в кого такой! — а носится с этой гитарой...

— Ну а в цех вы зачем пьяным? — вдруг сердито спросил Николай Васильевич.— Дома куда ни шло. Ваше дело, резвитесь... Но в цех, в цех зачем? Ведь еще чуть-чуть — и живым не быть!

Ельцов уставился на Николая Васильевича, помигал, пытаясь осмыслить услышанное, наконец покачал тяжелой головой и произнес нараспев:

— Эх, Николай Васильевич, Николай Васильевич, мы та-ак тут работаем! Ух как мы тут работаем, до самой, самой немоготы.

— А зачем? — все так же строго спросил Николай Васильевич.

— Это как «зачем»? — удивился Ельцов.— Для себя, стало быть, для плана.

— Разве кто-нибудь вас заставляет не выходить из цеха по двадцать часов?

Ельцов опять удивленно посмотрел на Николая Васильевича, и с его большого носатого лица будто бы медленно стала сходить невидимая пленка, придававшая чертам его тяжесть, и когда она сошла, обнажилось иное лицо: у глаз появились тонкие хитрые лучики, умная складка перерезала лоб, заострился взгляд.

— Такой разговор? — спросил Ельцов.— Ну-ну... Раз такой разговор... Это верно, Николай Васильевич, никто нас туда не гонит. Сами идем. От зари до зари все там, да еще ночь прихватываем. Может, плохо это, а? Да знаю, знаю, что скажете: не умеете работать ритмично, так и сидите сутками в цехе. А может, не потому сидим? Может, я только этим и могу свою душу наполнить, а больше для меня и нет ничего. Я в отпуск уйду, весь истомлюсь и раньше срока назад прибегаю. Телевизор мне ваш ну до фени. А вот в цехе для меня все сплошной интерес — от гаечки, от болтика до судьбы человеческой. Может, мы и чокнутые на работе, но без нее, сердечной, нет у меня ну ничего-

шеньки, никакой жизни и ни радости. Так привычны, так обучены. Вот и выходит, все счастье в ней одной, хотя она тебя частенько по самому больному бьет, зубами скрипишь, терпишь, но знаешь — без работы душа будет совсем пуста...

— Ну что это ты, как дьяк, запел, — поморщился Шергов.

— А ты погоди, Антон, погоди. Ты свое всегда скажешь. А я молчу и сейчас бы молчал, да вот видишь — выпил. — Он опустил длинную свою руку с широкой ладонью за кресло и извлек оттуда бутылку и стакан, поставил перед собой на пол. — Вот она, зараза, утешительница... Эх, Николай Васильевич, Николай Васильевич, что же это вы думаете: Ельцов ни черта не понимает? Ну вот вы показали вчера всему цеху, что девчонка может вести дело, а Ельцов, инженер со стажем, начальник, — ноль без палочки. И думаете, вы этим меня убили? Я ж сам знаю: пришел мой черед уступить дорогу. Давно я это знаю. На том промышленность и стоит: от одной техники к другой идем, что вчера еще хорошо было, сегодня старье. Я ведь тоже когда-то начальником становился, и другой начальник мне цех сдавал и говорил: «Пора настала, дорогой Сергей Гаврилович, я из выдвигенцев, а ты с дипломом, сейчас без науки никуда, бери цех и хозяйствуй». Горько ему было, обидно, но все же он меня при всех рабочих обнял и сказал: «Вот вам, друзья, новый начальник. Вместе с ним вам и плыть...» Вот так, Николай Васильевич, рано или поздно приходит твой черед, и мы это понимаем. Вон, кроме него, — кивнул неожиданно Ельцов на Шергова, — он про свой черед думать боится. Он в глаза жизни еще не посмотрел, не видит: этот цех только первая ласточка, а там другие один за другим поднимутся, потому что не может быть производство неоднородным, и оглянуться не успеет, как весь завод обновлен.

Шергов побледнел, порывисто поправил очки и тут же, пригладив нервным жестом волосы, прикрикнул:

— А ты говори-говори, да не заговаривайся! Про мой черед не твои заботы.

— Ну-ну, — протянул Ельцов и опять усмехнулся; усмешка эта вылепила большую, косую и глубокую, как шрам, складку от носа к подбородку. — Конечно же, ты еще до этого сознанием не дошел. До-ой-дешь... Эй, Витька, ты что все стоишь, плечом косяк подпираешь? Не упадет он, косяк-то. Чем слушать тут не твоего ума разговоры, пошел бы чаю сготовил. Гости ведь сидят!

Виктор отвалился от дверей, улыбнулся большим ртом и пошел вперевалку из комнаты, руки его вяло болтались вдоль туловища; Ельцов проводил сына взглядом, сказал:

— Вот вырос... А что в нем? Поди узнай! И когда вырос, и с чем в душе?.. Ну так вот, Николай Васильевич, я вот что хотел сказать: вы можете подумать, что обижаюсь я — без почета меня выставляют. Почет ведь не в том, чтоб слова и ценный подарок, а как тебе вслед рабочие будут смотреть. Тут я спокоен. И мне той радости хватит, что я этот новый цех строил и, как новорожденному, первые пеленки менял. Теперь в этот цех на начальника может и другой прийти. Та же девчонка или муж ее Павел. Пусть они приходят — народ знающий, со своим интересом. Может быть, все тут правильно... Но я о себе. Когда вчера задал себе вопрос: а чем же я буду дальше жить, чем душу заполнять? На пенсию рано... Вот этим тоску заливать? — кивнул он на бутылку. — Видишь вон, как пакостно кончилось.

— Паникер ты, Ельцов, — хмуро сказал Шергов. — Наговорил тут. Запутался... Что же, тебе работы не дадут?

— А мне не каждая нужна, мне только такая, чтоб всего опять меня забрала... Ее не всегда отыщешь.

Вошел Виктор, принес чайник, начал расставлять чашки на столе, и пока он это делал, в комнате стояла тишина. Все, что говорил Ельцов, было знакомо Николаю Васильевичу, он и сам не раз размышлял, что бешеный темп работы вдруг на каком-то этапе начинает превращать ее в самоцель, приходит почти слепое упоение делом, и нужно немалое усилие, чтоб остановиться, взглянуться вдаль и снова увидеть дорогу, по которой идешь.

Николай Васильевич окинул взглядом комнату: пустые побеленные стены, сборная мебель — видимо, никто здесь уютом не занимался, — на книжной полке несколько старых технических справочников; вот это и был дом Ельцова, куда приходил он только ночевать, изредка справляясь о домашних нуждах сперва у жены, а потом, после смерти ее, у сына Виктора; по утрам Ельцов поднимался, поспешно завтракал и шел на завод. Николай Васильевич вспомнил походку Ельцова: маленькие шажки, не вязавшиеся с его высокой сутулой фигурой, и трепещущий от движения, как на ветру, обвисший на плечах затертый пиджак; но достаточно Ельцову было перешагнуть порог цеха, как для него начиналась новая жизнь, настоящая: надо было решать множество задач и задачек, и люди шли к нему, и все тут было ему подвластно — дела на любом из участков и людская судьба, он был в центре событий, решал, помогал, поддерживал — что же еще нужно человеку?

— Мы не оставим вас без работы, — сказал Николай Васильевич.

— А с цеха все-таки снимать будете? — Он произнес это так, будто верил, что где-то еще маячит маленькая надежда.

— Надо.

Что мог поделаться Николай Васильевич? Только так он и должен был ответить, да и не новость он сообщил Ельцову, а подтвердил его же вывод; и как только он это сказал, то увидел, как втянул голову в плечи Шергов, словно и он приготовился к удару, и глаза его стали печальными.

— Пейте чай, — предложил Виктор, и в это время в прихожей раздался звонок. — Ну опять кто-то. — И пошел вперевалку к двери.

— Вон там сушки стоят, — сказал Ельцов; голос у него стал тихий, мирный, блеск в глазах угас, и появилось в них обычное ельцовское сонное выражение.

— Большой сбор, большой сбор, — радостно раздалось от порога, и в комнату вошел Ежов, он даже не вошел, а вкатился, кругленький, розовый, благоухающий одеколоном «Красная Москва», в сером новеньком костюме, пиджак расстегнут, при красном галстуке и красных подтяжках; он держал большую коробку с тортом. — Здравствуйте, товарищи, — весело кивнул Николаю Васильевичу и Шергову. — И ты здравствуй, болящий. Вот тебе на поправку торт.

— Да на кой шиш он мне сдался, — усмехнулся Ельцов, — я его и сроду-то не ел.

— Так ведь полагается! — радостно сообщил Ежов. — Больному всегда сладенькое полагается. Да ты посмотри, какое чудо!

Он ловко дернул за голубую ленточку, которой была перевязана коробка, приподнял крышку — торт и впрямь был чудо: в огромных белых и красных розах, а в центре два совмещенных сердца и надпись коричневым кремом: «Любите, любите, любите, молодожены!»

— Сильно, а! — вскричал Ежов и тут же сам рассмеялся. — Ну, Гаврилыч, ешь и поправляйся. Вот узнал про твою беду и прибежал попроведать. Все же свои. И фронтовики.

— Ну, зашел, и спасибо. Садись. Правда, я тебя в своем доме лет десять не видел.

— Так ты ведь не каждый год и калечишься,— весело ответил Ежов.

— Ну, если у тебя только такой повод... Эх ты, Леонид Кириллович, а ведь было дело, по девкам вместе ходили.

— Было дело,— подтвердил Ежов, а сам быстро оглядывал квартиру.— Ремонтик бы тебе надо, Гаврилыч. Это что же так жилищный фонд запускаешь?.. Ну ничего, это мы потом.— И потер пухлыми руками полукруглые плотные ляжки, повернулся к Николаю Васильевичу, сказал деловито: — Значит, сегодня начинаете, Николай Васильевич... Ну так я вот, собственно, по какому делу. Пуск — это событие серьезное. И не только для завода, но и для нашего брата строителя. Обойти это мероприятие считаю политически неправильно. Я там на счет прессы, конечно, позаботился, зная, что лезбный наш Антон Петрович по этому поводу и не шелохнется... Но пресса прессой, а у нас с вами живые люди, с ними и в дальнейшем дело иметь. Поэтому нужно этим людям и доброе слово сказать. Нужен митинг. Хорошо, чтоб вы, Николай Васильевич, сказали как человек из центра. Ну, хлеб-соль сделаем... Ты мне поморщся, Антон! Не в тебе дело — в людях... Вон корабль со стапелей на воду спускают — о борт его шампанское бьют, не жалеют. А у нас цех не хуже корабля. Митинг обязательно... Прямо в цехе, конечно... Ну, потом, естественно, товарищеский ужин. Я средства найду. Ну и ты, Антон... Да хоть сейчас не жмись! Событие! Вот и Николай Васильевич... Праздновать после трудов не грех, не все будни... Как, Николай Васильевич?

— Так ведь рядовой пуск, да и то первая очередь.

— А для нас и города нашего не рядовой,— с обидой сказал Ежов.— Для нас, может быть, коренное событие. Ну так как?

— Что же, делайте,— сказал Николай Васильевич и взглянул на часы — пора было на завод; он поднялся, протянул руку Ельцову: — Поправляйтесь, Сергей Гаврилович, главное, духом не падайте.

— Ну-ну,— кивнул Ельцов в ответ, пожимая руку Николаю Васильевичу, и снова косая складка усмешки перерезала его лицо...

Шергов в машине сидел нахохлившись, молчал, и Николай Васильевич молчал, он думал о Витьке; вроде бы ничего особенного не произошло в доме Ельцова, молча стоял этот парень, подпирал плечом косяк, ходил вперевалочку, и только ельцовские фразочки насторожили: «Вот вырос... А что в нем? Поди узнай. И когда вырос, и с чем в душе?..» То же самое мог бы сказать Николай Васильевич о своем сыне; вот с Машей у Митьки были контакты, они вместе куда-то ходили, о чем-то спорили, а Николай Васильевич видел сына мельком, давал ему денег, когда тот просил... Ну что он знал о Митьке? Парень ходил с длинными волосами, в затертой кожаной куртке и джинсах, любил брякать на гитаре, орать песенки на английском языке, к нему стала ходить девчонка по имени Настя, хорошая девчонка, губастая, с крепким бюстом и блестящими большими глазами, в коротенькой замшевой юбчонке, открывавшей высоко и волнуяще стройные ноги; она не кривлялась, не жеманилась, была проста, а Митька рядом с ней выглядел мальчишкой, в ней-то уже жила и расцветала настоящая женщина, а он — пацан пацаном. Глядя на них, Николай Васильевич думал: «Не дай бог поженятся, она ведь через год убежит от него искать настоящего мужика, он ведь к мамке привык, сам-то ничегошеньки не умеет». Он знал еще: Митька учился легко, наука давалась ему без труда — способный парень! — да и в институт он прошел довольно просто; правда, Маша сначала суетилась, все искала, кто бы помог, кто бы составил протекцию, но Николай Васильевич прикрикнул на нее, и она оставила эти хлопоты. Порой он удивлялся: ведь не так давно и сам любил кричать под гитару песенки, правда не

английские, а сочиненные ребятами его же возраста, тогда много было всяких бардов и менестрелей, в каждом институте свои, и девчонка у него была, стройная, тоненькая и тоже с большими глазами, он и женился на ней; но он мог жениться, потому что к тому времени уже знал, почем фунт лиха, наработался, чтоб прокормить мать и себя, а потом и мать умерла, остался один, это сделало его цепким в жизни. А может быть, сейчас это только так кажется, ну и что же, что цепкий, но такой же мальчишка, как Митька, ведь вот Маша ушла к другому...

Бог весть что там у нее было, главное — что он перестал ей верить. С полгода назад, да-да, весной, она пришла к нему в комнату, когда он сидел, кажется, писал статью для журнала, пришла по пустяковому делу, и, помнится, он тут же, не отрываясь от работы, его решил, и вот тогда Маша сказала: «Ты железный мужик, Коля. В тебе ничего нет, кроме металла. Иногда мне кажется: постучать по тебе — зазвенишь». «Я тебя чем-нибудь обидел?» — спросил он. «Лучше бы ты меня обидел или ударил... Нельзя же так казнить человека невниманием. Неужто в тебе и капли милосердия нет? Ну ошиблась я один раз, гладко в наш век не проживешь. Мне ведь девятнадцать было, когда я за тебя выскочила... По-глупому ошиблась, и сама не знаю как... Так неужели на всю жизнь?» «У нас об этом все сказано, Маша». «Если бы могла я от тебя уйти, с каким бы облегчением это сделала...» Она стояла на фоне окна, он не мог видеть как следует ее лица, а только четко обрисованный силуэт, и тут-то и произошло какое-то смещение, вернувшее его на много лет назад... Она так же стояла тогда у окна, стыдливо и зябко защищавшая согнутыми руками обнаженные остренькие груди, платье ее скомканым лежало на полу, а он застыл, боясь к ней прикоснуться; в глазах ее было ожидание, а он не мог, не мог шевельнуться, и если бы она не сказала: «Ну иди же» — господи, сколько же потребовалось ей для этого сил! — он бы никогда, наверное, и не шагнул ей навстречу... «В тебе ничего нет, кроме металла...» Возможно, вполне возможно, она ведь говорила и другое: «Ты не человек — ты машина»; то же самое сказала сегодня Софья Анатольевна о Наташе: «Он сконструировал ее». Но ведь тот же Поповский твердил: будущая промышленность, производя богатства для людей, должна избежать возникновения трех спутников — грохота и шума, загрязнения воздуха, рек и морей и воспитания железных мальчигов, лишенных сердца, уверенных, что разум способен сконструировать все, включая любовь...

Они ехали молча, машина мчалась по плотине мимо пруда, освещенного склонявшимся к лесу солнцем, и по воде плавали палые листья.

14

Пообедали быстро в отдельной комнатке заводской столовой, где пахло мокрыми тряпками и капустой; оставалось еще минут сорок, Николаю Васильевичу захотелось побыть одному, отойти от всего, что произошло сегодня; как было бы хорошо, если бы с утра да в работу, когда он был бодр, свеж, ощущал особый нервный подъем, а вот теперь нужно время, чтобы сосредоточиться, подготовиться.

— Я в цех, — сказал он Шергову, — а у тебя, наверное, дела в управлении. Встретимся на командном в семнадцать ноль-ноль.

Они расстались у подземного перехода, Николай Васильевич спустился в длинный туннель, облицованный фиолетовым и голубым кафелем, он был пустынен, под потолком светились матовые лампочки, создавая теневые перепады, отчего потолок и стены казались

зигзагообразными и выпрямлялись, по мере того как Николай Васильевич продвигался вперед; постепенно ему стало чудиться: он бредет в полусне, звуки его шагов, неестественно громкие, заполняли все длинное и узкое пространство туннеля, и чем дальше он шел, тем сильнее на него накатывала тревога: а вдруг сорвется пуск?.. Да, у него есть опыт, но каждый пуск таит в себе множество неожиданностей...

Он знал — о нем ходило мнение: мол, крут, скор на решения, не любит, когда спрашивают: «А можно ли нам, Николай Васильевич?..» А в Высоцке ведет себя странно, расслабился: делайте, а я погляжу. Но когда же он кричал без толку?.. Бывало, бывало это поначалу, любил одернуть. Поповский в те времена и врзал ему: «Окрик — дело пустое, он на страх рассчитан, а организация — на творчество. Можно навести железную дисциплину, а результата не будет. И знаете почему? Да потому что только в математике целое равно сумме частей. А организация должна быть в итоге выше этой суммы, ну так же вот, как человек, его организм выше суммы своих частей...»

Из туннеля было несколько выходов, они вели в разные пролеты цеха, Николай Васильевич забыл, какой ему был нужен, чтобы попасть на командный пункт; он закурил, дошел до первого выхода, поднялся на несколько ступенек и сразу же услышал голос Наташи:

— Андрей, еще раз проверь эти датчики.

— Сто раз проверял.

— Проверь сто первый.

— Хорошо... Но мне надоел твой муж. Пашка, как ты воспитал в себе это беспощадное занудство? Может, поделишься опытом?.. Ты жил когда-нибудь в общежитии? Ну конечно же нет! Ты бы там и трех дней не просуществовал...

— Чепуха! Еще как бы он прожил!

— А откуда ты знаешь? Ты и сейчас ему варишь манную кашу.

— Он ее любит. А вот ты бы сходил с ним один раз на охоту, тогда бы кое-что узнал.

— Он и стрелять не умеет.

— Ты зря нарываешься, Андрей, я был чемпионом в институте по спортивной стрельбе.

— Да, он был чемпионом.

— У меня отец несколько раз ездил в уссурийскую тайгу, его приглашали тигроловы...

Все это Николай Васильевич слышал, пока поднимался по лестнице, выходил на площадку к кольцевой печи; трое сидели на низенькой скамье вроде той, что стоят в спортивных залах для отдыха.

— Привет, молодежь,—поздоровался он.

Они ответили ему дружно, как по команде:

— Салют! — И рассмеялись, наверное, это у них было отработано.

Он прошел к письменному столу, деловито подвинул к себе бумаги, сказал негромко:

— Хорошо, если бы кто-нибудь позаботился о кофе.

— Позаботились,—отозвалась Наташа.— У нас два термоса с кипятком и банка растворимого. Заварить?

— Если не трудно.

Она подала кофе в пластмассовой крышке от термоса; он с удовольствием сделал несколько глотков и принялся за работу: нужно было еще раз проверить разбивку участков на циклы, их взаимосвязи; а трое сидели на скамье, занимались своим делом и болтали, не стесняясь его.

— Ты слишком добр, чтобы убивать, — говорил Андрей. — Нет, тебе нельзя ходить на охоту. Наташка, ты знаешь этот случай в столовой? Какой-то пьяный хмырь надел ему на башку тарелку с кашей. Он снял тарелку и спокойно пошел к умывальнику. Я думал, он из него кое-что сделает...

— А почему ты не сделал?

— Так не мне же надели. Ты, Паша, никогда в жизни не дрался?

— Первый, кому он набьет физику, будешь ты. Почему к нему пристаешь?

— Я не пристаю. Дружеская перепалка, чтоб легче работалось.

— Нет, ты пристаешь. Особенно при мне. Без меня вы друзья. Знаешь, почему ты пристаешь при мне? Хочешь его унижить в моих глазах. А это глупо.

— Зачем мне его унижать?

— Затем, что ты с меня не сводишь глаз. Я тебе сразу сказала: оставь надежды. Ты не понял... Ну-ну, не смотри так на меня. Паша давно знает. Я ему все рассказываю... Глупо злиться. Лучше всего, если ты найдешь побыстрее девчонку. Между прочим, я могу тебя с одной познакомить. Продавщица райунивермага. Огромные глаза, а ноги растут прямо от шеи. Голливудский стандарт...

— Послушай, ну честное слово, я тогда случайно полез к тебе. Но сколько можно об этом?

— Слава богу, взмолился! Ставлю условие: не приставай больше к Павлу. На философские темы можете спорить сколько угодно. Иногда мне даже приятно вас слушать...

Да, совсем недавно он был таким, как они, и так хотелось бы побыть еще с ними на равных... Прежде он никогда не думал об этом, а вот в теперешней поездке не в первый раз возникает в нем тоска по утраченному времени и зависть к тем, кто еще молод... Осторожно! Наверное, этого надо бояться, а то еще, чего доброго, он начнет их поучать, как жить... Когда он был молод, то любил посмеяться над старческим брюзжанием: «Молодежь нынче не та, не умеет, как мы...» Это уж когда он встретил Поповского, то стал понимать: опыт старших — не такая бесполезная вещь. Но Юрий Сергеевич сам говорил им, что не может и не имеет права навязывать свой опыт как некую необходимую схему всего человеческого поведения, потому что такое навязывание обращает молодежь в прошлое, а не в будущее, а это так же безнравственно, как, скажем брак по приказу родителей. Споры о поколениях бурно шумели в те времена, и Николай Васильевич тогда уже признал, что лучшее уважение к памяти старших — не повторение их пути, а создание своего, потому что те, кто заслуживал из старших его искреннего поклонения, заботились в первую очередь не о дне текущем, а о будущем, опыт лучше всего учитывать, а не повторять... Эти споры давно отшумели, так почему же он теперь сам возвращается к ним? А не оттого ли, что одно дело декларировать идею, другое — осуществлять; и вот тут-то и возникает один вопрос: а пошел ли он сам по новому, неизведанному пути или же двигался по проторенной дорожке?.. Кто же это определит?.. Кофе отличный. Молодец Наташа, заварила крепкий. Он допил кофе, поставил на стол пластмассовую крышку от термоса. По пролету к площадке командного шел Шергов...

— Значит, так, ребята. Вы, Андрей, берите стул и садитесь вот сюда, рядом со мной. Считайте себя стажером... Вам, Павел, самое трудное — будете последовательно двигаться по линии. Ваш доклад вместе с операторами. Наташа у ЭВМ. Сначала все пропускаем на холодном ходу, поэтому можно отдохнуть. Но как только запустим деталь, все по местам. Ясно?

Подошел Шергов, жадно закурил...

— Внимание! Говорит командный. Переключка... На кантовке и раскладке, слышите меня?

— Есть!

— Черновая обработка?

— Готовы!

— Кольцевая печь?

— Есть!

— Закалочная?

— Слышим!

Он перечислял участки, и ему отзывались веселыми голосами, и вместе с тем в них звучали ожидание и надежда, он радовался этим голосам, к нему возвращалось то утреннее чувство приподнятости и бодрости, и как только он закончил переключку, так сразу же и скомандовал:

— Внимание всем узлам и участкам! Последовательно запускаем на холостой ход... Еще раз — внимание! Начали!..

С первого участка сразу же доложили; Николай Васильевич прислушался: донесся шум работающего механизма, цех начинал дышать, он пока делал первые, еще слабые вдохи, ничего не производя, каждый механизм работал по отдельности, не связанный в единую систему; при холостом движении не включена автоматика, она может действовать только при обработке детали. До приезда Николая Васильевича Шергов несколько раз прогонял линию на холостом ходу, цех начинал дышать, и казалось — все в порядке, но стоило пустить деталь, как все летело вверх тормашками: несоординированные автоматы срабатывали вразнобой и... загорались аварийные огни. Когда доложили с последнего участка о запуске, Николай Васильевич отодрнул от себя микрофон — нужно время, чтобы линия поработала вхолостую; ему захотелось посмотреть на цех с высоты, он огляделся, увидел неподалеку лифт, по которому поднимались крановщицы к кабине крана, и направился к нему.

Он вышел на небольшую площадку, отсюда видна была вся линия: двигались, поблескивая катками, рольганги, полыхало газовое пламя в круглых печах, горели зеленые сигнальные огни. Удивительный был это цех. Чтобы добиться сверхпрочности, здесь совмещалось несколько операций, прежде, казалось, несовместимых: прокат, закачивание, металлообработка; цех гудел, он и вправду похож на готовящийся к отплытию корабль, и легкий гул его был приятен Николаю Васильевичу...

Он спустился вниз, когда почувствовал, что цех достаточно разогрелся на холостом ходу, отослал Павла к началу линии и, получив от него сигнал по селектору, дал команду приготовиться; сразу сделалось жарко, он снял пиджак, повесил его на спинку стула, оттянул узел галстука — все-таки он нервничал, и всерьез, — минута, чтоб успокоиться, ну, вот он и готов, он в центре цеха, а все механизмы на линии как бы продолжение его нервов.

— Внимание, первый участок... Задавай!

По рольгангу двинулось сразу несколько круглых отливок, в их ступенчатых контурах лишь угадывалось будущее колесо, они были грубы, шершавы, с темной, в мелких бурых и синеватых пятнах поверхностью, подаватель их раскладывал, чтобы отливки равномерно направлялись к станкам черновой обработки; вот здесь первое испытание, станки на этом участке с программным управлением, если заест, начнется долгая возня. Он услышал голос Павла, затем оператора, взглянул на стол — Наташа дала контрольные цифры, Николай Васильевич хотел подсказать Павлу, на что обратить внимание, но тот

опередил, доложил: станки работают нормально; деталь пошла к кольцевой печи; теперь он хорошо увидел колесо с блестящими краями, оно проплыло по загрузочному транспортеру, его подхватила автоматическая лопата, опустила на вращающийся под печи, где шумело красное пламя; к Николаю Васильевичу пришла уверенность: «Все будет хорошо» — и он уж ничего не видел, кроме температур, химических анализов, что подавала ему Наташа, и когда раскаленное колесо выплыло из печи, ему показалось, что двигает его не механизм, а его воля — так были напряжены нервы, и тут-то раздалась команда Павла:

— Стоп!

Но напряжение не ослабло, он сразу понял — пустяки, деталь была на промежуточном узле, а там ничего страшного произойти не может, так оно и оказалось: кантователь, который должен был переложить колесо на рольганг, оказался неотрегулированным — при холостом ходе этого не обнаружишь, — и он перебросил колесо, как катапульта, через рольганг, там была заградительная сетка, колесо пробило ее, ничего страшного, наладчики быстро включились в работу, отрегулировали кантователь, колесо подняли краном и отнесли в сторону, и линия двинулась...

Шергов что-то говорил рядом, он был бледен, капли пота выступили на его лбу, Николай Васильевич так и не разобрал, о чем тот говорит, потому что наблюдал за вторым колесом, как оно двигалось из печи; вот оно полетело на скорости по рольгангу под валки стана. Одна из самых сложных операций, здесь все должно быть точно — скорости, степень обжарки... Надо считать, молниеносно надо считать... Ему даже некогда было оглянуться на Наташу... один результат, второй... честное слово, молодец эта девчонка!.. Николай Васильевич чувствовал себя сейчас как на автогонке, цепко припав к рулю: дорога и предметы, стоящие вдоль нее, смазывались в единую серую массу и только впереди горел белой звездой финишный огонек, скорость и работа мотора... Деталь летела через стан и обжималась валками... Вспыхнули зеленые сигнальные лампы, раздался торжествующий голос Павла:

— Прошли!

Первое колесо, второе, третье, четвертое... Теперь можно передохнуть, впереди крюковой конвейер — новшество, которым гордились проектанты; он потащил колесо в отпускную печь, а за ней длинная, в двести метров, камера медленного охлаждения, облицованная сверху блестящими, как зеркала, стальными листами. Двигались на крюковом конвейере колеса через длинную отпускную печь как через туннель. И вдруг:

— Стоп!

Вот здесь-то он меньше всего ожидал тревоги, потому и собрался было закурить...

— Что там?

— Худо, Николай Васильевич. Камеру с фундамента срывает да короб в гармошку...

Он крикнул:

— Аварийную команду к печи! Ждать меня! — И почти побежал по пролету, на ходу закуривая сигарету.

Все, кто был на командном пункте, шагали за ним, он шел долго, или ему так казалось, во всяком случае, пока шел, докурив одну и начал вторую сигарету, но вот наконец и длинная камера замедленного охлаждения; аварийная бригада на месте, в блестящих стальных листах отражались люди, они безобразно удлинены, как в выгнутых зеркалах. Павел стоял впереди всех, протирал очки, лицо его спокой-

но, только под глазами появилась голубизна; Павел указал на бетонный фундамент — там местами вырвало болты крепления. Николай Васильевич перевел взгляд наверх — металлическая обшивка начала сжиматься в гармошку.

— Гады!.. Вот уж гады! — взвился рядом голос Шергова. — Ну ведь за каждым шагом этих бракоделов не уследишь! Это же надо так крепить болты...

— Обожди, Антон, — поморщился Николай Васильевич. — Не в них тут дело... На какую температуру рассчитана камера?

— Пятьсот, — ответил Шергов, — да, кажется, пятьсот градусов.

Он взглянул на круглый термометр, стрелка перевалила за красную черту... Шестьсот градусов... Детали входили в камеру раскаленными и поднимали в ней температуру до шестисот, вот почему начало вырывать болты крепления и сжимать местами обшивку — металл от перегрева расширялся; конечно же, это ошибка проектировщиков. Пришлось объяснить Шергову.

— Ясно, — нахмурился он. — Что же теперь?

Николай Васильевич оглядел всех, кто стоял у камеры, и спросил:

— Предложения, инженеры?

— Есть, — сказал Павел и, вынув блокнот, стал набрасывать чертеж на бумаге и пояснять: — Вот тут по верху короба, где пластины, вырубить температурные швы. В фундаменте сделаем у крепления прорези, будут свободно ходить...

«Этому парню в КБ, зачем ему цех? В конструкторы, только в конструкторы... Впрочем, пооботрется в цехе».

— Сколько времени нужно?

— Часа четыре.

— Три! — вдруг азартно выкрикнул Шергов. — Вот увидишь, за три сделаем!

Он стоял, сжав кулаки, волосы его были всклокочены, таким его видел Николай Васильевич во время аварии в третьем цехе, он и стоял сейчас так же, как и тогда — словно готовый к прыжку, и ноги его, казалось, вдавились в пол...

— Я сам за бригадира, — горячо проговорил он.

Отказывать ему было нельзя, Николай Васильевич это понял и сказал:

— Хорошо. Только Андрея Ризодеева возьмешь в помощники. У остальных перерыв.

15

Николай Васильевич взглянул на часы и удивился — было начало десятого, четыре часа работы пролетели как единый вздох; хотелось есть, и он сказал об этом Наташе, когда они вошли в кабинет начальника цеха.

— Столовая закрыта, — объяснила она. — Но ведь у нас два с половиной часа, а до нашей «Гайки» десять минут езды. Поехали, накормлю и вас и Пашу...

Свет в окнах «Гайки» не горел.

— Она спит, — прошептала Наташа. — Мы тихонько на кухню...

Соблюдая осторожность, чтобы не разбудить Софью Анатольевну, они прокрались темным коридором; Наташа быстро накрыла на стол, и они дружно навалились на еду.

— Вот уж давно с таким аппетитом не ел, — улыбнулся Николай Васильевич.

— Еще бы хоть полчаса поспать — и был бы полный порядок, — проговорил Павел. — Всего каких-нибудь полчаса...

Он устал, и сейчас, после еды, это было особенно заметно, да на него и легла немалая нагрузка.

— Если сумеешь пробраться в комнату,— сказала Наташа.

— Сумею,— обрадованно прошептал Павел.

— Тогда пробуй...

Павел разулся, виновато улыбнулся, пожал плечами и, крадучись, на цыпочках двинулся из кухни, держа ботинки в руке.

— А мы покурим,— предложила Наташа.

— Я бы с удовольствием хлебнул свежего воздуха.

— Ага... Тогда за мной.

Они вышли из дома, обогнули его, и перед ними открылось пространство пруда. Как и в первый раз, когда Николай Васильевич был здесь, в небе висела белая луна; возле пруда почему-то было теплее, чем возле цеха, а может быть, ему так показалось, он заметил старую скамейку подле дерева и прошел к ней, под ногами мягко шуршали палье листья.

Они сидели рядом, он чувствовал ее плечо, когда она поднимала руку с сигаретой; было хорошо, не хотелось ни о чем думать — так, наверное, можно сидеть бесконечно, наблюдая едва подвижное свечение луны, недаром же говорят: вода и огонь завораживают и нет ничего покойнее, чем бездумное созерцание их.

— А вы не забыли про Софью Анатольевну?..— тихо произнесла Наташа.— Вы тогда мне не ответили... Я думала, вы все знаете. Придется рассказывать...

Николаю Васильевичу не хотелось сейчас слушать, после нервного напряжения в цехе хорошо было просто сидеть в тишине, наслаждаясь вечерним покоем,— ведь скоро опять начинать сначала; но что он мог поделаться, коль уж Наташа так решила. Сказать: «Не надо, не рассказывайте» — обидеть ее; и все же он попытался, правда робко, воспротивиться:

— А нам хватит времени?

— Хватит,— решительно ответила она.— Я вас давно знаю, Николай Васильевич, очень давно. От Юрия Сергеевича. Он для меня очень многое... Я думаю, что встретить один раз в жизни такого человека,— это надо, чтобы очень крупно повезло. Мне повезло. Когда я сначала его слушала, то боялась хоть слово сказать или хоть как-то его перебить... Ну, вы знаете, как он мог говорить. И все было такое новое, звонкое, и казалось: раньше-то я совсем была слепой, ничего не умела видеть, слышать и только сейчас начинаю прозревать. А границы не было... И все, что я умею и знаю, это он. Это правда. Конечно же, второго такого раза не бывает... А Софья Анатольевна... Она всегда ко мне хорошо... Нет, никогда ничем не обидела и помогала как могла. Я ей отплатила, я не была неблагодарной... Но сейчас она не хочет меня отпускать. Она считает: на меня проклятье за его смерть... Она придумала, что он умер от инфаркта. А это совсем не так... Я не знаю, может быть, так ей легче... У него оказалась плохая печень, есть ведь врачебное заключение... Вы можете подумать, что это пустяки и предрассудки, а для меня важно. Я ему обещала многое сделать: Я сделаю... Мне нужен опыт. Такой цех для меня — прямо-таки находка. Мы с Павлом уже наметили, что будем делать... Много работы, очень много работы. И нужна свобода. Настоящая... Я не имею права тратить время и силы на ненужные эмоции, на выяснение отношений и прочую чепуху. А она этим живет, я понимаю, ей нужно жить прошлым... Но, Николай Васильевич, я могу однажды не выдержать... Теперь вы все знаете. Вы не можете мне отказать в помощи.

Она чиркнула зажигалкой, чтобы прикурить сигарету, рыженькое пламя метнулось у ее щеки, выхватив зазолотившуюся прядь волос и прищуренный глаз; он не знал, что отвечать, обернулся на дом. Окна его были темны; где-то там в комнате спала одинокая женщина.

— Нам пора ехать,— сказал Николай Васильевич,— будите Павла.

— Еще минуту,— попросила она и заговорила уж теперь другим, более деловым тоном: — Я вот о чем, Николай Васильевич... Было бы целесообразно включить в руководство цеха кого-нибудь из наших ребят. Андрея или Павла. Мы попробуем довести здесь многое до уровня самых высоких мировых стандартов.

— В чем?

— В технологии. У нас в запасе есть немало предложений на будущее. Но не хотелось бы тратить силы на преодоление бюрократических прогатов.

— Вы имеете в виду дирекцию?

— Ну нет,— он почувствовал, как она улыбнулась,— Шергова можно обвинить в чем угодно, только не в этом. Но путь до него от цехового инженера усеян докладными. Меня же учили выбирать самую короткую дорогу... В общем, вам решать, Николай Васильевич.

Она поднялась со скамьи и пошла к дому, сначала шаги ее были еле слышны, потом закрипели по гравиевой дорожке. Николай Васильевич помедлил, не хотелось покидать насиженного места. Да, Поповский все-таки многому ее научил... Он взглянул на звездное небо, с трудом встал, чтоб идти к калитке, но едва сделал несколько шагов, как почувствовал — рядом кто-то есть; оглянулся и увидел, как от угла дома отделилась объемная тень, и при лунном свете различил Софью Анатольевну, она стояла в пальто, платок на голове не был повязан, белела открытая шея.

— Вы? — прошептал он.

— Тс-с-с,— протянула она, прижав палец к губам.

— Вы что же, тут все время были?

— А где же мне быть? — глухим шепотом ответила она.

— Значит, все слышали.

— Ну конечно,— спокойно подтвердила она.— Но ты иди, иди, не расстраивайся... Все правильно, Коленька, все правильно... Тс-с-с, дверь хлопнула.

Она подтолкнула его в плечо большой пухлой ладонью, и он, невольно подчинившись ей, ступил на гравиевую дорожку. С крыльца спускались Наташа и Павел...

Они приехали вовремя, аварийная бригада закончила работу, об этом и доложил Шергов, как только увидел Николая Васильевича в цехе, доложил возбужденно, радуясь и гордясь, что работу сделали за два с половиной часа.

Николай Васильевич сел к столу, и все началось сызнова: опять к нему вернулось ощущение слитности с механизмами, будто обнажились нервы, и не было остановки, не было поездки в «Гайку», все сразу ушло и осталось вот только это — движение детали по линии, все с самого начала: через раскладку, черновую обработку, в печь, потом на прокатные станы. Теперь детали двигались стремительно по пробитому ранее пути, пока не дошли до крюкового конвейера, он потянул их к отпускной печи, к камере замедленного охлаждения, и тут Николай Васильевич почувствовал, как замер весь цех в ожидании, время сразу растянулось, ровный гул механизмов наполнил цех, молчали в селекторе, молчание было долгим, и Николай

Васильевич понял: все в порядке! Ну, теперь на чистовую обработку; там тоже станки с программным управлением — вот где нужно внимание; Наташа положила перед ним расчеты, Павел был на месте, нет, он не прозевает, он отлично знает такие станки; первое колесо сошло с чистовой обработки, и транспортер понес его на экспедиционный стеллаж, и оттуда, усиленное динамиками громкой связи, вдруг взорвалось неожиданное, мальчишеское:

— Ур-р-ра!

Тут же с командного пункта все сорвались и побежали, они бежали через весь цех по длинному-длинному пролету к концу линии, и пока они бежали, на стеллаж набросало с десятков колес. Одно из них, видимо то, что первым сошло с транспортера, подцепили на крюк подъемным краном, оно висело, чуть вращаясь, на него направили луч прожектора, и колесо засверкало отполированной поверхностью, сразу показалось легким, будто было из дутого стекла, и захотелось подбежать к нему, подкинуть на руках. «Еще одно рождение колеса», — подумал Николай Васильевич и рассмеялся, и ему сделалось так хорошо, как бывало лишь в детстве, когда начинался солнечный, обещающий сплошные удачи день...

Цех работал... Цех пошел... Шергов, чуть ли не носом тычась в колеса, осматривал, ощупывал их, постукивал по граням ладошкой, словно пытаясь проверить на прочность...

За огромными окнами цеха синели предрассветные сумерки.

16

Машина уже тронулась, когда впереди на дороге возник Андрей Ризодеев, горячо замахал руками и закричал:

— Подвезите меня, Николай Васильевич! А то мой автобус еще не ходит!

Над крышами домов вставало солнце, и сильные лучи его били прямо в ветровое стекло, шофер опустил защитные козырьки, но лучи все равно обходили преграды, врывались в «Волгу», мгновенно ослепляя.

— Ко сну клонит? — сочувственно спросил Андрей. — Вымотались, а, Николай Васильевич?

Нет, спать он не хотел, да и усталости не чувствовал, еще не улеглось в нем возбуждение работы и мысль была ясна; так всегда бывает, когда дело заканчивается успехом; кажется, будто сохраняется такой запас энергии, что ее хватит на повторение сделанного, — конечно, это только кажется, недаром же существует определение «успех окрыляет», и словечко-то такое, будто тебя должно подбросить ввысь, а на самом-то деле это всего лишь инерция нервного возбуждения... А все-таки хорошо, когда дело удалось! Чертовски приятно ощущать, как ломит все тело, как гудит спина; да, если честно признаться, то не так уж часто работа приносит уверенность, что она так же необходима другим, как и тебе... А как бы хорошо было сейчас об этом кому-нибудь рассказать, конечно, лучше бы всего женщине... Когда-то Маша умела слушать, в годы их молодости; если ему что-то удавалось на работе, он прибегал к ней возбужденный, и они обязательно устраивали по этому поводу праздник... Да, человек должен выплескивать свою радость, а если хранить ее в себе, она может обернуться тоской, какую приносит всякая неудовлетворенность... Ну ничего, он придет к себе, примет душ, отдохнет... Машина сделала крутой поворот, теперь солнце оказалось справа, а по левой стороне улицы потянулись ряды бревенчатых домов, у которых горели стекла окон, отражая лучи восхода;

мелькнул дом Шергова, Николай Васильевич узнал его по белым кружевным наличникам...

— Вот здесь, пожалуйста,— попросил Андрей.— Спасибо.

Он вышел из машины, но дверцу не закрыл, сказал весело:

— А что, Николай Васильевич, может, заскочите чайку выпить? С медом. У нас такой мед, батя — специалист, на весь Высок славен. Вон хоть у Петушка спросите,— кивнул он на шофера.

Уж очень это увлеченно проговорил Андрей, будто и не в дом приглашал ранним утром, а на пир заманивал, да еще шофер, солидно кашлянув в кулак, проговорил:

— Известно. Ризодеевский мед.

— Если недолго,— согласился Николай Васильевич,— а то ведь и поспать надо.

— Вот чайку выпьете и поедете.

Николай Васильевич прошел вслед за Андреем по асфальтовой дорожке к дому, очень он был похож на шерговский, впрочем, как и все остальные на этой улице, только резных наличников не было да ворота крытого двора не крашены. Андрей отворил своим ключом двери, заворчала собака, он прикрикнул на нее, пропустил вперед Николая Васильевича.

— Бати дома нет, на смене уж... Мы вдвоем с вами похозяйничаем. Мать у нас в отъезде... Вот сюда, пожалуйста.

Что сразу бросилось в глаза Николаю Васильевичу, это пушка, старинная небольшая пушчонка, из каких палили ядрами, она стояла на деревянном лафете, и на нее были брошены старые джинсы; в доме и вправду пахло медом и воском, на полу постелены домотканые половики, и стол посреди комнаты крепкий, самодельный.

— У меня самовар,— сказал Андрей.— Но я его приспособил к электрическому нагреву... Да вы садитесь, Николай Васильевич. Мне нужно всего три минуты... Жаль, пасеку отцовскую не увидите, — кивнул он за окно,— улы уж все в омшанике. Спят пчелы...

— А для чего у вас это орудие? — усмехнулся Николай Васильевич.— Имение охранять?

— Семейная реликвия. Один из моих прапрадедов пушкарем был, говорят, отличные пушки лил... А это его какая-то юбилейная пушчонка. Вот он и захотел ее себе оставить, упер ночью домой... Правда или нет, не знаю. Семейные предания — дело хлипкое. Может, герои из этой пушки палили, а может, разбойники, а может, и никто... Но я верю, что пушкарь ее себе притащил. Ведь бывает, художник не продает свои самые любимые картины, не может с ними расстаться. Ну а мастер... Но эта самая пушчонка с детства вызывала зависть моих одноклассников. Пробовали мы из нее пультить раза два, да не получилось... Ну, вот и чай. Сейчас мед поставлю... А хотите медовухи, или, как ее по-местному величают, кислушки? Отец у меня по этому делу большой специалист. Свой способ сотворил, без хмеля варит, на хлебе — это цветочная пыльца, что пчелы откладывают... Я тоже немного выпью, хотя спиртного не люблю. Но она не очень хмельная...

Они сели к столу, Николай Васильевич выпил этого пахнущего медом и горечью травы напитка; ему любопытен был Андрей, они поработали вместе ночь, стало быть, этот чернявый, крепкий и подвижный парень причастен к той радости, которую получил Николай Васильевич от трудов, и это приближало к нему Андрея.

— Очень рад, Николай Васильевич, что вы ко мне зашли. Ужасно хотелось с вами поговорить.

— О чем?

— Да есть о чем.— В черных глазах Андрея заметались золотистые лучики.— В другой раз вас и не подхватишь. В Москве тем более.

А здесь мы сидим с вами друг против друга, чай пьем — вот вам, пожалуйста, преимущества провинции... Собственно, меня, Николай Васильевич, интересует один вопрос. Но прежде чем его задать, я хотел бы изложить одну любопытную историю из собственной биографии, иначе будет непонятно...

— Надеюсь, история краткая, — улыбнулся Николай Васильевич.

— Договорились! — воскликнул Андрей и, растопырив пальцы, ввел пятерню в спутанные волосы. — Значит, так. Я кончаю институт и получаю направление на уважаемый всеми большой завод. Отдел кадров находит мне местечко, скажем прямо, не совсем по моей специальности, и с окладом в девяносто ре в месяц. И тут я себя спрашиваю: как же так? Я Андрей Ризодеев, потомственный работяга: один род наш из литейщиков, другой из рудокопов... Вот вам, доложу, была специальность! Силенку надо было иметь — дай бог, и не только самому, а и всей семье. Руду у нас так добывали: копали дудки, колодцы без срубов, в сажень глубиной, а над дудкой ворот ставили. Рудокоп в яме ковыряется, бадейку насыпает, сигналит, а жена его да дети ворот крутят, бадейку вытаскивают. Ну, это еще не худшая работа была. Кто проштрафится — в углежог. Там, в лесах, потяжелее было... Ну, я не об этом. Обиделся я, Николай Васильевич. Как же, думаю, так, получаю я инженерский диплом, столько учился, и кладут мне девяносто ре в месяц, когда я на заводе в два раза могу заработать больше, не имея даже серьезной специальности. Тогда я встречаю такого же сердитого, как и я, и он мне преподносит урок политической экономии. Он мне поясняет, что на заре промышленной эры, да и в ее расцвет, более других ценился труд тех, кто обладал инженерным, то есть интеллектуальным мастерством, а ручной был дешев. А вот в эпоху научно-технической революции, когда главные трудоемкие процессы давным-давно делает техника, более всего ценится ручной труд. И выдает мне этот научный кадр подтверждающие данные по всему миру. А после такой теоретической подготовки он мне говорит: «Хочешь жить нормально, топай в погрузконтору, там тебя схватят обеими руками. Нанимайся грузчиком и благодари инженеров, что они до сих пор не придумали, как машинным способом выгружать из вагонов сахар. Думаю, что в ближайшие двадцать пять лет они этого и не придумают». И я потопал. Это было, Николай Васильевич, удивительное житье-бытье. Поселился я у своего друга, нас объединила не только совместная работа, но и некоторая общность вкусов: он, как и я, не любил алкоголя, много читал и бредил путешествиями... Скажу честно, поначалу было тяжело, думал, не выдержу, брошу. Я ведь вон какой здоровый, а все равно по утрам едва вставал... Но мой друг был не только теоретиком, но и обладал опытом. Он учил меня, как приводить себя в порядок, как снимать усталость по системе йогов. Проработал я шесть месяцев — и на книжке у меня ровненько одна тысяча. И друг мой сказал: «Все, Андрюха, увольняемся. Не бойся, нас в любой час назад примут. Дорога зовет, май на дворе». И двинулись мы с ним путешествовать. Пицунда. Ялта. Одесса... Особенно не шиковали, но жили свободно. «Старик, — говорил он мне, — человек должен себя баловать в жизни. Мы никого не обманули, не украли, мы честно заработали свои деньги и честно тратим их, чтоб получать удовольствие. Прекрасно, что в тебе нет духа наживы. Никто из нас не жаден на барахло. Нам не нужна частная собственность. Только удовольствие от хороших книг да прекрасных спектаклей и созерцание природы... И с совестью, старик, у нас спокойно. Пока еще ни один из живущих на земле не осуществил того, на что способен. Даже гении признавались в этом». Я его спрашивал: а кто мы? Он отвечал: «Мы — жертвы научно-технической революции. А жертвы всегда достойны

жалости и уважения»... Вот так, Николай Васильевич. Вполне возможно, что таким путем я бы мог прожить долго и счастливо. Мой приятель существует эдаким манером уже четвертый год... Да, забыл я сказать о нем самое главное — он специалист по подъемным механизмам...

— Ну что же ты бросил это житье? — с любопытством спросил Николай Васильевич.

— А вот в этом вся штука.— Андрей встал, он был широк в плечах, гибок, но бесформенный серый свитер скрадывал линии его фигуры; Андрей прошелся по комнате, словно разминаясь, и неожиданно сел верхом на пушку.— Как-то вечером звонок в дверь. Иду открывать, на пороге — Антон Петрович Шергов собственной персоной. Он ведь с моим батей с детства рос, как говорится, по нашей улице собак гоняли. Ну вот, заходит он к нам и просится: «Пусти, Андрюха, поземлячки переночевать, министерство гостиницу забыло заказать». Посидели вместе, поужинали. И, честно говоря, я ему поверил — он только на ночлег. А утром, когда кореш мой ушел, он мне так жалобно: «Выручи меня, парень. Ну позарез на завод инженеры твоего профиля нужны. Взять негде. Маловато вас выпускают, да и все большие заводы расхватывают. Сам в толк не возьму, как с тобой такой нехороший случай при распределении вышел... Подсоби, а?»... Я ему: завязал, Антон Петрович, со своей профессией. «А ты развяжи,— говорит.— Я ведь специально тебя просить приехал»... Ну что тут скажешь, а?

«Похоже на Антона»,— подумал Николай Васильевич, улыбнулся и сказал:

— Любопытно. Но к чему?

— А вот к чему.— Андрей вскочил, прошел быстро по комнате, половицы поскрипывали под его ногами; неожиданно Андрей устался на Николая Васильевича, решительно сказал: — Слушок прошел по заводу: мол, вы директора собираетесь снимать. Верно?

Николай Васильевич медленно отодвинул от себя пустой стакан, сказал:

— Спасибо за мед, за чай.

— Не хотите отвечать,— усмехнулся Андрей.— Понятно... Но я вам вот что хочу сказать, Николай Васильевич: если бы у нас директоров тайным голосованием выбирали, то Шергов наивысшее число голосов бы получил. Тут директоров на заводе много сменилось. Разные были. Но Антон Петрович особый человек. Пошуметь любит, много других слабостей, но всегда помочь готов. У нас это многого стоит... Небось вам, наверное, смешно, что я его защищать кинулся?

— Ну почему же. Ваше право...

— Права не у меня,— горячо перебил Андрей.— Если бы у меня были, я Антону Петровичу всеми силами помог бы. Всеми силами! Николай Васильевич встал и улыбнулся Андрею:

— Еще раз спасибо за чай... Ну, а мне пора...

— Да, да, конечно... Пойдемте, я вас провожу...

Снилась большая лохматая собака, скорее всего пудель, она курила сигарету, перекатывая ее длинным языком в пасти. Проснулся от телефонного звонка, но вскочить сразу с постели не смог, удивлялся сну: «Вот же чертовщина!» — тут же развеселился, а телефон надрылся длинными призывными звонками. Николай Васильевич встал, подошел к письменному столу.

— Да, слушаю.

Раздался сердитый голос телефонистки: «Москва, говорите» — и не успел он опомниться, как услышал Машу:

— Ну наконец-то, кое-как тебя нашли. Здравствуй.

— А сколько сейчас времени?

— Что, у тебя нет часов?.. Половина первого.

— Здорово я поспал,— сказал он, сладко потянулся и только тут сообразил: разговор получается нелепый. Маша прежде никогда не звонила ему в другие города, да она и не знала, что он в Высоцке, уехал, и все, значит, разыскивала через службу. И тут же испугался: — А что случилось?

Но она не ответила, она спросила:

— Ты когда вернешься?

— Скорее всего завтра.

— Тогда все в порядке,— строго сказала Маша.— Важно, чтобы ты был в воскресенье. Дело в том, что твой сын женится.

— Митька? — ахнул он.

— Ах, ты еще не забыл его имени,— насмешливо произнесла она.

Но он пропустил мимо ушей ее насмешку:

— Уж не на этой?.. Не на Настеньке?

— Вот именно. В воскресенье ты станешь ее свекром, а она твоей снохой... Это так называется, запомни. Имей в виду, что тебе предстоит познакомиться с целой кучей новых родственников. И еще я хочу тебя предупредить: возможен вариант, что через год ты станешь дедушкой.

— А, черт! — вдруг выругался он.— Да оставь этот тон. Дай-ка мне опомниться... Но он же совсем пацан. Ты что, не могла ему объяснить, что только идиоты женятся на третьем курсе.

— Ты тоже женился на третьем курсе.

— Возможно, но я не был таким маменькиным сынком.

— А чьим же ты был?.. Ну ладно, хватит болтовни. Я тебя предупреждала, что не могу с ним справиться. Ты не обратил на это внимания. Теперь уж поздно. Мы поставлены перед фактом. Я сама узнала три дня назад, что они месяц как подали документы в загс... Так пожалуйста, вернись к воскресенью, если хочешь хотя бы посидеть на свадьбе сына... Между прочим, некоторые любящие родители дарят подарки молодоженам...

Она замолчала, и он не знал, что говорить; он вдруг растерялся — вот уж к чему он действительно не был подготовлен; так далеко в последнее время отстояла от него семья, он только присутствовал в том доме, где рос его сын; а ведь было другое, было, когда он торопился со службы домой, чтоб забрать Митьку и Машу и выехать с ними за город, да мало ли что было да ушло... а вот теперь и Митька уйдет...

— Да как же это так, Маша? — тихо, печально проговорил он.

Она помолчала и неуверенно спросила:

— Что ты... сказал?

— Я говорю: как же это так?

Она опять долго не отвечала, и он понял: она плачет, вроде бы и не было слышно всхлипов, да и ничего не было слышно, но Николай Васильевич теперь не сомневался — Маша плакала, и он представил, как она стоит понуро у телефона, зажав ладонью трубку, чтобы он не мог ничего услышать, и слезы текут по ее лицу, смывая краску с ресниц.

— Ты что? — почему-то шепотом спросил он.

И она так же шепотом ответила:

— Ничего... — И тут же торопливо и резко проговорила: — Так ты, пожалуйста, приезжай.

И сразу же послышались гудки отбоя.

Он очнулся, когда почувствовал — мерзнут ноги: вскочил с постели босиком и стоял не на ковре, а на линолеуме, прижимая рукой телефонную трубку. Резко отодвинул от себя аппарат, будто все зло было в нем, проговорил в досаде:

— Ну что ты будешь делать! А?

Сунув ноги в тапочки, он пошел на кухню, взял стакан и жадно выпил холодной воды прямо из-под крана, потом закурил и зашагал по комнате, пытаясь обдумать сообщение Маши, но думать оказалось не о чем. Митька, волосатый парень в джинсах, гитарист, студент, его сын — женится, вот и все; это так же естественно, как и то, что и он в свое время женился, пришла пора, и с этим ничего не поделаешь, это надо принять как должное, как факт... Все так, если бы это касалось только Митьки, только его судьбы, а ведь такое событие и для Николая Васильевича — рубеж, да немалый, все же он становится отцом женатого сына, и пройдет год — тут уж не просто Машина шутка — и станет Николай Васильевич дедом; такая, как Настя, не задержится, обязательно поспешит, она вся готова к этому, ей да не рожать. Вот какой рубеж, вполне реально ощутимый, и если прежде он лишь в шутку мог сказать: «Ну, мы-то старики», то теперь какие уж шутки, когда вот-вот и горизонт станет виден... А Маша?.. Для нее-то все это выглядит еще хуже: растила, растила Митьку, весь свет в окошке, а тут пришла другая и прибрала к рукам, теперь она хозяйка, а ты сиди в углу и не перечь, не влезай в чужую жизнь, да, да, теперь это не твоя, а чужая жизнь, чужая. «К черту все это», — сердито думал Николай Васильевич, пытаясь отрешиться от нахлынувших мыслей, быстро прошел к письменному столу, снял трубку, вызвал диспетчера, тот доложил: цех работает нормально, было несколько небольших сбоев, но дежурные наладчики их устранили; от этого сообщения ему сразу сделалось легче, и он решил: «Ну что же, надо сегодня же в ночь и уезжать...»

В три часа был митинг. Николай Васильевич сказал несколько слов, поздравил тех, кто строил этот цех, и тех, кто будет в нем работать. Шергов выступать не стал, — достаточно, мол, и речи Николая Васильевича. Слово взял Ежов, говорил он весело, шутил, подмигивал, и выходило по нему, что цех этот и строился так же весело и легко, все тут жили в мире и согласии; речь его нравилась слушавшим, они дружно смеялись его шуткам, аплодировали, и даже Шергов шепнул Николаю Васильевичу с восторженной усмешкой:

— Ну и враль!

Ведь это же был праздник, пуск, а праздник и должен быть веселым, зачем же его портить и вспоминать, как ругались здесь до хрипоты, срывали нервы и душу, ведь в конце-то концов цех работает, вон они, готовенькие колеса, и попробуй сейчас кто-нибудь скажи, как тут было тяжело людям, — нет, таких речей никто не понял бы.

Когда митинг был закончен, не торопясь прошли вдоль всей линии, и приятно так было идти и слушать ровный гул машин, он казался умиротворенным; потом вышли на заводской двор, не спеша покурили, сели в машины и поехали в городской ресторан под названием «Березка» на товарищеский ужин. В зале накрыт был один длинный стол, и поперек него стоял небольшой, для начальства, туда и повел Николая Васильевича, подхватив под руку, Ежов, мимо парадно одетых людей, стеснительно жавшихся к стенкам.

По правую руку от Николая Васильевича сел Шергов с Надей, она улыбнулась Николаю Васильевичу как своему, на ней был тот же синий шерстяной костюмчик, что и в первый день их встречи, только на высокой ее ровной шее — золотая цепочка с янтарным кулоном; жгу-

чие глаза Нади радостно светились — видимо, ей нравилось сидеть вот здесь, рядом с Шерговым во главе стола; а слева сел Ежов, он тоже был с женой, познакомил с ней Николая Васильевича, она была под стать мужу — кругленькая, сбитненькая, волосы уложены в замысловатую башенку, отливали красной медью, платье так обтягивало ее упругое тело, что, казалось, вздохни она поглубже — и треснет это платье по швам.

Когда все расселись за столом, Ежов склонился к Николаю Васильевичу:

— Вы поведете или?..

Произнес он эти слова для вежливости, и без них было понятно: Ежов чувствовал себя хозяином застолья, он и оделся-то соответственно — в черный костюм с белым платочком в кармане.

— Или,— с улыбкой ответил Николай Васильевич, и Ежов тотчас согласно кивнул и объяснил:

— Без тамады у нас нельзя. А у меня опыт. Но первый тост вам, Николай Васильевич, вы уж тут как хотите, а вам. Так что готовьтесь. — И с этими словами он встал, одернул пиджак и, выждав, когда умолкнет шум за столом, сказал зычно: — Ну, все налили?.. Тогда начнем. Что же, дорогие товарищи, все речи были сказаны, все, так сказать, словесно отмечены, и настала пора потрудиться за столом. Первый наш тост мы отдадим гостю... Виноват! Прошу прощения, оговорился, потому что не можем мы теперь Николая Васильевича называть гостем, он сам встал вчера к штурвалу и повел наш корабль, и потому назовем мы его капитаном, ему и первый тост...

За столом дружно заплодировали, а Шергов рядом рассмеялся:

— Вот золотоуст!

Николай Васильевич поднялся, пожелал всем здоровья, успехов; чувствовал он себя неловко, сколько ни приходилось ему выступать на банкетах, так и не привык; совещание или собрание — другое дело, а здесь застолье, столько глаз на тебя смотрят, как стоишь с рюмкой, готовясь выпить... Он постарался сказать покороче, это понравилось, крикнули «ура», выпили. Шергов захмелел с первой же рюмки, покраснелся, повернулся к Николаю Васильевичу.

— А ты, Николай, бог! — с искренней восторженностью произнес он, сжимая в кулаке вилку с наколотым на нее маринованным грибом; видимо, чтобы больше не путаться в этих «вы» и «ты», Шергов решил перейти на интимный тон.— Ты мне поверь. Я зря не похваляю, хоть пытай... Но как ты вчера, а?! Будто музыку вел. Эх, Николай, какое это счастье — так уметь работать, какое счастье. Я перед хорошей работой на колени, в ноги упаду, лоб расшибу — не стыдно, радостно. Давай за тебя выпьем сепаратно, а?..

— Да ты закуси,— мягко сказала Надя и быстро пододвинула ему тарелку с закуской.— Поешь, поешь, потом выпьете. Николай Васильевич подождет...

— Ну да, ну да,— покорно согласился Шергов и стал закусывать.

А Николай Васильевич оглядывал стол и все думал, думал о Митьке; мысли о сыне не покидали его с тех пор, как позвонила Маша, и сейчас он размышлял: «Надо ведь свадьбу... Даже не узнал, что они там решили: в ресторане или дома?»; и тут же вспомнил, как Шергов был у него распорядителем на свадьбе, а хороший же стол тогда накрыли: бутерброды, печеная картошка, селедка к ней и водка. Было весело, и Шергов был весел, всклокоченный, старался всех смешить; ему захотелось напомнить об этом Шергову, он повернулся к нему, заметил, как Шергов нежно гладит Надю по руке, отвернулся и опять оглядел стол. Ежов, уловив этот его взгляд, истолковал его по-своему, склонился к Николаю Васильевичу, доверительно зашептал:

— Вы не беспокойтесь, Николай Васильевич, порядок будет полный. Опыт есть, такие обеды без всяких эксцессов проходят... У меня тут на всякий случай несколько дружинников сидят и кроме минеральной — ничего. Им на потом оставлено... Так что, если кто переберет, его тихо, тихо, на дежурную машину — и домой баиньки... Ну что же, надо бы сразу и по второй...

Он тут же легко поднялся, постучал вилкой по стакану, за столом смолкли разговоры, и Ежов сказал:

— По русскому обычаю за первой вторая бежит. Вот под эту самую вторую пусть нам и промолвит доброе слово уважаемый наш директор Антон Петрович Шергов...

Шергов вздрогнул, он не ждал, что Ежов назовет его, смущенно крикнул, а Надя, пока аплодировали, быстро поправила ему съехавший набор галстук. Шергов встал, по привычке растопыренными пальцами потрогал очки и тут же вскинул руку, провел ладонью по волосам.

— Конечно, праздновать надо,— сказал он.— Кто спорит? Все же вон какой цех заработал. Только ведь он и раньше мог... Так я за то хочу выпить, чтобы мы не только «ура» друг другу кричали, а и про совесть помнили... Вот за это, товарищи!

Он выпил стоя, одним махом и сел, а Ежов, чокнувшись с Николаем Васильевичем, весело подмигнул:

— Ну хоть так сказал, и ладно. А то, думал, он и здесь всем врать начнет.— Он выпил, вытер салфеточкой губы эдаким мягким движением, будто промокашку к бумаге приложил.— Я ведь его, подлеца, люблю. Только ему пообтесаться надо бы. Вы, что ли, на правах старой дружбы помогли бы ему. Ну пусть поедет на какой-нибудь передовой завод, поживет там, поглядит, наберется ума-разума. А можно и за границу. Очень, между прочим, нашему брату такие поездки помогают. Перспективу понимаешь... Опять же сравнение. Конечно, у них свое, у нас свое, а все же... А вот интересно, я в Швецию приехал. Ну, про то, как они дома строят, это по всему миру пошло. Про архитектуру их я давно наслышан был. Правда, такое дело не для нас. У нас массовая застройка, нам миллионы селить надо, жилищные условия создавать, а у них каждый себе персонально строит и может всякие сближения с природой позволять. Но не в этом дело. Приезжаю на стройку и что вижу? Никакого складирования стройматериалов. Прямо с машин блоки кран цепляет и на верхние этажи тянет. Как же, спрашиваю, вы без всяких запасов работаете? У нас такой закон — сначала материалы завези, а потом уж строй. А у вас, спрашиваю, выходит, наоборот? Отвечают: нам запас не нужен, нам все время материалы завозят точно по времени. Спрашиваю: ну а если не подвезут, машина, допустим, сломается или что-нибудь с водителем, выходит, стройку останавливай? Отвечают: не подвезут, значит, фирма-поставщик будет платить неустойку. Вот и весь разговор. Ну, послушали мы это, посмотрели, и один товарищ, очень, я бы сказал, солидный, из нашей делегации, мне и говорит: вот видишь, как все разумно, и материалы на воле не лежат, и разгрузка прямо с машины на этажи, экономия какая, да и площадка не нужна, а в городских условиях это большое значение имеет. Перенимай, говорит, опыт, мы поддержим. Все вроде правильно, а чепуха, потому как этот товарищ оторван от жизни. И такой опыт нам не годится. Сколько бы мне транспортная контора или завод-поставщик неустойки ни заплатили — плевать я на это хотел, если я дом к сроку не сдам. За эти деньги, что я получу, меня никто ни по головке не погладит, ни по шее не даст, а вот если я план по строительству не выполню... Тут уж будь здоров! Так уж лучше я сначала материалы завезу и буду спокоен. У нас свой опыт, у них свой.

Правда, кое-что я там для себя усмотрел. Вот, скажем, управленческая техника. Это у них здорово. Сейчас и я себе в кабинет магнитофон поставил, если мне кто серьезный звонит, а меня нет, может на магнитофон через телефонную трубку наговорить, а я потом послушаю, очень удобно... И все же нашему брату такие поездки помогают. Антону обязательно надо...

Ежов еще что-то продолжал говорить, но Николай Васильевич уже не слушал; оркестрик на эстраде заиграл, многие, покинув столы, пошли танцевать, и среди танцующих Николай Васильевич увидел Наташу и Андрея.

Николай Васильевич перевел взгляд на длинный стол и нашел Павла, он сидел, повернув стул к себе спинкой, и, сложив на нее руки, задумчиво наблюдал за танцующими... А ведь есть что-то общее между Наташей и Настенькой, не внешнее, нет, более глубинная связь... Та длинноногая девчонка, на которой женится Митька, так же вот, как и Наташа, независима, и в этой-то спокойной независимости таится особая сила, Митька и пикнуть не успеет, как его поведут за собой на веревочке, да так и будут вести всю жизнь. Зачем он об этом думает?.. Будто его когда-либо самого тревожило: а что такое любовь? Ему и некогда было размышлять об этом, просто был такой день, когда пришла к нему Маша, стояла на фоне окна, тоненькая, стыдливо и зябко защищаясь согнутыми руками, и скомканное платье лежало на полу — это любовь? Или, может быть, режущая, не утихающая боль в ночном бессонном поезде?.. Кто может на это ответить?.. А Ежов все бубнил что-то в ухо, и Шергов, перебивая его, рассказывал, но Николай Васильевич, не слушая их, спросил:

— Я смогу уехать ночным поездом?

Ему не успели ответить, он увидел совсем рядом лицо Наташи, ее синие глаза, улыбку, ломающую по уголкам тонкие губы, и веселый шепот:

— А вы со мной не хотите потанцевать?

Ох, как давно он этим не занимался, ох, как давно, да и студентом не часто ходил на танцы, но когда он стал аспирантом, а потом младшим научным сотрудником у Поповского — вот тогда они всей лабораторией часто ходили отплясывать твист, и у него получалось не хуже других, он подвижен, худощав...

— Хочу,— сказал он и встал.

Наверное, на них смотрели с любопытством, ему-то было безразлично, он танцевал с удовольствием, и Наташа была хороша. Обидно, что он не знал ее раньше, когда жив еще был Юрий Сергеевич... Музыка кончилась...

— Ну ничего, мы еще с вами станцуем,— сказал он.

Он повернулся к столу и увидел, как Шергов, размахивая вилкой, что-то кричал Ежову, а Надя пыталась ухватить Шергова за руку; жена Ежова, подбоченясь, покачивала головой. Николай Васильевич быстро прошел к ним.

— О чем спорим? — спросил он.

— Да ты послушай этого делягу! — возмущенно ответил Шергов.— Давай, говорит, наградные оформлять за цех... Да за что же его награждать, каким орденом, а?

Ежов сидел спокойно и ответил спокойно:

— Ну зачем такой шум? Не хочешь представлять — не надо. А я своих представлю, вот и посмотрим, как ты запоешь, когда мои получат награды, а твои нет...

— Да он еще и оскорбляет! — воскликнула жена Ежова, стараясь вступить за мужа, голос у нее оказался тоненький, почти пискля-

вый.— Мы всегда к нему всей душой, а он такие слова, такие слова, прямо совестно...

— Вот видал, укуси их! — внезапно рассмеялся Шергов и махнул рукой.— Ладно, не будем праздник портить, потом разберемся...— И тут же обратился к Николаю Васильевичу: — Сейчас позвонили: будут билеты на ночной.— И, смущенно поправив очки, добавил тихо: — Просьба у меня, Николай: перед отъездом загляни к нам с Надей домой...

18

На квартире Николай Васильевич нашел записку от Софьи Анатольевны: «Коленька, дорогой! Сделай для меня услугу: я решила немедленно поехать в Москву, так возьми меня с собой. Вещички я уже собрала, и стоит тебе меня кликнуть, как я буду готова», он тут же позвонил диспетчеру, чтоб заказал не один билет, а два, и велел захватить в «Гайку» за Софьей Анатольевной. До поезда оставалось еще два с половиной часа, значит, он успеет заскочить к Шергову, как тот просил.

Шел дождь, огни за стеклами машины расплывались мутными пятнами, и было трудно угадать, какими улицами они едут; наконец шофер остановил; Николай Васильевич угрелся в машине, и когда отворил дверцу, услышал, как плещут струи по асфальту, забко передернулся — не захотелось выходить в мокрую темень; на крыльце пришлось долго ждать, пока откроют, и холодные брызги попадали ему в лицо.

Надя пропустила его вперед, молча ждала, пока он вытирал платком щеки, снимал плащ, от нее пахло валерьянкой; Николай Васильевич пригладил ладонями волосы и спросил:

— Что, нездоровится?

— Антон приболел,— тихо ответила Надя.— Сердце... Врач был, велел полежать. Перенервничался он сегодня.

— Что же, он всегда такой нервный?

— Да что вы, Николай Васильевич, он очень выдержанный был... Его прежде рабочие Тихоней называли. Ну, требовал, ясное дело... Это он все из-за нового цеха. Прямо ужас, что с ним сделалось за последние-то месяцы. А сегодня... Он ведь сутки не спал. Пришел на рассвете, даже не прилег, все ходил и курил, и так до самого митинга. Все, говорит, кранты мне, полная я бездарность... Да что он за это директорство держится? Мне он нужен, а не чин, по мне пусть хоть бригадир, лишь бы здоровье было...— Глаза ее наполнились слезами, она тяжело задышала, стараясь себя сдержать.

— Ну-ну,— успокаивающе произнес Николай Васильевич и мягко взял ее за локоть.

Она ладошкой вытерла глаза и повела его в комнаты; они миновали горницу, Николай Васильевич скользнул взглядом по стене над диваном, свет ровно падал на фотографию Маши, она шла по улице в легком пальто, и Николай Васильевич подумал: «Это весной» — на фотографии не было ни деревьев, ни неба, только Маша, а за нею стена дома; нет, улыбка у нее была вовсе не настороженная, а приветливая, словно Маша радовалась весеннему солнцу... Николай Васильевич вслед за Надей прошел в спальню. Шергов лежал на широкой деревянной кровати рядом с массивным полированным шкафом, был он без очков, и потому осунувшееся лицо его со слабыми, подсиненными веками казалось беспомощным, он и сказал тихо, словно извиняясь за свое такое состояние:

— Ты садись, Николай, вот сюда. Видишь, как вышло-то...

Николай Васильевич сел на стул рядом с кроватью; Надя ушла, видимо, решив, что им надо побыть вдвоем.

— Ты, если хочешь, кури,— сказал Шергов.— Это можно, мне не повредит.— Он слабо усмехнулся, усы его дернулись вбок.— Ну скажи, какой я дурак... Ну чего прицепился к Ежову? Просто нервы у меня, знаешь, как до предела натянуло? Ничего, ничего, мы тут утрясем свои дела. А тебе, Николай, спасибо. Очень ты нам помог...

— За что спасибо? Работа...

— Э-э, не скажи... Я ведь знаю, кто как работает. К нам больше поорать приезжают, а потом докладные строчат... Да я не об этом хотел.

Он замолчал и смущенно потеревил усы, потом потянулся к тумбочке, взял очки, надел, хотя они и не нужны ему были сейчас, но, видимо, при них он чувствовал себя уверенней, и Николай Васильевич догадался: Шергов что-то хочет ему сообщить или попросить, да, видимо, не решается, и Николай Васильевич стал терпеливо ждать.

— Ужасно курить хочется,— наконец жалобно протянул Шергов,— да боюсь.— И вдруг почти без всякого перехода заговорил быстрее: — Ты извини, мы тут посылочку Маше приготовили, если не трудно... Надя даст, яблоки... сало... Маша любит...— И совсем уж смутился, досадливо крякнул и замолчал.

Николай Васильевич вспомнил: у них иногда в доме появлялись яблоки, те самые, что еще мать в шутку называла «антоновскими», и чесночное сало со шкуркой, какое изредка приносил им в дом в студенческие годы Шергов; Николай Васильевич думал — Маша покупает все это на рынке, а выходит, все эти годы Антон Петрович писал Маше, посылал ей яблоки и сало, а Николай Васильевич ничего этого не знал...

— Передам,— сказал он.— А почему так робко просишь?

— Так ведь...— И Шергов неожиданно покраснел.— Ну, в общем... Я про ваши-то нелады знаю... Да, и все знаю... У нас с Машей двадцать лет переписка...

— Зачем?

— Как зачем? — удивился Шергов.— Дружим мы с ней...

— Как? — переспросил Николай Васильевич.

— Дружим, говорю... Еще с тех пор, со студенческих лет.— И мягко улыбнулся.— Исповедуемся в письмах, в привычку уж вошло... Знаешь, без этого трудно бывает. Нужно, чтоб был человек на стороне, которому все без утайки можно открыть... Очень она нам хорошие письма пишет, очень... И Надя их любит... Ты, конечно, извини, если что не так. Я в чужие семейные дела вступать не люблю, я вот и Наде сказал: может, неудобно его просить насчет этой посылки, да она меня убедила. Все-таки, говорит, у них сын женится. Гостинец на свадьбу...

— Ты и это знаешь?

— Она же звонила, тебя сегодня разыскивала... Фу, какой разговор неловкий, мне даже жарко стало...

— Ничего,— задумчиво протянул Николай Васильевич.— Ничего... Только что же это ты с ней переписывался, а ко мне все эти годы и не заглянул?

— Это уж другое дело... С Машей мы еще и до тебя друзьями были. А ты?.. Ну, то тебя в Москве нет, то ты начальство. Иногда я на тебя из зала заседания смотрел, как ты в президиуме сидишь, а подойти не решался... Не то чтоб я робкий, нет. А вдруг тебе не до меня, а я буду думать: вот зазнался мужик... Да ведь и ты меня к себе ни разу не призвал... Но обиды у меня нет. Ты не подумай. Это я так, к слову... Понимаешь?

— Понимаю. Ну что же, посылку возьму, не беспокойся... Пора мне, Антон. Ты в Москве все-таки заходи, я рад буду.

— Хорошо... Я найду.

Николай Васильевич пожал ему руку, скользнул взглядом по комнате: на спинку стула подле шкафа повешен был черный выходной костюм Шергова, а сверху брошен галстук с пальмочкой и двумя зигзагообразными линиями, изображающими морские волны.

— Будь здоров, Антон,— сказал Николай Васильевич и пошел из комнаты.

На квартире его ждали Софья Анатольевна, Наташа и Павел, у всех троих были замкнутые лица, видимо, тут разыгралась какая-то не очень приятная сцена. И чтоб не дать им возможности пожаловаться друг на друга, Николай Васильевич поторопил:

— Надо спешить. Дорога сейчас мокрая, как бы не опоздать к поезду...

Дождь усиливался, за ветровым стеклом свет фар высвечивал лишь небольшое пространство шоссе, и потоки воды дымилась в лучах, ступенькая даль, за границами этих дымных полос стояла непроглядная тьма; ехали молча. Николай Васильевич закурил и включил приемник, повертев ручку, нашел музыку, мелодия была спокойная, приятная. Николай Васильевич прикрыл глаза, расслабился и только сейчас почувствовал, как устал за дни командировки; впрочем, и приехал-то он сюда замотанным... Но отдыха не предвиделось, нет, сейчас обрушатся на него в Москве тысячи дел... Ну, что будет, то будет, зачем же сейчас об этом думать, и, чтоб отвлечься, он стал вспоминать дорогу, по которой ехал в Высоцк со станции в первый день: леса с золотистыми листьями, клочья зеленой травы и неправдоподобно воздушные шапки снега на опушках и полянах; да, тогда в ночь выпал снег, вот ведь, кажется, как это было давно, а на самом деле прошло всего четыре дня, совсем крохотный отрезок времени. Он знал: пройдут недели, месяцы и срок этот покажется кратким мигом — ну, был, мол, в его жизни такой случай, ездил в небольшой городишко Высоцк пускать цех.

Они разгрузились возле перрона. Павел сбегал к начальнику, взял заказанные билеты, и как только он вернулся, подошел поезд, и тут Софья Анатольевна ахнула, повернулась к Наташе, порывисто и неуклюже — ей мешал мешковатый плащ — прижала ее к себе и громко, тяжело всхлинула:

— Ой, девочка, прости ты меня! Прости, Наташенька...— И торопливо стала целовать ее в мокрое лицо.— Деточка моя, деточка.

— Ну что вы, что вы,— отвечала Наташа.— Ну не надо.— И голос у нее задрожал, она прижалась к щеке Софьи Анатольевны, проговорила: — Я вам писать буду. Вот увидите...

— Правда? — недоверчиво сквозь слезы спросила Софья Анатольевна.

— Правда.

Поезд остановился, звякнул железом, надо было спешить, он стоял на этой станции две минуты; вагон их был впереди, пришлось пробежать с вещами, Николай Васильевич едва успел прижаться губами к щеке Наташи, пожать руку Павлу; едва он вошел в коридор вагона, как поезд тронулся, на какое-то мгновение он еще успел увидеть на мокром перроне Наташу и Павла, они стояли, касаясь друг друга плечами, махали руками, и вот уж замелькали мимо освещенные тусклыми фонарями пристанционные постройки.

Николай Васильевич перенес вещи из коридора в купе, помог снять плащ Софье Анатольевне, она опустилась на диван, тяжелые плечи ее вздрогнули раз, другой — она боролась с рыданиями; Нико-

лай Васильевич знал — в таких случаях не надо утешать, и он пошел к проводнице спросить чаю.

— Да вы что? — хрипло зашептала проводница. — Скоро уж час ночи, а вы чай.

— У меня больная женщина, — тихо проговорил Николай Васильевич, — под дождем промокла.

Проводница подумала и сказала:

— У меня в термосе есть, сейчас принесу.

Едва успел он вернуться в купе, как она и вправду принесла два стакана чая; рука у Софьи Анатольевны дрожала, но она все-таки успела отпить несколько глотков, лицо ее совсем осунулось, глаза потускнели, и она сама будто бы уменьшилась в объеме, не было той величественности; он взял ее пухлую руку, погладил и сказал:

— Все будет хорошо... Вон сколько дел у вас в Москве. Надо издать сочинения Юрия Сергеевича, все систематизировать. А вы в этом — главное лицо.

— Ох, Коленька, — вздохнула она, — не понимаешь ты.

— А что там понимать? Все равно бы я вас из Высоцка насильно вывез. Работать, Софья Анатольевна, надо, работать.

И когда уж он это произнес, то и сам почувствовал, с каким фальшивым бодрячеством прозвучали слова, и ему стало неловко.

— Нет, Коленька, не понимаешь...

— А что же я должен понимать?

Ее серые глаза опять стали наполняться слезами.

— Одиночество... Его нельзя со стороны понять. В него окунешься, тогда только поймешь. Это похуже, чем волк на морозе... И не так завить можно, лишь бы кто откликнулся, кто бы хоть капельку участия подарил...

Она замолчала и посмотрела мимо него, за окно; по темному стеклу стекали дождевые капли, вспыхивали в свете настольной лампы, вздрагивавшей от движения поезда. Холодное осеннее пространство простиралось за окном в мокрой темноте, и Николай Васильевич вздрогнул от страха, он был мгновенный, как удар, стремительно возник и исчез, оставив ссадину на душе... Станный безотчетный страх... Николай Васильевич отвернулся от окна и жадно отпил несколько глотков чая.

— Ложитесь-ка вы спать, милая, милая женщина, — проговорил он.

— Хорошо, — покорно сказала она.

Он вспомнил, что у него есть в бумажнике таблетки снотворного, предложил ей; потом полез на верхнюю полку; она уснула быстро, он понял это по ее тяжелому дыханию, а он лежал, запрокинув руки за голову, и смотрел в потолок вагона, по которому изредка пробежали мутные отсветы.

Вот и кончилась его поездка в Высоцк, она не была зряшной, как это у него случалось порой, в этой поездке был свой итог — там, за лесами, в ночи горел огромными окнами цех, и этот цех чувствовался Николаем Васильевичем как живой организм. Довольный этим ощущением, Николай Васильевич прикрыл глаза, но тут же подумал, что не довел все-таки в Высоцке дела до конца, так и не везет готового решения о Шергове. «Что же делать с директором? Завод ведь только наново рождается... Рука ему нужна. Рука... Чья?» И чем больше он думал об этом, тем неразрешимей казался вопрос... Конечно, можно поискать по металлургическим заводам и найти среди начальников цехов, а то и главных инженеров крепкого, знающего автоматiku парня, причем такого, что быстро все возьмет в руки, не будет распускать юни, все подчинит производству, но ведь вот беда: опыт уже пока-

зал, что такие парни, которым любой завод — только завод, ни город, ни место, ни леса, ни небо — цеха да линии, на какое-то время управляют делом, а потом с завода доносится лязг механизмов, не способных более набрать новые темпы, и в этом лязге гложут человеческие голоса... Об этом был серьезный спор у них на совещании в главке, вроде бы и не деловой спор, он вспыхнул в перерыве, но, видимо, так задел всех, что уж не могли остановиться... Ох эти железные мальчишки, о которых предупреждал еще Поповский, что-то их многовато появилось за последнее время. Найти такого? Нет, для Высоцка, где так тесно связаны меж собой люди, подобный вариант непригоден... И все же: как быть с директором?

Николай Васильевич попытался представить завод без Антона и, к удивлению своему, не смог. Да, Шергов был нервозен, суетлив, не подготовлен инженерски к таким цехам, как колесопрокатный, но нечто большее стояло за ним; вокруг него теснилось множество людей самых разных, даже Маша... «Дружим мы с ней...» Шергов сказал это с откровенной простотой, а Николай Васильевич удивился, потому что считал это слово «дружим» детским; да и в самом деле, как это взрослый мужик может сказать о женщине: «Мы дружим»?.. Лексикон школьников... Но ведь они дружили, другого-то слова и не подберешь, вот почему он удивился, и даже зависть шевельнулась в нем... Так что же все-таки делать с Шерговым? Если брать всего лишь одну сторону дела — техническую перевооруженность завода, — то, конечно же, Шергов тут слаб, но... Вот и возникло это самое «но», против которого Николай Васильевич сам не раз выступал на коллегии: «Все ваши «но» — поиски компромисса, а компромисс — не решение, лишь слабая жердочка через пропасть. В кадровой политике нельзя рисковать. Или мы оставляем человека и доверяем ему полностью, или мы сомневаемся, и тогда оставлять его нельзя...»

Николай Васильевич мучился, лежа на верхней полке... Черт бы побрал эти мысли! Черт бы побрал! Надо спать... Впереди Москва. Там много дел. И еще Митька женится... Что же это так противно звенит? Ах да, чайная ложка в стакане. Придется выпить снотворного... И внезапно Николай Васильевич понял, что уже принял решение: он не будет выносить на коллегию вопроса о Шергове, доложит о пуске цеха, а о директоре... Есть ведь такая формула: надо еще разобраться...

19

Была уже середина февраля, когда Николай Васильевич вернулся в Москву из Днепропетровска, куда выезжал на три дня, и ему сообщили — умерла Софья Анатольевна. Он едва успел на похороны, застал процессию на кладбище. Хоронили Софью Анатольевну рядом с могилой Поповского, людей было немного, больше старики и старики, Николай Васильевич мало кого из них знал, и когда уж почти совсем закопали яму мерзлой землей, его кто-то вежливо тронул за плечо. Николай Васильевич обернулся и увидел Шергова, он стоял с заплаканными глазами, подняв воротник пальто из черного каракуля. Они вместе вышли из ворот, Николай Васильевич остановил такси, сказал шоферу:

— Гостиница «Россия».

Было начало шестого, только что закончился перерыв в ресторане, и зал был пуст, ряды столиков с белыми накрахмаленными скатертями и белые стулья с голубыми мягкими спинками, необычная тишина в этом высоком и просторном помещении — от всего этого веяло теплом, радушием и после кладбища показалось Николаю Васильевичу противоестественным. Он даже остановился растерянно у входа, ус-

мнившись, а стоило ли сюда приезжать, но подбежал расторопный официант и повел их в глубь этого свежего великолепия, усадил за столик; им принесли водки и закуски, они приподняли рюмки, Шергов сказал тихо и горестно:

— Помянем ее добром...

Они выпили, Николай Васильевич стал лениво закусывать, он вспоминал, как лежала Софья Анатольевна в гробу, пухлые большие руки были сложены на животе, лицо опавшее, землистого цвета — такой он успел увидеть ее перед тем, как заколотили крышку гроба. И тут же подумал: а почему ему все так некогда да некогда, вот и на похороны едва успел; ведь после того, как привез он ее из Высоцка, так и не видел больше ни разу, направил к ней двух работников, чтобы помогли подготовить к изданию рукописи Юрия Сергеевича, она звонила ему, благодарила, звала в гости, он обещал, да так и не сумел выкроить время; и еще он думал: почему же это она умерла? Ему сказали по телефону — рак легких, но он все же переспросил у Шергова:

— Почему она?

— Не знаю, — сказал он. — Может, от тоски...

И Николай Васильевич вспомнил, как сказала она в поезде об одиночестве: «Это похуже, чем волк на морозе» — и тогда он испугался этих слов... Что же, бывает, люди умирают от одиночества...

— Почему же Латышева не приехала? — спросил Николай Васильевич.

Шергов крикнул, ковыряя вилкой селедку, и, не поднимая на Николая Васильевича глаз, быстро проговорил:

— А она не знает... Я ведь сам случайно. Приехал по вызову, позвонил Софье Анатольевне, а мне говорят: умерла...

Николай Васильевич усмехнулся: «Эх, Антон, Антон...»

Они опять выпили не чокаясь, печаль, навеянная похоронами, стала медленно отступать, да и Шергов приободрился, зарозовел щеками от выпитого, пригладил усы.

— Ну, как вы там живете? — спросил его Николай Васильевич.

— А как живем? Да ничего живем. Клевать вроде бы нас перестали. Скоро вторую очередь запустим... Еще один цех заложили. Идет, в общем, жизнь. Тебя добрым словом поминаем, как ты нам тогда урок дал. Красиво же ты тогда работал, ничего не скажешь, красиво...

И Николай Васильевич отчетливо вспомнил, как командовал в цехе и то острое ощущение слитности с механизмами, когда казалось — все нервы обнажены, и так ему захотелось, чтобы все это вновь повторилось. «Да, может, это и есть мое настоящее... Вот так бы всю жизнь... а не эти бумажки, подписи, совещания... Мне бы вот это, чтоб горячо в руках было...» — и ревниво спросил:

— Кто же там командует сейчас?

— Как «кто»? — удивился Шергов. — Я же тебе докладную послал. Пока Ельцов. Мы ему двух заместителей дали — Ризодеева и Латышеву. Ничего, тянут.

— Мы же ведь по-другому договаривались.

Шергов нахмурился:

— Мы, Николай, вам план даем, качество повышаем, и больше вам от нас ничего не нужно... Все! А кто и где у нас работает — наша задача. Нам на месте видней. Вот так... А про Латышеву или Андрюшку Ризодеева беспокоиться не надо, они на месте, при деле. Будет срок, еще и высоко взлетят, да пусть среди людей пока потолкуются, им на пользу. — Он помолчал, поскреб вилкой скатерть и неожиданно улыбнулся: — Давай-ка мы лучше за женщин выпьем... Вот, Николай, повезло мне в жизни раз: судьба Надей одарила. Ничего не скажешь — повезло... Так давай за хороших женщин...

Он так приветливо тянул свою рюмку, что Николай Васильевич тут же смягчился: «Ну что и в самом деле все дела да дела, а ведь собрались помянуть Софью Анатольевну» — и тоже поднял свою рюмку...

Они расстались, когда наполнился людьми ресторан, заиграл оркестр, начались танцы; Шергов пошел в гостиницу пешком, идти ему было недалеко, ему сняли номер в «Бухаресте», а Николай Васильевич поехал на такси домой. Он велел остановить машину возле гастронома, зашел, чтоб купить сухого вина; ему повезло, продавали грузинскую «тетру», Настя любит такое полусладкое, а ему нравилось ее баловать; веселая умница оказалась жена его сына, и жили они весело, любовно перебранивались по утрам, жарко целовались по уголкам и обещали Николаю Васильевичу сделать его дедом; ему нравилось, как они жили, почему-то прежде он не замечал, какой приятный парень у него Митька; ну что же, этим двоим повезло, они нашли друг друга. Пока...

Николай Васильевич прошел в свою комнату, попросив Машу сварить покрепче кофе, переоделся в пижаму и сел к столу, раскрыл папки с бумагами — предстояло послезавтра вылететь на север Урала, там сдавался новый цех, а в бумагах содержались предложения по усовершенствованию линий — все-таки идут дела, идут, вот уж строится завод на сплошной автоматике... Вошла Маша, осторожно поставила чашку с кофе ему на стол и собралась выйти, но Николай Васильевич неожиданно для себя сказал:

— Я с Шерговым сегодня обедал.

Она посмотрела на него и ответила:

— Знаю. Он звонил... Мог бы его один раз и к нам пригласить. Почему не пригласил?

Он растерялся. «Почему, в самом деле, не пригласил?» Да ведь он к себе в дом вот уж много лет никого не приглашал, не принято это у них с Машей было. Зачем приглашать? Для него вот эта комната, где он спал и занимался по вечерам, была продолжением рабочего места, а к нему на застолье или вольную беседу не зовут... Но Шергов... Он был из тех немногих, кто знал о семейной жизни Николая Васильевича и Маши...

— В следующий раз придет — обязательно позову, — сказал он.

Маша молча кивнула, не выказывая ни радости, ни удивления, пошла к выходу, шаркая тапочками, и это шарканье отдалось в нем жалостью: «Вот уж она и немолода, совсем немолода...»

Маша осторожно закрыла дверь, чтобы не мешать Николаю Васильевичу; он подвинул к себе папки с бумагами, попытался заняться ими, но не смог, мысли его опять вернулись к Шергову. «А вот у него иначе, — подумал он о семейной жизни Антона и снова испытал к нему зависть. — Да и все у него иначе», — вздохнул Николай Васильевич... Странно, прежде жизнь Шергова казалась ему мелкой и светливой, лишенной некой одухотворяющей идеи, а теперь Николай Васильевич почувствовал себя перед Антоном приниженным, в чем-то очень важном он не дотягивал до него...

Мысль эта была неприятна, Николай Васильевич заставил себя читать бумаги — предложения уральских инженеров и в самом деле были интересны...



ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

★

ВЫСОТА

Исследуя прибор любовно, как мечту,
сказал второй пилот: «Теряем высоту...»
Без паники сказал. Как в гости пригласил.
А первый не спеша — окурок погасил.
Сквозь старенький мотив, что распевал мотор,
я слушал этот их веселый разговор.
Под нами, точно лед, воздушная струя.
И там, под этим льдом, спит родина моя.
Была под нами ночь — как плот. И на плоту,
беспомощные, — мы теряли высоту.
...Наверно, я устал: который год подряд
улыбки расточал, хотя и не был рад.
Когда просила жизнь всю кровь, а не кивок,
вертлявою рукой маскировал зевок...
Коль был необходим — рывок с постели в ночь,
я сердце утешал: всего не превозмочь,
ты слабенький сосуд, ты — редкостный фарфор...
...Теряешь высоту! — показывал прибор.
Страна моя, любовь! Услышь меня в ночи.
Хотя бы над собой подняться научи,
хотя бы над судьбой, а там уж я найду
иное удалство, иную высоту!
... И вот второй пилот повеселел, расцвел.
А первый хоть бы что! — и бровью не повел.
Лишь солнце над землей да стрелка на шкале —
все выше, как душа, притихшая во мгле,
все выше, как любовь, познавшая обвал...
И долгим был подъем. Но кто-то выше звал!

* * *

От звезды обманный свет
заглянул в твою обитель.
Ты влюбился в Нефертити,
а ее в природе — нет...

Но к любви себя готовь:
сквозь туман тысячелетий,
видишь, светит, видишь, светит
с тем же профилем — любовью!

Хорошие мысли

Хорошие мысли случаются, если
за вашей спиной надежда
листает журналы в вельветовом кресле
и все так надежно.
Рука ее ловит на синем подносе,
как бабочку, чашечку чая.
И желтая челка и жухлая осень
покой излучают.
Хорошие мысли сгоняют усталость
с лица, как французское мыло.
«Спасибо, что вовремя к сердцу прижалась!» —
«Да не за что, милый...»
Давай потанцуем! Пускай музыканты
играют нам блюзы и вальсы.
Танцуем на улицу! Падайте, банты,
а платье — вздымайся!
Танцуем на улицу в белой одежде,
довольно под люстрой калякать!
...Но скверно на улице... Влажно и снежно.
На улице — слякоть.
Там ходят нормальные люди в заботах,
как в серых стандартных пальтишках.
Там ямы, заборы, там бегают кто-то
взъерошенный слишком.
...А мы пересилим себя, перевысим,
танцуем наружу из башни!
Ведь тем и прекрасны хорошие мысли,
что с ними — не страшно.

* * *

Закрываю веки глаз
перед пулей,
защищаюсь всякий раз,
коль боднули.
Под подонка, как под танк,
не гранату —
свой швыряю хрупкий такт
виновато...
Время катится, слепя,
мнет дорогу.
Эх, забраться бы в себя,
как в берлогу!
Так бы ехать не спеша
в той постели.
И вращалась бы душа
где-то в теле.
...Но, как адский механизм
в уголочке,
напевает жизнь: проснись!

Или — в клочья!
Разнесу тебя, сынок,
на частицы.
Защищайся! И пинок!
в ягодицы!
...И встаешь из тишины,
И с размаху
одеваешь шум весны,
как рубаху.
И взлетаешь высоко,
будто птичка...
И прозрачно, и легко
с непривычки.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВАЛЕНТИН ЗОРИН,
профессор



ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРЬЕРЫ

(Опыт неюбилейных рассуждений)

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Машина шла на большой скорости. Свернув с асфальтированной аллеи, над которой раскинули кроны вековые деревья, она понеслась по целине, вздрагивая на ухабах, прокладывая колею среди высокой травы. Вокруг расстилались бескрайние прерии, кое-где всхолмленные, с невысоким колючим кустарником.

И хотя мы находились на самом юге Соединенных Штатов, недалеко от границы с Мексикой, суровый ландшафт нисколько не напоминал ни солнечную Флориду с ее пышной тропической растительностью и стройными пальмами, ни Калифорнию с ее апельсиновыми и лимонными рощами. Вокруг неуютная безводная земля, покореженные беспрестанно дующими ветрами деревья, удивительное для плотно заселенной Америки малолюдство. Стояли ясные, прохладные дни поздней осени 1969 года.

Впереди машины неслось, выбивая облако пыли из потрескавшейся земли, стадо ланей и оленей, вспугнутых гулом мотора. Необычная гонка эта продолжалась уже несколько минут. Перепуганные животные меняли направление, пытались уклониться от преследователей, но машина, ведомая искусным (чуть было не написал — ковбоем) водителем, неуклонно приближалась к стаду.

Впрочем, сравнение с ковбоем, едва не сорвавшееся с пера, не случайно. И ровное плато прерий, и внешний облик человека, сидевшего за рулем современной дорогой машины, и легенды Техаса, на земле которого мы находились, невольно наводили на мысли о ковбоях.

Машину гнал молодой уже человек, крупный, даже грузный, с загорелым обветренным лицом, изборожденным резкими складками, невысоким, с залысинами лбом, крупным носом, глубоко сидящими глазами, резко очерченным подбородком, горькими морщинами от уголков рта, придававшими его лицу не то недвольное, не то брезгливое выражение. Одет он был по-техасски: выдавшая виды замшевая куртка песочного цвета, стираная рубашка с расстегнутым воротом, ковбойские сапоги и широкополая техасская шляпа. И облик и одежда человека, сидевшего за рулем машины, мало чем отличались от внешнего вида владельцев многочисленных здешних ранчо. И он действительно был хозяином большого ранчо, к которому я подъехал утром этого дня. На воротах медная доска. Под гербовым орлом значится: «Ранчо президента Соединенных Штатов Америки Линдона Б. Джонсона».

За рулем машины, гнавшей перед собой стадо, сидел человек, имя которого было хорошо известно во всем мире, — в то время уже бывший президент Соединенных Штатов Линдон Бейнс Джонсон. Надпись на воротах отнюдь не свидетельствовала о забывчивости или излишнем в данном случае тщеславии хозяина

поместья. По существующей в Америке традиции ушедший в отставку президент до конца своих дней сохраняет титул. Накануне поездки в Техас меня настойчиво предупреждали, что я совершу промах, если буду обращаться к своему собеседнику как-либо иначе чем «господин президент».

Сидя рядом с «господином президентом» в машине, мчавшейся по обширной территории джонсоновского поместья, я задавался вопросом: почему его хозяин избрал, прямо скажем, не вполне обычный способ приема гостя? Мне доводилось прежде видеть его в обстановке официальной — на пресс-конференциях в Белом доме, в Организации Объединенных Наций, в дни встречи советских и американских руководителей в Гласборо.

Получив приглашение приехать в Техас, я рассчитывал на деловую беседу хотя и в неофициальной, но обычной для такого рода встреч обстановке. Однако все получилось иначе. Джонсон ожидал меня у входа двухэтажного, не очень большого белого дома, подчеркнута скромного и не помпезного, в котором, покинув Вашингтон, он обитал со своей семьей.

Меня удивил его внешний вид. Не только потому, что экс-президент вместо привычного строгого костюма дней его пребывания в Вашингтоне был облачен в наряд техасского фермера. Его прежде могучая фигура казалась поникшей — опустились плечи, округлилась спина, резче стали глубокие морщины и складки вокруг рта. За год, прошедший с того времени, когда он, дав в Белом доме официальный завтрак в честь вновь избранного на президентский пост Ричарда Никсона, удалился на свое техасское ранчо, его волосы сильно поредели и стали совершенно белыми. Видно, нелегко далось это время Линдону Джонсону, мечтавшему войти в историю Америки в качестве одного из ее великих руководителей, но вынужденному отказаться от своих планов и бесславно уйти от власти, неся на себе клеймо одного из самых неудачливых президентов в истории страны.

— Вы хотите, чтобы я рассказал вам о проблемах своего президентства? — сказал, обращаясь ко мне, хозяин ранчо. — Давайте начнем наш разговор не в кабинете. Я покажу вам свое хозяйство, свои стада, диких животных, которые обитают здесь. И, быть может, вам станут более понятными некоторые из моих решений, что я принимал, находясь в Вашингтоне. Ведь я техасец. И этим многое сказано.

Быть может, бывший президент хотел показать себя человеком несломленным, ни о чем не сожалеющим, вросшим в родную почву подобно вековым деревьям, окружающим его дом, а возможно, он просто хотел растопить неизбежный холодок, возникающий в беседе между людьми, которых разделяет заваленный бумагами стол, — не знаю. Но беседа эта началась в обстановке не вполне обычной.

* * *

Линдон Джонсон. Десять лет назад это имя не сходило с газетных страниц, крупное лицо с неювелирно вырубленными чертами то и дело мелькало на телевизионных экранах. Но мировая политическая арена в чем-то сродни песчаному пляжу на берегу беспокойного моря. Только что по влажному песку, оставляя, казалось бы, глубокие следы, прошлепали чьи-то ноги; но вот на берег набежала волна, одна, другая и слизнула все следы, как их и не бывало. И вновь следы и новые волны очередных и внеочередных событий и сенсаций.

Неустанно бьется прибой мировой политики. Новости сегодняшние оттесняют, заставляют забывать то, что волновало, будоражило, казалось сенсационным вчера.

Но жизнь не пляж и не киноевент, демонстрируемый в кинотеатре, работающем по системе «non stop», в зрительный зал которого можно войти в любую минуту и когда угодно покинуть его, поскольку с утра до вечера без перерыва крутится одна и та же лента. Только профану история может показаться беспорядочным нагромождением фактов и событий. Завязки и развязки, которые, в свою очередь, становятся завязками, порождая цепь новых событий, как бы прихотливо ни сплетались они, какие бы подчас будто бы неумной фантазией некоего

режиссера придуманные повороты сюжета ни обрушивались на ошеломленных зрителей, образуют в конце концов неумолимую причинно-следственную цепь исторического процесса. Ничто существенное в этом процессе не возникает неведь откуда, ничто не исчезает без следа, даже если след этот, казалось бы, и смыт очередной волной политического прилива.

Казалось бы. В этом суть. Только не всегда очевидная. И хотя имя тридцать шестого президента Соединенных Штатов сейчас не так уж часто упоминается даже на страницах американской печати, многое в сегодняшней политической жизни и нынешних проблемах этой страны не понять, не постигнуть, не обратившись к дням, когда тесными по нынешним временам коридорами и переходами построенного в провинциальном Вашингтоне конца XVIII века президентского особняка, известного ныне как Белый дом, быстрой подпрыгивающей походкой шагал техасец Линдон Джонсон. Немало политических узлов, над распутыванием которых бьются американцы в наши дни и с последствиями которых им придется сталкиваться и завтра, было завязано в дни его президентства.

Нет, события джонсоновского президентства еще не прошлое, не пожелтевшие газетные страницы. Не прошлое для сегодняшней Америки и многие проблемы, над разрешением которых бился тридцать шестой хозяин Белого дома.

Сейчас, в двухсотлетнюю годовщину американского государства, западный книжный рынок наводнен неумеренными юбилейными словословиями и восторгами, производство которых поставлено на поток. Есть во всем этом нечто мелко-суетное, недостойное даты действительно знаменательной. Ленин назвал борьбу американцев за независимость одной из немногих в истории человечества «действительно освободительных, действительно революционных войн».

Всяческого уважения заслуживает труд и талант народа, сумевшего за свою двухсотлетнюю историю внести немалый вклад в современную цивилизацию и культуру. Но высокомерные рассуждения об «американской исключительности», стремление выдать достигнутое за вершину и образец, достойный всеобщего подражания, более того, попытки (иногда и насильственные) навязать свои идеи и свое толкование демократии другим нельзя ни понять, ни принять.

Рассказ о карьере Линдона Джонсона, типичном представителе американского политического мира, о его стремительном взлете и бесславном падении, о политических хитросплетениях и противоречиях, в которых он запутался, думается, особенно поучителен и интересен в эти дни, когда грохочут юбилейные литавры и барабаны.

И еще об одном обстоятельстве следует сказать. Вынужденный уход летом 1974 года из Белого дома Ричарда Никсона как снежный ком оброс, да и сегодня продолжает обрастать всевозможными объяснениями, толкованиями, версиями, в обилии которых исследователю все труднее обнаруживать тонкую нить фактов.

Острый внутривнутриполитический кризис, приведший к отставке тридцать седьмого в истории Соединенных Штатов президента страны, возник в силу сложного переплетения многих проблем — больших и не очень, общегосударственных и сугубо личных, случайных и закономерных, временных и долгосрочных. Эта тема требует специального разбора, и к ней в предстоящие годы не раз будут обращаться исследователи и публицисты. А обратившись, они наверняка не пройдут мимо одного обстоятельства: и в разгар кризиса и сразу вслед за переходом Ричарда Никсона на положение частного гражданина американская печать всячески стремилась свести отставку президента к полудетективному подробностям того, что получило известность под названием «уотергейтского дела», упорно оставляя в стороне весь клубок острых противоречий и конфликтов, имевших следствием своим то, что в конце концов заурядный по нормам американской политической жизни скандал разросся до масштабов общенационального кризиса. Но об этом у нас речь впереди.

И еще один сомнительный тезис пущен в ход сегодня в Америке в связи с отставкой Ричарда Никсона. Всячески ее драматизируя, и политики и журналисты стремятся объяснить все только личностью Никсона, заявляя при этом, что

речь идет о случае из ряда вон выходящем, небывалом, не имеющем прецедента в двухсотлетней политической истории Соединенных Штатов.

Цель такого приема очевидна. Если действительно досрочный уход от власти главы государства — дело небывалое и беспрецедентное, то его нетрудно объявить печальным исключением, связанным с ошибками одного человека, а не с системой, с крупными политическими проблемами.

Действительно, за двухсотлетнюю историю американского государства было всего два случая возбуждения процедуры импичмента¹ против президента, один из которых в 1868 году закончился ничем — Эндрю Джексон сохранил президентское кресло, — а другой, в 1974 году, привел к отставке тридцать седьмого президента. Но так обстоит дело, если подходить к нему сугубо формально.

Недобровольный уход главы государства со своего поста, имевший место летом 1974 года, не был таким уж исключением. Хотя бы потому, что оба последних президента Соединенных Штатов (и тридцать шестой — Линдон Джонсон, и тридцать седьмой — Ричард Никсон) покинули Белый дом не по доброй воле, а были вынуждены это сделать. Внешние обстоятельства их ухода разные, как разными были поводы и причины, к тому приведшие. Но суть дела одна и та же: и тот и другой столкнулись с острыми кризисами, которые вынудили их отказаться от власти.

Сам тридцать шестой президент не скрывал, покинув Белый дом, что его уход был вынужденным. Уже находясь на положении частного гражданина, Джонсон, объясняя автору этих строк причины своего решения уйти от власти, признал, что он столкнулся с ситуацией, которая вынудила его принять столь драматическое решение.

Впрочем, сделал он это не без оговорки и явно нехотя. Поначалу, когда в нашей беседе речь зашла об обстоятельствах его отставки, экс-президент заговорил о том, что на этом-де настаивала его семья.

— Леди Бэрд и дочери были обеспокоены состоянием моего здоровья и настаивали на отставке. Впрочем, — добавил он, — быть может, не это решило дело. Я почувствовал, что теряю поддержку. Почему? О, ведь это судьба всех активно действующих президентов. Приходится идти против течения, а это не способствует популярности у сограждан.

Позднее, в своих мемуарах, экс-президент выскажется еще более откровенно: «Страну раздирали глубокие противоречия, быть может более глубокие, чем за все время после Гражданской войны. Это были противоречия, которые могли уничтожить нас, если бы их не пытались ослабить и в конечном счете преодолеть. Но с другой стороны, это были противоречия, которые я чувствовал себя бессильным устранить. Моя неспособность сделать это и послужила одним из соображений, определивших решение, объявленное 31 марта, уйти с политической арены».

Итак, видимо, даже такой небеспристрастный для данного случая свидетель, как Джонсон, признает, что его уход с президентского поста был вынужденным. Иными словами, его заставили уйти, и, следовательно, как уже говорилось, случай с Никсоном не такое уж исключение, как это ныне пытаются изображать. Фактом является то, что какие-то глубинные процессы, происходящие в недрах американского общества, на протяжении последних лет дважды привели к незапланированной смене вахты у руля американского государства. Видимо, не так уж случайны те случайности, в случайность которых нас пытаются заставить поверить. А быть может, речь идет не о случайностях, а о неких закономерностях?

Американская пословица гласит, что не следует пытаться заткнуть носом трещину в стене. В бурных событиях на американской политической арене нельзя разбираться, уткнувшись лишь в частности и детали, лежащие на поверхности, услужливо подсовываемые общественности. И потому, думается, не только с точки зрения истории, но и для понимания того, что происходит сегодня и будет происходить завтра в политической жизни Соединенных Штатов Америки, стра-

¹ Предусмотренная Конституцией США процедура отзыва президента с поста.

ны большой, сложной, противоречивой, политика которой немало определяет в современном мире, небезынтересно вернуться сегодня к деятельности, к взлетам и падению человека, которого судьба и прихоти политической фортуны сделали тридцать шестым президентом Соединенных Штатов Америки.

ПУТЬ НАВЕРХ

...В моем архиве есть несколько фотографий, связанных с поездкой в ту осень на джонсоновское ранчо. Одна из них запечатлела экс-президента, демонстрирующего гостю старинный деревянный плуг, которым ковыряли каменистую землю Техаса в прошлом веке. Приведя меня в обширное помещение, где собраны семейные реликвии, рассказывающие об истории рода Джонсонов, хозяин ранчо с особой гордостью демонстрировал казавшийся игрушечным в руках этого крупного мужчины деревянный плуг.

— Этой штукой, — рассказывал Джонсон, — мой дед пахал землю. Вред ли ему тогда могло прийти в голову, что внук простого тexasского пахаря станет президентом Соединенных Штатов. Все мои предки жили здесь, на этой земле, и я горжусь тем, что этот дом, стоящий рядом с могилами многих Джонсонов, в течение шести лет моего президентства именовался «техасским Белым домом» и здесь были приняты многие решения, сыгравшие немалую роль в мировой политике. Скажу вам откровенно: когда мне предстояло принять трудное решение, я покидал Вашингтон, где слишком много суеты, где слишком многие стремятся подсказать президенту, как ему надлежит действовать, и уединялся здесь, в «техасском Белом доме». Мне казалось, что дух моих простых предков, коренных американцев, помогает мне найти единственно правильное решение, которое будет понято теми, кто поставил меня во главе моей страны.

Эту тираду, занесенную в мою записную книжку, отставной президент произнес самым патетическим образом, так, как будто ему внимал не единственный слушатель, а одна из многочисленных аудиторий, к которым он так привык за годы своего пребывания в столице.

Надо сказать, что образ этакого простого, грубоватого и прямолинейного тexasца, выходца из низов и оставшегося таким и на вершине государственной власти, — излюбленная поза Линдона Джонсона. Я отнюдь не единственный гость ранчо, которому демонстрировался дедовский плуг и с которым вели разговоры о происхождении и корнях, уходящих в каменистую тexasскую почву. Все это повторялось Джонсоном из года в год в самых различных аудиториях.

Маска, которую носил много лет этот честолюбивый тexasец, создавала для него немало трудностей и неприятностей. До некоторой степени обманулся ею даже весьма опытный и проницательный историк и публицист Теодор Уайт, автор книг о президентах последних десятилетий. В книге о Джонсоне Уайт пишет: «Он был, как говорится, «от сохи». Таких манер в Белом доме не видели уже сотню лет. Его грубые высказывания порождали в столице массу злых анекдотов. Манеры Джонсона служили поводом для издевательств и шуток столь жестоких, что они превзошли все, что когда-либо выпадало на долю американских президентов. Конферансье ночных клубов, университетские интеллигенты, журналисты и телекомментаторы, политические соперники Джонсона, как республиканцы, так и коллеги по его собственной партии, кто во что горазд высмеивали неотесанного тexasского пастуха. На эстрадах утрировали его южный акцент, простоватый говор и неинтеллигентную манеру изложения мыслей».

Зная болезненное самолюбие, даже некую закомплексованность Джонсона, настороженно следившего за тем, что и как о нем говорят и пишут, нетрудно предположить, что для комедии, которую на протяжении многих лет он ломал, были основания существенные, чтобы смириться с насмешками.

Любопытно, что когда Джонсон разговаривал, что называется, не на публику, манера его поведения заметно менялась. Исчезали разухабистость, «простонародные» выражения. Перед вами был человек сдержанный, спокойный, тща-

тельно взвешивающий каждое свое слово, ничем не напоминающий рубаху-парня, каким он старался казаться, появляясь публично.

И дело здесь, думается, не просто в тактике опытного политика, озабоченного не столько тем, как его воспримут столичные снобы и что о нем станут говорить вашингтонские кумушки, сколько в стремлении привлечь к себе симпатии рядовых американцев — им, по его мнению, должно было импонировать, что их президент не какая-то там «столичная штучка», но один из них, понимающий их заботы, готовый защищать их интересы. На избирательных участках преобладают все-таки не университетские профессора и не эстрадные пародисты, а рядовые избиратели.

Были, думается, для джонсоновского маскарада и обстоятельства более серьезные, нежели просто стремление потрафить «маленькому человеку». На протяжении всей своей политической карьеры Джонсон служил вполне определенным интересам вполне определенных групп. Интересы эти весьма далеки от того, что заботит рядового американца, а чаще всего находятся в прямом с ними противоречии. В условиях обострения политической борьбы, когда массы все активнее выступают как реальная политическая сила, камуфляж, на протяжении всей своей карьеры использовавшийся Джонсоном, имел конкретные политические цели.

Начнем с происхождения. Здесь дело обстоит не так просто, как стремился изобразить хозяин тexasского ранчо, похвалявшийся деревянной сохой своего пращура. Рождественская история о босоногом мальчишке, продавце газет, которому в Америке открыты все дороги — будь то миллиардное состояние, будь то Белый дом, не больше чем сказочка, рассчитанная на простодушных. Разумеется, для того чтобы стать президентом Соединенных Штатов, необязательно иметь, как это было с Джоном Кеннеди, папашу-миллиардера, но еще не было в истории Соединенных Штатов президента, путь к власти которому не прокладывали бы могущественные и влиятельные круги, стоявшие за его спиной.

Отец будущего президента — владелец богатой фермы, расположенной недалеко от города Джонсон-Сити, — торговал хлопком и скотом. Следовательно, он никак не мог быть отнесен к числу тех, кто собственноручно возделывал пашню. Для этого на его ферме было немало наемных работников. Трудно представить себе и деда президента Самуэля Джонсона с плугом в руках. Офицер армии конфедератов, боровшийся в дни войны Севера и Юга на стороне рабовладельцев и ненавидевший Авраама Линкольна, он после поражения южан появился в юго-западном Техасе, где основал поселение, ставшее впоследствии городом Джонсон-Сити. Вряд ли простой пахарь, кормившийся трудами рук своих, мог претендовать на такую честь, как город, названный его именем. Боюсь, что деревянный плуг, которым, по уверениям Линдона Джонсона, его дед пахал землю, скорее из области мифологии, нежели реальности.

Дед Джонсона с материнской стороны Джозеф Бэйнс также происходил из рода именитых и состоятельных техасцев, был адвокатом и собственником тexasской газеты. Мать президента говорит о нем, что «он принадлежал к гражданам Техаса высшего круга».

В детстве будущий президент не проявлял особого рвения к наукам и после нескольких лет учения в школе покинул отчий дом, уехав в Калифорнию в поисках счастья. Перепробовав несколько профессий и не преуспев ни в одной из них, он без гроша в кармане вернулся в родные пенаты. Мамаша Джонсон рассказывает: «Однажды серым холодным днем Линдон вновь появился в нашем доме. Он был усталым и разочарованным. «Мне надоело работать только руками, — сказал он нам с отцом, — и я готов попытаться поработать головой. Если вы устроите меня в колледж, я попробую...» Через некоторое время, закончив колледж (чем и ограничились все его познания академических премудростей), Линдон Джонсон стал учителем в местной школе. Предметом, который он преподавал, было ораторское искусство, которое пригодились ему в будущем.

Как видим, рассказы о бедных пастухах и землепашцах — предках будущего президента не больше чем легенда. Землевладельцы, торговцы хлопком и

скотом, преуспевающие адвокаты и процветающие издатели — вот из какого круга вышел политик, до последних дней своих разыгрывавший роль пастушеского сына.

Однако не этому, равно как и не преуспеянию на ниве ораторского искусства, обязан Линдон Джонсон своей карьерой.

Первым существенным его шагом на пути к успеху стала женитьба. Клаудия Альта Тэйлор была дочерью богатого бизнесмена Томаса Тэйлора, владельца хлопковых плантаций, на которых от зари до зари гнули спину сотни батраков-негров, хозяина крупной торговой фирмы. Свою кличку «леди Бэрд» («леди Божья Коровка»), под которой будущую «первую леди» знала Америка, она получила в детстве от старой няньки-негритянки. В качестве приданого она принесла своему мужу крупное состояние — солидный банковский счет и большие земельные участки в Техасе и Алабаме. Расходы по первой политической кампании Линдона Джонсона, когда двадцативосьмилетний учитель вознамерился добиться поста члена конгресса, оплатила его молодая жена.

Надо сказать, что миссис Джонсон обнаружила впоследствии незаурядные качества бизнесмена, с максимальной выгодой используя как полученное ею наследство, так и политическую карьеру своего мужа. Изображавший из себя простого и простоватого американца Линдон Джонсон был одним из самых богатых в XX веке хозяев Белого дома.

Он очень не любил разговоров о размерах своего состояния. Еще бы! Техасский фермер, радеющий о неимущих американцах, и обладатель многомиллионного состояния — несоответствие явное. «Каким бы скрытным по своему характеру ни был Линдон Джонсон, — пишет в своей книге один из его биографов и сотрудников, Эрик Голдмен, — он становился еще более замкнутым, когда речь заходила о собственности его семейства. Однако сколько ни старался он скрыть свои богатства, они настолько значительны, что это не могло оставаться тайной».

Несмотря на беспрестанные хлопоты, связанные с восхождением по ступеням карьеры, Джонсон проявлял постоянный и неугасающий интерес к деньгам, интерес, сидящий глубоко в крови американцев, независимо от их общественного положения. Культ доллара, которым пропитан весь воздух страны, вколавиваемый в американца с молодых ногтей и преследующий его до гробовой доски, стал чертой национального характера. И Джонсон в этом смысле был явлением вполне типичным.

Американец расчетлив и экономен, что само по себе вовсе не плохо. Если американец и не стеснен в средствах, даже если денег у него больше чем достаточно, он их не тратит опрометчиво. Дети многих богатых семей, едва оперившись, зарабатывают себе на жизнь.

Как-то довелось мне познакомиться с дочерью президента крупнейшего уолл-стритского банка, обладателя огромного состояния. Во время летних каникул она подрядилась работать в какой-то конторе и трудилась с утра до вечера. Деньги, заработанные таким образом, ей разрешили потратить на путешествие. Разумеется, ее более чем состоятельный отец, принадлежащий к числу богатейших людей страны, легко мог оплатить любую прихоть дочери, в том числе и путешествие. Однако он предпочел предложить ей заработать деньги самой. И дело здесь, разумеется, не в экономии, а в стремлении показать наследнице многомиллионного состояния цену денег. Несколько сот долларов, лично заработанных, дают представление о ценностях значительно более нагляднее, нежели миллионы, полученные в наследство.

Речь в данном случае идет не о чудачестве, не о причудах сторонника спартанского воспитания, а о вполне разумном обычном принципе, которому традиционно следуют американцы, принадлежащие к различным социальным слоям. Дочь этого банкира не исключение, скорее правило. Правило разумное, проявление, если можно так это определить, национального здравомыслия.

Американцы привыкли считать деньги. Они знают им цену и редко пускаются в предприятия экономически нецелесообразные, будь то в пределах семейного бюджета или в масштабах более крупных. Такая привычка, более того —

способ мышления, видимо, не в последнюю очередь предопределяет эффективность того, что именуется «американской деловитостью».

Но недаром говорится, что человеческие недостатки — суть продолжение их достоинств. Доведенное до крайности и вполне неумеренное почитание денег, превращение доллара в общенациональный идол имеет своим следствием явственно обнаруживающую себя на каждом шагу приземленность и бездуховность общества. Где бы вы ни оказались в Америке, каков бы ни был круг ваших собеседников, чего бы ни касался разговор, речь в конце концов, как правило, обязательно зайдет о деньгах. Доллары — мерило успеха и некий критерий истины в Америке. Об успехе не только бизнесмена, но и писателя, ученого, художника, спортсмена судят по количеству заработанных им долларов.

Как-то в кругу людей, причисляющих себя к интеллектуальной элите Нью-Йорка, зашла речь об одном модном писателе, книги которого, вполне бесталанные, неумеренно эротичные, расходились огромным тиражом. Выразив недоумение успехом писателя, явно не отмеченного искрой божьей, я услышал от собеседников:

— А вы знаете, сколько он зарабатывает?

В другой раз в кругу людей, профессионально занимающихся политикой, мне довелось услышать скептические высказывания в адрес занимавшего тогда пост вице-президента Джеральда Форда.

— Вряд ли ему может сопутствовать успех, — сказал один из участников беседы.

— Почему?

— Ну как же, — услышал я в ответ. — Четверть века он провел в Вашингтоне и за это время ухитрился не составить себе состояния. Жалованье за государственную службу — вот и все, что у него есть.

По поводу Линдона Джонсона такого не говорили. В этом смысле он был типичным представителем своего общества. И хотя заботы по приумножению семейного состояния он в основном возложил на свою жену, сам, когда для того представлялась возможность, охотно занимался деловыми операциями.

«Линдон Джонсон знает цену деньгам, потому что именно ради них он упорно трудился всю жизнь, — говорил старый друг президента Миллер, глава крупного техасского банка. И дальше, не скрывая восхищения, этот прожженный бизнесмен вспоминает: — Вы не можете одержать верх над ним в какой-либо деловой операции. Еще мой отец рассказывал, как в начале 40-х годов он покупал шерсть у Джонсона. Линдон так яростно торговался из-за цены, что отец сказал ему: «Друг мой, продавая шерсть, вы тратите больше времени, чем на выращивание своих овец»...»

Сказано это не с осуждением. Наоборот, в деловой хватке земляка, в его страсти к наживе и в бесспорном искусстве, проявлявшемся в этом, техасские воротилы видели серьезный аргумент в пользу того, на кого они решили сделать ставку.

Но все-таки главным в семье по части наживы денег была леди Бэрд. С необычайной ловкостью пользовалась она положением своего мужа, и пока он карабкался по ступеням власти, леди наращивала миллионы на семейном банковском счете. Своим близким она не раз говорила о том, что деньги — вещь куда более надежная, нежели политическая карьера.

Основу богатства джонсоновского семейства, помимо крупных земельных угодий в Техасе и Алабаме, составляет процветающая радиотелевизионная компания «Тексэс бродкастинг корпорейшн». Мадам Джонсон раньше других учуяла выгоды радиотелевизионного бизнеса в Америке. Доходы от рекламы поистине золотое дно. Еще в разгар второй мировой войны супруга преуспевавшего вашигтонского политика купила дышащую в то время на ладан техасскую радиокомпанию и, пользуясь связями и покровительством властей, быстро превратила ее в процветающее деловое предприятие. Только эта компания приносит в последние годы семейству Джонсонов ежегодный доход в пятьсот тысяч долларов. Общее состояние семейства хранится в тайне, но, по мнению специалистов,

составляет в настоящее время сумму, превышающую двадцать миллионов долларов.

Однако женитьба на Клаудии Тэйлор дала Джонсону на первых порах нечто большее, чем только средства для оплаты его избирательных кампаний и возможность возложить на супругу заботы по приобретательству. Она ввела его в круг тexasской аристократии, тех, кто вершил делами в этом быстро набравшем экономическую и политическую силу штате. Именно эти связи и стали пружиной, которая вскоре вытолкнула Линдона Джонсона на политическую авансцену.

Клейберги! Вот уже сто лет это имя произносится на юге Соединенных Штатов с почтительным придыханием. Смело можно сказать, что не сведи судьба начинающего тexasского честолюбца на старте его политического марафона с Ричардом Клейбергом, миру вряд ли стало бы известно имя Джонсон.

Перед второй мировой войной во главе семейства Клейбергов стояли два брата, Ричард и Роберт. Братья строго разграничили свои функции. Ричард управлял поместьями, Роберт представлял интересы этого богатейшего семейства в Вашингтоне, занимая пост конгрессмена от Техаса. Будучи от природы человеком флегматичным, не любившим особенно утруждать себя, он предпочитал возлагать на других беспокойные политические хлопоты.

Вот на этой почве и сошлись Роберт Клейберг и Линдон Джонсон. Пользуясь связями своей жены, молодой Джонсон оказался в непосредственном окружении тexasского патриция. Неуемная энергия, незаурядная ловкость привлекли к нему внимание. Прошло некоторое время, и обретавшийся в Вашингтоне Роберт Клейберг вызвал Джонсона к себе, сделав своим парламентским секретарем.

Так в начале 30-х годов Линдон Джонсон появился в Вашингтоне. Еще больше увеличив рвение, он скоро прибрал к рукам дела своего патрона да и его самого. Клейберг предпочитал проводить время, кейфуя на модных курортах и в аристократических салонах, лишь изредка появляясь под сводами Капитолия. Все дела он постепенно перевернул своему энергичному секретарю. Тот трудился не за страх, а за совесть. Правда, как вскоре выяснилось, имея в виду не только интересы босса, но и свои собственные, обзаводился важными связями, устанавливал знакомства, оказывал услуги «нужным людям». И когда Роберт Клейберг, утомленный столичной суматохой, вознамерился покинуть Вашингтон, было очевидно, что никто лучше Линдона Джонсона не сможет обеспечить защиту на Капитолии интересов Клейбергов и их тexasских друзей.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОДОВОРОТЫ

Не будь за спиной Линдона Джонсона поддержки могущественного тexasского семейства Клейбергов, а впоследствии и всей группы рвущихся к влиянию и власти тexasских нуворишей, ему бы никогда не видать Белого дома. Но есть в этом и другая сторона. Не обладай Линдон Джонсон совокупностью определенных качеств, не прояви он особого рвения и удачливости, хозяева Техаса сделали бы ставку не на него, а на кого-либо другого, кто, по их мнению, обладал бы такими качествами.

Слово «удачливость» здесь употреблено не случайно. Наряду с личными качествами и могущественной поддержкой и это обстоятельство сыграло свою роль в карьере Линдона Джонсона. В американских условиях удачливость или, наоборот, неудачливость играет особую роль. Удача там — своего рода фетиш. Американцы говорят: «Наилучший путь к успеху — успех». Тех, кому везет, заносят в списки фаворитов. Даже если счастливец случайно оступится, на него продолжают ставить. Удачливого политика поддержат, даже если вдруг он споткнется.

На протяжении большей части его политической карьеры Джонсону сопутствовала удача. Сначала секретарь конгрессмена от Техаса, затем сам обладатель парламентского мандата, потом сенатор Соединенных Штатов, лидер демократической партии на Капитолии, вице-президент и в конце концов президент Соеди-

ненных Штатов. Везение несомненное. На него охотно делали ставку. Правда, сам он любил говорить: «Чем упорнее вы чего-то добиваетесь, тем больше вам везет». В чем, в чем, а в упорстве Джонсону не откажешь.

И все-таки, разумеется, не счастливые стечения обстоятельств, прежде всего лежат в основе восхождения Линдона Джонсона к вершинам власти. Крах его политической карьеры, фиаско, которое он потерпел, как президент, способствовали возникновению мифа о Джонсоне как человеке, случайно оказавшемся в президентском кресле, не располагавшем для этого никакими данными, бездарном и ограниченном. Миф этот ныне широко распространен в американской политической литературе. Вот как характеризует тридцать шестого президента Соединенных Штатов такой, в общем-то, пронизательный политический писатель, как Теодор Уайт: «И раньше случалось так, что президентское кресло занимали самые заурядные люди с дурными манерами; другие президенты в годы войн также подвергались нападкам. Что же касается Джонсона, то в нем все внушало недоверие: и манеры и уровень знаний, не говоря уж о его действиях военного стратега и государственного деятеля. Словам этого президента-политика в Америке просто не верили».

В этих высказанных задним числом обвинениях больше эмоций, нежели реализма. Как совместить с такой характеристикой тот бесспорный факт, что Линдон Джонсон, неожиданно для американцев после гибели Кеннеди оказавшийся на посту президента, год спустя не просто выиграл очередные президентские выборы, но буквально разгромил своего противника, кандидата республиканской партии на выборах 1964 года Барри Голдуотера. В тот момент в Вашингтоне и вне его были хорошо известны джонсоновские недостатки: и его грубость, непомерное самомнение, мягко выражаясь, недостаточная приверженность истине и многое другое.

Однако в тот момент все это не помешало американской правящей элите оказать ему полную поддержку, сделать на него ставку. И лишь спустя четыре года после того, как обнаружили свою несостоятельность и внутривнутриполитические прожекты администрации, и в первую очередь оказалась перед крахом, самым крупным в истории Соединенных Штатов, внешнеполитическая и военная стратегия Вашингтона, Джонсон был удален с политической арены.

Именно ему, до поры до времени удачливому и преуспевающему, пользовавшемуся и признанием и поддержкой, довелось в конце концов вытянуть несчастливый политический жребий, расплатившись за просчеты и ошибки многих, а не только за свои собственные. Причиной тому сложное переплетение обстоятельств значительных и не очень, объективных и субъективных, а иногда и просто находящихся в сфере человеческих отношений.

Не по степени важности для полноты картины начнем с обстоятельств личного, или субъективного, свойства, с тем чтобы о факторах общих поговорить позже. Среди того, что вызывало недоброежелательство к Джонсону обитателей столичных гостиниц и политических салонов, были не только соображения политические, но и вполне обыкновенная вульгарная зависть. Зависть по отношению к человеку, который четверть века обретался рядом, вроде бы и не особенно выделялся, со многими был на равных, общался домами, перед иными заискивал, искал дружбы, одолевал услугами, и вдруг внезапно возвысившись, уже самим этим фактом поставил окружающих перед дилеммой: либо признать его превосходство — одаренность, трудолюбие, целеустремленность, в конце концов, — и, что еще труднее и горше, свою собственную посредственность или леность, либо свалить все на слепую удачу, которая сверх меры и несправедливо одарила личность ничем не выдающуюся, нисколько не возвышающуюся над ними — простыми смертными. Последнее, разумеется, значительно проще, поскольку не требует ни мужества, ни критического отношения к себе, к своему стремлению прожить без особых хлопот, трудов, самоограничений и подчас отказа от того, что составляет для людей заурядных то, что именуется «радостями жизни».

«Вполне обыкновенная зависть», постоянная спутница выходящего вон из ряда, — оборотная сторона успеха; чувство, делающее людей крупных значитель-

но мельче самих себя, а ординарных — уж и вовсе ничтожными, отравляющее звездные минуты и жизнь талантов, делающее невыносимым существование тех, кто завистью сдается. Ближние превосходства нередко не прощают; преуспевающего те, кто его непосредственно окружает, точат, язвят упорно и беспрестанно.

Иногда полагают, что крупной личности, выдающемуся человеку зависть и завистники нипочем. Неправда это! Люди талантливые обычно ранимы больше других, даже если в гордыне своей стараются не показывать виду, что их задевают несправедливость и хула. Говорят, что если в помещении, где находится слон, заводятся мыши, гигант в конце концов, не выдержав их возни у его ног, может рухнуть на колени.

Любопытный парадокс: чем выше по социальной лестнице и ступеням благополучия, тем зависть острее. Логичнее, казалось бы, наоборот: те имеющие досталь хлеба насущного завидует тому, у кого он есть. В действительности же мясо в кастрюле соседа вызывает зависть меньшую, нежели автомобиль в соседском гараже. Между обладателями вилл и яхт, бриллиантовых коле и бесценных картин злобная зависть распространена куда больше, чем в кругу тех, чьи запросы и потребности не выходят за пределы нормальных и обыкновенных.

Удачной рифме, яркой речи, глубокой мысли, успеху на политическом поприще завидуют еще мучительнее. «Комплекс Сальери» был известен за много веков до рождения Моцарта и на столетия его пережил. Маленький Трумэн злобно морщился при упоминании имени Рузвельта. А для Джонсона, в свою очередь, слава и популярность Кеннеди были кошмаром. Стойкостью, постоянством и живучестью зависть, пожалуй, превосходит все иные пороки человеческие. Пишущие историю нередко оставляют вне поля своего зрения психологию и страсти людские, а они, правда, не решающее, но немалое влияние имеют.

И хотя Линдона Джонсона нельзя отнести к числу американских деятелей, отмеченных особо выдающимся талантом — ни с Рузвельтом, ни с Кеннеди его не сравнить, — как личность он был значительнее и ярче многих из тех, кто его окружал. И уже поэтому его внезапное возвышение вызвало завистливую неприязнь его коллег и сподвижников, немало сделавших после джонсоновских неудач для создания образа этакого полуграмотного провинциала, некомпетентность и неловкость которого были единственной причиной трудностей и провалов, обрушившихся на Америку в конце 60-х годов.

Между тем человек сложный и противоречивый, Линдон Джонсон был чем угодно, но только не посредственностью. Он обладал цепким умом и незаурядной памятью, огромной энергией и лисьей хитростью, которые сочетались у него с необычайной напористостью. Хорошо разбиравшийся в людях, Джонсон довел до виртуозности искусство играть на их недостатках. Он умел быть вкрадчивым и льстивым, равно как и резким и непреклонным. Мало кто знал, как он, тайные пружины вашингтонского политического механизма, которые за три десятилетия, проведенных в «коридорах власти», он изучил досконально.

Те, кто сотрудничал с ним долгое время, утверждали, что, помимо всего прочего, он обладал незаурядными артистическими способностями — качество важное, как это ни покажется непосвященным, не имеющее ничего общего с политической деятельностью, помогающее в сложной политической игре. Рассказывают, что Джонсон часто раздражался, терял равновесие, глаза его наливались кровью, шея багровела, он повышал голос, не избегая выражений непечатных. Однако чаще всего это был спектакль. Он отлично собой владел и позволял себе терять равновесие только тогда, когда считал это целесообразным и полезным. Через минуту после такой вспышки он был абсолютно спокоен, уравновешен и холоден.

— Президент никогда не действует под влиянием минуты даже тогда, когда он мечет громы и молнии, — говорил один из его ближайших сотрудников. — Он хорошо рассчитывает каждый свой жест и слово, прибегая к эмоциям только в необходимых случаях.

«То, что вы говорите, — делился президент с одним из собеседников, — поч-

ти всегда можно исправить. То, что вы делаете, чаще всего оказывается непоправимым».

Автор биографического исследования о Джонсоне Филип Гайлин, хорошо знавший и долгое время наблюдавший вблизи предмет своего исследования, так описывает манеру и поведение Джонсона:

«В зал, где собрались сенаторы, чтобы побеседовать с президентом, Джонсон входит медленно, с утомленным видом, быстро исподлобья взглядывает на окружающих, как будто он хочет убедиться в лояльности по отношению к нему всех, кто здесь находится. Его манеры чаще всего вкрадчивы. Нередко он говорит почти шепотом и тем не менее почему-то напоминает гангстера. После встречи с ним все главным образом вспоминают твердый и безжалостный взгляд его глаз, скрытых под полузакрытыми веками.

Общение с ним человека непосвященного нередко порождает смешанное чувство ужаса и возбуждения. Вы не можете понять, с каким видом животного имеете дело, но ясно ощущаете, что это безусловно хищник».

И далее Гайлин повествует: «И собственные сотрудники и иностранные деятели, имевшие дело с Джонсоном, сходились на том, что наименее эффективный способ повлиять на него — это оказывать давление, особенно публично. Ответом на это был обычно резкий отпор. Те, кто упорствовал, попадали в немилость. Те же, кто проявлял понимание его позиции, вскоре видели, что и он готов проявить понимание их проблем. Те из его сотрудников, кто осмеливался высказывать критику его взглядов не при посторонних, а в беседе с глазу на глаз, убеждались, что их выслушивают».

Свои способности Джонсон всегда использовал очень односторонне, не читая обычно ничего, кроме деловых бумаг и биржевых сводок. С ним было бесполезно говорить о науке и культуре, ему мало что говорили имена ученых и поэтов, писателей и художников. В книге о Джонсоне Уильям Уайт пишет: «Эйзенхауэр, будучи президентом, проводил большую часть свободного времени в обществе влиятельных бизнесменов и политиков. Кеннеди предпочитал общество профессоров, писателей, художников. Джонсон среди интеллектуалов чувствовал себя неуютно, ему трудно было заставить себя говорить на отвлеченные темы, его любимые собеседники — политики-профессионалы».

Уйдя с головой в политические интриги, он считал ненужной потерей времени посещение театров и картинных галерей, да и на чтение книг, по его собственному признанию, времени у него всегда не хватало. О президенте Эйзенхауэре один вашингтонский острослов сказал: «Когда сгорел его дом, ему удалось спасти библиотеку. Он вынес ее в кармане, поскольку она состояла из одной книги — устава американской армии». В этом смысле тридцать шестой президент недалеко ушел от тридцать четвертого. Зато он отлично знал каждого из тысяч людей, которые играли сколько-нибудь заметную роль в мире американской политики и бизнеса. Не прибегая ни к какому досье, он мог сказать, как по тому или иному вопросу голосовал на протяжении двух десятков лет любой из сенаторов Соединенных Штатов, где вложены деньги каждого из заметных американских предпринимателей, какими родственными узами связаны министры и издатели, партийные лидеры и профсоюзные боссы.

Один из джонсоновских биографов метко заметил, что Джонсон любит, когда его окружают люди, а не проблемы. В течение всей своей карьеры он пребывал в твердом убеждении, что связи важнее принципов, а сложная политическая интрига действеннее, нежели провозглашение доктрин.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что одним из немногих принципов, которым руководствовался этот политик, была принципиальная беспринципность. «Делать что-либо без определенной цели, просто в силу каких-либо принципов является нарушением элементарных законов политики» — так трактовал он политику.

Когда его в дни пребывания на Капитолии спросили об убеждениях и политической философии, которой он руководствуется, Джонсон ответил так:

— Я либерал, консерватор, техасец, плательщик налогов, владелец ранчо,

бизнесмен, потребитель, отец, избиратель, сенатор, человек не такой молодой, каким я был раньше и не такой старый, каким я еще буду. Короче, я все это, вместе взятое, без какого-то определенного порядка в перечислении всех этих качеств. Я протестую против привычки, с которой мы спрашиваем друг друга: «Накова ваша политическая философия?» Я возмущаюсь такими вопросами. Я демократ, поскольку у нас существуют две партии. Но две партии — это вовсе не то же самое, что две точки зрения. Этим вы можете закончить классификацию политика по имени Линдоу Джонсон.

Согласитесь, автопортрет достаточно выразительный, и речь здесь не о самолюбовании могущественного деятеля, полагающего, что он может позволить себе покочетничать с собственной беспринципностью, а вырвавшееся в момент открытости, не столь уже частой для хитрого и скрытного Джонсона, самоопределение, соответствующее действительности.

Можно привести множество примеров из его политической биографии, подтверждающих доподлинность словесного автопортрета. Ограничимся лишь одним. Джонсон появился в Вашингтоне в начале 30-х годов. То, что он примкнул к партии демократов, отнюдь не свидетельствовало о каких-либо его убеждениях. Просто в те годы на юге страны республиканцы не располагали сколько-нибудь заметным влиянием. Монополия на Юг была за демократами. Патрон молодого Джонсона Ричард Клейберг состоял в демократической фракции конгресса, хотя этот южанин-аристократ и толстосум отнюдь не разделял воззрений и политической философии тогдашнего главы демократической партии Франклина Делано Рузвельта. То были годы серьезных катаклизмов в американской капиталистической системе. Великий кризис потрясал ее основы, и правящий класс, убрав с авансены президента-республиканца твердолобого консерватора Герберта Гувера, делавшего ставку на частное предпринимательство старого, так сказать, классического типа, искал выхода из обрушившихся трудностей на путях более активного вмешательства капиталистического государства в свободную рыночную стихию.

«Новый курс» Рузвельта был попыткой капиталистической Америки поставить мощь государственного аппарата на службу интересам большого бизнеса. Рвавшийся вверх Джонсон быстро сориентировался, и вскоре не было в американской столице более громогласного приверженца Рузвельта, нежели этот начинающий техасский политик. Старания и активность молодого техасца не миновали взгляда всесильного президента, и вскоре Джонсон стал получать от него ответственные поручения, пользоваться его доверием, войдя в число «людей Рузвельта».

Но вот в американской столице подули иные ветры. Приближался конец войны, и Франклин Рузвельт, полагавший необходимым сохранить возникшие во время совместной борьбы с Германией отношения с Советским Союзом, оказывался во все большей изоляции. В ходе выборов 1944 года недавно еще всемогущему президенту не удалось оставить на вице-президентском посту своего друга и политического единомышленника Генри Уоллеса.

До сих пор в американских архивах погребены подробности старых интриг, в результате которых, несмотря на все усилия Рузвельта, на пост вице-президента был поставлен мало кому известный в Америке политик по имени Гарри Трумэн. Если о нем тогда и знали, то только лишь в связи с его скандальным заявлением, сделанным в разгар войны: «Если мы увидим, что побеждает Германия, то мы должны помогать русским, а если будут выигрывать русские, то мы должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг друга как можно больше».

Рузвельту не удалось отстоять кандидатуру Генри Уоллеса, и когда в апреле 1945 года Франклин Рузвельт внезапно скончался, его место во главе американского государства занял Трумэн.

А Джонсон, многие годы клявшийся в приверженности принципам и политике Рузвельта? Его политический хребет изгибался легко, без видимых затруднений. Как свидетельствует Уильям Уайт в своей книге «Профессионал Линдон Б. Джонсон», **восходящая звезда из Техаса** полагал, что теперь на повестку дня ставится

вопрос о сдерживании советской силы. Он значительно больше доверял концепциям Уинстона Черчилля, нежели Рузвельта. Джонсон стал первым из прежних сподвижников Рузвельта, который понял, что время этого президента прошло. В его взглядах многое изменилось. Неизменным осталось одно — это прагматизм, гибкость, с тем чтобы воспользоваться намечавшимися переменами и извлечь из них для себя практическую пользу. Сам Джонсон, впоследствии говоря об этом проделанном им головокружительном политическом сальто-мортале, пытался объяснить это «изменением обстоятельств на мировой политической арене».

Однако проблемами международной политики и их оценками перемены в воззрениях Джонсона не ограничились. В 1935 году он был среди тех, кто ратовал за предложенный Рузвельтом закон Вагнера, предоставивший определенные права профсоюзам. Спустя одиннадцать лет он без каких-либо угрызений совести проталкивал через конгресс печально известный антирабочий закон Тафта — Хартли.

— А как же ваши прогрессивные воззрения? — спросил пораженный джонсоновской эквилибристикой один из его старых и не в меру наивных друзей. В ответ он услышал:

— Прогресс — как виски. Хорош, когда его в меру, и вреден, когда его слишком много.

Удача, незаурядная политическая ловкость и беспринципность, высоко котирующиеся в американской политике, поддержка кругов могущественных и влиятельных — вот три кита, на которые опиралась джонсоновская карьера.

Так или иначе, но 23 ноября 1963 года Линдон Бейнс Джонсон вошел в Белый дом в качестве тридцать шестого из его временных хозяев, достигнув цели, к которой стремился, к которой шел много лет.

Когда приезжий первый раз попадает в Вашингтон и оказывается подле этого здания в центре американской столицы на Пенсильвания-авеню, он чаще всего на какой-то момент испытывает разочарование, дом значительно более скромный и непрезентабельный, нежели его известность.

Приобретший свой нынешний облик в начале прошлого века, он по-прежнему сохраняет налет некоторой провинциальности. Невысокий, в своей основной части в три этажа, с крыльями, пристроенными позже, он никак не может быть отнесен к чудесам архитектуры. Но тем не менее по мере роста влияния американского государства рос и престиж этого здания. Президенты Соединенных Штатов не только работают в его помещениях, но и в период своего президентства вместе с семейством обретаются в его жилых покоях.

Много раз дом перестраивался, менялось его внутреннее убранство в соответствии со вкусами его обитателей, и прежде всего «фёрст леди» — первой леди, — как в Америке именуется жена президента. Последний раз переоборудование и меблировка резиденции президентов были предприняты под руководством Жаклин Кеннеди. Она сменила разностильную мебель многочисленных помещений, обставив жилые комнаты и официальные залы весьма изысканно, во вкусе французской аристократической старины.

Чета Джонсонов, переехав в Белый дом, ничего менять не стала. Новый президент лишь установил в своей спальне автомат, открывающий окна, и повесил любимый канделябр, а в Овальном кабинете водрузил кресло-качалку, с которым не расставался много лет.

Белый дом располагает большим штатом постоянных сотрудников — от советников президента, число которых растет год от года, до многочисленного обслуживающего персонала. 132 комнаты Белого дома, примыкающие к нему лужайки обслуживают свыше 300 человек — мажордомов, дворецких, горничных, садовников. 70 поваров и официантов суетятся на кухне и в столовых, обслуживая президентскую семью и его гостей. 250 секретарей, стенографисток, работников связи круглые сутки обеспечивают непрерывное функционирование аппарата Белого дома.

В центральной части здания на его верхних этажах расположены жилые помещения: столовая, спальни, гостиные. На первом этаже официальные помещения, используемые для приемов. Здесь находятся знаменитые гостиные, где принимают визитеров, важных гостей — Западная, Зеленая, Красная, — обеденный зал. Два крыла дома заняты под рабочие кабинеты. Западное начинается со знаменитого Овального кабинета — официального места пребывания президента. К нему примыкают зал, где собираются на свои заседания члены правительства, и конференц-зал, прозванный «рыбным залом», потому что президент Рузвельт, в 20-х годах занимавший пост морского министра, украсил его морскими трофеями. Дальше идут служебные помещения, в которых работают помощники президента и другие сотрудники его штата.

Восточное крыло воздвигнуто значительно позже западного, поскольку некогда маленький штат сотрудников главы государства стал быстро возрастать. Там также расположены служебные помещения.

Впрочем, рост числа сотрудников президентского аппарата значительно обгоняет расширение здания, и потому многие службы и сотрудники Белого дома расположились сейчас в соседних зданиях на Пенсильвания-авеню, неподалеку от президентской резиденции.

Рузвельт пристроил к Белому дому помещение плавательного бассейна, который пользовался особым вниманием Джонсона. Свой рабочий день он начинал там, и пока он плескался в воде, его помощники, сидя на стульях, расположенных около борта бассейна, читали ему сводки новостей и другие официальные документы. Знаком особого расположения президента считалось приглашение им кого-либо из посетителей поплавать в бассейне. Многие важные беседы, которым Джонсон хотел придать неофициальный характер, велись именно там.

Любимым делом Джонсона, когда он обитал в Белом доме, было показывать гостям его покои и помещения. Он не мог скрыть удовольствия от того, что может расхаживать по этому зданию в качестве его хозяина.

— Овальный кабинет, — рассказывал как-то президент, показывая свои апартаменты группе журналистов, — это центр всего, что здесь происходит. Приемная перед ним — место, где мои помощники обсуждают и изучают проблемы, а моя спальня наверху — это место, где рождаются мои идеи. Особую роль, — подчеркивал тогда президент, — играет помещение, которое у нас называется «ситуэйшн рум». (Если перевести буквально — ситуационная комната.) Оно расположено в подвале Белого дома и начинено сегодня новейшей электронной аппаратурой и всеми мыслимыми средствами связи. Именно сюда поступают сообщения со всей страны и из-за рубежа, здесь они первично обрабатываются для того, чтобы затем быть доложенными президенту.

Сотрудники Джонсона говорили, что по тому, где находился президент в тот или иной острый момент, они могли безошибочно определить, как он оценивает складывающуюся обстановку. Если он обсуждал дела в Овальном кабинете, это значило, что он не считает положение дел критическим, требующим безотлагательных решений. Но если Джонсон спускался в «ситуэйшн рум» и вызывал туда своих советников, в Белом доме все знали — происходит нечто чрезвычайное.

Венцом всех желаний Джонсона был Белый дом. Для того чтобы войти в него хозяином, он многим пожертвовал, от многого отказался, подчинив этой цели всю свою жизнь. И вот вождь деленная цель достигнута.

— Оглядываясь назад, — говорил экс-президент в день нашей с ним встречи, — я делю свою жизнь на две неравные части — до того времени, когда я сел за стол в Овальном кабинете, и начиная с этого момента. Если быть откровенным, первая часть принесла мне больше радости.

Сказано это было с нескрываемой горечью и вряд ли было только лишь данью нерассосавшейся в те дни обиды на тех, кто поспешил от него отвернуться. Хотя бывший президент по понятным причинам предпочитал говорить не о своих политических неудачах, а о «враждебности и непонимании», с которыми столкнулся в дни своего президентства.

Отчуждение и подчас враждебность, выпавшие на его долю после того, как он добился вождеденного,— результат прежде всего обстоятельств объективного свойства. Его личные качества, черты, ему присущие, решающей роли, безусловно, не играли, хотя, разумеется, определенное влияние имели. И все-таки были специфические моменты личного свойства, способствовавшие созданию вокруг тридцать шестого президента обстановки недоброжелательства. В их числе его отношения с кругами американской интеллигенции — журналистами, писателями, академическими кругами, а также тяжкие подозрения относительно роли в событиях, связанных с гибелью Джона Кеннеди.

Что касается первого из этих обстоятельств, то, хотя большинство американцев к числу интеллектуальной элиты себя не относят, не вызывает сомнений тот факт, что общественное мнение в значительной степени формируется относительно узким кругом интеллектуалов. Пока Джонсон обретался в Вашингтоне как представитель определенного избирательного округа — штата Техас,— он мог безнаказанно пренебрегать этим, полагая, что то, как он выглядит в глазах своих непосредственных избирателей, важнее того, что о нем пишут газеты, говорят телекомментаторы, судит публика, в руках которой средства воздействия на общественное мнение всей страны. Отсюда и рассчитанная прежде всего на избирателей-земляков поза «простого техасского парня».

Переход в новое качество требовал и иных методов самоподачи, что, не смотря на немалый опыт, Джонсон недооценил, а когда спохватился, было поздно.

Кеннеди привел с собой в Вашингтон группу высокообразованных профессионалов. Его советниками были молодые профессора, специалисты в области экономики, истории, права, международных отношений. Линдон Джонсон, ковавший свою карьеру в коридорах конгресса, окружал себя ловкими политиками, знавшими все о правилах واشингтонской политической игры, отлично разбиравшихся в хитросплетениях политических интриг и рецептах واشингтонской политической кухни. Люди, окружавшие Кеннеди, один за другим покидали джонсоновский Белый дом, возвращаясь в университетские аудитории разочарованные, недовольные тем, что их бесцеремонно выставили за дверь.

Однако манеры Джонсона, его провинциальный выговор и обида непонятых профессоров, честолюбиво претендовавших на первые роли в столичных департаментах, отражали лишь внешнюю сторону конфликта. Более существенным было то, что Джонсон принадлежал к тому виду американских политиков, которые не скрывали да и по сей день не скрывают своего недоверия к тем, кого они презрительно именуют «яйцеголовыми». Недоверие к интеллигентам и интеллигентности — болезнь в Вашингтоне застарелая.

С повышенной ажитацией и явно в пику новому хозяину Белого дома столичная публика то и дело поминала о том, что совсем недавно завсегдагаями президентских апартаментов были сливки научного, артистического и художественного мира. Справедливости ради следует сказать, что помпа, с которой чета Кеннеди обставляла свои «художественные вечера», реклама, ими создаваемая, наводили на мысль о явной нарочитости этих затей, свидетельствовали не столько об утонченном вкусе, сколько о стремлении произвести впечатление и в конце концов получить помимо удовольствия и вполне определенные политические дивиденды.

Но так или иначе, на Пенсильвания-авеню, 1600 бывали и демонстрировали свое искусство Пабло Казальс и Иегуди Менухин, Марион Андерсон и Луис Армстронг, Мэрилин Монро и другие известные артисты, музыканты, поэты, развлекавшие президентскую чету и ее гостей.

Самолюбивога Джонсона уязвляли сравнения с «утонченным Кеннеди», да и издержки престижного характера он начал осознавать. Отсюда и родилась у него идея одной затей, отнюдь не являвшейся значительным событием его президентства, но тем не менее заслуживающей, чтобы о ней рассказать, поскольку эпизод этот проливает свет и на его характер, и на причины некоторых из его трудностей.

Дело происходило летом 1965 года. У президента и леди Бэрд возникла, в общем-то, для семейства Джонсонов в достаточной степени странная и необычная идея — организовать в Белом доме фестиваль искусств, некое действо, долженствовавшее продемонстрировать нечуждость президентской четы деятелям культуры, заботу главы государства о вящем процветании искусств. Было задумано превратить на несколько дней официальные помещения и холлы Белого дома в своеобразную картинную галерею, где должны были быть собраны произведения художников самого различного направления — от старомодных бытописателей до наимодернейшего «поп-арта». Лужайки, примыкающие к президентской резиденции, было решено украсить образцами скульптуры и завершить все это большим концертом, на котором должны были выступить крупнейшие писатели, поэты, музыканты и драматические актеры Америки.

То была хотя и наивная, но очевидная попытка проложить тропинку к сердцам представителей интеллектуальной элиты, наладить с нею какой-то контакт, тем более в тот момент желанный, что в среде американской интеллигенции нарастало возмущение кровавым месивом вьетнамской войны. Однако именно это обстоятельство и опрокинуло затею, превратив ее в жалкий фарс. Многие видные представители культуры, которые получили приглашение принять участие в фестивале, отвергли его, заявив, что они не считают возможным присутствовать в Белом доме в качестве гостей президента, несущего ответственность за вьетнамские поражения.

Крупный американский поэт Роберт Лоуэлл в письме, направленном президенту, писал: «После раздумья я решил, что моя совесть обязывает меня отказаться от Вашего приглашения. Мы подвержены опасности стать агрессивной и шовинистической нацией, и, возможно даже, мы скользим к роковой ядерной катастрофе. В этот сложный момент, момент, который я больно переживаю, я чувствую, что в интересах нашей страны я не должен принимать участия в фестивале искусств в Белом доме».

Реакция на письмо Лоуэлла была типично джонсоновской. О ней рассказывает один из его ближайших сотрудников, Эрик Голдмен, по поручению президента непосредственно занимавшийся организацией фестиваля. «Рев в Овальном кабинете был слышен в противоположном крыле Белого дома. Письмо Лоуэлла привело президента в ярость. Объектом его негодования стал не только поэт, но и все интеллектуалы. Линдон никогда не испытывал особой приверженности к интеллигентам вообще и деятелям искусств в частности. Но теперь он валил всех их в одну кучу, заявляя, что не питает к этой публике ничего, кроме отвращения. Беснуясь, он изрыгал проклятия. Слова «сукины сыны» и «кретины» были далеко не самыми крепкими, которыми он их потчевал. «С меня достаточно этих типов, я не желаю их видеть и приказываю фестиваль отменить»...»

Правда, отменить фестиваль все-таки Джонсон не решился. Это было чревато уж слишком большим скандалом и еще большим отчуждением между Белым домом и деятелями культуры. В сильно урезанном виде он все-таки состоялся. Поэты, согласившиеся прийти в Белый дом, читали свои стихи, певцы исполняли популярные песни. Сам президент на концерте не присутствовал. Он появился в зале, когда публика уже вставала со своих мест. Вот как описывает это тот же Эрик Голдмен: «Необычайно мрачным Джонсон вошел в зал. Вяло пожал руки некоторым из гостей, лицо его было похоже на твердый кусок селитры. После нескольких рукопожатий он ушел и предоставил госпоже Джонсон приветствовать остальных гостей. Не было его и на ужине. Поздно вечером, появившись снова, чтобы закрыть церемонию, он отбросил привычные для такого случая вежливые слова и мрачно изрек, обращаясь к присутствующим: «Вы приглашены сюда не потому, что вы лучшие деятели искусств нашей страны, хотя по мнению тех, кто составлял список приглашенных, вы, быть может, и являетесь таковыми. Впрочем, коль скоро уж вы здесь, я вас приветствую»...» Закончив этот неучтивый спич, он не пожелал остаться среди гостей, а ушел и больше не возвращался.

Если бы Джонсон не потерпел фиаско в главном — в политике, которую он осуществлял, его конфликт с интеллектуалами вряд ли сыграл бы уж слишком

значительную роль. Да и сам конфликт этот не приобрел бы столь значительных масштабов. «Наилучший путь к успеху — это успех» — такое исповедуют и американцы с университетскими дипломами. Но он обанкротился как политик. И расплачивался за это по совокупности.

Теперь о другом обстоятельстве, отравлявшем атмосферу джонсоновского Белого дома. В клубке политических противоречий, связанных с тридцать шестым президентом, немалое место занимает история его отношений с его предшественником, а затем с братьями погибшего президента — сенаторами Робертом и Эдвардом Кеннеди. Сама коллизия, в центре которой он оказался, стала благоприятной почвой для возникновения многочисленных разговоров, в которых правда соседствует с вымыслом, реальное — с сомнительным и совсем уж нереальным.

В самом деле, Джон Кеннеди и Линдон Джонсон на протяжении многих лет соперничали в борьбе за руководящее положение в демократической партии, за пост президента Соединенных Штатов; затем возник казавшийся многим противоестественным политический союз двух конкурентов, когда один стал президентом, а другой вице-президентом в его правительстве. Потом будто бы сработанный рукой опытного специалиста по части политических детективов острый поворот сюжета, когда в Техасе, издавна являвшемся джонсоновской цитаделью и основой его влияния, погибает президент и Джонсон занимает его место; а затем глухая неприязнь между новым президентом и братьями погибшего перерастает в открытую политическую войну, которая вновь заканчивается гибелью одного из Кеннеди.

Было бы странно, если бы все это не породило многочисленных версий, в которых Линдону Джонсону отводится роль весьма неприглядная, слухов и пересудов, которые из политических салонов переходят на страницы прессы, а затем и в книги исследователей.

Суть этих пересудов схвачена в анекдоте, имевшем несколько лет назад в Вашингтоне широкое хождение: «Скажите, вы не знаете, почему Линдон не занимается сейчас своим любимым делом — стрельбой куропаток в Техасе?» — «Очень просто: Освальд не вернул ему его ружье».

Во время нашей встречи в Техасе я попытался затронуть щекотливую тему. Разумеется, я не стал задавать прямых вопросов. Речь зашла об известном докладе «комиссии Уоррена», на которую была возложена миссия официального расследования убийства в Далласе. Вывод созданной Джонсоном комиссии, материалы работы которой изложены во многих томах, можно свести к одной фразе: убийство Джона Кеннеди было делом рук фанатика-одиночки по имени Ли Харви Освальд. Вывод этот вызвал тогда да и по сей день вызывает в Америке, и не только в Америке, самые серьезные сомнения.

— Господин президент, почему доклад комиссии Уоррена подвергается такой критике?

Лицо моего собеседника, за минуту до этого улыбочное и доброжелательное, внезапно будто бы окаменело. На щеках заходили желваки. После затянувшейся паузы он сказал:

— Никому и никогда еще не удавалось угодить всем.

И резко сменил тему. Я не настаивал.

История личных взаимоотношений между Джоном Фицджералдом Кеннеди и Линдоном Бейнсом Джонсоном — это действительно история упорной вражды и соперничества. Слишком разными были эти два человека: аристократ, любимчик фортуны, наследник огромного состояния, питомец Гарвардского университета — и провинциал, выходец из среднебуржуазных кругов, учившийся немного и наспех, техасский политикан. Разницу между ними знавший обоих генерал де Голль определил так: «Утонченные Рузвельт и Кеннеди были масками на настоящем лице Америки. Джонсон — ее подлинный портрет. Он открывает нам страну такой, какова она на самом деле: грубой и сырой. Джонсон — ковбой, и этим все объясняется. Родись он в Европе, он не остался бы там, а поехал в Аф-

рику охотиться на бегемотов или в Америку искать золото. Но родившись в стране ранчо и кольтов, он стал типичным шерифом, унтер-офицером, последовательно получающим повышения. Джонсон мне, если хотите, нравится. Он даже не делает вида, что интеллигентен». Генерал отличался язвительностью, но в уме и меткости наблюдений ему никто не отказывал. О Кеннеди и Джонсоне он судил не понаслышке.

Оба американских лидера не делали секрета из своих отношений. В ходе избирательной кампании 1960 года, соперничая за право возглавить список демократической партии, они наносили друг другу увесистые удары — Кеннеди со свойственной ему элегантностью, Джонсон — грубо, но болезненно.

В своих мемуарах, написанных незадолго до смерти, в дни техасского отшельничества, Джонсон писал: «Я служил Джону Кеннеди три года как вице-президент. Служил ему лояльно, хотя не всегда наши мнения совпадали, не всегда я соглашался с тем, что делало его правительство».

«Служил лояльно» — сказано более чем сдержанно. А признание по поводу несогласий поистине знаменательно и наводит на многие размышления.

Трения между Кеннеди и Джонсоном носили настолько острый характер, что в руководстве демократической партии многие были убеждены в том, что в ходе президентских выборов 1964 года Кеннеди заменит вице-президента. Сам Джонсон в мемуарах пишет об этом: «В Вашингтоне широко распространились слухи, что меня выбросят из списка кандидатов демократической партии в 1964 году».

Оглядываясь на прошлое, нетрудно понять причины несогласий между президентом и вице-президентом. Отказ Джонсона от многого из того, что делал Кеннеди в бытность свою президентом, резкий поворот на избитую колею «холодной» войны, эскалация войны горячей в джунглях Индокитая дают представление о том, чего не принимал Джонсон в политическом курсе президента, ближайшим помощником которого являлся.

И все-таки, думается, все это не дает оснований для слишком уж прямолинейных версий. Дело было много сложнее, и упиралось оно не в личную неприязнь, соперничество или несовместимость двух политиков и даже не в различный подход к тем или иным проблемам, а в конечном итоге в серьезные расхождения, существовавшие в то время между позициями различных могущественных группировок в бизнесе и политике.

Думается, нет сомнения в том, что за заговором, стоившим жизни президенту Кеннеди, стояли силы влиятельные и могущественные, которых не устраивала не личность Джона Кеннеди, а политические идеи, которыми он руководствовался и которые воплощал в своей политике. Иохим Йостен в наделавшей в свое время в Америке много шума книге, названной им «Темная сторона Линдона Б. Джонсона», пишет, что 22 ноября 1963 года в Америке имел место государственный переворот. «Цель переворота, — пишет Йостен, — этого расстрела президента специально созданным отрядом снайперов, этого чудовищного убийства беззащитного человека, которого заманили в западню, преданного на смертном одре его ближайшими друзьями и официальными телохранителями, состояла в том, чтобы посадить в Белый дом вице-президента Линдона Джонсона. Такова вкратце «далласская загадка»...»

Несомненно, организаторы заговора знали о несогласиях Джонсона с главой правительства, знали о том, что он стоит на позициях, существенно отличающихся от позиций Кеннеди. Ведали они и о том, что, согласно конституции, именно Джонсон должен наследовать президентский пост в случае смерти президента. Нельзя исключить того, что устраняя с политической арены неугодного политика, они могли рассчитывать, как и случилось в действительности, на то, что Джонсон поведет себя по-иному, повернет вспять государственный руль. Именно этот расчет и лежал в основе планов тех, кто организовывал заговор. Однако полагать, что его участником, прямым или косвенным, был Линдон Джонсон, оснований нет, как нет и каких-либо серьезных фактов в пользу такой версии. Джонсон мучительно переживал предположения, высказывавшиеся на этот счет. Ему были неприятны любые разговоры на эту тему. Они больно ранили его самолюбие.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

И здесь мы вплотную подошли к пункту в нашем рассказе, имеющем значение первостепенное, — к соотношению между объективным и субъективным в деятельности политика. Линдону Джонсону на собственном опыте пришлось убедиться в том, что войти в историю значительно труднее, нежели в нее влипнуть. Довелось испить горькую чашу политического банкротства. Споры нет, определенную роль в этом сыграли его личные качества (о некоторых из которых мы уже говорили, о других речь впереди), — неблагоприятное для него стечение обстоятельств, личная вражда, соперничество, мифы, связанные с его обликом и деятельностью. Но главное в личном и политическом крахе тридцать шестого президента все-таки не в этом. В чем же? Он был сделан козлом отпущения за грехи и ошибки далеко не только его собственные.

Козел отпущения в данном случае не дань риторике, а точная констатация фактов, ибо не Джонсоном лично были сформулированы и определены задачи курса, который он наследовал и осуществлял. Они отражали послевоенные устремления американского правящего класса, его идеи и цели. Джонсон продолжил то, что делалось его предшественниками. Беда его в том, что, верой и правдой служа интересам своего класса, он оказался в Белом доме в тот момент, когда все более очевидной становилась несостоятельность и бесперспективность тех идей, которыми руководствовался американский империализм в послевоенные годы.

То, за что превозносили Трумэна и Эйзенхауэра, в связи с чем начал испытывать еще не до конца осознанное беспокойство Кеннеди, попытавшийся после фиаско в бухте Кочинос сделать первые, еще робкие и непоследовательные шаги в сторону от проторенного внешнеполитического курса, в конце концов привелшего к крупнейшему поражению Соединенных Штатов на международной арене, кое-кто ныне пытается вменить в вину лишь одному человеку.

Вряд ли может вызвать сомнение то обстоятельство, что Линдон Джонсон не только не попытался исправить эти ошибки, но, наоборот, усугубил их. Именно его администрация осуществляла пресловутую эскалацию агрессии во Вьетнаме, стремилась растоптать те ростки нового, которые стали пробиваться в американской политике в последний период деятельности Джона Кеннеди, обогрела улицы американских городов кровью молодых борцов против войны во Вьетнаме. Именно Джонсон отдавал приказы на бомбежку мирных городов и деревень Вьетнама, вторжение морской пехоты в Доминиканскую Республику. Но когда сегодня в Америке некоторые из буржуазных историков и идеологов стремятся сделать его единственным виновником банкротства внешнеполитического курса Соединенных Штатов, деятелем, которой-де исключительно в силу своей личной бездарности уподобился бегемоту, оказавшемуся в посудной лавке, превратившему в черепки нечто стройное и прекрасное, то это по меньшей мере преувеличение.

По своим личным данным Джонсон был ничуть не менее подготовлен, нежели большинство его предшественников. Как личность он был намного ярче Трумэна, как политик значительно сильнее Эйзенхауэра.

За политическим соперничеством Кеннеди и Джонсона проглядывается значительно более важное соперничество и борьба между силами куда более могущественными, нежели эти политические лидеры, столкновение крупных интересов. Многие другие, в том числе и нынешние вашингтонские конфликты, — не более чем отголоски расхождения интересов и столкновений тех кругов, которые вершат делами американского государства. Горе тем, кто имеет несчастье попасть между этими гигантскими жерновами. Велика роль, которую играет, в том числе и в политической жизни Америки, борьба между конкурирующими могущественными группировками американских монополий. Оказывается, деньги тоже имеют возраст. Во всяком случае, в последние годы в Америке принято говорить о «молодых» деньгах и деньгах «старых».

На протяжении многих десятилетий в Соединенных Штатах безраздельно ца-

рило несколько возникших еще в прошлом веке, чаще всего семейных, монополистических групп. Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны, Меллоны, позднее присоединившиеся к ним Гарриманы, Форды и некоторые другие представляли собой промышленно-финансовую элиту страны. Как водится в мире бизнеса, они ожесточенно грызлись между собой, деля рынки сбыта и источники сырья, но, позавыв распри, объединялись для того, чтобы не допустить на вершину делового Олимпа чужаков. Экономическое всевластие этих семейств порождало и не делившееся ни с кем всевластие политическое.

Шли годы, менялись временные хозяева Белого дома. Но, как правило, все они были тесно связаны и отражали интересы этой группы, которую иногда в Америке именуют «восточным истеблишментом», а иногда — «уолл-стритским объединением» (по названию нью-йоркской улицы, где расположены правления крупнейших банков и корпораций этой могущественной группы монополистов).

«Уолл-стрит хочет», «Уолл-стрит не хочет», «на Уолл-стрите решили» — говорили, имея в виду желания и решения руководителей американского большого бизнеса. Но время вносит свои поправки. Сегодня уже термин «Уолл-стрит» не вмещает в себя понятие всего американского большого бизнеса. На арену вышли «молодые» деньги — новые могущественные группировки монополистов, ведущие ожесточенную борьбу за место под американским солнцем с представителями денег «старых». В послевоенные годы стремительно набирают вес тexasские нефтепромышленники, банкиры Калифорнии (нового, быстро развивающегося экономического района страны), предприниматели штатов Среднего Запада — финансисты Чикаго, промышленники Кливленда и прилегающих к нему районов.

«Все против всех» — таков принцип ожесточенной конкурентной борьбы между ведущими монополистическими объединениями США. Он дополняется еще одним — «молодые» против «старых». Новые группы монополистов, появившиеся на арене, когда важнейшие позиции уже были захвачены теми, кто пришел раньше, и не пожелавшие делиться ни своими богатствами, ни своим влиянием, повели наступление на грандов большого бизнеса. Борьба в области экономической не могла не привести и к схваткам политическим — слишком велико влияние современного буржуазного государства на все стороны жизни страны, чтобы можно было оставить в руках конкурентов монополию на политическую власть.

Случилось так, что обладатель огромного состояния Джон Фицджералд Кеннеди, семейными и политическими узами связанный с уолл-стритскими династиями, был последним их ставленником в Белом доме. Можно подумать, что в минувшие годы Америка стала свидетельницей осуществления тщательно составленного политического сценария: Джона Кеннеди, убитого в Техасе, сменил у государственного руля тexasец Линдон Джонсон. Вслед за Техасом пришла очередь калифорнийских миллиардеров: Ричард Никсон начал свою карьеру в недрах ведущего финансового учреждения калифорнийских предпринимателей — сан-францисского «Банк оф Америка». На смену Никсону пришел Джеральд Форд. Его политическая карьера связана со Средним Западом, руководители делового мира которого возлагают на его пребывание в Белом доме большие надежды.

Многого не понять в политической жизни сегодняшней Америки, если оставить за скобками эту не всегда видимую, но яростную борьбу за миллиарды, за влияние, за экономический и политический вес. Не понять, скажем, того, что получило известность как «уотергейтское дело».

Детективные подробности тайного проникновения летом 1972 года людей, связанных с окружением Никсона, в штаб-квартиру демократической партии, располагавшуюся в столичном отеле «Уотергейт» (что в переводе с английского значит «шлюз»), на все лады смаковавшиеся в американской печати, не дают объяснения того, почему эта в конце концов заурядная для американской политической нравственности операция привела к крупнейшему в американской истории политическому скандалу и закончилась отстранением Никсона от власти.

Нет ответа и на вопрос, почему американская буржуазная печать и буржуазные политики не остановились перед тем огромным ущербом, который нанесло

«уотергейтское дело» авторитету американского государства во всем мире, тем падением уважения к властям предрежащим в глазах миллионов американцев, с которым был сопряжен этот скандал.

Официальная пропаганда твердит, что причиной тому «свобода печати» и «приверженность демократии». Как бы не так! Подобное «объяснение» рассчитано на тех, кого Маркс называл аудиторией из грудных младенцев. А где были эти самые «свобода печати» и «приверженность демократии» прежде? Ни одна вашингтонская администрация последних десятилетий не обходилась без скандалов и ~~почище~~ проникновения в уотергейтские покои. Однако дело обычно ограничивалось глухой перебранкой, а затем успешно заминалось.

Причин, по которым «уотергейтское дело» превратилось в горный обвал, похоронивший под собой не только карьеру Никсона и его ближайших помощников, но и вызвавший серьезные потрясения американского государственного механизма, несколько. И далеко не последнее место среди них занимает схватка денежных гигантов, о которой идет речь.

Последние десятилетия были в истории Америки периодом, когда стремительно и неуклонно возрастала власть, сосредоточенная в руках президента Соединенных Штатов. И дело здесь не в авторитарных замашках Рузвельта или Кеннеди, Джонсона или Никсона, как в том пытаются нас сегодня уверить иные американские авторы (власть эта увеличивалась и тогда, когда в Белом доме находились политики вроде Трумэна или Эйзенхауэра), а в объективных тенденциях развития буржуазного государства в современную эпоху.

До поры до времени это в Америке всех устраивало и потому не вызывало ни особых нареканий, ни сколько-нибудь острых схваток. Но по мере того как все более ожесточается междоусобная борьба монополистических объединений, пост в Белом доме начинает выглядеть как уж слишком большой приз, представляющий конкуренту, им обладающему, непозволительно опасные преимущества.

То ли дело конгресс, высший законодательный орган страны. Там каждая из монополистических групп имеет более или менее пропорциональное представительство, соответствующее ее весу и влиянию, позволяющее умерять аппетиты конкурентов, когда они грозят ущербом остальным. А отсюда задача: уменьшить полномочия и прерогативы президентской власти, передав часть из них в руки конгресса, и таким образом оградить себя от слишком уж разросшейся абсолютной власти Белого дома, в котором каждый раз преобладающее влияние имеют не все, а одна из монополистических групп, с которой связан политик, в нем находящийся.

Одним словом, если бы Уотергейта не было, его следовало бы тем, кто все затеял, выдумать. Лучшего повода для шумной кампании о злоупотреблениях слишком большой властью человека в Белом доме, разговоров о необходимости уменьшить права и прерогативы президента и делегировать часть этих прав конгрессу не придумаешь. Возьму на себя смелость высказать предположение, что главной мишенью тех, кто стоял за тщательно спланированной, с большим размахом организованной и осуществленной кампанией была не личность Ричарда Никсона (хотя, несомненно, и она какое-то влияние, так же как в случае с Джонсоном, имела), а цель значительно более важная.

Для того чтобы зажарить яичницу из двух яиц, вовсе не обязательно превращать в костер большой дом. Для того чтобы избавиться от неудобного политика, как о том свидетельствует американская история, в том числе и последних лет, нет необходимости идти на такие огромные издержки — подрыв престижа американского государства, — какие были сопряжены с «уотергейтским делом».

Оно приняло такие масштабы и формы потому лишь, что в нем нашло отражение столкновение сил могущественных, ставивших перед собой задачи, имеющие для них важность первостепенную, а вовсе не политическую судьбу отдельной личности, хотя бы и занимающей президентский пост.

...Мы беседовали в кабинете хозяина дома, расположенном на первом этаже. Большая светлая комната, стол, заваленный книгами и деловыми бумагами, набор

телефонных аппаратов всех форм и цветов. Время от времени немолодая, элегантно одетая, с тщательно выложенными седыми буклями дама — секретарь экс-президента — входила в кабинет и неслышными шагами приближалась к столу, кладя перед Джонсоном какие-то, видимо срочные (иначе к чему было прерывать беседующих), бумаги. Лицо Джонсона принимало строгое, сосредоточенное выражение, он водружал на нос очки в золотой оправе и делал на бумагах какие-то пометки. Так же неслышно, как появлялась, секретарь удалялась в небольшую комнату, прилегающую к кабинету, откуда доносился дробный стук машинки.

Все выглядело так, как положено в кабинете погруженного в дела государственного человека. Во всяком случае, у посетителя должно было создаваться именно такое впечатление. Но от внимательного взгляда не могло ускользнуть то, что телефоны, громоздившиеся на столе, во время долгой беседы нашей, подозрительно безмолвствовали: ни один звонок не прервал разговора. Бумаги, которыми был завален письменный стол, как мне показалось, лежали там уже не один день, а нарочитое дефилирование чопорной дамы-секретаря смахивало скорее на ритуальное, нежели вызывавшееся какими-то уж очень неотложными делами.

Наблюдая за всем этим, я вспомнил сцену, происшедшую за несколько часов перед тем, когда мы после автомобильной погони за стадом оленей направились к президентскому дому. Хозяин подъехал не с фасадной стороны, а миновав хозяйственные постройки, расположенные позади дома, направил свой роскошный президентский «кадиллак» белого цвета к заднему крыльцу. Внезапно он резко затормозил. Шея его покраснела, заходили желваки на скулах. Резким движением он снял трубку радиотелефона.

— Какой недотепа, какой безответственный болван поставил около дома этот трактор? — отрывисто бросил он в трубку. — Немедленно убрать и доложить об исполнении.

Всего год назад, подумалось мне, этот же радиотелефон, смонтированный в том же президентском автомобиле, использовался, наверное, для приказов совсем иного рода. Телефонная трубка эта слыхала и приказы о бомбежке вьетнамских городов, и указание о разгоне студенческих митингов и негритянских демонстраций. А теперь тем же властным тоном через нее отдается приказ... отодвинуть в сторону садовый тракторишко.

Наивная имитация бурной деятельности государственного человека, незамысловатый спектакль, разыгравшийся для единственного зрителя, так же как и недавняя сценка в автомобиле, были из жанра немножко смешных и жалких провинциальных фарсов, призванных прикрыть больно раненное самолюбие деятеля, внезапно низвергнутого с высот могущества, с авансцены в политическое небытие...

Но вот один из стоявших на столе телефонов внезапно зазвонил настойчиво и громко. Джонсон, оборвав себя на полуслове, резко повернулся в кресле и стремительно потянулся к трубке. Услышав телефонного собеседника, экс-президент мгновенно приосанился, голос его, обычно резкий, приобрел бархатные тона.

— Нет, нет, — проговорил он, — хотя я действительно несколько занят — беседую с советским журналистом, специально прилетевшим в Техас из Москвы, — эти слова он произнес с особым нажимом, — вас я всегда готов выслушать.

Телефонный разговор этот продолжался минут пять. Джонсон внимательно слушал собеседника, делая какие-то пометки в лежавшем перед ним блокноте.

— Благодарю за очень интересную информацию, — сказал он, завершая разговор. — Прошу передать мой привет господину Киссинджеру... Звонили из Белого дома, — сказал, поворачиваясь ко мне, Джонсон. — Один из сотрудников Киссинджера информировал меня о ходе дел на парижских переговорах по Вьетнаму.

Сказано это было с нескрываемым удовольствием. И вообще по всему было видно, что разговор с Вашингтоном был ему приятен.

— Меня держат в курсе дел, — добавил экс-президент. — Несколько дней

назад звонил президент. Ему хотелось знать мое мнение по поводу проекта бюджета. Я тоже нередко из Овального кабинета звонил президенту Эйзенхауэру, спрашивал его мнение, особенно по вопросам, вызывавшим в стране разногласия.

— А как вы, находясь в Белом доме, относились к этим советам?

— Ну, это зависело от обстоятельств. Но такова традиция.

Эпизод этот может служить еще одним аргументом в пользу того, что за «уотергейтским делом» стояла прежде всего не личность Никсона и даже не те или иные его политические просчеты или действия, пришедшиеся кому-то не по вкусу, хотя и то и другое, видимо, имело место, но обстоятельства куда более значительные. Иначе власть имущие в Америке не пошли бы на тот беспрецедентный ущерб, который нанесен накануне двухсотлетнего юбилея престижу и авторитету американского государства.

Огромно влияние денежных королей и их интересов в американской республике. Интересы эти лежат в основе многих важнейших событий, происходящих на политической арене, в том числе, несомненно, и в таком из ряда вон выходящем событии, как «уотергейтское дело».

Однако вернемся к нашему сюжету.

То, что в определенный момент некоторые из «королей» поставили на политика по имени Линдон Джонсон, стало решающим обстоятельством в его восхождении к вершинам власти. Равно как и то, что в момент, когда курс, который он осуществлял, обнаружил свою несостоятельность, его лишили поддержки и вытряхнули из Белого дома вместе с обветшавшей мебелью.

А несостоятельность джонсоновской политики в последние годы пребывания его на президентском посту становилась все более очевидной. Прагматизм, приверженность не каким-либо идеалам или доктринам, а стремление поступать сообразно складывающимся обстоятельствам были отличительной чертой Джонсона. Недаром он любил цитировать князя фон Бисмарка, утверждавшего, что «политика — это искусство возможного».

Начав свою деятельность в качестве приверженца и адепта «нового курса» Рузвельта, затем поправ то, чему он поклонялся, в начале 60-х годов Джонсон вновь повернулся на сто восемьдесят градусов. Оглядевшись в Белом доме, привыкнув к своему новому положению, он принялся размышлять о крупномасштабной политической программе, которую мог бы предложить соотечественникам. Поверхностные наблюдатели стремятся объяснить это лишь непомерным честолюбием тридцать шестого президента, его стремлением во что бы то ни стало затмить предшественников и добиться того, чтобы его имя было вписано в американскую историю в качестве одного из самых великих президентов. Именно и только с этим связывают амбициозную «программу великого общества», которая стала джонсоновским любимым детищем и по поводу неудачи которой он скорбел больше всего.

— Вы знаете, — говорил во время встречи в Техасе экс-президент, — если я о чем и сожалю, то больше всего о том, что мне не удалось завершить то, о чем я мечтал, предлагая Америке свою «программу великого общества». Обстоятельства оказались против меня. И то, что было задумано — а это сделало бы американцев счастливыми, — в значительной степени осталось лишь прекрасным замыслом.

Джонсон задумчиво повертел карандаш и надолго замолчал. Чувствовалось, что мысль о неудаче им задуманного действительно глохнет его неотступно. Потом морщины, набежавшие на его лоб, разгладились, с очевидным усилием он раздвинул губы в улыбке и уже значительно более бодрым тоном добавил:

— Впрочем, и то, что сделано, те законы, которые удалось провести через конгресс, когда улягутся споры вокруг моей деятельности, заставят вспоминать меня с благодарностью.

Не уверен, что он действительно верил в то, о чем говорил. Людям свойственно цепляться за иллюзии, а бывший президент, видимо, никак не хотел примириться с тем, чего больше всего боялся всю жизнь, — оказаться неудачником.

С планами «великого общества» он действительно связывал надежды очень большие. Однако наивно было бы предполагать, что все сводилось только лишь к области честолюбивых замыслов. В действительности дело обстоит значительно глубже. Полтора послевоенных десятилетия прошли для Америки под знаком мечты о создании «*Pax Americana*» — некоей американской империи, в которой все будет подчинено желаниям и интересам хозяев Вашингтона. Основное внимание и все их усилия были направлены в те годы вовне, за пределы и рубежи Соединенных Штатов. Однако история пошла не так, как того хотели, как пытались ей предписать те, кто надеялся использовать американское могущество в послевоенном мире, чтобы построить его по образцу, им удобному.

А между тем внутри Соединенных Штатов нарастали противоречия, обострялись конфликты — экономические, социальные, политические, — требовавшие внимания и средств. Все чаще сначала с университетских кафедр, а затем и в кругу политиков заходила речь о необходимости «смены приоритетов» — отказа от непомерных амбиций за рубежами страны, приведения в соответствие appetitov и возможностей, переключения сил и средств на решение обострившихся внутренних проблем.

Нельзя не признать того, что Линдон Джонсон, неплохо знакомый с американской действительностью, обнаружил бесспорное политическое чутье, став первым из послевоенных хозяев Белого дома, кто понял, что нельзя больше, не рискуя серьезными социальными потрясениями, игнорировать внутренние конфликты: расширяющуюся пропасть между имущими и неимущими, инфляцию, «кризис городов», расовые волнения, потрясавшие страну, преступность, превратившуюся в общенациональную проблему.

«Программа великого общества», которую с необыкновенной помпой провозгласил Джонсон, была попыткой, вернувшись к буржуазно-реформистским идеям «нового курса», ослабить рост социальных конфликтов. Она включала как чисто демагогические лозунги, так и более или менее ограниченные законодательные инициативы, целью которых было уменьшить растущее недовольство широких масс. Расширение социального страхования, улучшение медицинского обслуживания, меры по борьбе с преступностью, некоторые законы в области расовых отношений стали составной частью джонсоновской «программы». Разумеется, обещаний и претензий у нее было значительно больше, нежели реального содержания. Не случайно злые языки поминали в те дни слова популярной песенки: «Он обещает вам все и небо в придачу».

Излечить социальные недуги американского общества эта джонсоновская затея была, разумеется, не в состоянии. От общества «великого» до общества больного расстояние оказалось даже меньше, чем в один шаг. Тем не менее сама по себе попытка выдвижения программы обширной и преследующей цели далекоидущие свидетельствовала о том, что в правящих кругах страны к моменту появления Джонсона в Белом доме начали отдавать себе отчет в остроте и неотложности проблем, вставших перед страной.

После того как широко разрекламированное «великое общество» обнаружило свою несостоятельность, и сам Джонсон и его недруги объясняли это вьетнамской войной. Дескать, расходы на эту войну оказались настолько большими, что похоронили под собой все благие пожелания и благочестивые намерения. Наивность и несостоятельность такого объяснения очевидна. Благими пожеланиями, которыми, как известно, вымощена дорога в ад, невозможно врачевать неизбежные недуги капиталистического общества. Не будь вьетнамской войны, не потребуй она сил и средств, непомерных, непосильных даже для самой могущественной страны современного капитализма, все равно, как о том свидетельствует опыт других развитых капиталистических стран, буржуазно-реформистские программы не в состоянии решить проблем, стоящих перед современной буржуазией. Война во Вьетнаме лишь ускорила ход событий.

Президентские сөгования на войну, которая не дала ему возможности осуществить задуманное, тем более несостоятельны, что война эта отнюдь не была

навязана Вашингтону. Именно Джонсон был тем президентом, который превратил эту войну в самую крупную и самую неудачную за всю двухсотлетнюю историю американского государства. Именно джонсоновская администрация изобрела пресловутую эскалацию в неумной и безнадежной затее остановить силой поступательный ход исторического процесса.

Обнаружив несомненное политическое чутье, позволившее ему раньше других заметить трудности, нараставшие внутри Соединенных Штатов, Линдон Джонсон в области политики внешней оказался значительно более близоруким, нежели его предшественник, который на рубеже 50—60-х годов задумался над последствиями того изменения в соотношении сил, которое происходило в мире. Задумался и попытался сделать первые, еще очень робкие и непоследовательные шаги в том направлении, которое спустя десятилетие получило известность как политика разрядки на международной арене.

Бесспорно, Джон Кеннеди был политическим деятелем значительно более крупным, нежели его преемник. Он видел лучше, судил трезвее. Да и подготовка его была более профессиональной. Если образование Джонсона ограничивалось тexasским колледжем, а его практический опыт вашингтонскими «коридорами власти», то сын мультимиллионера Джозефа Кеннеди, которому Рузвельт в трудное время кануна и начала второй мировой войны доверил пост американского посла в Англии, Джон Кеннеди, закончив Гарвардский университет, добавил к этому полный курс в лондонской экономической школе. С юных лет он вращался в политических кругах, встречая в гостиной отца крупнейших политических деятелей Запада. Уже первая написанная им еще на студенческой скамье печатная работа была посвящена рассмотрению причин неподготовленности Англии к войне с Германией. Семейными узами и деловыми интересами Кеннеди был связан с теми группировками американских монополий, которые склонны действовать более гибко, приспосабливаясь к реальностям сегодняшнего мира. За спиной же Линдона Джонсона стояли те, кто в 60-е годы все еще предпочитал делать ставку на американский «бронированный кулак» как единственную основу внешнеполитического курса.

Таким образом, решающий просчет тридцать шестого президента США был обусловлен как обстоятельствами субъективными, так и прежде всего объективными факторами — интересами тех кругов, которые выдвинули его на политическую авансцену.

Ему были чужды и непонятны сложные построения, которыми руководствовались Кеннеди и те, кто его окружал. Джонсон предпочитал простые решения сложных проблем: военная сила — куда уж проще. Оказавшись у руля государственного корабля, он отказался от хитроумного политического маневрирования своего предшественника и очертя голову ринулся в агрессивную авантюру, которая не могла не кончиться для страны, правительство которой он возглавлял, ничем, кроме поражения, а для него самого — бесславленным крахом.

Эти поражение и крах не прошли бесследно. Если в начале 60-х годов мысль о начале советско-американского диалога казалась американской элите чуть ли не кощунственной, встречая яростное сопротивление и в деловых и в политических кругах, то к концу президентства Джонсона горькие уроки вьетнамской войны помогли многим в Америке более здраво взглянуть на вещи. Ричард Никсон по своему политическому масштабу был фигурой вряд ли более крупной, нежели Линдон Джонсон. В течение почти всей своей карьеры он обретался на правом фланге республиканской партии. И если, придя в Белый дом, он вскоре предпринял усилия, направленные на то, чтобы привести американские амбиции хотя бы в какое-то соответствие с амуницией, то в значительной степени потому, что ему пришлось учитывать политические уроки минувшего президентства. Нет сомнения в том, что сыграли свою роль и воспоминания о печальном опыте того, кого он сменил в Овальном кабинете Белого дома. Разрядка не прихоть, не благие пожелания или добрая воля того или иного политика, там находящегося. Она объективная необходимость, понять которую помогли, в частности, провалы и тупики джонсоновской администрации.

КРАХ

Так как все-таки разобраться в разногласии оценок политического мастерства Линдона Джонсона? Правы ли те, кто выражает непомерные восторги по поводу его искусства маневрировать в самых запутанных ситуациях, умения опровергать не только противников, но и ближайших помощников неожиданными политическими ходами, или же те, кто, воздевая руки, возводя очи горе, ужасается его полной некомпетентности, связывая с ней все беды американской политики 60-х годов?

Пожалуй, ближе других к истине находится один из авторов в наши дни уже весьма обширной «джонсоиады», Филип Гайлин. Этот многоопытный, немало повидавший на своем веку и хорошо знающий закулисный Вашингтон ветеран американской политической журналистики, статьи которого систематически печатались на страницах газеты «Уолл-стрит джорнэл», органа, рассчитанного отнюдь не на широкую публику, входил в круг людей, близких к президенту. Он сопровождал Джонсона во всех зарубежных поездках, присутствовал на большинстве встреч президента с иностранными государственными деятелями, имел возможность постоянно наблюдать его с близкого расстояния. Джонсон доверял Гайлину настолько, насколько он был способен доверять другим, а особенно из числа пишущей братии: нередко беседовал с ним, делаясь мыслями и даже сомнениями.

В книге, которую Филип Гайлин назвал «Линдон Джонсон и мир», он пишет: «С точки зрения политического прошлого, по своему характеру и личным привычкам Джонсон был лодочником, плывущим по реке. Он был чрезвычайно искусен, ловок, энергичен, прокладывая курс среди коварных течений, порогов и мелей. Он был незаурядным знатоком политических течений, но только в тесных, хорошо изученных речных путях внутренней политики. Но он не любил и недостаточно знал глубокие воды политики внешней, где внезапные штормы и непредвиденные ветры могут в любую минуту спутать или нарушить курс плывущего по океану корабля. Он был королем реки и дилетантом в открытом море».

Сам Линдон Джонсон, доведись ему прочитывать эти строки, вряд ли бы согласился с такой оценкой. Разве, быть может, в последние годы своей жизни, когда, покинув Белый дом, он имел возможность в тиши своего техасского ранчо перебрать и проанализировать события своего президентства. Да и то, если исходить из нашей с ним беседы год спустя после того, как он покинул Белый дом, вряд ли есть основания для того, чтобы предположить такого рода самокритику с его стороны. Мне, во всяком случае, ничего подобного из его уст услышать не довелось. Наоборот, с бесподобным апломбом и амбицией он обвинял в ошибках всех и каждого из своего близкого и неблизкого окружения, продолжая, видимо, пребывать в счастливой уверенности в своей непогрешимости.

Вынырнув из водоворотов вашингтонских политических интриг и оказавшись перед необходимостью решать вопросы, имеющие отношение не к частным, хотя бы и важным проблемам, а к судьбам народов, Линдон Джонсон, не ведая страха и сомнений, принялся за дело. Что из этого получилось, известно достаточно хорошо.

Внешняя политика стала ахиллесовой пятой Джонсона. Провалы именно в этой области похоронили под собой его карьеру. Тот же самый Гайлин, характеризуя тридцать шестого президента, пишет: «Он не принес в международную политику необходимого для его поста опыта. Этот недостаток присущ большинству из тех, кто в последние десятилетия занимал президентский пост. Но для Джонсона проблема усугублялась еще и тем, что он не только не располагал необходимыми опытом и знаниями, но и не мог разговаривать на одном языке с теми, кто их имел. Дело было не в том, что он не знал технического или бюрократического жаргона: он достаточно много времени провел на заседаниях комиссий сената, чтобы понимать разницу между полицентризмом и полиэтиленом, между инфраструктурой и инфракрасными лучами. Джонсон был в большой степени государственный деятель-самоучка; он не мог читать ноты и поэтому, ока-

завшись на вершине власти, стал играть на слух. Добром это кончиться не могло».

А теперь вернемся к тем мартовским дням 1968 года, которые положили конец многолетней карьере Линдона Джонсона, превратили этого самоуверенного, энергичного и надменного политика в сломленного, сразу же постаревшего человека, которому в отведенные судьбою не столь уж долгие дни жизни оставалось лишь сетовать на судьбу и брюзжать вдали от Вашингтона, где он еще так недавно был полновластным хозяином.

В последние дни марта стало известно, что президент собирается обратиться к стране с очередной речью. До поздней ночи горел свет в окнах кабинетов президентских помощников, и вашингтонские завсегдатаи понимающе перемигивались: Линдон опять собирается угостить нас изрядной порцией риторики. Всеведущие журналисты передавали друг другу самые свежие новости, почерпнутые в кулуарах Белого дома: президент сообщит о своем новом плане преодоления вьетнамского тупика.

И вот 31 марта на экранах миллионов телевизоров появился тридцать шестой президент Соединенных Штатов. Люди, видевшие Джонсона в дни, предшествовавшие этому его выступлению, обратили внимание на то, что на сей раз он выглядел значительно лучше, чем в минувшие недели: то ли хорошо потрудились гримеры, которых Джонсон, придававший большое значение тому, как он выглядит, выступая по телевидению, постоянно держал в своем штате, то ли на смену растерянности и волнениям минувших дней пришло спокойствие, порожденное какой-то новой уверенностью.

Президент говорил ровным, размеренным тоном, излагая соображения, связанные с американской политикой во Вьетнаме. Он говорил десять, двадцать, тридцать минут. Ничто не предвещало нескольких фраз, которые он припас под конец и которые в тот же день были опубликованы на страницах газет всего мира как сенсация самого первого класса, фраз, которые кардинальным образом изменили внутривнутриполитическую обстановку в стране.

Но вот голос президента осекся, рука, державшая листок с текстом, задрожала, и Джонсон без особой связи с предыдущим произнес:

— В течение всех тридцати семи лет, которые я провел на службе нашей стране как член палаты представителей, как сенатор, вице-президент и наконец как ваш президент, я ставил единство нашего народа выше любых узкопартийных взглядов. Сейчас в американском доме нет единства. Пятьдесят два месяца назад, в трагический момент гибели президента Кеннеди, эти высокие обязанности были возложены на меня. Я обратился тогда за помощью к вам и к богу, чтобы мы могли по-прежнему вести Америку по ее курсу, перевязывать свои раны, залечивать промахи своей истории. То, чего мы добились, когда наш народ был сплочен, не должно быть утрачено из-за подозрений, недоверия, эгоизма. Веря в это, я пришел к выводу, что не должен допускать, чтобы пост президента стал объектом фракционной борьбы. Поэтому я не буду добиваться и не дам согласия на выдвижение моей кандидатуры на пост президента на следующий срок.

Слова эти прозвучали как удар грома среди ясного неба. Никто не ожидал такого шага от человека, известного своим неумным честолюбием, потратившего долгие годы в карабкании по лестнице власти, а добравшись до нее, вцепившись мертвой хваткой в эту власть — заветную цель всей жизни. Еще утром того дня даже люди из ближайшего окружения президента не догадывались о том, что произойдет через несколько часов. Жена, дочери да вице-президент Хэмфри, с которым президент встретился ненадолго с глазу на глаз, — вот и все, кто знал о его решении.

Что же произошло, что заставило этого честолюбца, еще месяц назад лично разрабатывавшего план предстоящей предвыборной кампании, отказаться от привилегии, которой на протяжении многих десятилетий пользовались его предшественники, привилегии, представляющей действующему президенту право выдвигать свою кандидатуру на второй срок? И не только выдвинуть, но и добиться переизбрания, ибо обычаем почти не нарушаемым стало в США переизбрание на

второй срок деятеля, держащего в своих руках всю полноту власти, все государственные рычаги. Что стояло за этим будто бы добровольным решением, о котором Линдон Джонсон объявил соотечественникам в своем выступлении по телевидению?

На сей счет существует немало версий. Одну из них предложил сам Джонсон в своем выступлении по телевидению. Любят в Вашингтоне рассказывать и такую сентиментальную историю. Будто бы незадолго до 31 марта поздно ночью дочь президента Линда вся в слезах явилась в спальню к отцу. За несколько недель до того ее муж, молодой морской офицер Чарльз Робб, с которым она недавно обвенчалась, был отправлен воевать во Вьетнам. Рыдая, Линда обратилась к отцу, спрашивая, во имя чего умирают американцы во вьетнамских джунглях. Почему ты, президент Соединенных Штатов, не прекратишь этого ужаса? По словам тех, кто рассказывает эту историю, то ли имевшую место в действительности, то ли придуманную, Джонсон был так потрясен этой ночной сценой, что принял внезапное решение удалиться от дел. Навивность подобного объяснения очевидна. Даже если такая сцена действительно в одну из мартовских ночей и имела место в личных апартаментах президента — а почему бы ей и не произойти? — то, разумеется, не она была причиной и даже не поводом для его бегства из Белого дома.

Леди Бэрд говорила год спустя во время нашей встречи на тexasском ранчо, что она давно настаивала на уходе мужа в отставку.

— Все последние годы я жила под страхом, что с Линдоном случится что-то плохое. Нагрузка, свалившаяся на него, была непосильна и для здорового человека, а вы ведь знаете, что в пятьдесят пятом году мой муж перенес тяжелое сердечное заболевание. Я всегда боялась за него. Я была против того, чтобы он дал согласие Джеку баллотироваться с ним по одному списку. И поверьте мне, после нашего переезда в Белый дом я не спала спокойно ни одной ночи.

Не берусь судить, что в этих словах было правдой, а что попыткой задним числом набросить благопристойный покров на истинные причины, заставившие Линдона Джонсона отказаться от власти, хотя нельзя не сказать, что известная доля истины во всем этом есть. Действительно, в середине 50-х годов Джонсон перенес тяжелое сердечное заболевание, и с тех пор вопрос о состоянии его здоровья представлял интерес не только для него и его близких.

Однако трудно согласиться и с этой версией. Накануне выборов 1964 года Линдон Джонсон прошел специальное особо тщательное медицинское обследование и в официальном документе, подписанном лучшими врачами страны, было засвидетельствовано, что состояние его здоровья ни в какой степени не препятствует принятию им на себя многотрудных обязанностей президента Соединенных Штатов.

Нет, не слезы дочери и опасения супруги и не похвальное стремление к всеобщему единодушию и единству американцев заставили Джонсона отказаться от столь вожденной им власти. Тому были причины более глубокие и неизмеримо более важные.

Прибегнем к свидетельству человека, весьма сведущего в закулисной кухне Вашингтона, наблюдающего ее многие годы и знающего как мало, пожалуй, кто. Я имею в виду уже упоминавшегося историка и публициста Теодора Уайта, книги которого о деятельности президентов читаются во всей Америке и за ее пределами. И потому каждый из сменяющих один другого хозяев Белого дома стремится представить Уайту, что называется, информацию из первых рук, отдавая себе отчет в том, что историки будут принимать во внимание рассказанное им. Именно поэтому за пять дней до того, как Джонсон объявил о своем решении удалиться от дел, он пригласил Теодора Уайта в свой кабинет в Белом доме.

«Некоторый недостаток почтительности к нему в моих прошлых трудах,— пишет Уайт,— раздражал Джонсона. И я не появлялся в Овальном зале Белого дома, с тех пор как погиб Джон Кеннеди. Поэтому я очень обрадовался, когда мне сказали, что я могу посетить «самого» вечером во вторник, 26 марта.

Когда при моем появлении он встал из-за стола, я не поверил своим глазам. Впервые я разговаривал с ним во время президентской кампании 1964 года, ког-

да Линдон Джонсон, как опытный ковбой, крепко сидел в седле американской политики. Сравнение с теми днями было разительным. На сей раз он выглядел человеком совершенно выдохшимся. Глаза за очками в золотой оправе были окружены паутиной морщин, мешки под глазами темнели как результат нервного переутомления. Его лоб вдоль и поперек был испещрен красноватыми морщинами, глубокие складки над бровями распрямлялись и снова набегали, когда он говорил. Он говорил вполголоса, медленно, устало, с большим напряжением. Сидел ссутулившись в кресле-качалке, поставив ноги на покрытую ковром скамеечку. Все положение его крупного тела говорило об утомлении. Серо-голубой костюм был измят. Левая рука нервно перебирала что-то в кармане.

Дальше Уайт рассказывает о том, что президент начал сетовать на прессу: «Они пытаются сделать из меня козла отпущения и взвалить всю ответственность за то, что происходит во Вьетнаме,— сказал Джонсон.— Между прочим, не я, а мои предшественники ввязались в эту историю».

Джонсон жаловался на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться внутри страны, а затем вдруг, резко сменив тему, стал перечислять свои достижения.

— Каким бы коротким ни было мое пребывание в Белом доме, я его хорошо использовал, и законы, принятые в эти годы, не будут отменены. Да и все тридцать лет, которые я провел в Вашингтоне,— добавил он,— были потрачены не напрасно, и я немалое сделал. Не многих президентов, когда они находились в Белом доме, понимали их соотечественники,— сказал Джонсон, заключая разговор».

Уайт рассказывает, что, покидая Овальный кабинет, он подумал, что только что состоявшийся разговор чем-то напоминал прощание. «Правда, в тот момент мне и в голову не приходило,— признается Уайт,— что это действительно было прощание».

Ежедневно в те дни в Пентагоне, государственном департаменте и Белом доме шли совещания. На них присутствовали высшие военные руководители, министры джонсоновского правительства. Итог состоявшихся обсуждений был безрадостен для президента. Все те, кто на протяжении долгого времени поддерживал политику во Вьетнаме, вынуждены были заявить своему патрону, что военные действия зашли в тупик. Пентагоновские генералы требовали срочно направить во вьетнамские джунгли еще четверть миллиона солдат. Когда президент поставил перед ними вопрос, гарантирует ли новая эскалация войны успехи боевых действий, ему был дан ответ более чем уклончивый. А незадолго до того смеявшийся Роберта Макнамара на посту министра обороны Кларк Клиффорд, личный друг и единомышленник Джонсона, прямо сказал президенту, что и новые дивизии, направленные во Вьетнам, не сулят Америке победы.

25 марта 1968 года Джонсон собрал у себя в кабинете виднейших представителей политической элиты страны, старейших и авторитетных деятелей. Здесь находились бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Дин Ачесон, самые известные генералы, занимавшие в разное время пост начальника штаба американских вооруженных сил,— Омар Брэдли, Максвелл Тейлор и Мэтью Риджуэй, лидеры республиканской и демократической партий Генри Кэбот Лодж, Дуглас Диллон, Сайрус Вэнс, Артур Голдберг и некоторые другие.

Перед участниками этой «тайной вечери» выступили руководящие деятели правительства Джонсона — государственный секретарь, министр обороны, глава ЦРУ. Они информировали собравшихся о ситуации, сложившейся во Вьетнаме. Ознакомившись с докладом, «старейшины», как их называли в окружении Джонсона, пришли к выводу, что «Америка увязла в войне во вьетнамских джунглях» и победа в этой войне весьма сомнительна. Очевидцы рассказывают, что вывод участников совещания потряс Джонсона. Ведь это был вывод людей, либо сыгравших активную роль в развязывании агрессии во Вьетнаме, либо безоговорочно эту войну поддерживавших. Речь шла о поражении. Поражении Америки, личном крахе ее президента. Линдон Джонсон внимательно вглядывался в лица присутствовавших, ища какой-либо поддержки. Собравшиеся в президентском кабинете

отводили глаза и в разных выражениях, но один за другим подтверждали президенту, что его политика зашла в тупик. Независимо от личных взглядов каждый из участников этой ночной беседы говорил о том, что у Америки нет другого выхода как садиться за стол переговоров.

Кто-то должен был отвечать за этот крупнейший военный и политический провал в истории американского государства. Каждому ясно было, что этим «кто-то» является Линдон Джонсон — тридцать шестой президент Соединенных Штатов. Джонсон был достаточно опытным политическим деятелем, чтобы тоже этого не понимать.

Вьетнамский провал был не единственным печальным итогом этого неудачного президентства. «Программа великого общества» без фанфар и барабанного боя, которым сопровождалось рождение этого любимого джонсоновского детища, на глазах у всей Америки тихо испускала дух.

Потерпевший неудачи во всех своих начинаниях, Джонсон испытывал стремительно нараставшие трудности и в той политической борьбе, которая развернулась в связи с предстоящими выборами.

Первая проба сил в ходе американских избирательных кампаний происходит по традиции в штате Нью-Гэмпшир — так называемые праймериз, первичные выборы, по которым судят о сравнительной силе тех или иных претендентов на высший пост в государстве. В тот год они состоялись в начале марта. В январе и феврале президент не отдавал еще полного отчета в опасности туч, над ним нависших. Он был уверен в легкой победе в Нью-Гэмпшире и потому не прилагал особых усилий, чтобы завоевать симпатии избирателей этого штата. Тем более поразили его результаты голосования. Не очень известный до той поры сенатор-демократ Юджин Маккарти, активный противник вьетнамской авантюры, внезапно для большинства политических оракулов и тем более для самого Джонсона без особого труда одержал победу над своим могущественным конкурентом, выступая под антивоенными лозунгами.

Поражение Джонсона в Нью-Гэмпшире сделало явным то, о чем до тех пор лишь догадывались: недавно еще могущественный политик и бесспорный лидер демократической партии загнан в угол. Этим незамедлительно решил воспользоваться самый опасный для него и в партии и в стране политический конкурент — младший брат погибшего президента. 16 марта Роберт Кеннеди бросил вызов руководству Джонсона, заявив, что будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на пост президента от демократической партии. Этому Джонсон боялся больше всего. Лихорадочно он стал предпринимать усилия для того, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. В апреле предстояли первичные выборы в Висконсине, Нью-Йорке и некоторых других штатах. Однако сведения, поступавшие в эти мартовские дни в Белый дом, говорили о том, что Джонсона ожидают новые болезненные удары.

Победа на ноябрьских президентских выборах и переизбрание на второй срок становились более чем проблематичными. Власть ускользала из рук. Выхода не было. Когда-то Джонсон не слишком волновался по поводу того, что о нем говорят политические кумушки. В ответ на совет одного из его друзей побеспокоиться о своем престиже он бросил фразу, над которой хохотала Америка: «Престиж — штука существенная, но уважение важнее. Спасать престиж следует не всегда: пока вы спасаете лицо, вы можете потерять свой зад».

Но теперь не было ни престижа, ни уважения. И Джонсон, переступив через себя, взялся за составление текста речи, которую произнес 31 марта, речи-отречения. Все остальное — и слезы дочери, и опасения жены, и разговоры о единстве — несущественные подробности.

...Продолжавшаяся целый день беседа наша подходила к концу. Из окна кабинета открывался вид на аккуратно подстриженную лужайку, окаймленную вековыми деревьями. Стали сгущаться сумерки. Хозяин ритмично покачивался в своем любимом кресле — единственном предмете, перекочевавшем из Овального кабинета Белого дома сюда, на его тексасское ранчо.

В комнату вошла леди Бэрд, темноволосая, в брюках и свитере, выглядевшая значительно моложе своих лет.

— Джентльмены, не могу ли я предложить вам чашечку кофе?

По усталанной толстым ковром деревянной лестнице мы поднялись на второй этаж и уселись за большим обеденным столом в просторной гостиной. И здесь произошло, пожалуй, самое интересное за весь этот длинный день.

Разговор начала мадам Джонсон. Поставив перед нами чашечки с кофе, она тоном любезной хозяйки заговорила на тему, казалось бы от политики далекую:

— Вы знаете, я много лет мечтала побывать в вашей стране. Я столько о ней слышала и читала. Ваши знаменитые города Москва, Ленинград, Киев, ваши замечательные музеи, балет. Как бы мне все это хотелось увидеть!

— Мы были очень близки к этому, — вступил в разговор хозяин дома. — Вы знаете, ведь я серьезно обсуждал с моими сотрудниками идею поездки в Советский Союз.

Поворот разговора уже явно не светский и, видимо, отнюдь не случайный. Леди Бэрд всегда помогала в делах своему супругу.

Бывший президент заговорил о том, что уже вскоре после своего прихода в Белый дом он понял необходимость начать американо-советский диалог:

— Это не из области желаемого — это политическая необходимость нашего времени. Мне, к сожалению, не удалось осуществить этот план в дни моего президентства. Но я думаю, что было бы вполне целесообразно сделать это сейчас. Быть может, господину Никсону потребуется некоторое время, для того чтобы понять то, что понял я в последние годы. А времени терять нельзя, и мне кажется, я мог бы еще послужить своей стране.

И Джонсон начал с видимым увлечением развивать свою идею. Он говорил об опасностях ядерного века, о роли, которую играют Советский Союз и США в современном мире, об уроках, которые необходимо извлечь из политической истории минувших лет.

— Как вы думаете, захотят ли принять меня в Москве сейчас? Как отнесутся к моей идее?

...По дороге в расположенный неподалеку от ранчо Джонсона город Остин, где я в те дни остановился, я размышлял об услышанном. Разумеется, в идее отставного президента приехать в Москву немалую роль играло очевидное нежелание политика, привыкшего к первым ролям, покидать авансцену. Но только ли это? Видимо, не только.

Нет в жизни ничего мучительнее и горше поздних сожалений, запоздалого понимания совершенных ошибок, ощущения бессилия их исправить. К политике и политикам это относится тоже.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛЕОНИД НОВИЧЕНКО

★

СОЦИАЛЬНОЕ, ПРАВСТВЕННОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

О критике в последние годы много писали, говорили, думали. Известно, каким вдохновляющим импульсом для нее стало историческое постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». Рост общественного внимания к ней — факт в наше время бесспорный. И точно так же не вызывает сомнения, что сама критика, осуществляя указания партии, стала успешнее работать, явно интереснее жить. Подъем ее очевиден, хотя некоторые из недостатков, отмеченных в постановлении, все еще дают себя знать.

Маленькое отступление поможет объяснить замысел этих заметок. Не так давно в журнале «Вопросы литературы» завершилась довольно длительная дискуссия на тему «Черты литературы последних лет». В канун XXV съезда КПСС, в преддверии VI съезда писателей СССР действительно важно было подытожить сделанное, осмыслить главные тенденции сегодняшнего литературного процесса, даже проще — вспомнить, о чем мы наиболее сосредоточенно думали в последние годы, увидеть жизненные и творческие «узлы», к которым была устремлена писательская мысль. При всех разноречиях, без которых нет живого спора, эта журнальная дискуссия, на мой взгляд, кое в чем существенно углубила и прояснила наше понимание «горячей» литературной современности. Во всяком случае, схвачены, вынесены на обсуждение проблемы, в которых скрещивается и переплетается многое жизненно важное. Отсюда значительность, острота, вескость вполне конкретного и вместе с тем обращенного к насущным проблемам времени разговора о книгах Шукшина и Бон-

дарева, Распутина и Бакланова, Авижюса и Айтматова...

В критике труднее назвать книги, которые обладали бы подобной степенью «представительности» для процесса в целом, труднее по целому ряду причин, частично относящихся и к специфике нашего литературного рода. Но, разумеется, и здесь есть работы, которые дают возможность проследить, над чем особенно интенсивно работала в последние годы критическая мысль, в какие идейные конфликты она вовлекалась, на какие вопросы, выдвинутые жизненным и литературным развитием, она отвечала с той или иной степенью глубины и убедительности.

Пусть читатель не пугается — речь идет не об обзоре (для которого, по правде говоря, если его делать с доброй старой всеохватной обстоятельностью, не хватило бы в наше время никаких журнальных «емкостей»). Все же какие-то характерные, достаточно репрезентативные книжки для подобного разговора нужны, и неужели ими будут работы лишь критиков-профессионалов? Мне кажется, это было бы несправедливо: ведь «писательская» критика и сегодня читается несомненно больше, чем критика профессиональная, и если проигрывает по сравнению с последней в теоретической строгости и систематичности, то ведь и свои преимущества имеет, и подчас немалые. А главное — и писательская и профессиональная критика выступают сообща и дополняют друг друга сегодня так крепко и органично, как, пожалуй, никогда раньше.

А ведь бывали времена, когда эти два «вида» критики могли, оказывается, и расходиться всерьез! Пример подсказывает известный белорусский романист И. Мележ.

Вспоминая первые послевоенные годы, когда в критике появлялось немало «железных статей», в которых было «много грома и мало разума», писатель говорит, что настоящие образцы принципиального, точного, объективного критического анализа его поколение находило тогда в статьях и выступлениях известных мастеров литературы: именно они чрезвычайно много сделали «не только для роста литературной молодежи, но и для установления в нашей критике здоровых, подлинно партийных начал». Контраст, разумеется, давно отошедший в прошлое.

Так вот — передо мной несколько критических книг, интересных прежде всего тем, что в них более или менее целостно рассматривается литературный процесс последних лет, а не только отдельные его явления или стороны, книги, принадлежащих и профессиональным критикам и писателям-художникам. Оговорюсь еще раз, что от писательских книг не следует, естественно, требовать той системности и целостности освоения «материала», которые свойственны исследовательским в своей основе работам критиков, хотя обобщающий элемент и здесь играет важнейшую роль.

Кратко об этих книгах в их «общем виде».

«За все в ответе» Феликса Кузнецова (подзаголовок — «Нравственные искания в современной прозе»; «Советский писатель». М. 1975) — исследование, охватывающее многообразные тематические грани современной, по преимуществу русской советской литературы. Книга, нацеленная прежде всего на социально-нравственную, философско-социологическую проблематику и вместе с тем поднимающая вопросы эстетические, связанные с самой методологией художественного освоения жизни. Знаменательная примета сегодняшней критической мысли — стремление к теснейшему единству анализа социального и художественного — здесь просматривается очень ясно и наглядно; в этом смысле работа Ф. Кузнецова представляет пример во многом поучительный и по точности «соединения» явлений литературы с категориями общественного самосознания, и по убедительности многих экскурсов в историю общественной мысли, и по внутренней весомости — а отнюдь лишь не внешней звучности — своего публицистического пафоса.

Замечу кстати, что многие разделы и главы книги «За все в ответе» печатались в

свое время в журналах как обзорные или проблемно-полемиические статьи. Сейчас они плотно, без всяких видимых швов и зазоров вошли в работу почти монографической внутренней целостности — свидетельство действительной сосредоточенности авторской мысли на узловых проблемах исследования и спора. А спор с разного рода неправильными и отсталыми взглядами идет здесь серьезный и настойчивый, идет, по существу, с первой и до последней страницы.

Ленинградец Юрий Андреев в начале своей книги «Наша жизнь, наша литература» («Советский писатель». Л. 1974) сообщает о результатах специального обследования на тему «Что читают?», которое он проводил в одном из приуральских районов. Выяснилось, что 70—75 процентов читаемых книг — книги современных писателей. Причина такого определенного читательского отбора бесспорна — сознательное или бессознательное стремление ориентироваться с помощью литературы в явлениях современности, поиски ответов на неотступные вопросы, выдвигаемые жизнью, динамическим развитием общества.

Литературная современность — книги последних лет, рассматриваемые в хронологических, тематических, проблемных пластах (различие, впрочем, не очень четко проведенное автором), — в центре внимания Юрия Андреева. Здесь также совершенно очевиден публицистический пафос, но несколько иного, чем у Ф. Кузнецова, типа: Ю. Андреев скорее публицист-«собеседник», любящий насыщать литературные разборы свежей, даже неожиданной конкретикой, разными случаями из собственной жизни (в том числе сугубо лирическими переживаниями). Композиция книги свободная, разговор живой и непосредственный (хотя и без специальных, ныне довольно ходовых фигур панибратского подлаживания к «посвященному» или же, наоборот, «простецкому» читателю), проблемный прицел серьезный, исследовательский, во многом сближающий эту работу с книгой Ф. Кузнецова.

В сборнике Миколаса Слуцкиса «Начало всех начал» («Советский писатель». М. 1975) — статьи, литературные портреты, эссенцистические фрагменты. Книга отражает широкий спектр интересов автора: здесь и раздумья над общими проблемами, встающими перед советской литературой наших дней, и разговор об особенно дорогих ему мастерах литовского художественного слова, и страницы литературных воспоминаний,

и отклики на книги друзей — писателей Польши и ГДР. Читая сборник, подчас бываешь о «каноническом» различии между художественной и критико-публицистической прозой. Но не только это вызывает уважительное отношение к книге. Дело в том, что М. Слуцкис в своих литературных заметках не «человек со стороны», осторожно обходящий трудные или неудобные вопросы — для этого, дескать, есть специалисты-критики, — а литератор, готовый честно разделить с этими «специалистами» самые нелегкие их заботы, раздумья, боли и тревоги.

Со сборником подобного же рода выступил в Минске и Иван Мележ («Жиццевыя клопаты» («Жизненные заботы»); «Мастацкая литература». 1975). Впрочем, подбор материала здесь несколько шире, в том числе и по временным рамкам: с 1947 по 1973 год. В этой книге также мысли и наблюдения крупного писателя, представляющие несомненный общий интерес. Разумеется, как и в случае со сборником Слуцкиса, нас интересуют именно «литературно-критические» суждения автора, в той или иной степени характеризующие текущий творческий процесс; поэтому, минуя частные, «персональные» оценки и высказывания автора, так же как и его суждения историко-литературного характера, будем присматриваться в обеих этих книгах прежде всего к тому, как откликается писательская мысль на сегодняшние жизненные и литературные проблемы, как помогает разведывать пути к тем вершинам, которые, по мудрому слову Мухамеджана Каратаева, «всегда впереди».

1

Достаточно привести уже названия некоторых разделов книги Ф. Кузнецова — скажем, «Принципы историзма и литературный процесс», «Судьбы деревни в прозе и критике», «Духовные ценности: мифы и действительность», «Человек «естественный» и общественный», — чтобы внимательный читатель догадался: академически бесстрастных рассуждений здесь не будет. Книга «За все в ответе» действительно насквозь публицистична и полемична. Критик впрямую выходит на темы, вокруг которых в литературе последних лет кипели страсти, схватывались разные мнения (одним из активнейших «спорщиков» как раз был и автор этой книги). Но полемический и наступательный дух тесно связан с другой, может быть, еще

более важной особенностью этих работ: с их позитивным публицистическим и «объясняющим» пафосом, с явственно выраженным вкусом автора к критике «пропагандистской», критике больших идеологических тем.

Для Ф. Кузнецова эта внутренняя доминанта его критических анализов вполне органична, она подготовлена, может быть, еще прежними его трудами о критиках-шестидесятниках XIX века. И стиль критика — ясный и серьезный, далекий от претензий на эссеистскую лихость, но вместе с тем естественно открытый и для точных теоретических формулировок, и для острого публицистического пассажа, и для непосредственного, подчас даже лично добытого примера «из жизни», — располагает к себе и вызывает уважение (хотя иной раз он и грешит чуть заметным излишком популяризаторства, стремлением еще и еще раз напомнить уже известные истины, а отсюда и некоторыми повторами).

С самого начала книги мы попадаем в атмосферу спора, лишенного, если говорить о его тоне, всякой нервозности, но очень принципиального и целеустремленного. Это спор с теми, кто допускает неточности в понимании народного и национального, советского патриотизма и интернационализма, это спор с внеклассовым, антиисторическим подходом к прошлому, спор с идеализацией патриархальщины и всяческими другими сентиментально-романтическими или даже консервативными «реакциями» на бурную динамику современного социального и научно-технического развития. Разумеется, во многом эти споры уже отошли в прошлое, отразив коллизии, ныне в основном изжитые или, по крайней мере, успешно изживаемые литературной мыслью. (Взять, скажем, ту же пресловутую ностальгию по патриархальной старине. В книге истрачен — и надобность в этом была — немалый полемический заряд на то, чтобы показать несостоятельность концепций одного известного литератора, который, по несколько ироническому резюме критика, предлагал такое решение проблемы духовных ценностей в современном селе: «...деревня, в которой все пляшут и поют, водят хоробы в национальных одеждах на зеленом лугу, а по вечерам рассказывают сказки, занимаются резьбой по дереву, плетут кружева». Статья этого литератора в свое время вызвала оживленные критические отклики, автору обстоятельно и деловито возражали. В на-

ши дни ее появление, пожалуй, показалось бы неким литературным недоразумением.)

И тем не менее полемическая устремленность книги Ф. Кузнецова продолжает вызывать живейший интерес и сегодня. В первых, речь идет о книгах, статьях, выступлениях, отделенных от нашего времени промежутком всего в несколько лет, стало быть, о событиях и явлениях совсем недавних. Во-вторых, определенные отрицательные тенденции, против которых направлен критический пафос автора, еще не отошли бесповоротно в область предания, что также, видимо, не требует доказательств. А в-третьих, и это главное, о чем бы ни говорил Ф. Кузнецов, он неизменно — и часто аналитически блистательно! — подводит читателя к выводу о первостепенном значении авторской идейной позиции, подлинно передового и современного взгляда на жизнь. О выработке художником именно такого взгляда и заботится критик, отчетливо понимая, какими сложностями, притом не только субъективного, но в ряде случаев и объективного характера, обростает проблема духовных и нравственных ценностей, проблема человека вообще в современном мире да и просто в нашей повседневной жизни с небывалым динамизмом ее нынешних процессов.

«...свою работу по формированию мировоззрения советского человека, его нравственных убеждений и духовной культуры советская литература, — пишет Ф. Кузнецов, — успешно выполнит только на пути социального художественного мышления. Уровень социально-философского мышления, осмысления действительности — вот что ограничивает подчас наших писателей, и в особенности критиков, обращающихся к анализу явлений и тенденций современной жизни и литературы».

Это объяснение — и объяснение точное — бескомпромиссной критической нацеленности автора против любых проявлений внесоциального, внесторического подхода к проблемам жизни и искусства.

В «деревенской» теме до недавнего времени, как известно, переплетались многие актуальнейшие вопросы острого идеологического значения: взаимоотношение настоящего и прошлого, народного и национального, революционных задач современности и «вечных ценностей»... Ф. Кузнецовым эта тема рассматривается в ее идеологических, социально-психологических и нравственных аспектах. Решительно отвергая отсталые,

архаичные взгляды и элегические вздыхания ревнителей патриархальных устоев, автор далек вместе с тем и от любых упрощений — критика, утверждает он, обязана выработать свой точный социально-философский взгляд на проблемы, по которым идет спор, обязана осмыслить колоссальные изменения, переживаемые сегодняшней деревней, «во всей глубине и противоречивости». А это означает необходимость борьбы и полемики с обеими крайностями: и с «односторонним, плоскостным, нигилистическим отношением к... ценностям трудовой крестьянской жизни», и с метафизическим, «пейзанским» взглядом на жизнь деревни, «идеализирующим патриархальные формы ее прежнего бытия, абстрагирующим от социальных, классовых противоречий крестьянства, от современной нови деревни».

Эти слова в книге Ф. Кузнецова остались бы лишь декларацией, правильной, но слишком общей, если бы не десятки обстоятельных страниц, отданных конкретному анализу книг о деревне. Критик прав: настоящая «деревенская» наша проза — и русская и многонациональная — красноречиво противостоит тенденциям «новокарамзинской» идеализации патриархального и мелкособственнического сознания, будучи в то же время исполнена сыновнего уважения и любви ко всему лучшему, что было в старой деревне. Критик подтверждает это разборами «Пряслиных», «Пелагеи», «Альки» Ф. Абрамова, «Вологодской свадьбы» А. Яшина, «Памяти земли» В. Фоменко, повестей В. Тендрякова, «Белого парохода» Ч. Айтматова, «Потерянного крова» Й. Авижюса, анализом таких сложных произведений, как «Привычное дело» В. Белова или «Последний срок» В. Распутина, бережно и тонко отделяя в них «главное» от «сопутствующего», бесспорно истинное от спорного. Примечательно, что, трактуя серьезные социально-философские и социально-психологические темы, Ф. Кузнецов использует обильный очерковый материал о деревне наших дней (от Г. Радова, Б. Можяева, Ю. Черниченко, В. Рослякова до сравнительно недавно выступивших В. Ситникова, Е. Лазарева, Л. Воробьева и многих других). Этот материал дает ему и нам — пусть в предварительных рабочих эскизах — то, до чего еще не дошли руки у «крупноформатной» прозы; очерки дышат такой крепкой, сложной (пусть в чем-то и остропротиворечивой), своевольно-мудрой, истинно современной реальностью, каковая, бу-

дем верить, поставит окончательный крест на эгегических мечтаниях и худосочных уствованиях ревнителй патриархального идеала!

А впрочем, надо видеть и другие достаточно важные жизненные грани в проблеме «город — село», еще не привлекшие должного внимания литературы. Напомню только то, о чем пишет в одной своей статье И. Мележ. Из того факта, что сотни тысяч недавних жителей деревни стали горожанами, рабочими заводов, вовсе не следует, напминает он, что процесс их вратания в город закончился с переходом на городское местожительство. «В психологии этих людей сцепляется много старого, деревенского и городского. Возникли новые конфликты, проблемы и противоречия, каких не знала наша литература». И в которые следует, можно добавить, смелее углубляться сегодня и мысли писательской и мысли научно-критической.

Любопытно, что и Ю. Андреева волнуют приблизительно те же проблемы народности, гуманизма, национальных традиций и что позиции обоих критиков особенно сходны именно в области «деревенской» тематики. Автор книги «Наша жизнь, наша литература», широко обращаясь, кстати, к реалиям самой действительности (в чем можно видеть одну из характерных примет сегодняшней критики), также отстаивает тот трезвый взгляд на деревенские дела, который органически несовместим с поэтизацией отсталого и отживающего, с тоской по патриархальным устоям. Его суждения, скажем, о творчестве Ф. Абрамова привлекательны, с одной стороны, решительной поддержкой честного писательского отношения к жизненной правде (автор убежденно спорит с рекомендациями некоторых критиков «уменьшить изображение тех реальных трудностей, которые приходилось преодолевать»), с другой же — утверждением современной концепции народного характера, которая действительно ярко выражена в романах и повестях писателя. Усматривая в романе «Две зимы и три лета» художественную полемику с определенным пластом произведений о деревне, критик пишет: «...люди, которые нравятся автору, — это общественно активные люди, не божьи одуванчики, не кроткие пассивные люди с психологией патриархальных крепостных, но те, которые способны выстоять, выдержать, перенести любые лишения ради общенарод-

ного дела, ради колхоза, ради семьи и односельчан своих наконец».

Позиция, как видим, заявлена автором четко, и она последовательно выдержана в размышлениях по кругу вопросов, которые не раз дискутировались. Вот небольшая глава «Поездка в Михайловское (Человек и его нация)». Не будем пересказывать лирические отступления и теоретические раздумья критика на тему о национальном чувстве современного советского человека, неотделимом от его социалистического, интернационалистского самосознания, опустим также дельные соображения относительно пустоты и наготы некоторых «модерновых» произведений, где люди лишены как социальных, так и национальных примет, — приведем лишь один из заключительных выводов, с которым нельзя не согласиться:

«Интересной и яркой особенностью литературы последнего десятилетия является заметное обращение писателей к национальным истокам современной действительности. Разумеется, аспекты и формы этого обращения чрезвычайно разнообразны — от тончайшей лирики до суровых эпических повествований. Следует отметить при этом главное: опора на лучшие черты русского национального характера, а не бездумное слепое русофильство характеризует большинство произведений последних лет».

А понимание главного в современном национальном характере — это понимание того нового, что внесено в сознание каждого человека социалистической действительностью, марксистско-ленинским учением, идеями советского патриотизма и пролетарского интернационализма. «...перед нами были люди, — подытоживает автор свои размышления, навеянные поездкой в Псков, Михайловское, Остров, — впитавшие с молоком матери весь дух, историю и традиции русской жизни. В то же время это были русские советские люди, для которых социалистическая действительность — единственно возможная действительность».

Впрочем, иногда Ю. Андреев склонен усматривать «патриархальщину» и там, где ее видеть не следовало бы. Вряд ли, например, справедливы упреки критика по поводу того, что Е. Исаев в одном стихотворном отрывке очень живописно изобразил, как его герой в ранней юности косил вместе с односельчанами луг... простой косой. Автор при этом даже ссылается на газетные выступления наших дней: «Когда же наконец

соответствующие организации избавят колхозника от косы, этого малопроизводительного орудия труда?» К поэтическому образу, имеющему широко и разногранно обобщенный смысл, явно не следовало подходить с такими узкими производственно-практическими мерками. Но дело даже не только в этом. Самую справедливую в принципе критику не рекомендуется доводить до той, так сказать критической точки, где она грозит превратиться в свою противоположность. Критику «пейзажства», критику кондового деревенского самобытничества и этакое современное дачного неорусизма до этой точки подчас доводят отнюдь не на пользу дела.

В постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» ставились задачи всемерного усиления идеологического воздействия критики на литературный процесс и воспитание читателей. Со всей силой прозвучало напоминание о том, что ее важнейший долг — последовательно утверждать революционные, гуманистические идеалы искусства социалистического реализма, разоблачать реакционную сущность декадентства и буржуазной «массовой культуры», бороться с немарксистскими взглядами на литературу и искусство, с ревизионистскими эстетическими концепциями.

За прошедших четыре года советская критика немало сделала для осуществления широкой программы, намеченной партийным документом. Представляется очень важным, что авторы лучших работ на деле показывают, как следует органически сочетать анализ эстетический, социальный и идейно-философский, обращаясь не только к проблемам собственно литературным, но и к проблемам жизни, идеологической борьбы, сложного движения различных пластов современной общественной психологии. Наличествующий в книгах Ф. Кузнецова и Ю. Андреева активный полемический «выход» на большие идеологические вопросы нашего времени (я проиллюстрировал его всего лишь несколькими примерами) — явление достаточно показательное для немалой части сегодняшних критических трудов. Причем эта полемика, острая и непримиримая, когда она направлена против идейных противников, по отношению к советским писателям чаще всего становится полемикой пропагандистски-разъяснительной, в хорошем смысле просветительской, стремящейся глубоко убедить адресата и всю «слушаю-

щую» аудиторию, то есть такой, какой ее чаще всего и хочется видеть.

Впрочем, о полемическом начале в этих книгах следует говорить постольку, поскольку они активны, беспокойны, хочется даже сказать — страстны в самой постановке проблем, в противопоставлении тенденций передовых и плодотворных отсталым и ошибочным. В целом же в книгах Ф. Кузнецова и Ю. Андреева безусловно преобладает анализ положительного опыта нашей литературы, раскрывается то ценное и поучительное, что накоплено современной советской прозой.

2

Критика, как и вся наша литература, в общем, чутко и своевременно уловила значение «проблемы человека» — в данном случае имеется в виду ее глубокое социально-философское и этическое содержание — в современной идеологической борьбе, равно как и во всей созидательной практике общества, строящего коммунизм. Существенной особенностью советской литературы последних лет, справедливо отмечает Ф. Кузнецов, является все более смелое и масштабное вмешательство ее в «кардинальный гуманистический спор эпохи» — спор о человеке, о его ценностях, о качественной, то есть человечески-сущностной стороне двух антагонистических социальных систем и свойственных им образов жизни. Идеологи капитализма с октября 1917 года не устают твердить об отсутствии у нас, в социалистическом мире, гуманизма, человечности, внимания к человеческой личности, уважения к духовным ценностям... Но в то время, когда социализм явил миру и подлинно гуманистические законы человеческого бытия и прекрасный облик новой, духовно богатой личности, поистине разительную картину дегуманизации и бездуховности представляет внутренне опустошенное, лишенное высоких идеалов и целей, основанное на безмерном нивелировании личности буржуазное «общество потребления».

Из понимания глубокой связи эстетического идеала и концепции человека, важнейших художника, с острейшими политическими, социально-экономическими проблемами современности исходит в своих анализах и Ю. Андреев. «В... условиях неизменно возросшей ответственности деятелей искусства, — пишет он, — четкое осмысление своей платформы, авторских взглядов на смысл жизни, на человека, на прекрасное и

безобразное — дело воистину международной важности». И формулируя свой исходный этический тезис о «полноте бытия» как основе человеческого счастья (в книге подчеркивается, что под ней следует понимать прежде всего полноту общественных отношений человека, полноту его социальной активности), автор прослеживает, как эта художественно отраженная «полнота человеческого бытия» проявляется и в тематическом многообразии нашей современной литературы, и в самой сущности ее эстетического идеала. Да, этический и эстетический критерий такой полноты — одна из существеннейших черт искусства развитого социалистического общества!

Социально-нравственная проблематика во всем широком объеме (ведь пронизывает она самые разные тематические пласты советской литературы) потому и оказалась главенствующей в книгах, о которых здесь идет речь, что в современных условиях объективно возросла и будет возрастать ее общественная, государственная значимость, о чем так глубоко и убедительно сказано в Отчете доклада ЦК КПСС на XXV съезде партии. «Ничто так не возвышает личность, — указывает товарищ Л. И. Брежнев, — как активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения. Выработать такую позицию — задача нравственного воспитания».

Возросшая за последние годы общественно-идеологическая активность советской критики достаточно наглядно проявляется и в освещении, теоретическом осмыслении ею нравственно-психологической проблематики. Здесь не прекращаются споры, дискуссии, полемические схватки, да и просто идет повседневная «лабораторная» работа, в которой подвергаются всестороннему анализу различные тенденции литературного процесса, отбрасываются неверные взгляды, кристаллизуется зрелое марксистско-ленинское понимание во многом новых для нашего искусства и безусловно непростых вопросов.

Внимательный читатель, мне кажется, уже мог оценить настойчивость и принципиальность, с которыми выступает за идейно-философскую ясность в решении этих вопросов Ф. Кузнецов, едва ли не больше и пылнее других в нашей критике размышляющий над содержанием именно нравственных исканий современной советской литературы. Его полемика, скажем, с В. Со-

лоухиным и Т. Наполовой по поводу «Белого парохода» Ч. Айтматова, с Л. Аннинским о «Большой руде» и «Трех минутах молчания» Г. Владимова, с Л. Жуховицким и Ю. Сотником о сущности мешанства как социально-психологического явления — не спор ради спора, практикуемый иными авторами скорее как своего рода литературный прием. Речь идет о вещах принципиальных и, я бы сказал, точно нацеленных в смысле «типологическом». Ибо в разговоре о «Белом пароходе» критик наглядно показывает несостоятельность внесоциального, даже несколько метафизического подхода оппонентов к анализу идейно-образного ядра айтматовской повести, а в разборе владимовской прозы и ее критических оценок — бесплодие абстрактного и опять-таки внесоциального понимания нравственных ценностей.

Мне всегда казалось, что настоящий класс мастерства современного критика, помнящего о традициях своих предшественников, проявляется тогда, когда в ходе анализа, осуществляемого с безупречной исследовательской точностью, он выходит за рамки чисто литературные, профессиональные (хотя важны, разумеется, и они) и делает выводы и заключения широкого «жизненного» плана — морального или педагогического, философского или социологического, общезстетического или какого-то другого. В статьях Ф. Кузнецова стремление к таким обобщающим «выходам» есть, и они придают многим страницам его книги дыхание живой «социальной педагогики». Вот критик, скажем, подытоживает один из своих конкретных разборов:

«Мы должны воспитывать коммунистов. Цель нашего воспитания — самостоятельно мыслящие, цельные, последовательные и принципиальные борцы, а не приспособленцы, податливые к чужому мнению, эгоистическому расчету, любым неблагоприятным обстоятельствам.

Однако мы не должны упускать из виду и другую сторону вопроса: воспитание личных добродетелей — дело необходимое, но недостаточное для формирования гражданской личности. Подлинно нравственный человек от личной честности и порядочности поднимается до честности гражданской, порядочности и принципиальности общественной, а доброту и человечность осмысляет как необходимость активной борьбы с социальным злом, цель которой — счастье людей».

Или весьма существенное напоминание о водоразделе между коммунистическим и мещанским отношением к личным материальным благам, напоминание, особенно актуальное в наше время и тоже настоятельно акцентируемое автором:

«Для коммуниста материальные блага жизни — необходимое условие подлинно человеческого существования. Для мещанина — цель и смысл его. В эпоху научно-технической революции этот водораздел приобретает особо важное значение. Ибо обилие материальных благ в обществе — это необходимая предпосылка для счастья людей. И вместе с тем поглощенность материальными благами нравственно невоспитанного сознания оборачивается духовным рабством».

Самые высокие нравственные черты, присущие нашей эпохе, реально воплощаются в коммунистическом характере, характере передового борца. Его глубокая содержательность, духовная красота, вдохновляющая сила и вместе с тем истинная, не исключающая и определенных противоречий жизненность — хорошо раскрываются критиком, когда он обращается к таким героям нашей прозы, как Конкин и Голиков («Память земли» В. Фоменко), Танабай Бакасов («Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова), Крылов («Иду на грозу» Д. Гранина), Подрезов («Пряслины» Ф. Абрамова), Горбьяков («Сибирь» Г. Маркова). Здесь и подтверждается всей художественной плотью этих незаурядных образов любимая мысль автора о том, что гражданское отношение человека к жизни и делу становится и «формой наиболее полного выявления самого себя... мерой... внутренней человеческой зрелости».

Ю. Андреев, выделяя в современной литературе «пласты тематические» и «пласты проблемные», естественно, делает особое ударение на теме рабочего класса, теме магистральной для всей нашей литературы. Хорошо, что автор уважительно ссылается на труды своих коллег Ю. Кузьменко, Г. Бровмана, Б. Анашенкова, Л. Теракопяна, разработавших отдельные аспекты этой темы аналитически подробно и серьезно. Сам он высказывает главным образом общие соображения, пытается установить основные причины пробелов и слабостей, все еще дающих себя знать в творческой практике писателей, работающих на данном тематическом направлении. Не скажу, что все замечания автора попадают в цель: мысль, например, о вреде иллюстративности справедлива сама

по себе, но со специфическими особенностями данного материала, по существу, не связана — иллюстративность ведь может подстергать художника и в любой другой теме.

Иное дело тезис Ю. Андреева (пусть не новый, но самостоятельно развитый) о том, что хорошее произведение о рабочем классе должно быть «общенародным» по емкости своих эпических обобщений, таким, чтобы его можно было сравнить с «ярко фокусированной точкой, в которой сходятся лучи всей современной жизни общества». Существенно в этой связи и напоминание критика о концентрированности и всеохватности социальных связей, которыми характеризуется современная жизнь рабочего класса — ведущей силы советского общества, что обязывает и писателя смотреть на трудовую жизнь, о которой он рассказывает, с достойного по широте обзора наблюдательного пункта.

Интересные мысли о человеке наших дней и его образе в искусстве, о взаимоотношениях литературы и жизни, о современном литературном процессе находим мы и в книге М. Слуджиса «Начало всех начал».

К излюбленным темам писателя принадлежит, например, тема конфликта в современном литературном произведении, вполне гармонирующая со всем творчеством автора «Лестницы в небо», «Жажды», «Чужих страстей». «Слишком часто приходится слышать: уж что-то, а песа без конфликта невозможна!.. А что, позвольте узнать, сварится без огня? Из необожженной глины и простой горшок развалится». В статье «Одной жизнью с веком (Несколько мыслей о конфликте в литературе)» писатель подробно излагает свои суждения на этот счет, связывая отображение жизненных конфликтов и с познавательными задачами художника и с его гражданской позицией. Автор твердо стоит на почве той простой, но, как известно, нелегко реализуемой в художественной практике истины, что новое в нашей жизни растет и утверждает себя в процессе сложных конфликтных взаимоотношений «то с наслоениями прошлого, то с новыми противоборствующими общему движению тенденциями. Социалистический писатель обманул бы себя и читателя, признав несущественность прошлого для судеб общества и личности, точно так же как если бы он отверг конфликтность новых явлений в развитии общества, посчитал случайными иные трудности и ошибки».

Для М. Слущиса конфликт в романе или повести не самоцель и не литературная игра, поэтому так вески его напоминания о гражданской целеустремленности и ответственности писательской мысли, о том, что сквозь художественное разрешение любого жизненного конфликта должна проглядывать История: «Это само дыхание произведения. Но ни в коем случае не иллюстрации к ней!» Один из «генеральных» социально-психологических конфликтов нашего времени, судя по всему особенно глубоко волнующих писателя, это столкновение творческих и потребительских идеалов, борьба между социалистическим и мещанским отношением к жизни. О том, что «новые ростки мещанства», в частности «культ вещей, удобств и удовольствий», могут подчас усиливаться, по мере того как жизнь людей будет становиться богаче и полнее в материальном отношении, писатель предупреждает настойчиво, видя здесь одну из больших тем современной литературы.

Но самое интересное, конечно, это мышление автора о путях эстетического решения занимающей его проблемы: о конфликте внешнем и конфликте внутреннем (последний иллюстрируется классическим примером: сталкиваются не только антиподы — Отелло и Яго, но мучительная борьба происходит и в страстной душе самого Отелло), о конфликте, который может идти по главной оси общесторической коллизии, а может выражать ее через факты и случаи редкостные и вроде бы «исключительные» (пример с главным героем собственного романа «Чужие страсти»), о конфликте, выявленном прямо и резко или же, наоборот, текущем в глубине, как вода под слоем льда. Раздумья — актуальные и имеющие отнюдь не только профессиональный литературно-эстетический интерес: в наше время, в условиях общества, идущего к коммунизму, когда самими жизненными обстоятельствами вызывается потребность в неуклонном росте разносторонней внутренней работы личности, когда мы все чаще говорим не только о воспитании, но и о самовоспитании людей, когда во внутреннем мире человека нередко на первый план выступает борьба между «собой вчерашним и собой сегодняшним», вопросы, затрагиваемые автором, волнуют педагога, психолога, социолога, философа в не меньшей мере, чем писателя. И под легкой, даже изящной оболочкой, создаваемой непринужденной манерой опытного эссеиста, бьется мысль,

обращенная в первую очередь именно к социально-психологическим, идейным, мировоззренческим проблемам развития современного общества и современного человека. Тип писателя, хочется сказать мимоходом, наиболее привлекающий сегодня (а может, так было и всегда?) наше читательское внимание.

Разумеется, М. Слущис не забыл и темы, без которой в наши дни не обходится, кажется, ни одна критическая книга, — НТР и литература. Его суждения на этот счет лишены всяких крайностей — и «энтэровского энтузиазма» и «антиэнтэровского нигилизма», — а интерес сосредоточен на моментах конструктивного, даже практического свойства. Писатель уверен — и к нему можно присоединиться, — что в экономических и технических программах теперь будут обязательно учитываться морально-психологические факторы, а это значит, что в условиях НТР станет неуклонно возрастать и познавательная, и воспитательно-формирующая, и прогнозирующая роль литературы. Быть в ладу со временем — это значит «постоянно интересоваться изменяющимся под воздействием НТР сознанием, тем, что обогащает личность, и тем, что ее деформирует». И, разумеется, не делать никакого фетиша из чисто технических и научных достижений. Потому что «никакие достижения НТР, как бы несомненные они ни были, не заменят морали, ее простейших истин, так дорого достигающихся каждому в ходе проверки жизнью». И потому что литературе, «как раньше, как всегда, остается человек!».

3

От вопросов «что?» и «во имя чего?» в искусстве всегда неотделим вопрос «как?» — истина старая, но остающаяся неизменно справедливой и актуальной.

Мы с достаточными основаниями говорим, что наша литература сегодня в хорошей творческой форме, что большинство ее жанров развивается успешно и полнокровно (хотя, естественно, и с теми или иными перепадами) и что не просто удачами, а значительными художественными открытиями, исторически масштабными достижениями радуют и вдохновляют нас целые тематические направления (книги о Великой Отечественной войне прежде всего) современной многонациональной прозы. И вместе с тем ясно, что время требует дальнейшего повы-

шения критериев, что идейно-художественное качество произведений, достойное эпических свершений народа — строителя коммунизма, станет одной из центральных проблем нашего литературного развития в предстоящие годы. И если давно сказано — с художника спросится, — то с критика в этом смысле, пожалуй, спрос двойной.

Все книжки, взятые для этого миниатюрного обозрения, отмечены, в общем, должной взыскательностью и серьезным беспокойством за полноценность, яркость и ответственность художественного слова. Но специально остановиться с этой точки зрения хотелось бы именно на писательских работах, то есть на сборниках статей И. Мележа и М. Слуцкиса.

Следя за ходом их мысли, за системой их доказательств, лишний — но, право же, совсем не излишний! — раз убеждаешься, как чуждо мастерам литературы социалистического реализма всякое плоское, формально-технологическое, эстетское понимание художественного качества и какое большое, отнюдь не ремесленное содержание они вкладывают в понятие своего писательского мастерства. Для М. Слуцкиса, например, лишь «в нераздельности художественной пластики с «материальным» началом произведения и идейно-философской концепцией автора заложен коэффициент художественности». И так же ясен и глубок в этих вопросах И. Мележ: если без концепции, без «серьезного философского наполнения» нет настоящего, основательного произведения, то, с другой стороны, «идея, не воплощенная в должном мастерстве, — птица без крыльев».

Обе книги — и белорусского и литовского писателей — демонстрируют активнейшую позицию видных художников слова в том, что считается, казалось бы, сферой обязанностей профессиональной критики, — и в конкретных оценках работы собратьев (в том числе, кстати, и критиков), и в попытках дать ответ на общие, теоретические вопросы, встающие перед литературной практикой (пусть такие ответы и не лишены известной дозы индивидуально-художнической субъективности). В этом смысле статьи и Мележа и Слуцкиса свидетельствуют, что сами писатели постоянно «в процессе», в живом потоке движения всей литературы, в деловых и действенных, «практически-функциональных» раздумьях о нем никак не меньше, чем исправно выполняющий

свой долг впередсмотрящий литературного корабля — критик.

В самом деле, у Мележа, кроме массы конкретных откликов на факты литературной и общественной жизни и солидного очерка о Кузьме Чорном (том его критико-публицистических работ объемист — свыше 30 печатных листов), несколько основательных проблемно-аналитических статей о белорусском романе, рассказе, о прозе вообще, ряд рецензий и очень искренние «исповедальные» — опять-таки с обильными выходами на общие литературные проблемы — статьи о собственном творчестве («Немного воспоминаний и мыслей», «Найти себя», «Перед первой страницей»). У Слуцкиса, кроме литературных портретов учителей и наставников, мастеров старшего поколения, кроме очерков о зарубежных писателях-друзьях, ряд тонких и вдумчивых аналитических статей о ровесниках и «идущих вослед» («Хранить огонь», «Почему роман называется «Каунасским», «В поисках доброты», «Кто они — эти мотоциклисты?») и интереснейшие проблемные эссе (некоторые уже упоминались): о конфликте, о лирической прозе, о проблемах, выдвигаемых НТР, о взаимодействии литератур, о «взаимоотношениях» прозы и критики.

В этом вторжении известных мастеров в живой литературный процесс, вторжении чисто практическом, нет, разумеется, ничего необычного, оно стало нормой для многих наших писателей. Но книги, в которых идет речь, обращают на себя внимание тем, что воплощают как раз лучшие, хочется сказать — по-настоящему современные стороны такого писательского соучастия в ежедневных «жизненных заботах» критики, литературы в целом.

...Кажется, ни у Мележа, ни у Слуцкиса нигде, ни в одном случае нет такой знаковой фразы из некоторых писательских выступлений: «О том, насколько удалась писателю эта книга, пусть судят критики. Я же позволю себе только сказать...» Или: «Я не критик, чтобы пытаться решить этот вопрос, мне лишь представляется...» Прибегать к этим привычным формулам уклончивости и ленивого джлетантизма, который не прочь даже щегольнуть своей теоретической (а иногда и общекультурной) неосведомленностью, авторы рассматриваемых книг явно считают ниже своего достоинства, и спасибо им за это! Да, они добросовестно берут на себя вместе со скромными правами и нелегкие обязанности критика:

высказать товарищу не только приятные, но и неприятные истины, самому подумать над вопросами сложными, неясными, а порой и довольно щекотливыми, попытаться дать ответственную и аргументированную оценку состоянию того или иного жанра, тематического направления. Признанный мастер романа Иван Мележ конкретно-доказательно говорит признанному мастеру Ивану Шамякину, что роману последнего «Снежные зимы» при многих серьезных достоинствах вредят некоторые пусть «отдельные», а все же досадные художественные слабости. М. Слуджис, влюбленно разбирая творчество старейшей литовской писательницы Е. Симонойтите (статья «Тропа, которая вывела на столбовую дорогу») и показывая его свежесть и силу, без всяких умолчаний и смягчений напоминает об идейных просчетах романистки в некоторых ее произведениях прежних лет.

И кроме того, у этих писателей-критиков нет «фразы». Фразы высокопарной, фразы размашистой, фразы обтекаемой, скрывающей за собой нежелание или неумение высказаться откровенно и по-деловому. Если уж Мележ берется судить о делах и проблемах белорусской критики, то это профессиональный и уважительный, насыщенный фактами разговор о заботах, трудностях, задачах большого участка литературы, разговор компетентный и вместе с тем имеющий то достоинство, что он ведется несколько со стороны и поэтому дает возможность посмотреть на вещи свежим глазом доброжелательного «соседа» и друга.

Одной из главных сквозных тем, пронизывающих содержание рассматриваемых книг, стала тема традиции и новаторства, тема художественного прогресса в современных условиях и, разумеется, в близких авторам областях — прежде всего в прозе, прозе, взятой в национальном, а вместе с этим и всесоюзном разрезах.

Мудро сказал М. Слуджис: «Нельзя доверять лишь личному, ограниченному опыту или опыту поколения (группы ровесников). Историзм и коллективизм — вот тот интеллектуальный и эмоциональный резерв, который позволяет конструктивнее сочетать интересы личности и общества, национальные и интернациональные чувства и устремления, материальные и духовные запросы». И он же страстно призывает: хранить огонь! Речь идет об огне идейной убежденности и революционной романтики, с которым вступило в литературу поколение Слуджиса и

Авижюса, Марцинкявичюса и Балтакиса, поколение суровых послевоенных лет, хорошо усвоившее «начало всех начал» — определенность, ясность, активность гражданской позиции художника.

«Пока жив будет этот огонь, живы будем и мы, хотя каждое поколение обязано многое отбросить в сторону. Только так и возможно сохранить огонь — постоянно обновляясь и вместе с тем не утрачивая связи с предшествующими поколениями».

В системе этих внутренних координат писатель и рассматривает движение литовской литературы, «биографически» связанное и с движением писательских поколений, каждое из которых приносит что-то свое, новое и неповторимое, в родную словесность. Любопытно, что и у Ивана Мележа есть большая статья «Поколение за поколением», в которой этапы истории белорусской литературы с особо теплыми, «человеческим» чувством рассмотрены по волнам поколений — от Купалы и Коласа до Н. Гилевича и Б. Саченко, не исключая и самых молодых. Ясно, что академические исследователи будут по-другому, по-своему, строить курсы истории литературы, но в данном случае важно стремление авторов показать единство и целостность процесса, желание нанести «частичный» опыт каждого поколения на общую карту литературы в ее исторической динамике.

М. Слуджис, подчеркивая интенсивность процессов художественного развития, происходивших в литературе за последние полтора десятка лет («Беспрерывно грохотали на ее небосклоне грозы обновления» — если здесь и есть некоторая гиперболичность, то ее можно оправдать), в центре своего внимания держит новейшую стилевую линию литовской (и, разумеется, не только литовской) прозы — лирико-психологический роман. Объяснению и «обоснованию» этого течения (автор «Адамова яблока» и «Жажды» сам имеет к нему прямое касательство) посвящены многие яркие страницы книги. Но, показывая определенные достоинства лирико-психологической прозы, писатель не обнаруживает слепой приверженности к ней, он шире всякого стилевого догматизма, и видно, что ему дорог прежде всего сам процесс художественного обновления, движения вперед, происходящий на здоровой реалистической основе. В прозе эпической, в частности в «Потерянном крове» Й. Авижюса, он тоже видит этот процесс развития, новаторского обогащения и

горячо приветствует его. Ведь главное — «стремление максимально приблизиться к современности. Роман пишется не ради формы — ради порождающей ее жизни».

Перед И. Мележем, применительно к белорусской литературе, лирико-психологический роман с его внутренним монологом и т. п. не стоял в качестве особо значительной проблемы, но у писателя были в принципе те же заботы о новаторском развитии национальной прозы. Он не без оснований ревнив ко всему, что касается достоинства искусства — есть такой термин в его критическом словаре, — в том числе и достоинства родной белорусской прозы, достижениями которой он справедливо гордится (по интенсивности развития, можно добавить, здесь вполне возможна параллель и с «громкой» сегодня литовской литературой). Но ведь есть и немало нерешенных проблем, на них и устремлена мысль автора. Он убежденно защищает, в частности, «права» эпической прозы, видя в ней одно из главных направлений современного романа; при всем сочувствии к «небесным» взлетам лирики он за земную, жизненную полнокровность прозы (отсюда афоризм: «Наибольшая сила субъективного искусства — в объективности»); он обеспокоенно указывает товарищам по перу, новеллистам в особенности, на весьма заметные подчас «равнодушие, инертность к новому», в частности к новым жизненным проблемам и конфликтам, явно обесценивающие и иные формальные поиски. Постоянные противники писателя, который изрядно достается во многих его выступлениях, это иллюстративность, подделка под актуальность, рассчитанные только на внешний эффект, имитации под стилевую «современность», формально-трюкаческое экспериментаторство... «Мастерство — это стремление» — так названа одна из его статей, и в понятие «стремление» здесь вложен самый социальный и этический смысл.

Пожалуй, не надо перечислять имена мастеров многонациональной советской лите-

ратуры, а также зарубежных писателей, опыт которых используется нашими авторами при освещении поднимаемых проблем, чтобы показать широту их интернационального художественного кругозора. Это сегодня неотъемлемая черта подлинно творческого, подлинно современного мышления, о какой бы из наших братских литератур ни шла речь. И хотя этические проблемы в рассматриваемых книгах ставятся и решаются главным образом на наиболее близком для писателей «местном» материале, мы неизменно ощущаем здесь всесоюзную литературную атмосферу, дух общих поисков и стремлений. Отсюда и соответствующие критерии, приличествующие нашему сегодняшнему дню. «Читатель только что читал Бальзака, а теперь берет твою книгу». Хочешь не хочешь, а должен мерить свой скромный труд «мерой Толстого и Бальзака, Шолохова и Фадеева» (И. Мележ).

В постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» сказаны чрезвычайно емкие слова о методологических основах советской критики: «Развивая традиции марксистско-ленинской эстетики, советская литературно-художественная критика должна сочетать точность идейных оценок, глубину социального анализа с эстетической взыскательностью, бережным отношением к таланту, к плодотворным творческим поискам».

Целью этих заметок и было проследить на примере нескольких книг, как критика наших дней, стремясь к наиболее полному осуществлению этих принципиальных положений, реально продвигается вперед, обретает новые силы и возможности для плодотворного воздействия на художественное сознание общества. Нет сомнения, что затронутые нами вопросы получат всестороннее и глубокое освещение в творческом разговоре, который состоится на VI съезде писателей СССР.



И. ВИШНЕВСКАЯ



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

(О герое современной драмы)

Бывают разные периоды в истории литературы, в судьбах драматургии.

Иногда целые годы, целые десятилетия отмечены эволюционным развитием, устанавливаются и долго не меняются определенные критерии, складывается устойчивый зрительский идеал. Публика привыкает к повторяющимся писательским именам, новые художественные звезды загораются крайне редко. Возникает пусть временная стабилизация процесса, некое равновесие между накопленным и накапливаемым в искусстве. Количество до поры не переходит в новое качество, не ощущается новых напластований, они как бы незаметно растворяются в уже найденных средствах художественной выразительности.

Но вдруг все меняется. Эволюция обнаруживает свое революционное содержание, устойчивые творческие критерии на глазах переиначивают свои опознавательные знаки, вчера еще безапелляционное сегодня рождает споры, неспешное становится спешным, неинтересное делается захватывающе интересным.

В привычную цепочку имен то и дело вклиниваются шумные молодые фамилии. Наступает время сложных перемен, особого внутреннего смотра сил, смотра накопленных эстетических ценностей. Резко нарушается равновесие между добытым и добываемым в искусстве. Новое громко заявляет о себе, создавая свои традиции.

Переломный этот момент, когда былая эстетическая устойчивость вдруг обретает подвижность, когда ощутимо сменяются писательские поколения, когда разные творческие манеры звучат подчас «несостыкованно», — этот момент и радостен и тревожен.

Радостно в такие периоды бывает оттого, что новый и яркий свет освещает все, что

казалось уже сто раз виденным, что успели за долгие годы достаточно внимательно разглядеть до самых мельчайших деталей.

Тревожно потому, что каждый переломный момент вместе с новаторством истинным может нести с собой внешнюю эффектность, псевдоискусство, пену громкой моды и самодовольного трюкачества.

Нет сомнения, что постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» необходимо понимать и в этом смысле — критика наша не должна упускать возникновения новых тенденций в искусстве, не только констатируя сложившееся, но и помогая утверждаться молодому и перспективному.

Стоит заметить, что постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» датировано 1972 годом, а даты никак не безразличны к существу, пафосу партийных решений в области искусства и литературы. Именно в 60—70-е годы стало особенно заметно, что литература, и в частности драматургия, обогатилась новыми крупными дарованиями, ярче, самобытнее стала жанровая жизнь искусства, шире, свободнее сделался выбор художественных средств, окрепло народное, а значит, и международное звучание советского театра.

Чем же объяснить оживление в драматургическом цехе, чем объяснить многие перемены, происшедшие сейчас в самой структуре письма, в жанровом своеобразии, в материале действительности, становящемся материалом искусства?

Вероятно, нельзя говорить о развитии научно-технической революции и думать при этом, что формы искусства останутся незатронутыми, что в содержание его не войдут мотивы абсолютно новые, что напор технического прогресса оставит невозмутимыми

ритмы художественного творчества. И вот здесь-то намечились первые признаки перелома, первые эстетические сдвиги, обусловленные новым материалом действительности.

Неожиданно крупным планом придвинулась к читателю, к зрителю производственная тема, если так можно сказать — деловая тема в искусстве.

И вот что примечательно: в прозе все больше набирает силы и соки так называемая деревенская проблематика, все теснее становится шеренга так называемых деревенщиков (Государственную премию за 1975 год получает Федор Абрамов, автор острых и сложных произведений о современной деревне), а в драматургии главный интерес сосредоточен на людях индустрии.

Я уже вижу несогласие в глазах всегдашнего моего оппонента в рассуждениях о теории драмы Виктора Розова, я уже слышу иронические интонации другого постоянно своего собеседника о жизни драматургии — Алексея Арбузова: нет, мол, и быть не может произведений об индустрии или деревне, есть пьесы и спектакли о людях, и только о людях. Такое звучит эффектно, но не больше. Ни в какие времена и никакие самые великие писатели не говорили о людях вообще, только о людях. Они говорили о социальном явлении, о страстях общественных, о конфликтах идеологических, словом, высокая литература — это всегда литература, посвященная обществу человеку, трагедией которого не раз бывала его «внеобщественность», разрыв с обществом, расхождение с действительностью. И если в старые времена перевес в этом конфликте между человеком и действительностью был на стороне человека, если ему доставались писательские симпатии, а общество клеймилось, из этого вовсе не следует, что речь шла о человеке вообще, о личности вне социальности.

Это только так кажется на первый взгляд, будто бы великий Пушкин не интересовался «производственной» проблематикой, говоря языком сегодняшней нашей эстетики, будто он сталкивал в маленьких своих трагедиях человеческие страсти вообще, пороки или добродетели вневременные.

О чем говорят, например, Моцарт и Сальери? Как ни покажется это странным, о делах, о смысле своей профессии, о существе то.», что они делают, о любви и ненависти в сфере избранного ими труда. Беседа Моцарта и Сальери — это, кроме всего

прочего, разговор двух профессионалов, двух композиторов, музыкантов, озабоченных совершенствованием своей профессии. И это особенно ясно читается именно у Пушкина, быть может, первого русского писателя, ставшего на профессиональную литературную дорогу, сделавшего творчество трудом. Профессиональный писатель Пушкин: писал столкновение двух профессиональных композиторов Моцарта и Сальери, а вовсе не конфликт абстрактных категорий добра и зла.

Важно только, чтобы деловое столкновение венчалось в пьесе не служебной справкой вроде того, что план наконец выполнен, но глубоким, тревожным вопросом к человечеству, к будущему, вопросом, например, таким, каким заканчивается спор Моцарта и Сальери: «Но ужель он прав... Гений и злодейство две вещи несовместные». Вот тогда-то разговор о деле станет рассказом о людях, конкретный конфликт обернется поучительной моралью на все времена.

Или еще: о чем беседуют Тригорин и Треплев в чеховской «Чайке», чем мучается Треплев, к чему прикованы все помыслы, радости и страдания Тригорина? К существу литературной профессии — от важнейших идеологических ее задач до самых мельчайших технологических приемов. Тригорин и Треплев — профессионалы-литераторы, и именно в этой сфере заложена главная их драма, высшая сердечная мука. И сколько бы мы ни писали о других сторонах этой пьесы — об ее светло-грустном подтексте, о страданиях любви, о могуществе реалистического символа, — особенно сильно волнуют здесь современников художнические, профессиональные судьбы актрис Нины Заречной и Ирины Аркадиной, писателей Тригорина и Треплева, по-разному видящих цель искусства, одинаково не могущих без него жить.

Важно, однако, в драматургии, чтобы «производственные» судьбы затрагивали самые глубокие сердечные струны, влекли за собой выводы не прагматические, но эмоциональные, интеллектуальные, личностно согретые, охватывающие широкие горизонты времени.

...Уедет в столицу Тригорин, в провинцию Заречная, кончит самоубийством Треплев, а люди и во времена Чехова, и после него, и в дни наши, и в далеком завтра все еще будут слышать печальные и мужественные слова чеховской пьесы: «Умей нести свой крест и веруй». И в сознании человечест-

ва будет утверждаться не метод письма Тригорина, не манера работы Треплева, а выстраданные Чеховым вместе со своими героями заветные, всем помогающие, всех открывающие мысли о жизни.

Но это в сторону, это моим заочным оппонентам, любящим повторять, что интересен в искусстве лишь человек, что пьесы пишутся не для того, чтобы «ими заколачивать гвозди», но для того, чтоб улучшить, смягчить человеческую природу.

Я думаю, дилемма «пьесы о человеке» или «пьесы о профессии» ложная. Ее попросту нет. Противоречия могут быть в художественной манере, но по существу подлинное искусство не делится на утилитарное и нравственное, оно — в своих вершинах — всегда дарит и пользу и наслаждение. Если бы, однако, к одному «наслаждению» сводились романы и повести Тургенева, не было бы того Тургенева, которого мы знаем как бойца и политика, как певца Инсарова, Елены Стаховой, Базарова, Рудина. И напротив, если бы одна только политическая страсть одушевляла искусство Тургенева, не было бы очарования его «Первой любви», не было бы трепета Эллис.

Польза и красота — две стороны русского реализма, социалистического реализма в частности.

Итак, вернусь к своему тезису: деревенская тема в прозе, индустриальные мотивы в драматургии как преобладающие. Исключения в том и другом случае незначительны, ничего не меняют в общем облике процесса.

Почему же в начале революции, в 20-е годы наблюдалось как раз обратное: драма активно влеклась в сторону села («Марьяна» Серафимовича, «Бабы», «Захарова смерть» Неверова, «Красная правда» Вермишева, «Федька-есаул» Ромашова, «Вирина» Сейфуллиной, «За Красные Советы» Арского), а проза, напротив, ушла на фабрики и заводы («Цемент» Гладкова, «Фабрика Рабле» Чумандрина, «Гравюра на дереве» Лавренева, многие-многие другие романы и повести 20-х годов рождались в цехах, в кабинетах красных директоров, на первых промышленных стройках)?

Вероятно, если говорить суммарно, проза следит в первую очередь появление нового характера, нового типа, драма — возникновение нового процесса, нового противоречия, новой конфликтной ситуации. Естественно, и то и другое существует лишь в единстве, но все же некоторое размежева-

ние ощутимо, оно в самой видовой структуре литературных жанров.

Обращаясь к сельской действительности 20-х годов, драматургия искала не столько даже новые характеры, сколько новые процессы, бесконечно интересно было отражать решительные сдвиги вздыбленной деревенской нови, пробуждение духовной целины.

Прозаики 20-х ввели в литературу новые характеры производственников, красных директоров, советских рабочих. Конфликтные ситуации имели здесь как бы второстепенное значение.

Село просыпалось, промышленность рождалась. Драматурги более чутко слышали перепады от старого к новому, совершавшиеся в остроконфликтной борьбе. Прозаики более чутко ощущали психологические приметы совершенно нового для страны характера — создателя индустриальной России.

Что же сегодня? «Деревенщики» в прозе, «производственники» в драме. Означает ли что-нибудь эта «перемена мест»? Несомненно.

В первую очередь новые могучие веяния технической революции коснулись именно промышленности, поэтому здесь-то и возникли новые, доселе невидимые столь ясно противоречия, завязались тугие конфликтные узлы, встали самые разнообразные дилеммы. Сюда-то и потянулись драматурги, к «производственной» сфере, где наиболее явно заметно становление нового, сломы привычного, сдвиги устоявшегося.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду Леонид Ильич Брежнев сказал: «Возьмите, к примеру, то, что ранее сухоовато называли «производственной темой». Ныне эта тема обрела подлинно художественную форму. Вместе с литературными или сценическими героями мы переживаем, волнуемся за успех сталеваров или директора текстильной фабрики, инженера или партийного работника. И даже такой, казалось бы, частный случай, как вопрос о премии для бригады строителей, приобретает широкое общественное звучание, становится предметом горячих дискуссий...»

Эти слова еще и еще раз подтверждают, как важно вовремя заметить и поддержать новое эстетическое явление, не отмахнуться от него на том лишь основании, что оно не всегда совпадает с теми или иными традиционными представлениями.

Вначале были «Мария» А. Салынского и «Человек со стороны» И. Дворецкого, сейчас

«Сталевары» Г. Бокарева, «Премия» А. Гельмана — наиболее интересные работы драматургов, породившие особый вид современной пьесы, где производственный диспут переходит в диспут нравственный, постепенно затрагивающий все стороны души героев, людей разных профессий.

По этим пьесам, по шумному их успеху видно, как сместились теперь многие эстетические критерии. То, что раньше представлялось наиболее интересным, скажем личная жизнь героя, перипетии его личной, «внеслужебной» судьбы, сегодня уступило главное место производственным коллизиям.

Когда-то Борис Ромашов, один из старейших наших драматургов, рассказывал мне о секретах своего мастерства, о секретах драматургического ремесла вообще. «Я писатель театральный и хорошо знаю публику, — говорил Ромашов. — И убежден, что сцена собрания должна непременно перемежаться картиной домашнего быта героя, макромир обществeнных противоречий необходимо варьировать в драме с микромиром камерных столкновений».

Но при всей выверенности этих извечных правил драматического ремесла Ромашов был бы сегодня не прав, архаичен. Интересными стали сами по себе заседания и совещания, драматургия партийных собраний и съездов, сложные ситуации общественной жизни и напряженные страсти общественного бытия.

Не случайно если и пишется «дослужебная» биография героя в наших пьесах о людях эпохи научно-технической революции, она, как правило, конспективна, но в ней начала и отгадки будущих поступков, будущих столкновений. Личная биография человека, столь важная, скажем, в романах Тургенева, составлявшая там особые самостоятельные главы, объяснявшие суть данного характера, формирование данного типа, в пьесах последних лет перестает иметь столь решающее значение.

Общественное резко преобладает над «персональным» в нынешней производственной драматургии. Герой «Премии», как называется сценарий Гельмана в кинематографе (в Ленинградском театре драмы имени Пушкина спектакль озаглавлен «Протокол одного заседания»), во МХАТе — «Заседание парткома»), бригадир Потапов вроде и вообще не имеет личной биографии. Совершенно случайно из обрывочного разговора мы узнаем, что у него есть жена и дети, не оказывающие, кстати сказать, никакого влия-

ния на психологическую, производственную ситуацию. Нам важно общественное воспитание Потапова, приведшее его на заседание парткома с большой государственной заботой. Общественное это воспитание и делает его личностью. Меняется сама атмосфера пьесы — из семейной она становится общественной, роль семьи, дома как бы приглушается в подобной драматургии. Заглавия спектаклей и кинофильмов стали обнаженно производственными, откровенно служебными, открыто деловыми. Там, где автор еще стыдливо ставил в названии «Самый жаркий месяц», отлично чувствующий современность режиссер Олег Ефремов выводит «Сталевары», давая путевку в жизнь ныне широко известной пьесе Г. Бокарева. Там, где сценарист еще писал некое абстрактное слово «Премия», тот же Ефремов решительно заменял его на недвусмысленное «Заседание парткома».

Слово «заседание» чуть ли не впервые становится названием произведения. В этом слове, в подобных словах есть особая заманчивость для современной публики. Было время, когда пьеса одного из литераторов, названная «Последние гвоздики», не собрала зрителей, так как заглавие было прочтено людьми «Последние гвоздики». Драма стала впоследствии именоваться «Последние астры» — во имя «репертуарности». Теперь, наверное, все случилось бы как раз наоборот — «Последние гвоздики» оказались бы атакованными зрителями, а «Последние астры» доцветали бы в мелодраматическом одиночестве.

Люди решают государственные проблемы, необычайно выросла гражданская активность человека, личная его ответственность не только за свой участок, но и за участок размером во всю страну или даже планету.

Однако производственная проблематика существовала на театре и раньше. Стоит лишь назвать фамилию Погодина и его пьесы «Темп», «Мой друг», «Поэма о топоре», чтобы понять, как рано и активно двинулась советская сцена навстречу новым задачам строящейся советской действительности.

И все же возрождение производственной темы на сцене 60—70-х годов — явление совершенно особое, скорее даже речь идет не о возрождении уже бывшего, но о рождении принципиально нового.

Производственная «погодинiana» строилась все же на противоречиях между сформировавшимся сознанием человека и пока еще тесной экономической базой. Человек

был своими помыслами уже в коммунизме, материальная же база, на которой предстояло трудиться, оставалась еще недостаточно богатой, нужда была во всем — от стройматериалов до совершенной отечественной техники. Сегодня конфликтная ситуация в производственной теме изменилась решительно: речь идет не о тяжелых попытках погодинского Гая обеспечить свой завод всем необходимым — речь идет о том, что завод имеет все необходимое. И резкие столкновения возникают на новой крепкой материальной основе. Добиться гармонии между «материей» и сознанием — вот к чему стремятся герои современных пьес, современные «деловые» люди, как называют их в эпоху научно-технической революции.

Человек и производительные силы — такова в основном природа конфликта «погодиныны»: сталевар Степашка впервые на советской земле открывал секрет отечественной нержавеющей стали, создавая свою «Поэму» о топоре.

Человек и производственные отношения — такова природа конфликта многих сегодняшних пьес; сталевар Виктор Лагутин борется за абсолютную, «беспримесную» честность как условие коллективного труда, борется за нравственно целостный коллектив сталеваров.

Не станем сравнивать сейчас мастерство драматургов — Погодина и Гельмана, Погодина и Бокарева — важно только заметить, что диспут, разыгранный во мхатовских спектаклях «Сталевары» и «Заседание парткома», не мог бы, пожалуй, состояться в конце 20-х годов. Нынешние рабочие из этих спектаклей говорят о нравственной атмосфере производства. Герои «Моего друга» и «Поэмы о топоре» говорили о судьбах самого производства.

Производственная тема сегодня все больше и больше смыкается, сливается с темой духовного роста человека, его самовыявления как личности, утверждающей себя в деле. И поскольку «внеслужбная» биография, как мы уже говорили, не имеет сейчас в пьесах, посвященных людям научно-технической революции, решающего значения, вероятно, в чем-то изменяются и сами творческие принципы создания образа современника. Как-то по-иному, не столь привычно-традиционно должны проявляться личные качества человека, стороны его характера.

Пока что драматурги лишь пытаются найти новые средства выразительности, для того чтобы герой эпохи научно-технической

революции раскрылся в пьесе вполне, оставаясь «сюжетно» в рамках данной производственной ситуации. Так, например, И. Дворецкий переносит в драматургическую «судьбу» инженера Чешкова фрагменты его «Дозаводской» биографии — разрыв с женой, внезапная ее смерть, визит некой женщины, рассказывающей Чешкову обстоятельства болезни и смерти его жены, неожиданное появление в пустой комнате Чешкова маленького сына, отныне живущего с отцом. Но если события, связанные с заводскими проблемами, развиваются сюжетно стройно и психологически разумно, то биографические эпизоды здесь не несут большой нагрузки, они вроде бы случайны и введены наскорю.

Однако беглое включение «кадров» из личной жизни в суверенный от него сюжет общественный не представляется мне подлинно творческим решением нового вопроса о выявлении человеческой души в деловой ситуации.

Как видно, мы вправе говорить о существовании особого характера в сегодняшнем мире — характера советского человека, человека, живущего «по московскому времени», как образно назвал некогда одну из своих пьес драматург Л. Зорин. Ведь давным-давно поражает каждого из нас, уезжающего в какую-либо зарубежную командировку, встреча с достаточно старомодным типом сверхсовременного человека, работающего точно от и до, отбрасывающего все мысли о делах ровно с концом рабочего дня, свято соблюдающего «уик-энды», не ведающего беспокойной радости наших общественных дел и обязанностей.

И напротив, как удивляет людей Запада тип советского человека, для которого с концом рабочего дня не уходят, не гаснут мысли, тревоги о своем деле, человека, постоянно включенного в сферу общественного бытия. Но только ли общественного? Нет, и личного тоже. Неразделенность эта, когда-то вызывавшая бойкие насмешки сатирических журналов, оказалась, по существу, одним из важнейших признаков принципиально нового характера. И, кстати сказать, было бы вовсе неплохо, если бы наши социологи и эстетики дополнили в этом случае сатириков. И тогда вместо чашушек и фельетонов по поводу «цельнометаллической» конструкции человека могли быть выведены некие новые закономерности стирания границ между личным и общественным, рождения нового типа общественной личности, не упол-

заощей в свою домашнюю скорлупу после конца работы, так как сама работа сделалась для нее вдохновенным творчеством.

Драматурги, которые пишут сегодня об этих людях, ощущают архаичность старых, выверенных канонов ремесла: сцена на производстве — сцена дома, сцена дома — сцена на производстве. Видимо, нужно идти другими путями, соединяя в целое некогда разрозненное, раздробленное на противоположные стороны человеческого бытия. Ведь и душевность, и сердечность, и мягкость, и принципиальность, и романтические взлеты натуры, и трезвый практицизм — все это вместе может обнаружить и уже обнаруживает герой наших драматических произведений именно в глубине производственной коллизии, здесь, в цехе, на заседании парткома, поскольку именно в деловой сфере ему дано выявить себя с максимальной полнотой.

Романтической была некогда пьеса, скажем, о мореплавателях, открывающих новые страны, героической — драма, посвященная временам гражданской или Отечественной войны, чувствительной — мелодрама о перипетиях несчастной любви, производственной — история конфликта между людьми, по-разному понимающими смысл современного труда.

Ныне появилось немало произведений, где все эти жанровые сплавы обнаруживают себя в единстве — романтика пронизывает деловые коллизии производственной жизни, героика выступает в обличье каждодневной борьбы за соответствие высокого уровня производительных сил и не всегда достаточно высокого уровня производственных отношений.

Но жанровые сплавы лишь тогда приобретают эстетическую действенность, когда они заражают зрителя эмоционально. Искусство, говорил В. И. Ленин, «должно объединять чувство, мысль и волю... масс, подымать их»¹. Здесь примечательно, что слово «чувство» стоит на первом месте, а уже потом идут понятия мысли и воли. Для искусства, как считал Ленин, главное — воздействовать на эмоциональный мир человека, апеллировать к его сердцу, а уже впоследствии через эмоции возбудить интеллект, послать информацию разуму.

Говоря о процессах труда, Маркс между тем не упускал из своих рассуждений, свя-

занных по преимуществу с социально-экономическими категориями, и чувственной сферы, которая, по слову Маркса, есть проявление «осуществления или действительности человека»².

Человеческие чувства делают мир сложнее, прекраснее, глубже, вне чувства мир одноцветен и холоден.

Каково же искусству, если оно лишено эмоционального накала, утверждать новую нравственность? И тут возникает парадокс: дискуссии о высоте новой морали ведутся между героями современных драм порой в «бесчувственной» сфере, словно в испытательной камере с «выкачанными» из ее воздуха чувствами. Пьеса становится упражнением для ума, увлекательной алгебраической задачей, изящной геометрической фигурой, но все же не подлинным искусством, воздействующим в первую очередь на чувство, по слову Ленина.

Более того, авторы иногда делают все возможное для того, чтобы создать чистую, «бесчувственную» культуру, в которой выводятся зародыши новых производственных отношений. И тогда по контрасту вспоминаются погодинские герои — директор завода Гай, сталевар Степашка, колхозница Маша из пьесы «После бала», рабочие-сезонники в «Темпе».

Да, конфликтные коллизии этих пьес были гораздо прямолинейнее, нежели драматические ситуации многих современных произведений о людях научно-технической революции. Но сами человеческие характеры выглядели куда богаче, многограннее, разветвленнее, потому что люди затрачивали на дела производственные энергию нервную, отдавали другим не только приказания, но и часть своей души.

Погодинский Гай тосковал о невозможном, делал, казалось бы, немислимое, метался по замкнутым орбитам, размыкая их, страдал от избытка сил и от недостатка сил, стучал кулаком по бюрократическим столам, совершал ошибки во имя будущей безошибочной жизни, ради общественного дела нарушал «личные» моральные заповеди, бестрепетно входил в кабинеты начальников, яростно ругаясь с теми, кто не понимал уже понятого им самим. Словом, Гай кипел, страдал, разбивался в кровь, падал, поднимался, и рядом вставали единомышленники, чувствовавшие в нем здоровые силы, чувст-

¹ В. И. Ленин. О литературе и искусстве. М. ГИХЛ, 1957, стр. 583.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. Политиздат, 1956, стр. 589.

вовавшие, что он вводит их в круг своих забот, а не приносит как жертвы фантастическому молоху — Делу.

Героям некоторых сегодняшних пьес, посвященных производственной теме, если их поставить мысленно рядом с Артемом Гаем, не хватает души, азарта, горения, когда они ратуют за новые нравственные нормы. Узкие прагматики не могут быть миссионерами, неспособны увлечь массы. Вряд ли не самым «деловым» человеком был, например, Маркс, написавший «деловую» книгу — «Капитал». И что же? «Деловитость» Маркса оборачивалась высокой поэзией «Коммунистического манифеста», неизбывной нежностью к друзьям-единомышленникам, огромной любовью, которой хватило на целую жизнь. «Ничто человеческое мне не чуждо» — именно этих слов Маркса, этого жизнеощущения и не хватает нашим деловым персонажам. Авторы подчас не соотносят деловитость и душевность как стороны единого общественно-личностного существования.

И еще есть одна огорчительная странность в ряде пьес о героях нынешнего дня.

Бывает и так: люди активны, накал борьбы высок, страсти доведены до кипения, а настроение, тональность пьесы, как ни удивительно, грустные, элегически-печальные. Кажется, будто некий груз придавливает и тех, кто прав, и тех, кто не прав.

«День приема по личным вопросам» — так называется фильм с участием любимейшего актера современной публики Анатолия Папанова в роли начальника одного из крупнейших современных учреждений. Выразителен и многозначен сюжет фильма — день приема по личным вопросам так и не состоялся, всё шло и шло к начальнику люди по делам общественным, с заботами служебными. Но это только кажется, что день приема по личным вопросам не состоялся. Он все равно был, этот день приема, потому что дела общественные, заботы служебные оказались личными, самыми личными, самыми кровными делами каждого, кто входил в кабинет. В смятии противоречия, как оказалось, мнимого, между тем, что день приема по личным вопросам не состоялся, и тем, что он все же состоялся (просто стерлась грань между такими понятиями, как «личное» и «общественное»), и заложен своеобразный конфликт этого фильма.

Но отчего так печален, так обреченно-утомлен, так каторжно отторгнут от простых человеческих радостей герой этого

фильма, почему так бесконечно уныло выражение лица, так погашены глаза человека, страстно, упорно, жадно добывающегося счастья и радости для своих товарищей? Отчего пришлось жизнерадостному, ренессансному актеру Папанову так старательно глушить свой яростно-веселый темперамент? Как понять, что центральное место в фильме неожиданно занял маленький эпизод, когда герой Папанова тоскующе и отчужденно смотрит туда, где на солнечном пляже веселятся люди? Он не может быть с ними: они обычны, они вправе предаваться простым радостям, они обыватели — он деловой человек, он человек кабинета и селектора, телефонов и приемных часов, докладов и рапортов, заседаний и летучек. Непреодолимая стена разделяет героя Папанова и тех, кто там, на пляже. Слово на ликующий, беспутный Рим смотрит бестрепетный спартанец, не ведающий учащенных биений сердца, счастья улыбки, удовольствия общения с себе подобными. И эпизод этот не возвышает героя фильма — он снижает его. Те, кто на пляже, понятнее, естественнее, этот же «накачан» своей деловитостью. А те, кто сейчас отдыхает и на кого смотрит герой Папанова с тоской и отчужденностью? Неужели все они, все это море людское, не деловые люди, люди, не озабоченные сотнями дел, вопросов, задач? Откуда же эта стена, разделяющая печального делового человека и людей, умеющих чувствовать радость бытия?

К чему тогда и самое дело, если оно иссушает сердце, если за живыми чертами лица сегодняшнего человека вдруг проступают мертвенные, увядшие черты диккенсовского мистера Домби, этого автомата дела, работа работы, постепенно иссушившего холодным бесчувствием и себя и свое окружение?

Подобное же аскетическое мироощущение встретим мы и в спектакле театра «Современник» «Погода на завтра» Михаила Шатрова, где директор крупнейшего автомобильного завода в исполнении артиста Вельяминова так же безрадостен, как и герой Папанова. Нет слов, особых причин для веселья не существует ни у того, ни у другого руководителя учреждения, где дела идут не самым отрадным образом.

Но мы говорим сейчас не о конкретной, так сказать, бытовой «веселости» — речь идет о социальном оптимизме, о веселой, а не мрачной ярости борьбы, о чувстве праздничной природности, сопровождающей человека, выходящего в бой за новое.

Ведь не Галилей же, не Коперник — некий современный инженер, борющийся с равнодушием. Не Галилей, не Коперник, знающие, что кругом еще ночь средневековья, что бороться в этом мире значит обречь себя на путь страстотерпца. Да и то сказать, Галилей, судя хотя бы по пьесе Брехта, был, во всяком случае, повеселее иных наших героев. Галилея переполняла великая радость открытия, их же охватывает горечь за несовершенство человеческих натур. Но рядом с горечью должна быть радость — радость за себя, сумевшего взять новые нравственные высоты, радость, которая вырастает из сознания: люди приобщаются к твоей правде. Рядом с горечью, а она так естественна при переходе к другому, пусть и более высокому типу мышления, может, должна возникать радость, «упоеание в бою», а не канцелярская монотонность. Печально, наверное, сталкиваться с недостатками, но радостно устанавливать новые критерии человеческих взаимоотношений.

Драматическая ситуация на производстве и исторический оптимизм личности — в этой диалектике состояла атмосфера погодинских «Моего друга» и «Поэмы о топоре». Драматическая ситуация в производственных отношениях и непонятная душевная вялость личности, действующей активно, поднимающей свой голос в защиту новой нравственности, — так, к сожалению, складывается атмосфера многих современных наших пьес. Поступок и мироощущение расходятся, между ними образуется некий зазор, ничем не заполненный. Дерзкий поступок и печальная заторможенность эмоций. Хорошая мина при плохой игре — так гласит вековая народная наблюдательность. Наоборот читается она в некоторых наших пьесах, где царит как раз «плохая мина» при «хорошей игре».

И если бы некий современный деловой человек в «производственной» пьесе хоть раз улыбнулся, ведь «хорошо смеется тот, кто смеется последним», улыбка эта по-человечески очень бы его украсила, расположила к нему людей, позволила бы надеяться, что не одна только деловитость ведет его в бой за правду, но и юмор, доброта, ласковая забота о товарищах.

Мы ни в коем случае не предлагаем повторения некой давно известной схемы характера здакого бодрячка, неунывающего человека, каким не раз бывал, к сожалению, современный герой на сцене и на экране. Но думается, что и противоположное пред-

ставление об этом герое как о человеке изначально грустном, заранее опечаленном, как бы провидящем безуспешность своих стремлений, также выглядит схемой не менее скучной, нежели былая схема бодрячества. Всякая односторонность губительна для живого характера. «Тот, кто постоянно ясен, — тот, по-моему, просто глуп», — писал когда-то Маяковский. Под это определение попало бы довольно большое количество глуповато-оживленных литературных, сценических героев минувших времен. Однако, перефразируя Маяковского, можно было бы сказать и что «тот, кто постоянно опечален», тоже недостаточно умен, унылый человек — это ведь и унылый ум, человек без юмора — это и человек без победного ощущения жизни.

Эмоциональная приглушенность «производственной» драматургии, представление о деловом человеке лишь как о роботе, отдающем «селекторные» приказания, вызвали душевный отпор у таких, например, драматургов, как А. Арбузов, В. Розов, некоторых других писателей, увидевших в финале этих взаимоотношений искалеченные натуры «деловых» людей, холодно вещающих по селектору, бесчувственно отрабатывающих свои конкретные операции.

В «производственную» пьесу пришел и В. Розов, так яростно сражавшийся против... «производственной» пьесы. Согласимся с ним, когда он говорит, что главное — это исследование души, не согласимся, что остальное лишь фон этого исследования.

Итак, В. Розов, споря по вопросам терминологическим, художнически вмешался в горячую работу драматургов, намечающих сейчас новые психологические параметры интересной для искусства, для времени человеческой натуры. Он обеспокоился осязаемым снижением «количества добра», которое, по слову Гоголя, должно приумножать искусство. А искусство в иные периоды очень активно корректирует течение производственных дел. Интересно именно с этой точки зрения взглянуть на пьесу Розова «Четыре капли», состоящую из отдельных сцен, авторских «слез», пролитых над несовершенством нравственного облика людей, от которых зависит характер и атмосфера будущих производственных отношений.

Девочка приходит в кабинет директора одного из современных предприятий. Так начинается сценка «Заступница». Школьница приходит к директору, чтобы защитить своего отца, теряющего достоинство из-за

унижений, которым подвергается он — слушающий — здесь, на фабрике. Постоянный крик, нудное понукание, неуважение, начальственное распеkanie — все это стоит и нервов и крови. А ведь найди директор доброе слово — и все завертится куда бойче, и работа и жизнь, польза будет не одному лишь производственному плану, но и человеку. Об этом по-своему говорит девочка директору. Излюбленный прием Розова: подрастки из его пьес откровеннее и безбоязненнее могут сказать то, чего не скажут так прямо скованные условностями старшие. Ребенок, еще не включенный в систему сложных производственных отношений, видит их природное, естественное изначальное, видит и показывает взрослым, где нравственные аварии, где душевные оползни.

Казалось бы, ничего особенного не случилось на том предприятии, где директором розовский директор. Нет никаких ЧП, нет никаких конфликтных ситуаций на производстве. Но случилось, быть может, худшее — опустился человек. Грубый окрик — израненная душа — вот связь, которая «держит» эту маленькую сценку, своеобразное «лирическое отступление», извлеченное из «производственных» пьес. У Розова получились особый жанровый слав производственной и этической проблематики, в нашей сценической практике не до конца и не всегда гармонично соединяющихся друг с другом.

К сожалению, некую генерализацию получила в нашей теории драмы идея так называемой сдержанной мужественности героя, концепция мужественного человека, тщательно прячущего любое эмоциональное движение. Часто пользуются определением Немировича-Данченко «мужественная простота» из его режиссерских рекомендаций по поводу исполнения тех или иных ролей в советском репертуаре. Как и всякая генерализация какой-либо одной стилиевой манеры, подобное распространительное толкование современного характера сужает рамки художнического разнообразия. Почему непременно мужественная простота должна определять характер современного драматического героя? А почему не наоборот — открытая пылкость, душевная подвижность, сильный эмоциональный отклик? Однако оставим в покое всякую исключительность, попробуем разобраться по существу.

Один из вековых конфликтов драматургии — борьба между долгом и чувством. В современной драме конфликт этот, как и

все другие компоненты ее архитектоники, ощутимо видоизменился. Если раньше чувство и долг нередко оказывались несовместимы, если чувство тянуло в одну сторону, а долг в другую и одна лишь смерть могла решить неразрешимую эту дилемму, то в нынешней драме мы не увидим подобной классической коллизии. Долг сам по себе становится высшим чувством человека, входит в категорию самых задушевных личных эмоций.

Каким же образом тогда строится этот конфликт — борьба между долгом и чувством — в современной драме? Что, например, у бригадира Потапова считать чувством, а что долгом? И долг и чувство одновременно ведут его на заседание, где он говорит о самом задушевном в своей жизни — о деле. Вероятно, нужно искать какое-то новое выражение единства либо внутреннего разлада долга и чувства в драматических перипетиях наших пьес. Вероятно, чувство приобретает в подобных коллизиях гораздо большее значение, нежели раньше, когда долг существовал у человека отдельно от его чувства, чувства были языком сердца, долг был губителен для сердца. Выполняя свой долг, герои классических драм зачастую умирали; выполняя свой долг, герои современной драмы обретают новые душевные силы. И поэтому особенно существенно показать в драме и на сцене сферу эмоций, она необычайно обогатилась сегодня, расширилась, так как в нее накрепко вросло новое чувство — чувство долга.

Нельзя не заметить, какой огромный существует сегодня интерес к театру. Когда-то речь шла о соперничестве с кинематографом и телевидением, к которым зритель тяготел больше, чем к театру. Сегодня многое переменялось.

Возьмем на себя прерогативы социологов и задумаемся, когда, в какие периоды люди особенно нежно, особенно неистово любили театр. Именно неистово. Ведь в прозвание Белинского «неистовый Виссарийон», видимо, вошла и частица его горячей любви к театру. «Неистово» относились к театру Белинский, Герцен, люди демократической мысли.

Когда же особенно дружно и радостно шли в театр? Думать, что лишь репертуар делает успех театра, лишь хорошие актеры или умные режиссеры, неверно. Здесь не вся правда. Хороший репертуар и хорошие актеры — лишь одно из условий успеха. Как видно, театр оживает по-настоящему, когда

есть особое настроение в обществе, когда общество охвачено некой великой задачей. В театр ходят, когда ветер свежих общественных идей и настроений окрыляет новые поколения, когда хочется наполнить душу новым высоким нравственным смыслом. Именно так ходят сегодня в театр. «Ступайте в театр...» — писал когда-то Белинский. Слова эти в полную силу услышаны именно в наши дни. В одной из своих повестей Лев

Толстой писал: «Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно.. а вот рассказать о душе человека, изведать ее глубины, ее силу и слабость — это трудно, ужасно трудно...» Вот за этим — чтобы разглядеть душу человека — и ходит зритель в театр. И пусть особое «театральное» настроение, ощутимое сегодня, будет поддержано значительным, хорошим репертуаром.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Андрей Демьянов. Продолжение разговора.— Валентин Катаев. С добрым чувством.— В. Камянов. Достоверность условного.— Евгений Сидоров. Пути гуманизма.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Петраков. На пороге пятилетки эффективности и качества.— Г. Резниченко. Конструктор. Самолет. Время.— С. Троицкий. Становление героя.

Литература и искусство

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Семен Данилов. Зимнее солнце. Книга стихов. Авторизованный перевод с якутского Винцента Шаргунова. М. «Советский писатель». 1975. 134 стр.

Когда открываешь новую книгу поэта уже тебе известного, чьи стихи знаешь по журнальным публикациям или прошлым сборникам, вдвойне интересно. Как он, твой давний знакомый? С чем пришел к своему читателю? Что его волновало эти годы? И не постарел ли он душою? А главное — ждешь от поэта откровений, потому что уже однажды он доверился тебе и ты поверил ему. Эти отношения поэта и читателя, видимо, складываются у каждого по-своему, по-особому. Но у меня с Семеном Даниловым, которого давно знаю и встрече с которым всегда радуюсь, эти отношения сложились наилучшим образом. По стихам поэта, по его книгам я понял и полюбил далекий снежный и удивительно дружелюбный край — его родную Якутию. Почувствовал и навсегда сохранил искреннюю симпатию к его землякам — людям чистым, откровенным, трудолюбивым и мужественным.

Морозный день — старинные слова,
Узорный праздник для души якутской.
И золотит
Студеный свет нетусклый
Дерев заиндевших кружева.

И в души наши
Велизна легла!

Снег белый
пролил в души чистоту нам;
И радость ходит
зимним солнцем юным,
И, словно белый снег, печаль светла.

Якутия,
Как в зеркале, твой лик
Я в зимнем солнце
озаренно вижу.
Дух чистоты и крепости велик.
А темное лунаводство ненавижу.

Этим стихотворением — «Зимний день» — поэт открывает свою новую книгу стихов.

Стихи рассказывают, как много значат в жизни якутов взаимная выручка, то молчаливое понимание друг друга, когда каждый знает, что ни в беде, ни в ожиданиях он не останется одинок. «Живем не для себя, а для других...» — так начинается одно из стихотворений Семена Данилова. И это действительно так. В краю, где самые сильные морозы и самое яркое солнце, отражаемое белыми снегами, в краю, где пурга может лишить людей общения на много дней, — чувство локтя и близость доброго сердца особенно ценятся. Нелегок труд оленеводов и добытчиков, но природный оптимизм, юмор не покидают якута никогда. Все это я

С ДОБРЫМ ЧУВСТВОМ

Юрий Яковлев. Вагульник. Рассказы. М. «Детская литература». 1975. 146 стр.

Трудней всего писать рецензию о сборнике рассказов: все разные и всех не перескажешь. А надо. Надо потому, что рассказы хорошие. А еще потому, что сюжетные рассказы стали в современной советской литературе большой редкостью. Между тем читатели, в особенности юные, их очень любят.

Стало быть, никак нельзя пройти мимо сборника рассказов Ю. Яковлева с поэтическим названием «Вагульник», выпущенного издательством «Детская литература» в широко известной серии «Золотая библиотека» (избранные произведения для детей и юношества). Впрочем, уверен я, и взрослые читатели также с удовольствием познакомятся с прозой Ю. Яковлева.

Название «Вагульник» — счастливая находка автора, так как его рассказы, которых в сборнике около сорока, как бы пропитаны тонким запахом цветущего вагульника — живительным, весенним и несколько грустным.

Несмотря на сюжетное разнообразие, стилистическую пестроту, рассказы Ю. Яковлева скреплены неким единым авторским мироощущением, которое можно определить как любовь к человеку, к окружающему его миру — сложному, прекрасному, где ни на минуту не прекращается извечная борьба добра со злом. При этом почти во всех рассказах — как в тех, где действие происходит до войны, так и в военных и послевоенных — постоянно в большей или меньшей степени присутствуют зловещие отблески военных лет. Да это и неудивительно, так как молодость самого автора совпала с Великой Отечественной войной против фашистских захватчиков и ему было суждено стать ее активным участником.

Даже в глубоко мирных, довоенных рассказах Ю. Яковлева не обходится без упоминания о войне. К примеру, прелестный рассказ «Игра в красавицу» заканчивается так: «Нинка из седьмой квартиры погибла в 1942 году на фронте под Мгой. Она была санитаркой». В одном городе, на одном дворе, который весной «пах горьковатой тополиной смолкой, осенью — яблоками», ребята затеяли игру в красавицу. Неизвестно кто придумал эту игру, но она всем пришла по вкусу. Чаще всего красавицей выбирали Нинку — на редкость некрасивую

девочку из седьмой квартиры. И она поверила в эту игру, в свои «синие, как море, глаза» до тех пор, пока не встретила во дворе «новенького», отвергнувшего ее первую детскую любовь.

Рассказ чистый и немного грустный. Ничто в его сюжете вроде бы и не предвещало ту обжигающую концовку. Но она не случайна для рассказа, предчувствие ее будто разлитое в нем.

Я упомянул об этом рассказе лишь как о типичном примере того ключа, в котором написана вся книга.

Ю. Яковлев обладает счастливой способностью гармонически сочетать изобразительное с повествовательным, что делает его рассказы не только увлекательными по сюжету, но и яркими по описанию. Самое главное, что Ю. Яковлев принадлежит к категории писателей — исследователей человеческой души, чаще всего души детской, юршеской. А такое писательское качество не столь уж часто наблюдается среди так называемых детских писателей. В послесловии к своей книге Ю. Яковлев пишет: «В детях всегда стараюсь разглядеть завтрашнего взрослого человека. Но и взрослый человек для меня начинается с детства. Я не очень-то люблю таких людей, которых невозможно представить себе детьми. В настоящем человеке до последних его дней сохраняется драгоценный запас детства. Самое чистое и самое самобытное в человеке связано с детством. А мудрость, ум, глубина чувств, верность долгу и многие другие замечательные качества взрослого человека никогда не вступают в противоречие с его неприкосновенным запасом детства». Все это очень справедливо.

Хочется особо отметить умение Ю. Яковлева отыскать нужные слова при изображении человека и природы. Почти в каждом его рассказе можно найти одну или две с поразительной точностью найденных подробности, которые сразу же, как вспышка молнии, выхватывают из обстановки рассказа самые существенные детали: «Сосульки сбились со счета, и теперь их прозрачные капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулеметную очередь. Это весна бьет из своего веселого пулемета по льдинам и снегам, по выогам и моро-

зам»; «Море потускнело и стало как бы меньше размером. Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было забраться. Собака подошла к воде. Села на песок. И снова застыла в своем вечном ожидании...»

Не стану утомлять читателей этой заметки примерами. Они бросятся в глаза при чтении «Багульника».

Рассказы Ю. Яковлева полны тонкого, доброго юмора, умения одним-двумя словами нарисовать человеческий характер, внеш-

ность, обстановку. Читаешь его рассказы и все время чувствуешь, что их писал хороший, добрый, справедливый человек. Но самое важное — это то, что творчество Ю. Яковлева-прозаика (до сих пор я знал только Яковлева-поэта) полностью и до конца поставлено на службу воспитания нашего юношества в духе советского патриотизма и помогает юному читателю понять всю глубину, всю историческую правоту коммунистической идеологии, то есть всю закономерность нашего поступательного движения к высшей и самой справедливой форме человеческого общества.

Валентин КАТАЕВ.



ДОСТОВЕРНОСТЬ УСЛОВНОГО

Владимир Бээкман. Ночные летчики. Роман. Авторизованный перевод с эстонского А. Тамма. «Дружба народов», 1975, № 9.

Эта проза вовсе не настаивает на своей житейской достоверности, предлагая читателю некий условный ход, допущение: а вот что было бы, если бы...

«Ночные летчики» В. Бээкмана как раз и начинаются авторским: «Условимся!» Персонажи, поставленные в центр действия, здесь отделены от своего ближайшего окружения прочным психологическим барьером. Окружение — наземный состав секретной авиабазы, расположенной на каменистом островке неподалеку от скандинавского побережья, — вполне оперативно отзывается на внешние сдвиги и перемены. Почуввав, что войне конец, аэродромная команда сбрасывает бомбовый запас в море и спешит перебраться на материк. Что же до трех геринговских асов (речь, конечно, идет о летчиках «люфтваффе», хотя в согласии с условной организацией сюжета опознавательные знаки гитлеровского рейха здесь как бы заштрихованы), составляющих экипаж ночного бомбардировщика, то они словно вмерзли в войну. И ни май 1945-го, ни многочисленные приметы мирного времени, сперва входящего, затем прочно вошедшего в свои берега, не могут пробиться в их сознание.

Вновь и вновь с тупым постоянством запускают они двигателя своего бомбардировщика, отрываются от взлетной площадки и, сберегая в бомбовом отсеке одну-единственную термитную «зажигалку», позабытую командой в горячке сборов, кружат над городами Западной Европы в надежде услышать позывные давно не существующего штаба...

Ситуация, что называется, опытная я, вводимая в широкую романную реальность наподобие сильного реактива. Как же пойдет «взаимодействие»? Медленно. Уравновешенная будничность, в которую все глубже проникают стандарты и навыки «общества потребления», неохотно и вяло отзывается на прерывистое зудение мотора в ночном небе. Что это за странный аппарат кружит над землей? Таким вопросом задаются многие из тех, чье внимание как-то задела рейды ночного бомбардировщика. И что же? Рождались догадки. Быть может, это сбившийся с курса тихоходный «пассажир»? Либо в воздухе безответственный лихач-любитель? Либо секретный самолет, выполняющий «какое-то особо важное задание»? Либо «корабль инопланетных пришельцев»? Либо это просто-напросто «наваждение ночного неба»?.. Какой пестрый набор вероятностей, и во всем наборе ни намек на память о войне, ни беглой хотя бы оглядки на нее и ни малейшего приближения к истине. Со знанием «отгадчиков» правит самоновейшая ночь. Круг явлений, воспринимаемых отчетливо и резко, выступает перед ними словно в свете подфарников: ближайший отрезок дороги освещен, пройденное равномерно откатывается за пределы видимого.

А «наверху», в пилотской кабине «мотылька» (нежное имя, данное экипажем своему крылатому катафалку), тоже роятся гипотезы о непривычной глазу новизне. Почему так ярко освещены города и нет никаких следов светомаскировки? Эту стран-

ность командир экипажа капитан Берг склонен объяснять либо нерадивостью военных властей, либо безразличием населения к опасностям и запретам: война так невероятно затянулась, что людям, «видно, осточертело затемнение» и они махнули рукой на всякую предосторожность.

Ну, а новейшие скоростные самолеты, пролетающие чуть ли не в стратосфере? С ними как? На этот счет у Берга и остальных рациональной версии нет, и они пребывают в недоумении, «будто встретились с привидением или инопланетным пришельцем, существование которого еще окончательно не подтверждено». Заметьте этот неявный канал, по которому сообщаются у В. Бэзкмана тесный мирок ночных бомбометателей и сфера броских перемен, ускоренных ритмов, делового преуспевания и погони за ним.

Там и здесь мыслительный навык персонажей словно бы застопорен, локализован во времени — либо отдаленном и все дальше отходящем, либо только еще народившемся, едва отмеренном часовой стрелкой. Когда же навык дает слишком явную осечку, сознание охотно склоняется к «чудесному» объяснению фактов (две встречные версии об «инопланетных пришельцах» или «наваждении»).

Перед нами проникновение открытой условности, приема (ночные летчики ни о чем новом знать не знают, ведадь не ведают!) в ту часть повествования, где все «как в жизни». Но перед нами и накопленные приемом новой энергии, ее свежий приток «со стороны». И что же, собственно, выходит? Дружное равнение на капитана Берга всех истолкователей его полетов? А может, всего «наземного» состава персонажей? Дескать, одним миром мазаны? Нет.

Мы помним, что на первых же страницах романа троица летчиков отделена резкой гранью от аэродромной команды, вполне созревшей для дружного действия «штык в землю!» (здесь «бомбы в море!»). А с развитием сюжета самолет Берга — эта чадящая головешка, далеко отлетевшая от военного костра, — кажется тем большей нелепицей, чем резко становится контраст между фанатизмом летчиков и будничной озабоченностью тех, кто «внизу».

Впрочем, фанатизм здесь как бы остаточный, «перестоявшийся», анемичный. Экипаж бомбардировщика напоминает унылую команду галерников, механически налегающих

на весла. Приказ их не греет, тем более не горячит, а просто лежит могильной плитой на душах. Не сближенные, а всего лишь притиснутые друг к другу приказом, они не ведают теплоты товарищества. Его им заменяет чувство общего ярма.

И конечно, писатель не намерен выставить троицу летчиков психологической эмблемой облетаемых ими земель. Вообще связь обоих «ярусов» действия — не столько связь-уподобление, сколько связь-контакт, переключки признаков, а не их тождество.

Теперь вчитаемся в такую фразу: «Он снова повторял полеты в предписанном ему радиусе над воздушными пространствами больших городов, где Берг чувствовал себя уже почти постоянным жителем». На первый взгляд явная несообразность: хорош «постоянный житель», для которого ярко освещенные города, поднимающие к небу прозрачные коробки из стекла и бетона, — все те же «населенные пункты» военных лет, только с непонятными отклонениями от «нормы». Но ведь в том и суть, что переменны — за чертой его легенды о нескончаемой войне, а потому серьезному осмыслению не подлежат. Так что он и впрямь «постоянный житель» застывшего в его сознании «постоянного» мира.

Тема времени совсем не случайно одна из центральных в романе. Мы знаем, что фашистская система, втягивая в себя податливую личность, стремилась освоить ее целиком, пометив свастикой любое из ее психических и душевных проявлений. Ното *saripens* отменялся во имя «белокурой бестии», которой надлежало «бесноваться» строго по команде, быть марширующей, орущей «хайль!», казницей и готовой к закланию единицей среди обезличенного множества. Надлежало помнить лишь затверженное и считать вредной ересью все, что не одобрено кастой, то есть находится и вне человечества и вне истории. Вне времени! Замороженный мозг имел дело с мистифицированным временем, счет которого велся в ритме бравурных маршей.

Домаршевая полоса почиталась полурелятивной, будущее — освоенным на всю его глубину и заведомо покорным нацистской доктрине.

«Вокруг него простиралось безмолвие, — сказано у В. Бэзкмана. — В этом безмолвии подспудно текла река времени, однако ее течение Берг ощущал совершенно иначе, нежели жители городов, над которыми он

пролетал». И дальше: «...он давно потерял счет времени. Календарь, который они вели, показывал дни, но не годы».

«Река времени» превратилась для экипажа в подсыхающую лужицу, по которой «мотылек» чертил круги, куда сохранялся его моторесурс и «биоресурс» самих летчиков. Ситуация, как видим, дана в отчетливом философском заострении. Ее вещественный и зримый план соткан у В. Бэкзама из невесомой структуры времени, которое вдруг восстало против непризнания, вышло на авансцену действия, словно бы приняв вызов, брошенный ему силами антижизни, заставившими в небо троицу ночных летчиков.

Глубина процессов и закономерностей — исторических, нравственных, — как бы прорвавшись сквозь сетку ближайших обстоятельств, говорит здесь о себе открыто и внятно, без подробного перевода на язык бытовых определенностей. Суть происходящего резко укрупнена, приближена к нашему взгляду. Причем такого рода прием укрупнения в сегодняшней прозе далеко не редкость.

Вспомним хотя бы историю несостоявшейся кровной мести, рассказанную Анатолием Кимом («Месть»; «Москва», 1974, № 6) в форме философской притчи. Герой этой истории кореец Сунгу нес в себе тяжесть отцовского наказа покарать убийцу сестры. Назойливый сигнал «отомсти!», звучавший в нем, погасил все краски мира. Жизнь стала полуреальной, встреченные люди «как бы обтекали его стороной и смешивались в единый поток». «Тридцатилетний сон» — определяет А. Ким это отпадение мстителя от общих связей, от непрерывной работы времени.

А если взять «Комиссию» С. Залыгина? Разве философское умозрение, прямая апелляция к сути вещей не теснит у него рядовую, эмпирическую правду факта, например, в изображении мужицкого «ареопага», где ведутся высокомудрые дебаты о политике, морали, тайных рычагах власти, о законах братства и взаимопонимания?.. Причем в предчувствии разломов и вихрей гражданской войны, которая вот-вот дошлестется до их деревни и не даст спокойно додумать главные мысли, здешние философы селятся взглянуть на нынешний горячий момент с высот многовековой истории России, обращаются к реформам Петра, событиям грозного года 1812, ставят вопросы минув-

шему, дабы раздвинуть пределы видимого сейчас...

Вообще легко заметить, что герою литературы последних лет все больше дела до истоков своего нынешнего опыта. В ближайшем и быстротечном ему необходимо уловить подспудную работу минувшего. И он проникается тем «ощущением бесконечности нити» истории, «причастности к бесконечному ряду», о котором говорится в одной из последних повестей Ю. Трифонова.

А что же происходит или может происходить с непричастными к «бесконечному ряду», искусственно отторгнутыми от него, допустим, милитаристской или националистической муштрой, вмуштрованными, так сказать, в тесноту приказа, маниакальной доктрины? Как отзывается отторженность в глубине их нравственного строя?

Есть в романе настойчиво звучащая тема. Тема тяжести. Не иносказательной, скорей физической, от которой немеют мышцы. Тяжел для экипажа сам отслуживший срок бомбардировщик, словно в насмешку прозванный «мотыльком». Машина Берга все время норовит рухнуть на землю, врезаться в дома, задеть за горный уступ. До своего островка экипаж чаще дойти в а е т, чем до л е т а е т. Борясь с воздушным потоком, самолет грохочет и трясется, будто «облака высланы булыжником». Иной раз по возвращении на базу Бергу даже кажется, что «сотни километров он тащил самолет на собственных плечах». Удивительного тут, конечно, мало: машина изношенная, латаная, тихоходная. Однако ведь и в курсантскую пору, взлетая с учебного аэродрома, Берг мучился сомнениями, удастся ли ему оторваться от земли.

Он «просто физически ощущал, как ссохшиеся макушки тянутся своими ломкими ветвями к шасси его самолета, чтобы ухватиться за них». Интуиция Берга уже тогда была намного «мудрее» его стиснутого сознания. Она знала правду Берговой бескрылости. Он не знал. Не сумев осуществиться как личность, Берг оказался слепым орудием, продолжением чужой, жестокой и властной руки, существом «к случаю», не имеющим иных показателей, кроме заданной функции, места и срока использования.

Он мог быть запущен вверх, но только для нанесения удара по цели. Полет не стихия его, а лишь предупредное состояние. Сам Берг ни о чем таком и не догадывался. «Догадывалась» его интуиция, или, как пи-

шет В. Бэзкман, «чуткое не в меру подсознание».

Подсознанию как раз и выпало оповещать триоцу летчиков о дикой нелепости их ночной, слепой, натужной «службы», сигнализировать (хотя бы через чувство неподъемной тяжести) о движении «на красный свет», против хода самой жизни.

Среди героев В. Бэзкмана нет нищих духом. Есть обнищавшие. Природой они одарены не скуперее всех прочих. Опыт минувших поколений, навыки социального человека, рожденного жить в истории, такое же их достояние, как и остальных. Только оставшееся под спудом.

«Чуткое не в меру подсознание» летчиков — область бесхозных ценностей. Здесь их социальный инстинкт, прикосновенность к глубине времени, их невостребованная человечность, от которой, как выясняется, не так-то просто отмахнуться.

Бортстрелок Клайс, например, сбив увязавшийся за «мотыльком» неизвестный самолет, вдруг впал в глубокую депрессию: загубленный чужой летчик вернулся к нему навязчивым видением и психика Клайса не выдержала новой нагрузки...

Штурмана Коонена как-то поразил вид солнечного луга под крылом самолета, и ему припомнилось одно довоенное утро и другой луг, куда он вместе со своей девушкой вышел после «ночи любви, страстной и безудержной». Живое впечатление подвергло «атаке» дальний участок памяти, высвобождая в ночном летчике человека «как все»...

«Лишенная воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, совесть не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает» — так сто лет назад писал Щедрин, завершая историю Иудушки Головлева, который у своей последней черты после всех учиненных им пакостей, истязаний и «умертвий» стал «жертвой агонии раскаяния». Можно сказать, что тему морального возмездия современный эстонский прозаик решает именно в этой щедринской традиции. «Лишенная ухода» «совесть» членов экипажа действует самочинно. Клайса, например, судит своим судом за убийство, совершенное в мирном небе, Берга поощряет распутать клубок причин и следствий, установить, где же начало его выморочной судьбы «небесного» монстра.

До ясного ответа дело, конечно, не дошло. А дошло до слуховых галлюцинаций. Бергу почудилось, будто он поймал наконец по-

зывные штаба и получил долгожданные координаты цели. И вот едва ли не единственный на весь роман инициативный шаг профессионального исполнителя: Берг наносит удар по колыбели своей исполнительности — родительскому дому, где всегда царил дух прусской казармы и откуда лежал прямой путь к пилотской кабине «мотылька».

Теперь нам особенно хорошо видно, как именно работает у В. Бэзкмана условный прием. Его главная задача — помочь определиться подсудному и занять место в ряду первостепенных обстоятельств действия. Невостребованная человечность персонажей здесь прямой и резкий антагонист их тупой, оловянной исполнительности, утверждающий свою неистребимость парадоксально и остро.

Тема неистребимости духовного начала в человеке звучит у В. Бэзкмана как настойчивое «memento!» (помни!), обнаруживает себя через кризис, боль, упорное брожение живых сил под спудом механического навыка, через картину возмездия, наступающего героев как бы изнутри их собственной организации.

Исследованием такого рода многотрудных, неявных процессов обычно занимается традиционная психологическая проза. Но В. Бэзкману, стремящемуся резко обозначить их принципиальную основу, механизм, ближе язык допущения, условного приема. Условный ход у В. Бэзкмана экономен, «деловит» и служит очень четкой формой или способом обнаружения вполне конкретной мысли. Формой несерьезной, даже если за ней стоит некий хрестоматийный прообраз.

Возьмем тот переломный момент, когда из поля нашего зрения исчезает уже обреченный, теряющий высоту и остаток «моторесурса» бомбардировщик. Взгляду открывается цель — мирный дом, давно позабывший довоенного молодого Берга, а заодно все давнее и не ждущий никаких сюрпризов сверху, от ночного неба.

Как вводится в читательский крутозор эта множественность семейных либо холостяцких укладов, разделенных поквартирно и поэтажно внутри одной кирпичной коробки, подобной сотням соседних? С помощью своеобразного сечения, методичного вскрытия дома-улья от верха к основанию. Сразу же приходит на память Лесажа с его «Хромым бесом», где злой демон Асмодей приподнимает крыши мадридских домов, дабы услуживший ему студент мог

полюбоваться неприкрытой правдой людских нравов и отношений.

Роль волшебных чар Асмодея в «Ночных летчиках» выполняет термитная «зажигалка», пробившая кровлю и одно за другим прожигающая этажные перекрытия. Но повторю: прием у В. Бэзмана абсолютно ограничен. Он как бы затребован самой логикой замысла, соединяющего в подвижную сеть участки романного действия...

Ночная сумятица вокруг раскаленного предмета, прогрызающего дыры в потолках и полах, неожиданно организовала пестроту и дробность квартирных мирков в некое подобие общности. Первое движение потревоженных жильцов: каким бы способом перехитрить беду? Один лезет обратно в постель, другой спешит заделать дыру, пока ее не разглядели снизу, третий — умастить соседа обещанием ремонта. Души потянулись к прерванному сну, бестревожности и забвению, прежде чем руки к средствам огнетушения. Отлично тренированные души, преуспевшие в искусстве уклоняться от перегрузок!

В беглом пересказе эта ситуация выглядит едва ли не гротесковой. Между тем автор лишь выявляет тенденцию, избегая ее шаржировать или заострять. Он пишет размеренный, усредненный быт и людей, доверившихся его инерции, для которых бег «реки времени» примерно так же неразличим, как и для капитана Берга. Но неразличимое и невоспринятое тем не менее раскачивает, сотрясает быт, рождая у людей смутную догадку, что все-таки они «на плаву» и прошлое неотрывно от нови. В том числе то прошлое, которое так цепко держит ночных летчиков.

Между было и есть у В. Бэзмана идет напряженный обмен сигналами. Часто тревожными. На гудение старого «юнкерса» бижный, «земной» порядок картин отзывается, например, грохотом и ревом бешеного стада мотоциклов, теснящих рулями и колесами зазевавшуюся парочку влюбленных: особый род «охоты», популярный среди моторизованных юнцов на родине капитана Берга. В другой раз та же влюбленная парочка едва уносит ноги от забубенного пропойцы из бывших «зеленых беретов», которому пришла фантазия вновь попрактиковаться в насилии над слабым...

История подростка Антала, живущего двумя этажами ниже влюбленных, заставляет вспомнить о казарменном укладе, царившем в семействе Бергов. «Тюремное вос-

питание» — так оценивает сам Антал педагогическую линию своих родителей...

Конечно, все эти случаи открытой жестокости либо методичного давления на личность («ходи по струнке!») словно бы децентрализованы, не образуют сплошного фронта насилия и муштры, как то было в юные годы Берга. Концентрация зла далека от тсы, критической. Но тем не менее оно ведь узнается «в лицо»!

Узнается ли обитателями дома? Скорей всего да. Только им удобней не помнить и не узнавать, а под напором неурочных проблем поглубже втягиваться в раковину быта.

Заметьте: роман организован так, что энергия условных ходов, параллелей и перекличек работает на разрыв створок этой «раковины». Створки, однако, упорно смыкаются. И нам дано ощутить, сколько же сил бросает и готов бросить мир сиюминутных интересов на защиту своей неприкосновенности, своего права не помнить.

К действию (и запасу!) этих сил совсем не случайно приковано внимание прозаика: давно ли в микроклимате родного дома получил свою первую закалку будущий командир ночных летчиков? Разумеется, с тех пор произошло немало перемен. Внутренних в том числе.

Взять хотя бы уже упомянутое «тюремное воспитание» Антала. Точно так же в его возрасте мог бы оценить свой домашний отроческий удел Берг. Но не оценил. И от ропота воздержался. Что до Антала, тот не просто ропщет — бунтует, отвергая не только педагогическую линию старших, но и весь декорум их «образцового» дома: «Пусть все перегорит в белый пепел». Уже из одной этой параллели, проведенной в романе (предвоенный Берг — нынешний Антал), легко вывести, что ночной бомбометатель оказался неточен: мишень ушла от прицела, сместилась во времени и «зажигалка» освещает уголки обновленной реальности. Радикальным ли образом обновленной? В коренных ли своих чертах? Вопросы, составляющие центр «наземных» картин, обращенные не только в глубь материала, но и к читателю, к его гражданской зоркости, умению распознать в пестроте ближайших фактов приметы минувшего. Тревожные в том числе.

Известно, что такого рода вопросы не утратили своей остроты, несмотря на ситуацию международной разрядки. На XXV съезде КПСС, как мы помним, мотив опас-

ности фашизма на различных «горячих» участках земного шара прозвучал и в Отчетном докладе и в ряде выступлений...

«Не смыкайте глаз!» — назвал свою рецензию на «Ночных летчиков» А. Турков («Литературная газета», 19 ноября 1975 года), выбрав для заголовка строчку из стихов В. Бээкмана, точно передающую публицистический пафос романа. В рецензии очень наглядно доказано, что тема «Ночных летчиков» не случайна для писателя, что и в прежних его вещах содержались те же «ноты тревожных ассоциаций, предчувствий и трезвых предупреждений». Здесь нет никакого смысла дублировать наблюдения А. Туркова, и мы задержимся в заключение лишь на одной из «тревожных ассоциаций», возникающих при чтении романа.

«Она случайно и помимо собственного желания выпала из времени. Именно это и обрекало ее на бесконечное одиночество», — сказано у В. Бээкмана о стареющей невесте Берга, горестно-отрешенной Елене, чей жизненный удел — бессрочное ожидание жениха, не вернувшегося с войны. Рисунок этого характера выполнен В. Бээкманою в скупой и жестковатой, как бы графической манере, исключающей даже слабый намек на сентиментальную растроганность автора (судьбой героини), но, пожалуй, при этом преувеличенно бесстрастной.

Впрочем, поняв героиню, явно недополучившую авторское «тепло», пойдем и само-

го автора, которому важно сохранить единство тона, взятый масштаб и характер соотношения судеб.

Далеко ли отстоят друг от друга по цепочке соотношений Елена и Берг? Война их развела, не дав случая хотя бы заочно обменяться вестями (если, конечно, таким случаем не считать прямое попадание «зажигалки» в комнату Елены), но война в определенном смысле и соединила — отказавшись отпустить от себя, укоренив обоих в зоне минувшего.

Тема «человек и история» решается в романе методом от противного. Взят случай, когда личность отчуждена (вскормившим ее экстремистским режимом) от истории. Но выясняется: примерно в той же степени от самой себя. Сочетания типа «выпал из времени» выступают у В. Бээкмана как метафора-связка, гибко соединяющая психологическую и социальную сторону «случая», а кроме того, призванная не выпустить из центра системы быт, где ровно тлеет недуг беспамятства.

Система эта, организованная «широкоформатно», обладает немалой энергией сосредоточенности. Линии «будничного» действия и линии «притчи» согласно сходятся здесь в сфере авторского слова о человеке. Человеке преемственном, всем объемом памяти, глубиной унаследованного опыта прикосновенном к истории.

В. КАМЯНОВ.



ПУТИ ГУМАНИЗМА

Владимир Огнев. Пять тетрадей. Этюды о литературе стран социализма. М. «Художественная литература». 1975. 240 стр.

«Вот уже около десяти лет мне приходится сталкиваться с интересным и во многом новым для меня миром зарубежной социалистической культуры, — пишет автор в предисловии к своей книге. — Постепенно я должен был убедиться, что никакие априорные представления о процессах, там протекающих, не соответствовали истинному богатству и сложному многообразию (не говорю уже — противоречивости) реальных путей, которыми шли литература и искусство этих стран. Я подходил к ним с заданным, выпрамливающим, спешным требованием «идеала», а они, эти пути к социалистическому идеалу, имели дело с живой жизнью, с конкретным наследием национальной своей культуры, с

вечно изменяющейся действительностью, с подвижной исторической ситуацией — внутренней и внешней. И в этой не предусмотренной заранее, часто неожиданной для меня метаморфозе явлений и неавтоматичности причин и следствий и скрывалась та подлинная, ценная, оптимистическая логика глубокой зависимости между побеждающей новью и формами современного искусства. Логика социалистического пути в искусстве».

Владимир Огнев написал книгу живую и своеобразную. Пожалуй, можно сказать, что он один из немногих наших критиков, успешно работающих в жанре свободного писательского эссе. В анализ национальных социалистических литератур Болгарии, Вен-

грии, Польши, Чехословакии, Югославии неизменно привносятся личные впечатления автора от встреч и бесед с прозаиками и поэтами — героями повествования. «Пять тетрадей» — это путевой дневник критика и одновременно серьезная попытка исследования, цель которого — «выявить главную нить развития социалистической культуры — ее всемирно-историческую функцию гуманизма XX века».

Я читал «Пять тетрадей» с особым чувством, потому что многие маршруты у нас с В. Огневом совпали, а иногда случалось и так, что мы встречались, пусть и в разное время, с одними и теми же писателями, видели одни и те же фильмы и спектакли. Города и люди, книги и события, быт и духовное бытие во многом близких, дружественных нам народов открывают внимательному взору и особенное, резкое индивидуальное, без которого само общее обречено на иссыхание и нивелировку. Общечеловеческое и социалистическое в культуре братских стран носит ярко выраженную национальную форму, где аккумулярованы отечественная история, народные традиции, пафос нравственного и революционного идеала. В. Огнев отлично это чувствует. Его подход к сложным явлениям современной социалистической литературы последовательно историчен, творческая судьба большого писателя, будь то Ярослав Ивашкевич или Дюла Ийеш, Мирослав Валек или Тадеуш Ружевич, постигается критиком в контексте развития общественных и эстетических представлений нации и эпохи. При этом литература и действительность освещают друг друга светом поисков социальной и художественной правды.

Важно далее подчеркнуть внимание автора к формам искусства социалистического реализма, к стилевым и жанровым особенностям анализируемых произведений. Его книга полемически направлена против двух крайностей — догматизма и формализма, которые еще дают о себе знать и в искусстве социалистических стран и в теоретических о нем представлениях. В этом смысле «Пять тетрадей» — работа глубоко актуальная, ибо она активно вступает в международную дискуссию о формах художественного обобщения в литературе социалистического реализма, хотя автор и не ставил себе специально такой задачи. Через всю книгу проходит плодотворная идея обогащения современного реализма новыми, в том числе и условными, стилевы-

ми средствами, отражающими духовные потребности человека развивающегося социалистического общества.

Благодаря «Пяти тетрадям» мы получили возможность ближе познакомиться с творчеством многих писателей социалистических стран. Для меня лично особенно интересной в этом отношении была «Югославская тетрадь». Когда я читал страницы, посвященные рассказам македонского прозаика Живко Чинго, или главу о хорватском новеллисте, драматурге и романисте Ранко Маринковиче, мне немедленно захотелось самому взять в руки книги этих писателей — настолько увлеченно и обстоятельно раскрывались критиком внутренний мир героев, идеи и поэтика произведений. Таких страниц в работе В. Огнева немало, и его «первопроходческая», в лучшем смысле слова популяризаторская миссия заслуживает самой благодарной оценки.

Но, конечно, главная любовь критика — поэзия. Всматриваясь в те или иные ее национальные черты, В. Огнев постоянно имеет в виду и мир социалистической поэзии в целом. По всей книге разбросаны интересные наблюдения над общими и особенными процессами ее современного развития. Параллели и сопоставления, притяжения и отталкивания преследуют цель нарисовать динамичную, противоречивую картину поэтических поисков, в которых участвуют художники разных поколений и стилиевых привязанностей. В поэзии очень ярко проявляется духовная общность культур братских европейских стран социализма, и даже дискуссии, которые прошли, например, в Польше в 60-е годы, живо напоминают наши отшумевшие споры о «тихой» и «громкой» лирике.

Размышляя о поэзии и революции, В. Огнев, в частности, пишет: «...„старое“ и „новое“ в искусстве не слепо копирует историю общественных отношений. В искусстве всегда сохраняются общечеловеческие ценности, их жизнь продолжительнее, формы их выражения устойчивее. Вот почему логикой развития той же революции, а не «отступничеством» (как это объясняют наши идейные противники) вызвано было то дальнейшее укрепление реализма, перенесение акцентов с «бросать» на «сбергать». Совсем не случайно эпохи «бури и натиска» сменяются эпохами «классических» форм. Смысл каждого такого периода можно объяснить общественно-историческими потребностями нации или государства. Но

никогда не удастся рецептурно-универсально объяснить саму логику смены таких периодов в поэзии, даже в творчестве одного и того же поэта».

Последнее замечание знаменательно для позиции автора «Пяти тетрадей». Анализируя произведения польских, болгарских, югославских, венгерских, словацких и чешских поэтов разных поколений, В. Огнев далек от схем, которыми увлекаются некоторые наши современные критики, пытаясь объявить тяготение к уравновешенным формам стиха столбовой дорогой подлинного новаторства. Глубокое жизнетворчество одинаково чуждается и унылого повторения пройденного и блеска чисто формального, обездушенного эксперимента. Все в конечном итоге решает тип художественного мышления, органичность его поэтического выражения, и разборы В. Огнева, как правило, хорошо подкрепляют эту давно известную, но всегда актуальную истину.

Прошлое живет в настоящем не только когда следуешь традиции, но и когда бунтуешь против нее. Ведь каждая традиция, прежде чем она стала таковой, была новаторством. В. Огнев отлично понимает, что к жизни и искусству нельзя подходить с «заданным, выпрямляющим, поспешным требованием „идеала“».

Самое же главное для писателя — понимание единства мира, обозначение «противоречий не как абстрактной силы «зла» или препятствия, а как условия этого мира, где жить — и значит бороться, страдать, находить себя в мире и мир в себе». Эти верные слова сказаны критиком не только о Ярославе Ивашкевиче — о художнике вообще.

Крупные современные художники стран социализма, и советские в том числе, открывают в национальном революционном опыте общечеловеческое и философское содержание. Пожалуй, это и есть магистральный путь духовных поисков социалистических литератур, гарантия весомости их вклада в общемировую культуру.

Соглашаясь с В. Огневым по многим об-

щим вопросам, хочу оспорить некоторые частности. Так, характеризуя творчество Т. Ружевича, критик констатирует, что оно имеет схожие черты с поэзией Б. Слуцкого, и далее пишет: «Много общего у Ружевича вообще (?) с послевоенной советской поэзией. Э. Межелайтис — «Человека», В. Луговской — «Середины века», Е. Винокуров — «Слова», А. Вознесенский — «Треугольной груши», О. Вацетис, Ю. Марцинкявичюс, О. Сулейменов, П. Севак — вот те имена советских поэтов, которые прежде всего вспоминаешь, знакомясь с новым для русского читателя явлением польской поэзии». Не слишком ли много имен вспомнилось критику по прочтении Ружевича? Даже беглый взгляд на внушительный список очень разных поэтов, приведенный В. Огневым, заставляет подумать, что автор здесь несколько увлекся.

Довольно спорна мысль критика о том, что, «как правило, именно с размывания границ традиционных жанров начинается новое качество искусства». Вернее было бы сказать, что новое качество приходит в искусство с новым героем, а жанровые, стилевые и другие формальные движения есть следствие изменившейся эстетической концепции мира и личности, присущей той или иной художественной эпохе. Иначе говоря, поступательное движение искусства и его форм прежде всего связано с развитием идей гуманизма, и, кстати, вся аналитическая направленность огневской книги лишний раз подтверждает это положение.

В «Польской тетради» есть страницы, посвященные современной марксистской критике. В. Огнев рисует собирательный тип исследователя, который сочетает в своих работах социологический и эстетический подход к явлениям искусства, опирается на фундаментальное знание общей истории.

Знакомясь с последними работами В. Огнева, посвященными литературе европейских стран социализма, понимаешь, что их автор несет в себе многие черты именно этого типа.

Евгений СИДОРОВ.

Политика и наука

НА ПОРОГЕ ПЯТИЛЕТКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

А. П. В а в и л о в. Эффективность социалистического производства
и качество продукции. М. «Мысль». 1975. 175 стр.

В каждой отрасли знаний существуют так называемые горячие точки. Это те ключевые проблемы, без решения которых значительно замедляется поступательное движение по всему фронту исследований, затрудняется переход от стадии поиска к воплощению научной идеи в практику. Ощущение главного направления, в котором следует сосредоточить основные усилия, как правило, приходит к исследователю в результате его соприкосновения с реальными, объективными требованиями практики. К числу таких проблем в области экономики в настоящее время относится проблема качества продукции.

Л. И. Брежнев назвал десятую пятилетку пятилеткой эффективности и качества. Столь тесное соседство этих двух определений отнюдь не случайно. Повышение качества продукции является сегодня одним из мощнейших рычагов практической реализации курса на интенсификацию общественного производства, на рост производительности и эффективности труда. В этой проблеме как в фокусе сосредоточены самые разнообразные вопросы экономической жизни страны. «Проблему качества,— говорил Л. И. Брежнев с трибуны XXV съезда КПСС,— мы понимаем очень широко. Она охватывает все стороны хозяйственной деятельности. Высокое качество — это сбережение труда и материальных ресурсов, рост экспортных возможностей, а в конечном счете лучшее, более полное удовлетворение потребностей общества. Вот почему на повышение качества продукции должны быть нацелены весь механизм планирования и управления, вся система материального и морального поощрения, усилия инженеров и конструкторов, мастерство рабочих»¹.

Действительно, высокое качество изделий производственного назначения выражается в высокой производительности и надежности станков и оборудования, в появлении материалов с новыми технико-эксплуатационными свойствами, а следовательно, дает дополнительный экономический эффект в народном хозяйстве; высокое качество в

легкой и пищевой промышленности, в сфере услуг означает расширение выпуска товаров народного потребления и услуг, пользующихся спросом населения, а следовательно, более полное удовлетворение потребностей трудящихся; наконец, рост качества нашей продукции создает предпосылки для более широкого выхода на мировой рынок и тем самым способствует получению дополнительных выгод от участия в международном разделении труда и укреплению материальной базы политики мирного сосуществования.

Проблема выпуска продукции высокого качества отнюдь не решается автоматически. Более того, продукция, которая еще вчера отвечала самым взыскательным требованиям специалистов и потребителей, сегодня в силу высоких темпов развития науки и техники, в силу изменения структуры потребностей становится устаревшей. Массовый выпуск продукции (именно массовый, а не выставочных образцов), отвечающей всем требованиям современности к уровню качества, по сути дела, своеобразная лакмусовая бумажка, по которой можно судить о степени отлаженности всего механизма управления научно-техническим прогрессом от уровня возникновения новой технической и конструкторской идеи до организации серийного производства. Поэтому серьезный разговор о качестве обязательно приведет нас к проблемам, связанным не только с оценкой качества, его влияния на эффективность производства, но и к обсуждению вопросов управления качеством, включая как задачи в области планирования выпуска высококачественных изделий, так и организацию системы материального и морального стимулирования разработки, освоения и широкого внедрения в производство продукции с высокими качественными характеристиками.

Знакомство с рецензируемой книгой показывает, что автор, понимая всю многогранность проблемы качества на современном этапе, поставил своей задачей не только отразить эту сложность, но и предложить ряд конкретных направлений для решения проблемы. Вопросы эти решаются автором

¹ «Правда», 25 февраля с. г.

на весьма сжатом пространстве девяти с небольшим печатных листов, что в нынешней экономической литературе с ее «слабостью» к пухлым и из-за этого зачастую рыхлым изданиям стало редкостью. Пожертвовав объемом, автор явно выиграл в насыщенности и содержательности книги.

Несмотря на то, что книга А. Вавилова увидела свет еще до XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза, ее направленность полностью созвучна постановке вопроса, содержащейся в Отчетном докладе, выступлениях делегатов, решениях съезда.

Рассматривая проблемы эффективности и качества, автор исходит от теоретико-методологического фундамента марксистской теории общественно необходимых затрат. В книге, несмотря на ее общую практическую направленность, достаточно много внимания уделено теоретическим вопросам и дискуссиям вокруг категорий полезности и общественной потребности, потребительной стоимости и стоимости. Эти вечные вопросы политической экономии не выглядят в книге излишне абстрактными, искусственно пристегнутыми к другим разделам. Автор умело выбирает из всей гаммы теоретических проблем именно те аспекты, которые дают ключ к решению практических задач хозяйственной жизни.

Возьмем хотя бы такой на первый взгляд чисто умозрительный вопрос: оказывает ли полезность продукта влияние на формирование уровня общественно необходимых затрат труда? Здесь позиции теоретиков расходятся. Одни считают, что поскольку производство продукта связано с определенными трудовыми затратами, то эти затраты и должны найти отражение в цене продукта. И, мол, не надо особо мудрствовать. Цена должна показывать, во что обошелся, сколько «стоит» тот или иной продукт. Следовательно, утверждают они, для решения проблемы ценообразования нам необходимо организовать полный и скрупулезный учет всех фактических затрат труда.

Однако, как известно, человеческое общество не только производит, но и потребляет, а там, где средства производства обществены, производство, по мнению К. Маркса, является лишь средством удовлетворения потребностей и «производство поэтому всюду подчинено потреблению»². В связи с этим, очевидно, уместно не только

подсчитать, во что обходится производителю производство продукта, но и выяснить, как оценивает его усилия потребитель, в какой мере труд производителя, воплощенный в конкретном продукте или услуге, способен удовлетворить соответствующую общественную потребность. И это существенно для всех звеньев экономической системы, ибо любой производственный коллектив, любой трудящийся в процессе обмена деятельностью выступает попеременно в роли и производителя и потребителя. Необходимо знать не просто затраты, но и общественную ценность, результативность этих затрат. Крыловский медведь гнул дуги и тратил при этом огромное количество труда и энергии, но было бы крайне удивительно, если бы его «затраты» оплачивались в той же мере, как и работа искусного ремесленника.

Чтобы сделать правильный выбор, принять оптимальное хозяйственное решение, экономист должен иметь четкое представление о степени общественной полезности любой производственной деятельности. Поэтому, как справедливо замечает А. Вавилов, «общественная полезность, влияя на размеры общественной потребности, определяет ограничения, при которых условия производства признаются общественно нормальными, и соответствующую им величину затрат общественного труда. Иначе говоря, общественно необходимыми являются затраты труда, при которых производится продукт общественно необходимого уровня полезности».

За этими на первый взгляд суховатыми определениями стоит необычайно важная для народного хозяйства тема. И автор раскрывает ее, переходя к проблемам сравнительной динамики цен и качественных показателей. Ориентация цен только на затраты зачастую приводит к тому, что более материалоемкая продукция оказывается дороже не потому, что она выгодна потребителю (чаще бывает наоборот), а лишь из-за большего расхода (вернее сказать, перерасхода) сырья. В книге приводятся факты, показывающие, например, что в текстильной промышленности только из-за опережающего роста цен по сравнению с ростом производительности некоторых видов оборудования фондоотдача снизилась почти на четверть. Одна из моделей плоскошлифовального станка по сравнению с прежней повысила производительность в 1,8 раза, но при этом ее цена возросла более чем

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. 1, стр. 504.

в 4 раза. Число этих примеров может быть увеличено. Потери, которые несет народное хозяйство от подобного пренебрежения к показателям качества продукции при ценообразовании, связаны либо с неправильной трактовкой теории плановой цены, либо с пренебрежительным к ней отношением. Л. И. Брежнев не случайно подчеркнул на XXV съезде КПСС, что современный этап хозяйственного строительства как никогда ранее требует «подлинного уважения к науке, умения и желания советоваться, считаться с ней»³.

Существенный раздел рецензируемой книги посвящен изучению качества продукции как фактора роста эффективности общественного производства. Современная научно-техническая революция с ее курсом на широкую автоматизацию производственных процессов предъявляет специфические требования к качеству новой техники. Тесная взаимосвязанность производственных процессов, высокий ритм работы требуют необычайно жесткой синхронизации работы каждого станка в производственно-технологической цепочке, каждого элемента автоматической линии, четкой координации основного производства и вспомогательных служб. В этих условиях настало время говорить о качестве не отдельного вида оборудования, а системы машин как единого комплекса различных станков и агрегатов, связанных в единое целое стадийностью технологического цикла. Такой подход единственно возможен, когда речь идет об автоматических линиях. Но он не менее нужен и при рассмотрении проблем увязки различных стадий переработки сырья в готовую продукцию в отраслях производства, еще не достигших уровня автоматизации. Широко известны случаи, когда высокопроизводительное оборудование используется не в полную мощность лишь потому, что условия его фактического применения резко отличаются от предполагавшихся при проектировании. Особенно часто это бывает, если новый станок, отвечающий самым высоким требованиям современного производства, пытаются механически «вживить» в старую технологическую систему. Один из таких случаев приводится автором. Токарный станок «I-K-62» при удорожании на 57 процентов используется по числу оборотов шпинделя лишь на 40—50 процентов, по мощности — на 20—30 процентов, по

предельным показателям — на 20—25 процентов.

Переход от рассмотрения отдельных машин и агрегатов к системам машин, вызванный объективными процессами в области механизации и автоматизации, по-новому ставит вопрос о такой качественной характеристике, как надежность. Автор совершенно справедливо уделяет значительное внимание этому показателю. Чем теснее все технологические звенья увязаны в единый комплекс, тем выше «цена» надежности, ибо ущерб от простоев на одном участке многократно возрастает из-за нарушений ритмичности работы всего комплекса машин.

Примеры, приведенные в книге, показывают, что в области повышения надежности скрыты огромные резервы улучшения фактических качественных характеристик работы машин и оборудования, резервы экономии общественного труда. В результате технических неисправностей в среднем 30 тракторов из 100 постоянно находятся в ремонте. «Это значит,— пишет А. Вавилов,— что в течение года не работает больше тракторов, чем их выпускает вся тракторная промышленность страны». В течение года в среднем фактически не работает более 18 процентов установленного металлорежущего оборудования, более 23 процентов кузнечно-прессового оборудования и более 26 процентов литейного оборудования. Простой доменных печей на ремонт составляют 75—80 процентов всех простоев этих агрегатов, в то время как каждый день простоя современной доменной печи означает потерю около 1,5—2 тысяч тонн чугуна.

Наряду с проблемой надежности обычно рассматривается и такой технико-экономический показатель, как долговечность службы производственных объектов. С незапамятных времен люди привыкли считать, что чем крепче, прочнее вещь, чем дольше она служит, тем лучше она. Гоголевские чиновники уважали «сукнецо, которому износу нет». Однако трудно найти женщину (и сейчас, да и полтора столетия лет тому назад), которая согласилась бы носить всю жизнь платье из «вечной» ткани хотя бы потому, что мода не вечна. Известно, что о вкусах (и модах) не спорят, а вот об экономической эффективности спорить не только можно, но и нужно. Всегда ли увеличение долговечности станка означает рост эффективности, всегда ли это позволяет сэкономить производственные ресурсы?

³ «Правда», 25 февраля с. г.

Научно-техническая революция заставила взглянуть на эту проблему в новом ракурсе. Пока станки и оборудование, установленные на заводах и фабриках, выдают продукцию в счет сегодняшних плановых заданий, в тишине конструкторских бюро против них назревает «заговор». Проектируются новые типы станков, которые по всем своим характеристикам достойны того, чтобы «свергнуть» ныне действующее оборудование, не дожидаясь его фактического одряхления. Это явление давно известно экономистам и получило название «моральный износ» в отличие от обычного — физического.

Чем энергичнее ведется научный поиск, чем интенсивнее работает конструкторская мысль, тем большая вероятность того, что вскоре возникнут образцы новой техники, значительно более эффективные, нежели действующее оборудование. Но если это так, то, очевидно, следует незамедлительно внедрять эту новую технику, не дожидаясь полного физического износа старой. Но ведь когда-то старая техника тоже была новой и, может быть, кто-то бился над тем, чтобы удлинить срок ее службы, повысить долговечность. Этот кто-то не учел возможности наступления моральной старости, не учел, что лучшее — враг хорошего, и в результате его усилия оказались ненужными обществу.

Но означает ли все вышесказанное, что в условиях научно-технической революции вообще следует забыть о долговечности? Конечно, нет. Проблема эта не только не исчезает, наоборот — ее решение становится более сложным. Если раньше все выглядело просто (чем дольше служит станок, тем лучше), то теперь нужно искать оптимальный срок службы. Идеально было бы, если сроки физического и морального старения совпадали. Но науке не подскажешь изобрести такой-то станок или открыть такой-то элемент к такому-то числу. Можно оценить лишь вероятность появления нового изобретения, а следовательно, следует говорить о разработке методов приближенного измерения темпов морального старения производственного парка. Результаты этих измерений и должны служить ориентиром для проектировщиков, занимающихся проблемами долговечности работы оборудования.

Недостаточное внимание к этим вопросам, как показывает А. Вавилов, ведет к растрате общественного труда, снижению его про-

изводительности. В машиностроении, например, отмечает автор, 26 процентов парка металлорежущих станков и 27 процентов парка кузнечно-прессового оборудования имеют средний возраст двадцать лет при том, что через каждые восемь — десять лет появляется новая модель металлорежущего станка и через двенадцать — четырнадцать лет — новая модель кузнечно-прессового оборудования. Отсюда можно сделать вывод, что примерно треть парка всех металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования морально устарела.

Специальный раздел посвящен вопросам управления качеством продукции. Этим вопросам уделялось огромное внимание на XXV съезде КПСС. Для решения хозяйственных задач, стоящих ныне перед советской экономикой, необходимо повысить эффективность всей системы управления. Требуется, как настойчиво подчеркнул Л. И. Брежнев, «совершенствования вся система показателей, лежащих в основе оценки деятельности министерств, объединений и предприятий, и прежде всего эффективности и качества их работы. Эти показатели призваны соединять воедино интересы работника с интересами предприятия, интересы предприятия с интересами государства, побуждая брать (и, конечно, выполнять) напряженные планы, экономить ресурсы, снижать себестоимость и в то же время быстрее осваивать новые виды изделий, выпускать продукцию высокого качества и в нужном ассортименте»⁴.

Проблема показателей, стимулирующих рост качества продукции, одна из наиболее острых. Известно, что планирование металла в тоннаже ведет к так называемым плюсовым допускам, к повышению металлоемкости продукции машиностроительной промышленности. Например, как отмечает А. Вавилов, материалоемкость автомобиля «Волга», приходящаяся на единицу мощности двигателя, почти в два раза больше, чем у зарубежных автомобилей того же класса; у грузового автомобиля «ЗИЛ-130» удельная материалоемкость на 20 процентов выше, чем у аналогичных американских автомобилей.

Опыт показывает, что натуральные объемные плановые показатели (вес, объем, штука) не способствуют глубокой переработке исходного сырья, снижают стимулы к трудоемким отделочным процессам, определяющим в конечном счете уровень качества

⁴ Там же.

изделия в целом. Такие явления довольно широко наблюдаются и в лесной промышленности, и в строительстве, и в производстве товаров народного потребления. Отдельные попытки перейти от натуральных показателей к условно-натуральным (полезные тонны; вагоны, автомобили, тракторы — в условных единицах и т. д.) не дали серьезных результатов. Очевидно, и этой позиции придерживается автор рецензируемой книги, к проблеме совершенствования показателей, стимулирующих рост качества изделий, следует подходить комплексно.

Необходима комплексная программа повышения уровня качества продукции в народном хозяйстве. Базой для формирования такого рода программы является государственная система стандартизации продукции, требующая дальнейшего совершенствования. Одним из важнейших направлений этого совершенствования является неразрывная увязка стандартов с системой аттестации качества продукции, а также с систе-

мой ценообразования, предусматривающей научно обоснованную шкалу скидок и надбавок за уровень качества изделий. К решению задачи повышения качества продукции, а следовательно, эффективности общественного производства должны быть привлечены и такие рычаги, как кредит, премии, моральные стимулы. Главное — это обеспечение согласованности воздействия всех этих методов управления.

Конечно, в книге мы не найдем детального решения всех вопросов комплексного управления качеством продукции. В ней просматриваются лишь некоторые ее фрагменты и контуры. Однако, учитывая сложность такой задачи, которая по плечу лишь большим коллективам ученых и практических работников, мы думаем, что самый взыскательный читатель будет удовлетворен положительным вкладом автора книги в разработку проблемы качества.

Н. ПЕТРАКОВ,

доктор экономических наук.



КОНСТРУКТОР. САМОЛЕТ. ВРЕМЯ

Михаил Арлазоров. *Конструкторы*. М. «Советская Россия». 1975. 280 стр.

Прочитав книгу М. Арлазорова, начинаешь понимать, как мало мы еще знаем о творцах необыкновенных машин и как мало еще написано о них, выдающихся людях своего неповторимого времени.

Мы хорошо знаем о таких известных конструкторах, как А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин, А. И. Микоян, С. А. Лавочкин. Но по прочтении книги обнаруживаешь и новые детали о них и то, что знал мало или совсем не знал о Н. Н. Поликарпове, чьи «кукурузники» («ПО-2») пережили многие другие самолеты и сыграли важную и необыкновенную роль в Великой Отечественной войне, о А. М. Исаеве и А. Я. Березняке — создателях первого реактивного самолета, о В. С. Вахмистрове, Д. П. Григоровиче, В. Ф. Болховитинове, сделавших очень многое для отечественной военной и гражданской авиации. В технической и специальной литературе о конструкторах можно найти много сведений, но они для широкого читателя малодоступны и он еще ждет очерков и документальных повестей о творцах и создателях самолетов. На этом фоне книга М. Арлазорова становится и веселее и дороже, особенно для тех, кто не утра-

тил чувства увлеченности авиацией, чье внимание не ослабевает к интересным и выдающимся событиям, происходящим в нашем обществе.

Андрей Николаевич Туполев, выдающийся советский авиаконструктор, ученик Н. Е. Жуковского, кратким очерком о котором открывается книга, — это целая эпоха в отечественной авиации. «Москва авиационной молодости Туполева, — пишет автор, — отличалась от нынешней не меньше, чем планер, на котором он впервые поднялся в воздух, от сверхзвукового пассажирского лайнера «ТУ-144». Москва тех лет — царство извозчиков и лавочников. Ее высотные сооружения — церкви. Главная промышленность — текстильное производство. Москвичи любили побаловаться чайком из блестящих певичих самоваров и в отличие от нас, их потомков, еще никуда не спешили».

В эту размеренную жизнь и ворвалась только зарождавшаяся авиация. Многие страны мира и города, в том числе и Россия, переживали авиационную лихорадку. Шел 1909 год. В этот самый период, будучи студентом механического факультета МВТУ и в год своего совершеннолетия, Туполев

стал членом воздухоплавательного кружка. За участие в студенческой забастовке Туполева на три года отлучили от авиации. Вернувшись в Москву, он работал на заводе «Дукс», проектировал гидропланы. Еще на студенческой скамье познакомился с Н. Е. Жуковским, стал его учеником и помощником.

Мало кто знает, что А. Н. Туполев не сразу стал конструктором. Октябрьская революция, распахнувшая двери в авиацию перед многими инженерами, вопрос о создании национальной авиации и своего авиационного центра ставила широко и многогранно. В 1918 году создается Центральная аэрогидродинамическая лаборатория, где и начинает работать преподаватель МВТУ А. Н. Туполев. Здесь он конструировал глисеры, аэросаны, вел большую научную работу, накапливая знания, опыт и силы. Принимал активное участие в строительстве нового ЦАГИ.

У каждого конструктора свое видение проблемы, свой подход к ней, своя талантливость и свое понимание путей решения, завязывания и развязывания сложнейших технических узлов. А результат один — самолет. Но самолеты разные, как и разные конструкторы. Поэтому мы и имеем сегодня крылатые машины с разной наполняемостью и грузоподъемностью, дальностью полета и скоростью, самолеты специального назначения и применения. Конструкторы — люди, похожие и не похожие друг на друга, как и сами их самолеты. Они и талантливы каждый по-своему, подчеркивается в книге, и легендами обрастают разными, особенно когда таланту сопутствует успех. Об А. Н. Туполеве, например, рассказывают следующее. Находясь на летно-испытательном поле, он подошел к только что созданному другим конструктором самолету, готовившемуся к первым испытаниям, походил вокруг него, внимательно осмотрел и сделал заключение: «Не полетит!» И не полетел. Не станем утверждать, было такое или нет. Но если и не было, то все равно легенда характеризует Туполева как человека талантливого, одаренного внутренним чутьем. Или приносят ему на подпись уже готовые, выверенные и проверенные, считанные и пересчитанные чертежи новой машины. Остается взять красный карандаш и подписать. Но конструктор медлит, долго и внимательно рассматривает каждый узел и заключает на первый взгляд совершенно неожиданно: «Исправите ошибку — покажи-

те еще раз!» И искали ошибку долго, упорно, все же находили.

По-особому талантлив умеющий по-своему и предвидеть все самое необыкновенное в самолетах будущего авиаконструктор С. В. Ильюшин. Вспоминают такой случай. Создавая, например, боевой бронированный штурмовик, лучший в своем классе самолет второй мировой войны, который фашисты прозвали «черной смертью», «ИЛ-2», конструктор видел его в двухместном (летчик и стрелок) варианте. Военные идею не поддержали, и велено было производить одноместный самолет. Первые фронтальные испытания показали ошибку военных специалистов. Машина уже находилась в серийном производстве, шла война. Конструктора вызвал в Кремль И. В. Сталин и, пожалев о прежнем решении, сказал: «Делайте что хотите, но конвейер останавливать не разрешаю. Немедленно дайте фронту двухместные самолеты». И вот здесь предвидение Ильюшина в буквальном смысле спасло машину. Без изменения принятой технологии через месяц с небольшим завод начал выпускать двухместные «ИЛ-2».

Талант А. М. Исаева, создавшего в 1942 году вместе с А. Я. Березняком первый реактивный самолет «БИ-1», а затем ставшего двигателем, подарил космическим кораблям «Восток», «Восход», «Союз» мощные реактивные двигатели, которые ни разу не подвели ученых в космосе.

Полиглот от техники, человек энциклопедических знаний и большого таланта В. Б. Шавров нередко консультировал дипломников в Московском авиационном институте. Интересен с этой точки зрения случай, описываемый в книге: «Шавров долго рассматривал труд будущего инженера. Рука с карандашом двигалась над чертежом, повисала над теми или иными узлами и агрегатами, она словно отмеряла и их вес и координаты. Потом, внезапно положив на лист затмана карандаш, Шавров посмотрел на студента и спросил:

— А центровку хорошо просчитали?

Услышав жаркие заверения, что, мол, все проверено и перепроверено, недоверчиво покачал головой и сказал:

— По-моему, центр тяжести самолета должен лежать здесь! Проверьте! Пожалуйста, проверьте еще раз...

Карандаш Шаврова отметил точку на схеме, и через полчаса выяснилось, что обозначил он ее абсолютно точно.

Авиационные конструкторы, очерки о которых собраны в книге М. Аразазова, пришли в авиацию примерно в одно — довоенное — время. Многие из них стояли у истоков отечественной авиации и вписали золотые страницы в ее историю. Много сил и энергии, ума и таланта отдали любимому делу авиационные конструкторы А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин, А. И. Микоян, М. Л. Миль, Д. П. Григорович, С. А. Лавочкин, В. М. Петляков, В. Ф. Болховитинов, многие малоизвестные широкому читателю конструкторы двигателей, создавшие и те самолеты, которые и сегодня составляют гордость авиации гражданской и военной, и те, которые в тяжелое военное время выигрывали воздушные бои с врагом.

Конструкторы шли дружной шеренгой. Но у каждого из них были свои взлеты и падения, свои радости и огорчения, подчас как зависящие, так и не зависящие от них. И автор показывает нам, сколько драматических минут, часов и дней пришлось пережить конструкторам, людям, постоянно находящимся на самом переднем крае борьбы умов, чтобы не отстать от времени, не оказаться у него в плену.

А. И. Микоян сложными путями пришел в авиацию, а дороги конструктора не были устланы лаврами. Скоростной по тому времени истребитель «МИГ-1», который после устранения многочисленных недостатков выпускался под маркой «МИГ-3», в результате творческой конкуренции с КБ А. С. Яковлева и С. А. Лавочкина стал наиболее распространенным истребителем и находился в серийном производстве. В приграничных военных округах к началу войны насчитывалось около 900 машин. Но почти все они были разбиты на аэродромах в результате вероломного начала войны.

Эвакуированное на восток, как и многие другие, конструкторское бюро Микояна продолжает работу. Но у «МИГ-3» вдруг отбирают мотор конструктора А. А. Микулина — сердце самолета. Он понадобился новому штурмовику «ИЛ-2», не имевшему дублеров в других КБ, в то время как у «МИГ» были сородичи в виде «ЯКов» и «ЛАГов». Промышленность не могла удовлетворить в то время спроса на микулинские двигатели. Роковую роль для начавшего с успеха (ведь первая работа над «МИГОм» была действительно успешной!) молодого КБ сыграла телеграмма, пришедшая на один из авиационных заводов:

«Вы подвели нашу страну и нашу

Красную Армию тем Вы не изволили до сих пор выпускать ИЛ-2 тем Самолеты ИЛ-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух зпт как хлеб тем Шенкиан дает по одному ИЛ-2 в день зпт а Третьяков дает МИГ-3 по одной зпт две штуки тем. Это насмешка над страной зпт над Красной Армией тем Нам нужны не МИГи зпт а ИЛ-2 тем... Сталин».

И «МИГ-3» сняли с производства. А. И. Микоян, назначенный затем директором и Главным конструктором опытного завода, вместе со своим коллективом пытался заменить двигатель А. А. Микулина на двигатель с воздушным охлаждением. Но удача не последовало. «МИГ-3» с новым двигателем не пошел. И «фирма» Микояна отодвинулась на второй план...

Появлялись до «МИГ-15» и другие микояновские истребители, но... «„МИГ-15“ был лучший самолет, бесспорно лучший самолет в мире!» — говорил А. Н. Туполев.

Скоростной истребитель А. И. Микояна и М. И. Григоровича появился в воздухе и заявил о себе в первые послевоенные годы. Над подобной машиной бились и гитлеровские авиаконструкторы, убежавшие в разные страны после нашей победы, и поэтому время не заставило ждать их высказываний, претендовавших на авторство. Курт Танк: «„МИГ-15“ — моя идея». Вилли Мессершмитт: «Когда смотришь на машину, мой почерк не оставляет сомнений!» Эрнст Хейнкель: «Модель этого самолета стояла на моем письменном столе!» Стояла, но не полетела. А «МИГ-15» полетел, да еще как! «„МИГ-15“ представляет собой, — писал английский авиационный журналист Вильям Грин, — смелый шаг вперед в русской авиационной технике. Этот сравнительно простой, небольшого веса перехватчик для больших высот оказал большое влияние на дальнейшее проектирование истребителей на Западе».

«Моя жизнь прошла в сложном мире, полном множестве волнений, в мире самолетов, у которых, как у людей, свои судьбы, свои биографии...» — говорил Н. Н. Поликарпов, сделавший в свое время решительный шаг в сторону науки и техники, но так и оставшийся до конца своей жизни небожником, суеверным человеком. Славу Поликарпову принес не только и не столько прославленный учебный самолет «У-2», переименованный впоследствии в «ПО-2», превратившийся в годы войны в ночного бом-

бардировщика, связиста, разведчика, санитарный и партизанский самолет. На него в свое время на выставке в Берлине в 1928 году никто не обратил ни малейшего внимания. Он в то же время обладал почти уникальным свойством своего времени: не входил в штопор. Если даже летчик большим усилием воли вводил его в штопор, то «У-2» без промедления выравнивался и выходил в горизонтальный полет, за что и получил название «ванька-встанька».

Н. Н. Поликарпов совершенствовался в истребительной авиации. Его самолеты «Р-5», «И-15», «И-16», выпускавшиеся большими сериями и державшиеся в авиации по нескольку лет, принесли известность конструктору. Деревянные, полотняные «Р-5» в труднейших полярных условиях, освобождая от ледяного плена потерпевших бедствие челюскинцев, показали себя лучшим образом. Истребители «И-15» сражались в небе Испании, а «И-153» — над Халхин-Голом.

Сильной стороной творческого метода Поликарпова было создание множества модификаций одной машины. За три года до войны конструктор создал в своем КБ противотанковый самолет-штурмовик под названием «Иванов», на базе «И-15» — истребитель «И-153», а на основе «И-16» — самолет «И-180». Но только один из них, «И-153», выпускался небольшой серией. К началу войны самолет очень устарел и выпуск прекратился. «Иванова» спустя два года заменил штурмовик «ИЛ-2». А «И-180» потерпел несколько катастроф, часто по непонятным причинам входя в штопор. Самолет, как говорят конструкторы, не шел. Очень быстро после этого был спроектирован новый вариант — «И-185». Но доводка его длилась почти три года. Шла война, 1943 год. И хотя характеристики у этой машины были превосходны, в серию она не пошла. Авиация никому не прощает опозданий.

«Нет такого конструктора,— говорил академик А. И. Макаревский,— который в тот или иной период жизни не переживал определенного творческого кризиса». Был этот кризис и у Н. Н. Поликарпова, и у С. А. Лавочкина, и у А. И. Микояна, и у М. Л. Миля. Но кризисы приходили и уходили, их преодолевали сильные духом люди, а авиация шла все вперед и вперед к новым вершинам.

В книге мимоходом, потому что перед автором стояла своя определенная задача,

названы имена многих малоизвестных, но героических людей, работавших рядом с выдающимися конструкторами, окружавших их, помогавших им в нелегком труде. И в первую очередь, конечно, это летчики-испытатели. От их мужества и отваги, от их разума и мастерства нередко зависела судьба очередной новой машины. О каждом из них, как и о каждом из многих помощников главного конструктора, можно да и надо писать отдельные книги. Десятки, а может, и сотни летчиков-испытателей отдали свои жизни во имя сегодняшнего дня авиации и ее достижений. И эти люди заслуживают и книг и особого разговора.

Испытание нового самолета — очень ответственный, если не самый ответственный период в жизни конструктора. Автор рассказывает, как по-разному к этому, в зависимости от склада характера и ума, относятся главные и генеральные авиаконструкторы. М. Л. Миль, например, всегда находился рядом с машиной, стоял на предельно дозволённом расстоянии, глотая пыль, летящую от стремительно вращающихся винтов, осыпаемый песком. Он считал, что во время стояночных испытаний его место именно рядом с вертолетом. Некоторые довольствовались докладами и передаваемой им информацией. Создатель известного пикирующего бомбардировщика «ПЕ-2», или, как прозвали его фронтовые летчики, «пешки», В. М. Петляков, конструировавший в свое время под руководством А. Н. Туполева аэросани и глиссеры, на доклады и информацию не полагался. Он сам садился за руль машины и гонял ее столько, сколько надо было, чтобы выявить все качества и недостатки. Не боялся В. М. Петляков подниматься и на своей боевой машине в кресле второй кабины. Но один случай стал роковым. Петлякова срочно вызывали в Москву. Заводской транспортный самолет был занят. Вместе со своим заместителем А. М. Изаксоном решили они лететь на самолетах «ПЕ-2», перегонявшихся на фронт. А. М. Изаксон сел в один самолет, В. М. Петляков в другой. В районе Арзамаса, недалеко от Казани, самолет, в котором летел В. М. Петляков, сгорел в воздухе.

О конструкторах мало пишут в том плане, в каком воспринимает это широкий читатель. Газетные и журнальные статьи не в счет, потому что они нередко представляют лишь видимость обильной информации, не раскрывающей существа дела в связи с засекреченностью работ, проводимых транс-

цами новой техники. Это явствует и из книги. Видно, что автор, сам авиационный специалист, по крупницам собиравший материал с давних времен, встречавшийся со многими конструкторами, с теми, кто знал их и близко соприкасался с ними, в свое время столкнулся с этим явлением и теперь приоткрыл нам на страницах книги «кухню» своей работы над очерками. И «кухня», на мой взгляд, и метод сбора материалов и рассказов о таких людях, работа которых до поры до времени не подлежит рассекречиванию, оправдывают себя.

Вскоре после войны М. Арлазоров написал очерк о С. В. Ильюшине, назвав его «конструктором летающих танков». Встретился с Генеральным, по крупницам собрал много материала, но очерк опубликован не был. «По-моему, публиковать вашу работу преждевременно...» — сказал Ильюшин. «Но почему же, ведь факты, которые она содержит, уже опубликованы?» — возразил автор. «Да, по частям, а собрав их вместе, вы проделали работу, какую ведут обычно пресс-атташе недружественных государств...»

Прошло много лет, сообщает автор, с тех пор как очерк рухнул в корзину...

Но сегодня он пригодился и помог автору правдиво и широко рассказать об одном из выдающихся авиационных конструкторов — С. В. Ильюшине.

Читая тот или иной очерк, все время надеешься, что узнаешь и о другой, не связанной с КБ жизни человека. Ведь конструкторы — люди одаренные и увлеченные,

всесторонне образованные. И в их сердцах поселяется не только авиация, не только то, что является предметом всей их жизни. Они любят музыку, театр, живопись, у них много друзей, есть семьи, и они воспитывают детей, радуясь и огорчаясь «подвигами» своих потомков. К сожалению, о подобных «деталях» человеческого бытия конструкторов вне рабочей сферы сказано обидного мало. Но дело это поправимо. Живы многие конструкторы, их соратники и родственники, друзья по работе и друзья школьных и студенческих лет.

Все, о чем рассказал в своей, в общем-то, увлекательной и содержательной книге автор, спрессовано, если говорить лишь о труде конструкторском, в точном и емком высказывании профессора А. А. Рихтера, помещенном в авторском предисловии:

«Конструирование технических систем требует технического мастерства, но это не просто ремесло. Оно покоится на разнообразных конкретных знаниях, но это не просто наука. Оно требует творческого воображения и хорошего эстетического вкуса, но это не совсем искусство. Оно нуждается в высокоразвитой интуиции, но это не только способность предчувствия. Оно бесплодно без изобразительности, но это не просто дар выдумки. Оно предполагает знание жизни, но это далеко не только опытность. Если хотите, техническое творчество является чудесным сплавом всех названных и многих других человеческих способностей».

Г. РЕЗНИЧЕНКО.



СТАНОВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

Натан Эйдельман. Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. М. Политиздат. 1975. 391 стр.

У истоков русского освободительного движения стоят дворянские революционеры — Радищев и декабристы. Их исторические заслуги высоко ценил В. И. Ленин, писавший о том, что «лучшие люди из дворян помогли разбудить народ»¹. В статье «Памяти Герцена» Ленин обратил внимание на необходимость изучения сложного процесса идейной дифференциации дворянства в начале XIX века: «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картеж-

ных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников» да прекраснодушных Маниловых. «И между ними, — писал Герцен (Ленин цитирует работу Герцена «Начала и концы». — С. Т.), — развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и рабщины»².

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 398.

² Там же, т. 21, стр. 255.

В этой «фаланге героев» почетное место по праву занимает Сергей Иванович Муравьев-Апостол (1796—1826) — один из главных деятелей движения декабристов, сторонник решительных революционных действий, руководитель восстания Черниговского полка на Украине.

Рецензируемая книга, выпущенная Политиздатом в серии «Пламенные революционеры», несмотря на большой тираж, разошлась сразу же. Интерес читателей к биографии декабриста понятен и объясним, в повести ярко, образно и исторически правдиво воссоздается жизненный путь одного из крупных дворянских революционеров начала XIX века. Через всю книгу красной нитью проходит глубоко верная мысль, что перед нами биография героя.

Ценность книги определяется прежде всего тем, что это первая и наиболее полная биография декабриста, прожившего недолго, но яркую жизнь.

Примечательной особенностью повести Н. Эйдельмана является и то, что в целом она имеет строго документальный характер. На источниковедческой базе книги необходимо остановиться подробнее, так как фамильный архив Муравьевых-Апостолов не сохранился. Отец декабриста Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, участвовавший в дворцовом заговоре против Павла I, позже, при Александре I, долго находился в опале; его сыновья Матвей, Сергей и Ипполит были активными членами дворянских тайных организаций. Опасаясь ареста, отец и сыновья уничтожили многое из того, что могло скомпрометировать их и единомышленников. За период с конца XVIII и по первую четверть XIX века уцелели лишь немногочисленные фрагменты семейного архива Муравьевых-Апостолов, весьма разрозненные и распыленные по различным архивным хранилищам. Чтобы восполнить эту утрату, Н. Эйдельман скрупулезно исследовал все следственные материалы по делу декабристов, мемуары современников, официальную прессу и многие другие источники. Автор привлек также новые ценные материалы, обнаруженные им в архивах Москвы, Ленинграда и Киева.

Семья Муравьевых-Апостолов, как хорошо показал Н. Эйдельман, принадлежала к наиболее просвещенной части тогдашнего дворянского общества. Отец будущих декабристов был не только крупным сановником и дипломатом, но и высокообразованным человеком и литератором. Он находил-

ся в дружеских отношениях со многими известными поэтами своего времени — Г. Р. Державиным, И. И. Дмитриевым, К. Н. Батюшковым, В. В. Капнистом и другими, вел с ними переписку. Его имя, как и имена двух его старших сыновей — Матвея и Сергея, — было хорошо известно Пушкину и многим декабристам.

Обращение Н. Эйдельмана к материалам, относящимся к жизни и деятельности этих выдающихся лиц, не только помогло расширить источниковедческую базу повести и установить многие факты, важные для воссоздания биографии С. И. Муравьева-Апостола, но в ряде случаев позволило также исторически более точно и психологически верно объяснить становление характера декабриста. Поэтому, думается, в подзаголовке книги «Апостол Сергей» можно было бы с полным основанием указать — «документальная повесть».

К этому следует добавить, что, изучая биографию С. И. Муравьева-Апостола, Н. Эйдельман часто (может быть, даже слишком часто) и обильно цитирует источники, вводя в ткань повествования обширные выдержки из писем и мемуаров современников, следственных показаний декабристов, произведений Пушкина, Герцена, Льва Толстого и многих других.

Несмотря на определенные издержки подобного приема использования источников и литературных произведений, в целом это усиливает достоверность описываемых в повести событий, дает читателю историческую перспективу для правильной оценки тех идей и поступков, которые и составляли для декабристов Сергея, Матвея и Ипполита Муравьевых-Апостолов смысл всей их жизни.

Сильной стороной рецензируемой книги является ее глубокий историзм, который достигается не только превосходным знанием конкретного материала, но и умением автора дать читателю почувствовать колорит эпохи, реально представить образ жизни русского дворянства в конце XVIII — первой четверти XIX века. Перед читателем длинной вереницей проходят живые люди, принадлежавшие не только к различным слоям тогдашнего столичного и провинциального общества России, но зачастую и к различным политическим и идейным лагерям. Тут встретишь многих членов большой семьи С. И. Муравьева-Апостола (его родителей, братьев и сестер — представителей огромного «муравейника», дворянской фами-

лии, связанной с героем повести не только родственными, но и духовными (Александр, Никита и Артамон Муравьевы, М. Лунин и другие были членами тайных обществ) узам), а также их более дальних родственников, друзей, знакомых и соседей (Раевские, Давыдовы, Капнисты и другие) и, конечно, очень многих декабристов. Помимо этих лиц, составлявших ближайшее окружение молодого декабриста, на страницах повести часто встречаются имена Екатерины II, ее сына Павла I и внуков Александра, Николая и Константина, их фаворитов и сановников, а также многих других представителей столичной и провинциальной гражданской и военной бюрократии, общественных деятелей, литераторов, поэтов, ученых. Почти о каждом из них Н. Эйдельман сумел сказать свое неповторимое слово, набросав портрет или дав меткую, выразительную характеристику.

Привлекая обширный фактический материал, Н. Эйдельман хорошо показал, в какой семейной и социальной среде рос и воспитывался будущий революционер дома, в России, и во Франции, где он учился несколько лет, а также подробно описал жизнь С. И. Муравьева-Апостола в те годы, когда он вступил в пору возмужания и зрелости, вплоть до дня его гибели.

Однако автор рецензируемой книги не ограничился воссозданием основных событий биографии. Он поставил перед собой более сложную и трудную задачу — попытаться показать процесс формирования революционных воззрений С. И. Муравьева-Апостола, проследить становление характера героя повести и проникнуть в его внутренний мир, чтобы выяснить те глубоко скрытые пружины, которые в конечном счете определяли мысли, поступки и дела молодого декабриста в тех или иных конкретных ситуациях.

В соответствии с таким подходом Н. Эйдельман заостряет внимание читателя на узловых моментах биографии, где заметнее видны «точки роста» его героя как личности. Показано влияние домашней среды, в первую очередь родителей, и пребывания в пансионе Хикса в Париже на воспитание мальчика, воздействие на него первого знакомства с родным языком и первого столкновения с крепостнической действительностью по возвращении в Россию. Сергей Муравьев-Апостол, как его старший брат Матвей и другие декабристы, имел все основания говорить, что все они «дети 1812 года».

Автор повести показал, какое огромное значение для духовного созревания молодого декабриста имело участие в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии, а также знакомство с передовой литературой своего времени и стремление осмыслить опыт европейских революций. Подобно многим молодым дворянам его круга, С. И. Муравьев вступает в тайные декабристские организации (сначала, в 1816 году, в «Союз спасения», а затем в «Союз благоденствия» и в Южное общество декабристов), чтобы бороться с самодержавием и крепостничеством. Будучи натурой деятельной, способной на порыв, С. И. Муравьев-Апостол, как удачно показано в книге, пытается применить свои революционные взгляды на практике — сначала во время волнений в гвардейском Семеновском полку, а затем в 1825 году на Украине.

Особенно подробно, и это закономерно, автор описал заключительный период жизни С. И. Муравьева-Апостола, связанный с его деятельностью в Южном обществе декабристов, руководство восстанием Черниговского полка, а также поведение декабриста во время следствия и казни. Н. Эйдельману удалось с большой художественной силой и выразительностью воссоздать последние месяцы жизни и деятельности С. И. Муравьева-Апостола, показать его верность революционному идеалу, огромное личное мужество, героизм, благородство души. В каземате Петропавловской крепости, ожидая казни, Сергей Иванович до последнего мгновения жизни сохранял выдержку, заботился о поддержании духа брата Матвея и своего молодого друга Михаила Бестужева-Рюмина.

Изучая биографию Муравьева-Апостола, автор пытается, употребляя выражение Льва Толстого, найти ключ к «психологической двери», ведущей во внутренний, чаще всего потаенный, мир своего героя. Поэтому он стремится показать, как жил, о чем думал, что чувствовал С. И. Муравьев-Апостол не только во время острых, конфликтных ситуаций, когда полнее раскрываются многие черты характера человека, но и во всей его повседневной жизни, когда происходит незаметная на первый взгляд работа мысли.

Важный материал для выяснения сложного процесса становления личности, выработки ею суммы нравственных ценностей дают тщательно собранные и умело интерпретированные писателем сведения об об-

щепи Муравьева-Апостола с близкими ему людьми — матерью, отцом, горячо любимой сестрой — и особенно со своими наиболее близкими друзьями: старшим братом Матвеем и Михаилом Бестужевым-Рюминым — его единомышленниками, активными членами тайного декабристского общества. Не случайно Пестель сказал на следствии: «Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин составляют, так сказать, одного человека».

Именно мать впервые сообщила своим сыновьям «ужасную весть» о существовании в России «рабов» и тем самым заронила в их души сомнения в пользе и целесообразности существования крепостного права. Становясь старше, он многое узнал о заговорщической деятельности отца в 1801 году и его участия в составлении проекта введения конституционной монархии в России. Либеральные взгляды опального отца, его рассуждения о необходимости сохранения каждым человеком внутренней свободы, несомненно, повлияли на формирование цельного характера юноши, способствовали выработке критического отношения к окружающей его действительности. В письме к младшей сестре С. И. Муравьев-Апостол сформулировал одно из важнейших правил, которому следовал в течение всей своей сознательной жизни: «Все то, что мы делаем для утверждения и созидания счастья лиц, которых мы любим, которыми дорожим, велико, прекрасно и благородно». По словам его приятеля, он распространял свою любовь не только на близких людей — «для отечества Сергей Муравьев-Апостол готов был жертвовать всем». Позже Пестель скажет Матвею: «Ваш брат слишком чист».

С. Капнист, дочь известного поэта и друг семьи Муравьевых, хорошо знавшая Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, считала его незаурядной личностью. Она особенно ценила его за то, что его беседа и суждения всегда «были так умны, так ясны, нравственны и увлекательны». Много лет спустя Лев Толстой, изучив материалы по истории движения декабристов, придет к аналогичному мнению, назвав С. И. Муравьева-Апостола «одним из лучших людей своего, да и всякого, времени».

Несомненной творческой удачей Н. Эйдельмана является и то, что ему удалось ярко, выпукло и психологически убедительно показать сложный и противоречивый процесс идейного размежевания в среде русского дворянства. Основные разногласия были не только между «отцами» и «деть-

ми», но нередко между людьми одного поколения. Не случайно поэтому братья Сергей, Матвей и Ипполит Муравьевы-Апостолы с оружием в руках вышли на борьбу с самодержавием, а по другую сторону «баррикады» на Сенатской площади 14 декабря находился муж их сестры И. М. Бибииков, в то время как их отец сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол продолжал ратовать за внутреннюю свободу и писать погречески элегии, осуждающие тиранию.

В целом повесть Н. Эйдельмана дает много интересного материала не только для понимания психологии С. И. Муравьева и его соратников, но и декабризма как движения, позволяет увидеть его сквозь индивидуальный мир идей и чувств одного из главных руководителей тайных революционных организаций России.

Интересная и содержательная повесть Н. Эйдельмана, как нам представляется, не свободна и от некоторых недостатков.

Изучая биографию декабриста, автор стремился выяснить «сопричастность» героя повести к времени и движению истории человечества. Но сразу же приходится заметить, что предложенный им метод решения этой важной проблемы нельзя признать удовлетворительным. «На свете все сцеплено со всем», — пишет Н. Эйдельман. А раз так, то когда 28 сентября 1796 года в России рождается «герой» (будущий декабрист С. И. Муравьев-Апостол), он сразу же, «одним фактом своего появления вступает в отношения» с самыми различными людьми, жившими тогда на планете. Далее следуют известные (Гойя, Наполеон Бонапарт, Бабеф, Гёте и другие) и неизвестные (например, солдат Чернышев, посланный в Черчинские рудники) имена, взятые, по словам автора, «наудачу». Количество и, так сказать, «качество» подобных примеров, разъясняет автор свой подход к установлению сопричастности героя повести к ходу мировой истории, не имеет значения, ибо если взять пять, десять или тысячу человек, то все эти люди «с Сергеем Муравьевым едва встретятся даже в мыслях и воспоминаниях», но все они — «его человечество». Поэтому когда герой повести гибнет в борьбе с самодержавием, те люди, с которыми он «вступил в отношения» и которых еще пощадило время, продолжают жить своей жизнью: Гойя гложет еще больше и почти ничего не видит, «но мчится через Пиренеи, чтобы умереть на родине, повторяя: «Я все еще учусь»...»; другой гений, Бетховен,

уже полностью оглох, ждет смерти и «мечтает о 10-й симфонии, музыке к «Фаусту» и реквиему».

Таким же способом Н. Эйдельман устанавливает взаимосвязь между рождением и гибелью героя своей повести и событиями в окружавшем его мире, сообщая читателю различные мелкие факты, почерпнутые из русских и иностранных газет, вплоть до объявлений о пропаже «собачки-сучки» кофейного цвета и зеленого попугая.

Читая подобные рассуждения, нетрудно заметить, что, идя по пути установления чисто внешнего сходства и совпадения явлений и событий (многие замечательные люди разных стран жили в одно и то же время), нельзя раскрыть действительную связь между появлением действительно выдающихся личностей и породившими их историческими обстоятельствами. Приведенные нами мысли находятся в противоречии с другими, на наш взгляд более правильными

и хорошо аргументированными утверждениями автора, что героем С. И. Муравьева-Апостола, как и других декабристов, сделала эпоха, поставившая на повестку дня в России и других европейских странах вопрос об уничтожении монархии и феодализма.

Отмеченные нами просчеты несколько снижают уровень рецензируемой повести, но не меняют общей высокой положительной оценки книги Н. Эйдельмана и ни в какой мере не могут умалить значения проделанной им работы. Написанная живо, увлекательно, согретая искренней любовью автора к своему герою, повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле вносит ценный вклад в изучение первого этапа революционно-освободительного движения в России, связанного с деятельностью дворянских революционеров.

С. ТРОИЦКИЙ,

доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДРА ГОРОБОВА. Высокие равнины. Рассказы. М. «Советский писатель». 1975. 224 стр.

Двести с лишним страничек, небольшой формат, серенькая, в косой дождь обложка. А только начнешь читать — и сразу поймешь: из тех книг, о которых многозначительно говорят: «Да, в ней что-то есть».

Александра Горобова — журналистка старшего, довоенного поколения, которой довелось поработать во многих органах печати. Выполняя задания редакций, объездила, можно сказать без преувеличения, всю страну, рассказывая об увиденном в репортажах и очерках. У каждого газетчика, журналиста на склоне жизни «есть что сказать», откладывается в памяти, в дневниках и черновых набросках как бы вторая книга — то, что когда-то не пошло в дело, но оказалось важным для автора. Со временем приходит переосмысление, что-то стирается, что-то выживает, высвеченное светом нового видения. Так появилась книга «Высокие равнины» — скорее не рассказы (определение жанра здесь условно), а лирическая повесть, отчет о жизни, или, если можно так сказать, лирические очерки.

...Девушка стоит на маленькой поднебесной трибуне, как бы ведя смотр горам. Стоит на головокружительной высоте Гиссарского хребта, не испытывая страха, а вольность и гордость. Она одна в горах — без карты, без компаса, только со своим ищачком. А где-то за перевалом — Душанбе. И редакция, которая ждет ее репортажа. Это было первое в ряду многих других путешествий Александры Горобовой.

Дороги, дороги. Горы Копетдага, каракумские пески, первые колхозы в Голодной степи, строительство Ильичевского порта. Алжир, Египет. Командировки, туристские поездки, научные экспедиции, в которых автор принимает участие на равных. Очерковые записи лаконичны, в них домыслы остались за пределами блокнота — «поменьше эмоций, побольше логики». «Моя главная цель — точность. Мне нужно засечь, как работают матросы, драют палубу, закрывают люки... Я все записываю. Ни на минуту не выпущаю карандаш». Непосредственность восприятия автора, достоверность изложения увеличивают познавательный интерес рассказываемого. Приятно и то, что уж чем-чем, а растянутостью они не грешат. Читатель следит за сложными перипет-

тиями работы экспедиций, проникает туда, куда проникнуть почти невозможно, видит одуванчики в два человеческих роста, городки и поселки, которые забрались так высоко в горы, что там заново надо учиться дышать, открывает тайны алжирской Сахары, в которой — не шутка — семь миллионов жителей.

И, конечно, знакомится с людьми. «Что за человек сидит со мной рядом?..» — шофер Василий, парень грубоватый и не без хитринки, но почти святой в своей безыскусственной, им самим неосознанной доброте к людям; немолодая женщина-агроном, одна из тех, у которых в войну «оказались руки мужиков», для которых преданность делу стала нормой жизни; луноликая казашка Илаамаш, которая «пела все, что видел глаз»; выпускница Туркменского университета Айсолтан и ребята-целинники... В этих своих — нет, не специально отобранных героях, а случайно встреченных обычных людях автор ищет и находит хорошее, глубинное, основное.

Интересные очерки. Но ведь, увы, мы знаем, что очерки подобного рода бывают подчас гладкими, как полированный паркет. Этого не случилось с книгой А. Горобовой. Лаконичные записи, дневники, скупые описания углублены, контрастно переплетены с личными авторскими отступлениями — философским осмыслением событий, размышлениями о жизни.

Некоторые строки-мысли так и хочется выписать из книги. Те, например, которые относятся к писательскому и журналистскому ремеслу («К истине приводит сам процесс писания... Одна строка ложится за другой... за строкой следует мысль, вылучивается мысль»), к природе эмоциональности («Со вкусами можно спорить, с чувством спор невозможен»). Подкупает откровенность и простота, задушевность разговора автора с читателем. «Смогу ли написать это? Сумею ли?» Сумела, да. Передать охватившее тебя когда-то чувство счастья, которое помянишь и через пятьдесят лет, найти свежие образы в описании природы. Морская «синь и глаза может промыть, даже из карих сделать голубые... А с души эта морская синь смывает всю накипь, всю чепуху... Я чувствую, как и у меня бурно голубеет душа». Острое чувство граждан-

ственности, причастности к жизни ни на минуту не покидает автора.

«Высокие равнины» называется книга. Удачное название, потому что одноименный очерк, помещенный в ней, рассказывает о силе советского человека, вынесшего на своих плечах войну, преодолевающего все трудности, говорит о том, что человеческий дух выше самых высоких гор. А можно было бы назвать пушкинским — «Мне грустно и светло». Светло — это, пожалуй, все-таки в книге главное. Хорошо, что есть такие люди, такие поэты, такие горы, такая страна...

Ксения Бродер.



ВЛАДИМИР КОРНАКОВ. Шатун. Повесть. М. «Современник». 1975. 173 стр.

В этой повести, принадлежащей перу молодого читинского прозаика Владимира Корнакова, действуют два героя: современный дипломированный молодой человек и его дед-эвенк, хранитель древних традиций таежного народа. Молодой герой-рассказчик привык считать своего деда дикарем, «шатуном», думать, что «предки жестоки. Вместе с легендами, кровью они передают и свои чувства: засоряют душу потомков мусором старины». У деда на этот счет своя точка зрения: «Ты окончил школу, однако глуп. Ты глупее семи дураков». «Без памяти сердце пустое, помирает». «Это говорит моя печаль. Я дал тебе ружье, привел в тайгу. Каждый человек в доме — хозяин. Тайга — большой дом. Ты мог стать хозяином. Но в твоём сердце не оказалось для нее места. Хуже — ты не хочешь понимать тайгу. Совсем хуже — ты чужой для тайги... Это говорит моя печаль».

К концу повести внук понимает, как неосторожно прошлое с настоящим, и это понимание пришло к нему от деда.

Старик предстает перед нами человеком умным, великодушным, мужественным, стойким. Повесть построена так, что внутренняя значительность старика читателю открывается раньше, чем молодому герою.

Только после смерти деда, Саввы Багулова, молодой герой узнал тайну его личности и всей жизни. «Шатун» оказался носителем древних традиций народа, но он же полнино современный человек. «Месторождение Багуловское... Названо по имени Саввы Лукича Багулова — следопыта, верного спутника, надежного товарища и друга, который тринадцать лет был проводником партии, намного облегчая трудные маршруты и поисковые работы». А внук и не подозревал, что дед подарил ему фамилию, которая, как мандат уважения, открывала для него сердца людей.

Не знал Илька и того, как свято чтит дед память его отца, своего сына, погибшего в битве за Москву. Чувствуя приближение смерти, старик ведет внука в горы, где на голой каменной вершине им, Саввой, выдолблен профиль сына. Так происходит пе-

редача эстафеты верности долгу перед родной землей.

Повесть весьма своеобразно построена. За шестнадцать лет учебы в интернате, в ленинградском институте герой трижды виделся со своим дедом — в раннем детстве, после окончания десятилетки и наконец в пору своей учительской деятельности. И всякий раз дед стремился приобщить внука к таежному миру. Вот эти ретроспекции и перемежаются с сегодняшними размышлениями героя.

В непрекращающемся диалоге «соревновании» между дедом и внуком, или, говоря условно, традицией и новейшим опытом, хорошо прослушивается и голос автора. Его мнение с самого начала шире точек зрения героев. Идейно-художественный пафос книги в том, что на историческом пути к коммунизму наряду с новейшими знаниями необходима и многовековая народная мудрость — мудрость и опыт даже самой небольшой этнической группы, вошедшей пятьдесят восемь лет назад в семью советских народов.

Т. Комиссарова.



Н. К. НЕКРАСОВ. По их следам, по их дорогам. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1975. 304 стр.

Существуют в России места, которые мы привычно связываем с дорогами именами, — пушкинское Михайловское, тургеневское Спасское-Лутовиново, Ясная Поляна, некрасовская Карабиха. Многих ведет сюда не только «мемориальный» интерес, но и естественное желание посидеть на берегах Сороти, побродить по аллеям лутовиновского парка — это ведь тоже познание Пушкина или Тургенева. Но куда больше мест не столь знаменитых и экскурсионно не оформленных и тем не менее дорогих существует теперь только как географические названия (Шахматово) или забывается вовсе.

В Ярославской области, в четырех километрах от села Грешнево, на Теряевской горе стоит старая, полуразрушенная церковь Петра и Павла, в ее ограде похоронены мать и отец Н. А. Некрасова. Он о ней писал в «Рыцаре на час»:

В стороне от больших городов.
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе неввысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий...

И дальше:

Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.

Кто хоть раз увидит эту колокольню, для того образ поэта станет осязаемей, ближе. Но вот грешневская церковь окончательно разрушится и время в буквальном смысле

слова сотрет с лица земли и из памяти место, вызвавшее гениальное видение поэта.

«Пройти дорогами некрасовских героев, а следовательно, самого поэта и обнаружить какие-то черточки, детали, знакомые нам по стихам Некрасова, сохранившимися до наших дней» — такова была цель Н. К. Некрасова, внучатого племянника поэта. С Грешнева, родового имения Некрасовых, автор начинает свое путешествие по местам, связанным с Н. А. Некрасовым, с его родными, близкими, друзьями, с прототипами его героев. Грешнево—Абакумцево — Карабиха — Кострома — тракт, на котором встретились семь мужиков, героев «Кому на Руси жить хорошо». Это в прежних Ярославской и Костромской губерниях. Село Аешунино (Адовщина немрущая) — во Владимирской, где поэт бывал в 1853, 1860 и 1861 годах. В этих местах происходит действие ранней повести Некрасова «Тонкий человек». Об этом «благоприобретенном» имении отца поэта А. С. Некрасова мы знаем мало. Автор книги рассказывает все, что было известно и что ему удалось узнать самому.

Проделал Н. К. Некрасов и путь «русских женщин» от дворца графа И. С. Лаваля на Английской набережной в Петербурге, откуда уехала Е. И. Трубецкая, до Нерчинского рудника и Петровского завода, куда приехали она, М. Н. Волконская и другие жены ссыльных декабристов.

Реалии и реликвии той поры остались мало. Н. К. Некрасов их тщательно фиксирует и описывает. Описывает без беллетристических затей: что сохранилось, что удалось узнать у местных краеведов и в архивах, что еще можно разыскать. Это полезно еще и потому, что в произведениях Н. А. Некрасова точно названо множество географических мест, реалии, подлинных фактов, лиц. Краеведческие изыскания автора книги естественно переходят в биографические, мемуарные, литературоведческие. Книга Н. К. Некрасова рассчитана на широкого читателя и на специалистов. Что до исследователей-некрасоведов, то они вряд ли смогут пройти, например, мимо главы «Помогай же мне трудиться, Зина!» — о З. Н. Викторовой, гражданской жене поэта, сведения о которой чрезвычайно скудны; мимо главы о предках и потомках Н. А. Некрасова. В книге привлекает авторская интонация, доверительная и ненавязчивая, а главное — книга убеждает, что стоит, пока не ушло время, исследовать тот богатый историко-культурный материал, связанный с нашей классикой, который до сих пор ускользал от внимания специалистов.

В. Сапогов.

Кострома.



А. И. МАЗАЕВ. Концепция «производственного искусства» 20-х годов. М. «Наука». 1975. 270 стр.

Пытаясь разобраться в сложной структуре художественно-эстетической жизни 20-

годов, мы обычно прилагаем немало усилий, чтобы хоть как-то классифицировать художников и искусствоведов по бесчисленным объединениям, группам и группкам, выделить специфические для каждой из них художественные средства, наиболее оригинальные места в манифестах и декларациях, внутренним же устремлениям, общим для большинства этих объединений, уделяем явно недостаточно внимания. Почти в каждой из работ, рассказывающих о Пролеткульте, футуризме, Лефе, конструктивизме, биомеханике, вещизме и т. д., упоминается «производственность», а современная библиография его исчерпывается названиями всего лишь... трех статей. Книга А. Мазаева содержит специальное и подробное исследование «производственности» как особой «системы эстетико-индустриального толка», позволяет лучше уловить природу ряда существенных явлений художественной жизни послереволюционной поры. И мы осознаем, что за всеми крайностями, ошибками, перекосами, которые поражают и порой смещают нас в «левом» искусстве и манифестах тех лет, скрываются реальные, как говорится, отнюдь не шуточные проблемы.

«Сапожник делает сапоги, столяр — столы. А что делает художник? Он ничего не делает; он «творит». Неясно и подозрительно... Коммуне ни жрецы, ни дармоеды не нужны. Только люди труда найдут в ней место» (О. Брик); «содержание», «одухотворенность» и «идейность» в художественном творчестве — «высшее преступление перед истинным искусством... есть единственный путь: ...искание новизны» (Д. Бурлюк). Такого рода «декларации», независимо от того, с «добрými» целями они произносились или не с «добрými», в условиях увлеченности низвержением всех старых эстетических канонов способны были принести искусству немалый урон. Стоит вспомнить хотя бы слова С. Юткевича: «Три года тому назад я находился под влиянием зловещей формулы О. М. Брика... Каждый раз, когда я садился делать какой-нибудь рисунок, я вспоминал, что делаю что-то «неясное и подозрительное», и, точно уличенный в каком-то ужасном преступлении, немедленно бросал начатую работу... Я не знал, «быть или не быть искусству»...»

В этом отношении резкая критика в адрес идеологов «Производственности», не раз звучавшая в нашей печати, вполне оправдана и продуктивна, но возникает вопрос: почему все-таки столь откровенно вельпные лозунги воспринимались иными художниками всерьез, почему они так долго преодолевались в искусстве? Чем, собственно говоря, откровенно вульгаризаторское эстетическое течение могло порою соблазнять теоретиков и художников? Да каких! С. Эйзенштейн, В. Татлин, Д. Вергов, Вс. Мейерхольд, В. Маяковский...

А. Мазаев, как мне кажется, дает на этот вопрос убедительный ответ, раскрывая природу производственно-эстетического «конструирования» тех лет с его неумеренной

горячностью и паивным ожиданием от искусства «немедленной» утилитарной пользы.

Тут мы имеем дело с утопической переоценкой роли эстетики в жизни общества, с непониманием природы и социальной роли искусства (в частности, его познавательной, идеологической функции). Но воистину смешное и великое по жизни рядом идут, особенно в переломные эпохи. Книга А. Мазаева раскрывает в «производственности» плодотворное и наносное в их диалектическом единстве и исторической обусловленности.

Важно отметить, что написана она в итоге тщательной работы с первоисточниками (многие из которых вводятся в научный обиход впервые), написана простым, точным, не засоренным псевдонаучной терминологией языком. То, что автор пошел по пути раскрытия целостной системы взглядов оппонентов, выявления общего смысла их исканий, делает его критику убедительной, целеустремленной.

А. Нуйкин.



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Краткий очерк. М. Политиздат. 1975. 319 стр.

Социальная психология в силу ее способности объяснить многие явления во взаимоотношениях между людьми, раскрыть механизмы поведения людей вызывает возрастающий интерес не только у философов, социологов и психологов, но и у практических работников самых различных сфер деятельности. Рецензируемая книга, написанная группой известных советских ученых, предназначена для широкого круга читателей, интересующихся проблемами социальной психологии и изучающих ее как самостоятельно, так и в учебных заведениях или в системе партийного просвещения.

Однако значение и ценность книги далеко не исчерпываются ролью учебного пособия. Она как бы подводит итоги развития социальной психологии в нашей стране за последние годы. Ее содержание составило в основном то, что получило подтверждение и признание.

Авторы рассматривают социальную психологию как классовую, мировоззренческую науку, возникновение и развитие которой было и остается подчиненным интересам борьбы за социальную справедливость, за построение коммунистического общества. Вместе с тем они указывают, что партийность социальной психологии не исключает учета результатов, достигнутых буржуазными исследователями, и их критического осмысления.

Общий подход авторов к проблемам социальной психологии основан на методологических принципах диалектического и исторического материализма. Вростание личности в систему общественных отношений, путь социализации человека изучается ими в рамках принципиальной схемы «об-

щественно-экономическая формация — социальная среда — образ жизни — личность».

Среди ученых до сих пор существуют некоторые расхождения во взглядах на предмет социальной психологии. Одни исследователи считают центральной ее проблемой личность и закономерности ее формирования, взаимосвязь личности и общества. Другие относят к предмету изучения «массовидные явления психики», «коллективное поведение», психологию классов, наций и других социальных общностей. Авторский коллектив стоит на позиции, сближающей две указанные точки зрения. Такая позиция, на наш взгляд, вполне оправдана, так как она дает возможность объяснить широкий круг явлений, которые при одностороннем подходе остались бы за пределами научного анализа.

Личность рассматривается в книге в ее взаимодействии с социальной группой, в которую она входит. Особое внимание уделяется выяснению социальной обусловленности психических процессов, механизму превращения воздействия общественной среды в потребности, мотивы, опыт личности и в конечном итоге в ее поведение. Вместе с тем показано, что сложившаяся у личности система социально-психологических форм не является жесткой системой с однозначными связями. Эти связи имеют вероятностно-статистический характер.

Наибольшее количество глав — пять из восьми — посвящается изучению групповых психических процессов. Это, во-первых, проблемы психологии различных социальных сообществ: класса, нации, коллектива, контактной группы, толпы. Во-вторых, межличностные отношения и психология общения: эффект непосредственного контакта, влияние человека на человека, дружба и любовь и т. д. В-третьих, такие социально-психологические явления, как религия, суеверия и предрассудки, паника, слухи и другие.

Поднят широкий круг проблем, дающих в совокупности цельное представление о социальной психологии и сложности предмета ее исследования. Вместе с тем стремление к полноте охвата привело к тому, что ряд вопросов изложено кратко, а иногда и схематично, о некоторых проблемах только упоминается. Однако в книге приводится большое количество ссылок, и читатели, стремящиеся к углубленному изучению предмета, могут обратиться к соответствующей литературе.

Написанное на высоком теоретическом уровне, отражающее современную проблематику и уровень науки, первое учебное пособие по социальной психологии несомненно принесет пользу дальнейшему развитию самой этой науки, способствуя успешному решению задач, поставленных XXV съездом КПСС в области воспитательной и идеологической работы.

В. Якушев,
кандидат философских наук.



ЮРИЙ ДМИТРИЕВ. Человек и животные. М. «Детская литература». 1975. 335 стр.

Рецензируемую книгу с полным основанием можно рассматривать как продолжение работы, вышедшей под тем же названием в 1973 году и вызвавшей широкий читательский интерес.

Пафос первой книги «Человек и животные» заключался в преодолении потребительского отношения к природе, к животному миру, в обличении бездумного уничтожения целых видов зверей и птиц ради развлечения или грошовый выгоды. Книга убеждала в том, что такое безнравственное отношение к «меньшим братьям» жестоко мстит за себя.

Новая книга писателя более оптимистическая. Главное место в ней занимает история «домашних животных», тех, кого человек приручил, кто стал для него средством существования, помощником или просто другом. Как бы ни было важно для человека хозяйственное использование животных, автору чрезвычайно важно показать и отношения, возникающие у человека с животными, которых он приручил. Недаром такое значительное место в повествовании занимает собака.

Конечно, собака выполняла и продолжает выполнять практические функции. Ю. Дмитриев приводит поразительные примеры использования собак в хозяйстве в качестве пастухов, сторожей, тягловой силы. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях советских войск принимало участие более 60 тысяч собак разных военных специальностей: связисты, минеры, санитары...

Но не меньшее внимание, нежели прямому использованию четвероногого друга, автор уделяет тому естественному душевному движению, которое побуждает человека воспитывать щенка, выращивать из него преданного и бескорыстного друга. Как установлено учеными, именно собака была первым животным, прирученным человеком. Что заставило первобытного человека пощадить попавшегося ему маленького волчонка, взять его к себе, кормить, держать около себя? Психологическая реконструкция такого побуждения, тонкость, с какой писатель воссоздает психологию мальчика из первобытного племени, делают эти страницы одними из самых интересных в книге.

Казалось бы, современная техника должна была привести к почти полному исчезновению лошади за исключением незначительной группы спортивных коней. Но сегодня мы становимся свидетелями увеличения численности лошадей. Оказывается, никакое самое совершенное механическое средство передвижения не может заменить взаимоотношений всадника с лошастью, не может доставить человеку такого физического и духовного удовлетворения.

Основываясь на работах многих ученых, автор пишет, что человек может значительно расширить список домашних животных.

Более того: человечество утратило многих ценных, прирученных в свое время животных. Тысячелетия назад оно знало домашних антилоп. Лось служил для перевозки грузов, для езды еще в XVIII веке в Швеции, в России...

История, особенности биологического строения, народное творчество создали среди домашних животных своих «аристократов» и «плебеев». Ю. Дмитриев темпераментно, используя огромный материал научных наблюдений, опровергает устоявшееся мнение о «глупости» осла, о тупой примитивности верблюда. До сих пор не выяснено, почему осел всегда находит самый короткий и выгодный для него путь, чем вызвана феноменальная способность верблюда подолгу обходиться без воды и пищи...

Книга «Человек и животные» убеждает читателя, что почти нет животных, которые при разумном отношении не могли бы приносить пользу человеку. В цирке мы восхищаемся смелостью укротителя, выступающего с удавом, который обвивает его своими страшными кольцами. Но удав, оказывается, легко приручаемое и доброе животное, в некоторых странах он используется как верная нянька при прогулках детей, как сторож в доме...

Полезные пауки, голуби, работающие браковщиками на конвейере, собаки, разыскивающие лопнувшую газовую трубу,— не перечесть всех возможностей использования животных человеком. И, как убеждает Ю. Дмитриев, эти возможности пока реализуются в очень малой степени.

Огромная нескрываемая любовь автора к животным вовсе не носит бездумно-восторженного характера. Отношение к животным должно быть проникнуто пониманием всей опасности нарушения экологического равновесия. Коза на протяжении истории человечества была спасительницей целых народов от голода, но она же в результате неразумного хозяйствования превратила в пустыню обширные плодородные земли. Маленький прелестный кролик стал ужасом для австралийских фермеров.

Можно лишь пожалеть о том, что те, кому посчастливилось приобрести первый том книги Юрия Дмитриева, не смогут прибавить к нему второй, вышедший в библиотечной серии. Конечно, прекрасно, что эта отличная книга будет в наших библиотеках. Но нужно ли забывать о тех, кто любит и собирает такие всем интересные и всем важные книги, как «Человек и животные» Юрия Дмитриева?

Лев Разгов.



Н. И. ГАГЕН-ТОРН. Лев Яковлевич Штернберг. М. «Наука». Главная редакция восточной литературы. 1975. 237 стр.

Серия «Русские востоковеды и путешественники» пополнилась книгой об известном этнографе Л. Я. Штернберге. В научном мире конца прошлого — начала нынешнего сто-

летия Лев Яковлевич Штернберг был яркой фигурой. Человек, пришедший в науку от революционной деятельности, образцовый исследователь и педагог, создатель целой школы этнографов, выдающийся музейный работник, он достиг высокого звания члена-корреспондента Академии наук СССР уже в преклонных годах, прожив трудную, полную опасностей и лишений жизнь. Вся его кипучая деятельность — яркое горение, беззаветное служение родине, народу.

«Вихри враждебные веют над нами» — так называется первая часть книги, говорящая о тернистом пути к науке ссыльного народовольца. Читатель знакомится с Л. Штернбергом в тюремной камере и сразу входит в круг его страданий, как бы участвует и в неожиданной радости заключенного, когда, перестукиваясь по тюремной азбуке, он узнает, что за толстой каменной стеной в соседнем каземате — друг его юности, с которым они потом не утратят связи много лет.

В памяти каждого, кто прочел «Остров Сахалин» А. П. Чехова, — бесплощадные в своей яркости картины сахалинской царской каторги и ссылки. Л. Штернберг был на Сахалине как раз в те годы. Он не встретился с Чеховым потому лишь, что за непокорность его сослали в самый отдаленный пункт территории, где жили только полицейские. Н. И. Гаген-Торн описывает сахалинскую ссылку так, что становится ясно, какой недюжинной силой характера и огромной любовью к людям нужно было обладать, чтобы не только выносить издевательства царских жандармов, но и заниматься в столь тяжких условиях научной работой.

Молодой политический ссыльный участвовал в переписи населения, в научных экспедициях. Он изучил язык гилжков (как тогда называли нивхов), их жизнь, стал среди них своим человеком. Он участвовал в их обрядах и праздниках (особенно красочно, во всех подробностях описан в книге медвежий праздник), глубоко анализировал семейно-брачные отношения.

Свои наблюдения и выводы Л. Штернберг сообщал в Петербург — в Академию наук и в Москву — в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. К чести ученых этих учреждений нужно сказать, что они не побоялись запятнать себя близостью со ссыльным народовольцем. Доклады Л. Штернберга зачитывались и обсуждались (разумеется, в его отсутствие) на научных заседаниях, печатались в виде статей в специальных изданиях. Отчеты же о научных заседаниях печатались и в более широкой прессе.

Благодаря этому с работами Л. Штернберга смог познакомиться и Ф. Энгельс, прочтя в газете «Русские ведомости» один из таких отчетов. В результате в журнале «Нойе цайт» в Германии появилась статья Ф. Энгельса «Вновь открытый случай группового брака», дополняющая его исследование «Происхождение семьи, частной

собственности и государства» (теперь она обычно печатается в приложении к этой книге).

Но вот кончились годы ссылки, и, пробыв немного на родине, в Житомире, Л. Штернберг переезжает в Петербург, где давно уже оценили его работы. И тут не обошлось без затруднений: бывший политический ссыльный не мог жить в столице, какое-то время пришлось ютиться в дачной местности. Так начинается вторая часть книги — «Исследователь культур человеческих».

Штернберг начинает работать в одном из старейших русских музеев — Музее антропологии и этнографии Академии наук. Он входит в круг ведущих ученых-этнографов, получает возможность развить свой талант исследователя и педагога, дарование организатора и популяризатора. В постоянном тесном контакте с В. В. Радловым, Д. А. Клеменцем, В. Г. Богоразом и другими передовыми учеными Л. Штернберг перестроил совершенно заново научную экспозицию музея, в особенности отдел эволюции и типологии культуры. Вместе с тем он не потерял и старых связей с товарищами по ссылке, с которыми начинал изучение народов Дальнего Востока, выхлопывая им средства для продолжения работ. И сам Л. Штернберг продолжает свои работы. На Север, в Сибирь, на Дальний Восток направляются его молодые ученики.

Полного расцвета многогранная деятельность Л. Штернберга достигла после Октябрьской революции. Для проведения национальной политики молодого Советского государства необходимы были широкие этнографические исследования, и они развернулись в невиданных до тех пор масштабах. Вместе с В. Г. Богоразом Л. Штернберг организовал множество экспедиций в самые отдаленные уголки Советского Союза.

В этом месте книги, пожалуй, лучше всего видны и события и люди, читатель определенно ощущает эффект присутствия. Ведь автор сам был среди молодых учеников Штернберга и Богоразы, своими глазами видел все, о чем пишет на этих страницах. Н. И. Гаген-Торн с молодым задором описывает студенчество того времени, пришедшее на университетскую скамью с фронтов гражданской войны и восстановления народного хозяйства, не боявшееся трудных дорог, горячо стремившееся в неизведанные края.

В те нелегкие годы коллекции музеев пополнились, несмотря на отсутствие средств для их приобретения, благодаря энтузиазму и изобретательности руководителей экспедиций. Так, В. Г. Богоразу удалось однажды получить из дворцовых фондов старые красные ливреи. Опыт подсказал ученому, что за эти куски красного сукна еще можно приобрести ценнейшие для музеев предметы традиционного быта народов, — и вот фракки дворцовых лакеев распороты и розданы по частям отправляющимся «в поле» студентам вместо наличных денег.

Штернберг скончался на шестьдесят седьмом году жизни, в разгаре своей многообразной деятельности. И самые похороны

его описаны с чувством живой и глубокой скорби.

Перед нами книга ученика, в сердце которого до сих пор жив светлый образ учителя.

М. Рабьнович,
доктор исторических наук.

★

В. В. ФРОЛЬКИС. Старение и биологические возможности организма. М. «Наука». 1975. 272 стр.

Интерес к проблеме старения и старости заметно усилился в последние десятилетия в связи со значительными демографическими сдвигами во всех экономически развитых странах. Неуклонный рост числа людей пожилого возраста в общем составе населения сделал изучение старения и старости важной государственной проблемой, превратил ее в одну из актуальнейших социально-биологических проблем современности.

Можно ли успешно бороться за активную старость, за здоровое долголетие? Каковы пути их достижения? Ответам на эти вопросы посвящена рецензируемая книга.

Основой для выработки активных мер по предупреждению преждевременной старости может стать только знание закономерностей процесса старения. В решении этой задачи основная роль принадлежит новой отрасли знания — геронтологии («геронт» — старец, «логос» — учение). По словам Ф. Верцара, «геронтология — это проявление безграничного уважения к жизни, стремление сделать так, чтобы до самого конца стоило жить».

В первых главах В. Фролькис приводит данные о средней продолжительности жизни, рассматривает вопросы физиологического и преждевременного старения, четко разграничивая старение и старость как причину и следствие. Раскрывается характер изменений и сдвигов в разных звеньях саморегуляции на различных уровнях жизнедеятельности организма — от молекулярного до целостного организма. Фактический материал, обобщенный в выдвинутой автором адаптационно-регуляторной теории старения, убедительно показывает, что в процессе старения развиваются не только нарушения, повреждения организма, но возникают также новые важные механизмы приспособления.

Во второй части книги рассказывается, каким образом каждый человек может ов-

ладеть «секретами» долголетия, сохранить здоровье, предупредить наступление ранней старости. Считая правильный образ жизни необходимым условием долголетия, автор подробно анализирует различные факторы, влияющие на продолжительность жизни, — значение двигательного режима, характер питания и другие.

В главе «Образ жизни и старение» он пишет: «Для человека образ жизни — это не только движение, питание, климат и т. д., но и вся сфера психического, эмоционального общения со средой... Дело ведь не только в том, сколько прожить, но и как прожить». У И. С. Аксакова есть слова, точно выражающие оптимальное, должное отношение человека к своему образу жизни: «Пошли мне бури и ненастья, даруй мучительные дни, но от преступного бесстрастия и от покоя сохрани!»

Приводимые данные экспериментальных работ советских и зарубежных исследователей говорят о значительных успехах, достигнутых на пути увеличения продолжительности жизни. У современной геронтологии, по мнению автора, в этом плане есть две задачи — тактическая и стратегическая. Тактическая — это реализация возможной продолжительности жизни человека, которая предоставлена ему природой как биологическому виду. А стратегическая — замедление темпа старения, возможность влияния на видовую продолжительность жизни. При решении обеих задач необходимо исходить из известного принципа: не только добавять годы жизни, но и сделать их насыщенными и богатыми.

Условия, которые социалистическое общество создает для престарелых граждан, позволяют им сохранить на многие годы здоровье, чувство полезности и социального оптимизма. Окруженный заботой государства, советский человек не только может, но и обязан бороться за свое здоровье и долголетие.

Закрывая последнюю страницу, хочется верить, что безграничность природы, умноженная на мощь человеческого ума, несомненно позволит найти еще многие способы воздействия на человеческий организм, повышающие запас жизненной прочности в пожилом и старческом возрасте, открывающие невиданные возможности для продления жизни человека.

А. Колосов,
кандидат медицинских наук.

Е. Альшuler,
кандидат медицинских наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Е. И. Ленин. О значении воинствующего материализма. 16 стр. Цена 3 к.

А. Н. Козыгин. Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы. Доклад XXV съезду КПСС 1 марта 1976 г. Заключительное слово 3 марта 1976 г. 64 стр. Цена 8 к.

А. Гончаров и П. Луняков. В. И. Ленин и крестьянство. Изд. 2-е. 191 стр. Цена 78 к.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов. Т. 10. Окт. 1973 г.—окт. 1975 г. 552 стр. Цена 1 р. 20 к.

К. Цеткин. Воспоминания о Ленине. 62 стр. Цена 3 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ш. Аслан. Живу у моря. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. 120 стр. Цена 37 к.

А. Борщаговский. Где поселится кузнец. Исторический роман. 446 стр. Цена 1 р. 2 к.

А. Межиров. Под старым небом. Стихи. 110 стр. Цена 28 к.

Ю. Трифионов. Другая жизнь. Повесть. 183 стр. Цена 29 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Джалиль. Избранное. Стихи. Перевод с татарского. Предисловие М. Карима. 373 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Озеров. Коммунист наших дней в жизни и в литературе. Литературно-критические и публицистические очерки. 301 стр. Цена 98 к.

Р. М. Рилье. Лирика. Перевод с немецкого. («Сокровища лирической поэзии») 158 стр. Цена 36 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Громова. Мы одной крови — ты и я! Фантастическая повесть. 239 стр. Цена 57 к.

Н. Жданов. Петроградская повесть. 96 стр. Цена 45 к.

С. Михалков. День Родины. Быль для детей. 69 стр. Цена 3 р.

Л. Разгон. Один год и вся жизнь. Документальная повесть. 255 стр. Цена 57 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Гречко. Годы войны. 1941—1943. Воспоминания. 574 стр. Цена 1 р. 83 к.

А. Лаговский. В. И. Ленин об экономическом обеспечении обороны страны. 184 стр. Цена 88 к.

«ИСКУССТВО»

К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве. Составление и вступительная статья М. Лифшица. Изд. 3-е. Т. 1. 575 стр. Цена 1 р. 33 к. Т. 2. 719 стр. Цена 1 р. 47 к.

А. Корнейчук. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. Гибель эскадры.— Платон Кречет.— Банкир.— Правда.— Богдан Хмельницкий. Перевод с украинского автора. Вступительная статья Е. Горбуновой. 335 стр. Цена 1 р. 8 к.

Проблемы современного кино. Сборник статей. Главный редактор С. Юткевич. 430 стр. Цена 1 р. 83 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Н. Зарудин. Тридцать ночей на винограднике. Роман в 8-ми повестях. 318 стр. Цена 51 к.

Л. Инджиев. Дочь Ольды. Повесть и рассказы. Перевод с калмыцкого. Последействие Д. Кугультинова. 171 стр. Цена 31 к.

Свершения. Сборник очерков и документальных рассказов. Составители А. Сконежная и Ф. Цыпкина. Предисловие С. Михалкова. 190 стр. Цена 1 р. 84 к.

О. Чайновская. Небо Аустерлица. Очерки. («Человек среди людей») 71 стр. Цена 13 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 25/III 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/У 1976 г.
А 09152. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
Тираж 185.000 экз. Зак. 977.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02538

Цена 70 коп.

70636